НЕВА



8·2026

Ценим прошлое.
Открываем новое

НЕВА 8
2026
ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 1955 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Евгений ЧИГРИН
Стихи • 3

Светлана ПЕТРОВА
Рондо. *Рассказ* • 6

Дмитрий ДАРИН
Животное. Фузилли. Знак. *Рассказы* • 24

Александр МЕЛИХОВ
Ложе и станок. *Рассказ* • 33

Наталья РОЗЕНБЕРГ
Маленький ослик надежды. *Стихи. Пред. В. Шохиной* • 38

Мария КОНЮКОВА
Ода к жизни. *Рассказ* • 42

НЕСТОЛИЧНАЯ РОССИЯ

Илья ВАСИЛЬЕВ
Стихи. *Пред. В. Файбисовича* • 65

Алексей КУРЕНЁВ
Чанск. *Роман. Пред. Е. Попова* • 70

Мария ЗНОБИЩЕВА
Стихи • 174

Наталия БАРАНОВА
Два дня. Свет в доме напротив. Ведро. Судьба на кончике хвоста. Наследство бабы Зины. Как Маугли и Сильфида утомили Никитку. Плевок в вечность. Культ личности. Восьмой грех. *Рассказы. Пред. М. Кудимовой* • 177

Петр МУРАТОВ
Однажды зимой... История первая. Месть отвергнутого ухажера. История вторая. Кладбище, термостат и ремень. *Рассказы. Пред. М. Хлебникова* • 198

12+

ВСЕЛЕННАЯ ДЕТСТВА

Наталья ЛОСЕВА
Фургон с хлебом. *Рассказ* • 205

ЛЮБИМЫЕ УГОЛКИ РОССИИ

Айгуль АХМЕТОВА
Уральская «Волхонка» • 230

КРИТИКА И ЭССЕИСТИКА

К 130-летию Евгения Шварца
Елена ВОСКОБОЕВА
«Потерянное» и «обретенное» время
в творчестве Е. Л. Шварца • 237

ПЕТЕРБУРГСКИЙ КНИГОВИК

Рецензии. *Александр Мелихов.*
Меж Сизифом и Сталиным • 244

ПИЛИГРИМ

К 800-летию со дня кончины Франциска Ассизского
Архимандрит Августин (НИКИТИН)
Святой Франциск Ассизский и Россия. *Часть 5* • 250

Издание журнала осуществляется при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Перепечатка материалов без разрешения редакции «Невы» запрещена. Рукописи принимаются только в электронном формате по адресу nevaredaction@mail.ru
Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Главный редактор
Александр Мотелевич МЕЛИХОВ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Игорь Сухих *(шеф-редактор гуманитарных проектов)*. **Ольга Малышкина** *(шеф-редактор молодежных проектов)*. **Наталия Ламонт** *(редактор-координатор)*. **Дмитрий Зенченко** *(контент-редактор журнала, редактор интернет-сайта)*.

Дизайн обложки **А. Панкевича**
Макет **С. Булачевой**
Корректор **Е. Рогозина**
Верстка **Д. Зенченко**

© Журнал «Нева», 2026

Евгений ЧИГРИН

НА ПОКУПКУ ЧЕРНОГО КОЖАНОГО ПИДЖАКА

Вот в этом пиджаке и схороните,
На этом вот диване я умру,
Пока вы спите? Да. Пока вы спите
И чудеса резвятся на ветру.
Так славно скроен лепень, все как надо,
Такой бы тридцать лет тому назад,
Да что теперь печалиться, ну ладно:
Пускай в конце, но — выпал этот фарт.
Надену клифт, ну и айда по миру,
Ну не по миру, по своим стезям,
Где я ходил, настраивал то лиру,
То теплую кифару, где глазам
Открыты были все оттенки спектра,
Закат напоминал о Писсарро
И, догорая, говорил, что лето
Мое прошло: мне выпало зеро...
И все-таки, надев пиджак чудесный,
Чья мягкость и воздушность так по мне,
Услышу я ту музыку, что местный
Шмель завещал не ежикам зане...
В ней выдохнет виолончель печали,
Вздохнет, как Страдивари, тот смычок,
Который мне навряд ли завещали:
Мне обещали белку и свисток...
Пускай не дали, да, пускай не дали,
Но клифт на мне такой — фасон и шик!
И музыку по мне не отыграли,
Еще не отыграли, шепот в крик
Еще не перешел, еще смогу я
Похвастаться обновой. В пиджаке
Меня и схороните... Птичья стая
Вспорхнет над гробом... у меня в строке.

Евгений Чигрин — поэт, эссеист, автор 14 книг стихотворений (вместе с переведенными на иностранные языки). Публиковался во многих литературных журналах, в европейских и российских антологиях. Стихи переведены на многие европейские и восточные языки. Лауреат многочисленных литературных премий. В 2024 году книга избранных стихотворений «Болотный огонь» вошла в шорт-лист Национальной премии «Книга года». Живет в Москве и подмосковном Красногорске.

* * *

В «Звезде», а также в «Новом мире»
Перечитай слова мои.
Как плохо осенью в квартире
Пить невеселые чаи.
Пока взрывались кармазином
В глуши простывшие цветы,
Я жить старался с Божьим Сыном,
Переворачивал листы,
Которые пропахли жизнью
И поднимались в полный рост.
Да ладно... К старому трюизму
Ты не добавишь новый пост.
Пока в автобус со стихами
Зайти возможно, чтоб «вчера»
Обнять незябкими руками,
И вновь потянется игра
Пера, бумаги, ноутбука,
И принтера, и облаков,
Смотрящих так, что в сердце мука
И цап-царапки холодов,
Таких, когда ты понимаешь,
Что слишком мало было — всласть,
И, может быть, в Эдем шагаешь? —
Кому ты, старый мальчик, в масть?
Могу любую идиому
Подбросить в небо и поймать,
Пока влюбленный Тютчев — грому
Ведет ручных драконов рать.
В «Звезде», а также в «Новом мире»
Так много смерти, дури, мги
Того, кто прикасался к лире,
Любил вас, люди, вопреки...

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ, ПУШКИНСКОЙ МЕЛЬНИЦЕ, МУЗЫКЕ В ДИНАМИКЕ И АНГЕЛАХ СПАСЕНИЯ НА ЗАКАТЕ ЖИЗНИ

День и месяц пересплю за Гоголя,
А за Блока вытерплю укол,
Посмотрю на маленького голубя,
Наведу на прошлое курсор:
Знаю все про воздух я ворованный,
То, как гномы с почвою дружны,
Кину взгляд на ангела раскованный,
Попрошу его умерить сны,
Что хранятся в галереях памяти.
Кто меня там помнит, я — кого?
Третью школу, музыку в динамике
Завуч запустил — и на арго
Говорят за школой старшеклассники,
Вот автобус редкий прикатил.
Всюду бедность... Транспаранты-праздники,
Где на красном — белым: «Миру — мир!»
Всюду бедность, но про это вряд ли мы
Знаем: две бутылки из горла́
В парке ли, за домом, за качелями,
На закуску солнечная мгла.
Все казалось, что-то завтра сдвинется,
Завтра перемелется, придет
Жизнь другая, словно именинница,
Встанет рядом. Знаете? Вот-вот

С мельницею пушкинской напишется,
Или же совсем наоборот.
А на ветке ворон, точно ижица,
Стар и страшен, ядовит, как торт,
Тот, что заварганили на фабрике
Черных сил три беса и одна
Кукла черта, что гуляет в ватнике,
Пишет вам в WhatsApp[1], что ночь нежна...
Вы не смейтесь, в городишко маленький
Вы меня отправьте, я найду
Там сюжеты жизни, все до капельки,
Вспомню их с оглядкой на звезду,
Ту, что согревала с ненаглядною
Музыкой винила, и опять
Поцелую девочку нарядную,
И автобус не заставлю ждать...
Я вздремну за Кафку и усталого
Навсегда абсурдного Камю,
Может, я сойду за небывалого,
Уходя в сверхсказочную тьму.
Каждому из тех, с кем выпить поздно мне,
Напишу волшебное письмо,
На одной волне мы, будто в храмине
Господа, как в съемке слоу мо.
Я иду сквозь солнце злого морока,
Сквозь деревни, стелющие страх,
Забываю про красоты города,
В спину мне играет старец Бах —
Иоганн! — включилась месса плеером...
Разве я сумею разложить
Всю судьбу по полочкам и веером
Отпустить по лужам-рекам плыть?
Разве я сумею без сомнения
Для знакомых и чужих пропáсть?
Где сейчас вы, ангелы спасения,
Домертва как с вами мне совпасть?

[1] Компания «Meta» внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму.

Светлана ПЕТРОВА

РОНДО

Рассказ

интересно сношу ли я эти туфли или они меня
Алексей Алехин. Небо осеннего цвета

1.

В тот день, с которого, собственно, и закрутилась вся эта история, Греков проснулся с ощущением если не радости, то просто чего-то хорошего: он опять видел сон. Очень давно его ночи сделались темным провалом, из которого поутру приходилось себя вытаскивать, словно из небытия. А тут — подвижные цветные изображения! Но как обычно происходит в снах, он бежал и не успевал, страстно хотел и не получал, видел спасательный круг и не мог дотянуться, даже секс обрывался, не завершившись. Полное разочарование. Впрочем, вкус недостижимого быстро исчезал, оберегая реальность.

Иногда навязчиво повторялась одна и та же картинка: мальчик лет десяти, похожий на его детские фото, летит с ледяной горы, сначала медленно, потом все быстрее, быстрее, затем уже совсем стремительно, сознание мутится от страха, сердце выпрыгивает из груди. Далеко, в неведомом низу — не в преисподней ли? — полет заканчивался ударом о край бездны, и сон обрывался. Было в этом образе что-то неуловимо знакомое, важное, жаждущее разгадки, но ночная задачка трезвому уму не поддавалась.

Нынешнее видение тускнело медленно, еще некоторое время он стоял на ветру, на качающейся палубе, судорожно прижимая к себе драгоценную ношу. Чувствовал проникающую нежность женского тела, с которым предстояло расстаться в угоду общему мнению. Взмах руки — и рисунок размылся, лишь мелодия крутилась в голове.

Греков сел на кровати, привыкая к вертикальному положению после горизонтального, выпил из хрустального стакана воды, добытой якобы из природного источника, и сон погас окончательно, а вслед норовил улизнуть и мотив. Пока помощник надевал на него халат и усаживал в каталку, он все еще держал песню за хвост, даже всплыли отдельные слова: «...и за борт ее бросает».

— Ты не помнишь, что это? — спросил Греков молодого человека, чтобы тот не успел произнести стандартную фразу «Как прекрасно вы сегодня выглядите».

Светлана Петрова — библиограф, работала в крупнейших библиотеках столицы. Главный редактор ежемесячного журнала «Научные и технические библиотеки» и газеты «Московский библиотечный вестник». Публиковалась в еженедельниках «Литературная Россия», журналах «Дружба народов», «Кольцо А». Автор книг повестей и рассказов «Адмиральская любовь», «Ангел мой ненаглядный», «Загадка красного кимоно» и др., а также романов «Небесный охотник», «Хроники любви и смерти», «Узники вдохновения», «Лента Мёбиуса, или Ничего кроме правды» и «Беспамятство». Член СП Москвы.

— Ну, как же, — откликнулся парень весело. — Стенька Разин утопил плененную княжну! «Волга, Волга, мать родная, Волга — русская река! Не видала ты подарка от донского казака».

Старик покачал головой. Он уже вполне пришел в себя.

— Подарком может стать сработанное самим или купленное, но чужая жизнь? Представь, что чувствовала эта живая княжна, кого любила, чем грезила? Вот ты хранишь в сознании мысли и впечатления пережитого — пока они составляют твою сущность, мечтаешь стать знаменитым хирургом, купить дорогой автомобиль, ночью тебя ждут объятия красивой девушки, которая уже беременна...

— Откуда?! — вспыхнул юноша. — Я сам только вчера узнал...

— И еще ты любишь мороженое с фисташками, а я сейчас возьму и сброшу тебя с веранды на камни дизайнерского водопада. И все! Нет Димы Малинина, студента третьего курса медицинского института, словно никогда и не было. Что в этом смешного?

— Извините, Иван Степанович, не подумал, — смутился парень и покатил подопечного в ванную, где все устроено так, что тот сам может справляться с водными процедурами.

Это уже поздний монтаж, когда Греков практически забросил квартиру в центре Сочи. Загородный дом он изначально задумал и построил большой, с просторными комнатами, расположенными по старинной традиции — анфиладой, с широкими коридорами и распашными дверями. Как знал. Ну конечно же, нет — пятьдесят лет назад! Странно было бы тогда прикидывать, сколько проживет, печься о грядущей немощи, тем более о смерти — живые заботятся о живом. Кто думает о конце, когда молод, полон сил и сиюминутных задач?

Владелец дома вообще любил размах, такая натура. Зато теперь он при желании самостоятельно, с хорошей скоростью передвигался на колесах по крытому дубовым паркетом пространству, словно по ухоженной мостовой. Правда, и коляска нестандартная, маневренная, легкая в управлении и даже красивая, если так допустимо выразиться об инвалидном устройстве. Несомненно, его нынешнее положение представляло массу неудобств, о некоторых неприлично даже говорить, но человек ко всему привыкает, особенно когда есть деньги.

Окна Греков тоже любил огромные. Чтобы обеспечить максимум света и воздуха, каждый этаж обнимали открытые веранды. Потолки высокие, потому этажей возвели всего два, не считая цокольного, где помещались технические устройства, кухня, а в прохладе подвала хранились вина и копчения. Верхний уровень омертвел с тех пор, как хозяину отказали ноги. Изредка там останавливались молодые агрономы из команды, работающей на участке, и приятели сына, тоже садовые дизайнеры. Гостей не густо — кому интересно общаться с человеком ушедшей эпохи, который доверяет опыту и якобы неоспоримым аргументам, у него устаревшие привычки, патриархальный нрав, болезненное стремление к гармонии, с ним каши не сваришь. А старых друзей осталось меньше, чем пальцев на руке.

Каждый день, проезжая по сквозному ряду комнат, Греков не переставал любоваться росписью стен, керамикой каминов, напольными вазами, старинными статуэтками. Много картин — по большей части это подарки известных современных художников, благодарных за изящные ландшафтные решения на своих дачах. Ну и, конечно, повсюду на специальных полочках, в белых фарфоровых горшках редкие растения. При виде их сердце теплело, мякло и успокаивалось.

Еще владельцу дома нравились зеркала. Огромные, от пола до потолка, в багетных рамах или встроенные в шкафы и двери. Понятно. Лицом и фигурой он с юности до глубокой зрелости был хорош, даже на киностудию приглашали, советовали по-

даться в актеры. Ну уж нет, глупо каждый день изображать других людей, когда собственная энергия бьет через край и жаждет целого мира. Интересных женщин зеркала тоже помнили немало, в первую очередь, конечно, жену Нору. Не то чтобы писаная красавица, но нестандартная, заставляла прохожих оборачиваться. Он тоже оглянулся вслед, да так и присох, о чем позже пожалел, поскольку избегал зависимости. Но от судьбы не увернешься.

Ко времени знакомства у него уже накопился приличный опыт общения с прекрасным полом. Однако жениться? Прежде такое даже в голову не приходило. Только как иначе получить возможность смотреть на Нору с утра до вечера и с вечера до утра? Так, после планирования садов и парков, семья стала главным нервом его жизни.

Молодая жена окончила музыкальную школу, без особого энтузиазма преподавала детям фортепиано, зато носилась по разным театральным сборищам, фестивалям, презентациям, аккомпанировала певцам, общалась с исполнителями, композиторами, поэтами, телевизионными обозревателями культурной жизни, вечерами пропадала на концертах. А если выпадал тихий вечер, забиралась с ногами на диван, вставляла в проигрыватель кассету, закрывала глаза и слушала музыку, особенно любила рондо-каприччиозо Сен-Санса. Лицо ее становилось печальным и отрешенным. Что она провидела?

Вокруг Норы вертелась масса поклонников, но Греков, поглощенный любимой работой, ревностью не озадачивался, пока однажды в квартиру (а жили тогда молодые в безликой панельной многоэтажке) не позвонил стеснительный мужчина средних лет и с тысячью извинений начал рассказывать, как они с женой Грекова любят друг друга, хотят сойтись, но не решаются об этом объявить. Посетитель был настолько искренен и убедителен, что поначалу обалдевший Греков в конце концов поверил. Всякое бывает. Сказал:

— Хорошо, я не буду чинить препятствий.

Мужчина даже прослезился:

— Спасибо вам! Сонечка уверяла меня, что вы добрый, а я не верил!

— Какая Сонечка? Мою жену зовут Нора, а Софья Аркадьевна живет этажом выше.

Мужчина сначала открыл рот, затем скривил, потом жалко улыбнулся:

— Что же мне, опять все объяснять сначала?

Когда Греков рассказал жене о забавном происшествии, умолчав, что поверил измене, она отнеслась к этому вполне по-деловому:

— Если бы ты ходил в театр, хотя бы в эстраду, то знал, что юмористы давно рассказывают подобный анекдот. Никто ничего не придумывает, все приходит из жизни. Внимательнее смотри на людей вокруг тебя, а не только на растения. Говорят, нет женатого мужика, который хоть раз не сходил бы налево. В общем, они не очень-то и виноваты: полигамия заложена в мужчин природой, иначе мы бы все тут давно вымерли. Но я одного урода нашла, — добавила Нора рассмеявшись и поцеловала мужа в ухо, чего он терпеть не мог, поэтому спросил:

— А замужние женщины?

Она поморщилась.

— Ты знаешь мою брезгливость. Я могу лечь только с высокоинтеллектуальным и хорошо отмытым мужчиной, который не будет изрекать банальности и не принесет заразы от предыдущей сопостельницы. Но про всех не скажу, объективно о женщинах могут судить только мужчины. Нам мешает воображение.

Диалог оставил у Грекова стойкое недоумение: откуда у молодой женщины такая уверенность в собственной правоте? Без опыта. Или опыт есть?

Хозяйство Нора вела кое-как, детей поручила нянькам, но цветы обожала, подаренный ей на свадьбу мирт лелеяла и профессией супруга восхищалась, а он, к сожалению, родился глухим к странным звукам, издаваемым несметным количеством музыкальных инструментов самой диковинной формы. Изредка, уступая просьбам жены, мучился от зевоты в зале филармонии и, дождавшись антракта, сбегал в припаркованный рядом автомобиль, где проводил время за чтением газет и журналов. И так сорок лет, пока Нора не заболела, и он бросился ее спасать и спас бы, если бы это было возможно. Но начало и конец — не в нашей власти.

Колеса катили бесшумно, не мешая думать. Далеко завел его разбередивший сознание сон про ледяную горку. Давно его не было, а вчера вернулся. Почему? Зачем? Пока непонятно. Подождем. Всему свое время.

По дороге в столовую, увидев в зеркале человека на знакомой каталке, одетого в знакомую одежду, но с чужим лицом, Греков воскликнул:

— О, Боже!

Обычно он просто морщился, но сегодня не выдержал. Отвислый пористый нос, сизые мешки под глазами, усохшими до размера изюминок, дряблые опустившиеся щеки, напоминающие собачьи брылы. Ладно. Что есть, то есть, претензии — к паспорту. Не забыть про назначенные личным врачом таблетки, хотя наверняка врет, что помогают от старости. Открыл пачку и удивился: вроде недавно начал, а уже пустая. Скорость, однако.

За столом, широким и длинным, как сама комната, накрытым с одного конца, его ждал сын. Вчера Илюша допоздна задержался у подрядчика за городом и заехал переночевать. Не чурается частных заказов, это хорошо, это раскрепощает и дает простор фантазии, к тому же большие деньги позволяют отказываться от проектов, к которым не лежит душа. Жизнь одна, и нужно заниматься исключительно тем, что любишь. Сын весь в него.

Самолюбие отца тешилось, и, накладывая на ржаной хлеб сочащийся сыворотку кусок сулугуни, он не удержался от комментария к своим мыслям:

— Ты стал прекрасным специалистом. Власти уважают, клиенты выстраиваются в очередь. Молодец. С детства отличался трудолюбием и склонностью к наукам. Как я. С детства.

Если бы Греков был хорошим физиономистом и внимательно вгляделся в лицо сидящего рядом сына, то, возможно, прочел бы сожаление: почему одни и те же вещи люди понимают по-разному?

Детство. Было ли это детством? Конечно, было. Вопрос — каким? Даже по прошествии многих лет Илья хорошо помнил эти утра — в дверь аккуратно стучали. Мама открывала дверь ногой, папа ладонью, стучала няня Нина:

— Вставайте, Илюшенька, на занятия опоздаете.

Она ко всем, в том числе к детям, обращалась исключительно на «вы».

— Сегодня же выходной!

— Музыкальная школа. Потом кружок ботаники в дендрарии. После обеда велено разучивать шахматные задачи. И теннис три раза в неделю, по воскресеньям тоже, значит, сегодня.

— А родители где?

— Уехали на пляж. Поспешайте.

Это означало, что надо чистить зубы, делать гимнастику, принимать душ, завтракать, одеваться... Мозг ребенка искал выход.

— Теть Нин, а нельзя как-нибудь... без этого?

У няни за плечами философский факультет университета, развод, потеря работы и квартиры, она говорит:

— Можно. Тогда придется не жить.

— Да? Надо подумать.

— Думайте быстрее, мама с меня спросит.

Мама! Маму он любил, она была веселой, носила красивые платья и никого ни к чему не принуждала. Но день детей был строго расписан, чтобы не болтались без толку, набирались ума, выявляли интересы. Сестра рояль быстро забросила, на что мама сказала: да пожалуйста, все равно таланта нет. Когда после школы Ляля устремилась замуж, мама опять отговаривать не стала — раз так уж сильно хочется, пусть. Сестра испугалась, пошла на попятный, прикрываясь папой: а вдруг не разрешит? Мама удивилась: кто его будет спрашивать? Мама главная.

Илье, в отличие от сестры, музыка нравилась и еще — скрипка. Дрожание струны передавалось пальцам, руке, превращаясь в звуки, которые проникали куда-то вглубь: в грудь, в живот, и хотелось, задыхаясь от счастья, бежать навстречу чему-то огромному и прекрасному. Но на уроке физкультуры он сломал левое запястье, с тех пор скрипка сделалась для него недоступна, а спорт ненавистен. Математика пугала, шахматы не увлекали, осталась дендрология. Выбор вынужденный, но папа доволен.

Доволен? Слабо сказано — отец счастлив, что ребенок пошел по его стопам, вживую учится профессии, ему он передаст дело, которое тот продолжит достойно, ничего не пропадет даром. Результат превзошел ожидания. Правда, несколько раз с Ильей случались необъяснимые вещи: крепко выпив, он врывался в питомник с дорогими растениями и начинал все крушить, топтал, давил каблуками и кричал так, словно больно было не цветам и листьям, а ему. Потом извинялся, говорил — ничего не помнит.

Греков-старший старался неприятные моменты забыть, боясь увязнуть в размышлениях, которые закончатся плохо. И что дальше? Он редко позволял себе не соглашаться с самим собой, но это был именно такой случай. Главное — сын рядом, талантлив, энергичен, заряжен новыми идеями, интересными и свежими, отвечающими запросам времени.

Вообще, дети стали другими, рассуждал Греков. Лучше или хуже — непонятно, но точно не такими, какими были мы сами. Уходящее поколение стало привыкать, что современные технологии бегут впереди времени, оттого все вокруг меняется с неприличной, а главное — с опасной скоростью, к тому же сомнительно, что в лучшую сторону. Если не каждый отдельный человек, то людская популяция некоторым образом скособочилась, хотя все еще румянится и красит губы. Так задумано? Трудно сказать. Но так устроено.

К тому же русские дети не слишком охочи до стариков. Это на Востоке достигшие долголетия предки считаются мудрецами, а в цивилизованных странах — выжившими из ума эгоистами. С сыном Грекову, можно сказать, повезло, дочка другая, в маму, живет далековато для задушевных разговоров и исключительно своим умом, который сильно переоценивает. Возможно, с уходом отца будет корить себя за холодность, чего не хотелось бы.

Дотошный родитель искал собственную вину, сожалел об упущенной близости, о скупой любви без обнимашек и сюсюканий, но, похоже, причина совсем иная: в девочке говорит скрытая зависть. Этот глубокий, неисправимый изъян наряду с чесоткой повелевать лежит в основе большинства предательств и вражды. «Она кто? — задавался виртуальным вопросом Греков. — Домашняя хозяйка без профес-

сии, живущая интересами удачливого мужа, которого боится потерять. А я занимал большие должности, руководил огромными коллективами, преуспел в любимом занятии и даже стал независимым. Впрочем, скорее всего, я ошибаюсь, придавая своей земной ипостаси значение, которое существует лишь внутри меня. Для других — я просто был, потом быть перестану, как пролетевшая мимо муха».

Вот и неожиданный вопрос Ильи: «У тебя есть на дачу план БТИ?», заданный как бы между прочим, оставил царапину. Похоже, сын уже рассматривает его как наследодателя. Опыт отец передал и теперь, с его любовью, воспоминаниями, трудностями инвалидного быта, уже не нужен, не интересен, пусть общается со щедро оплаченным студентом.

Дима сидит напротив Ильи, засунув салфетку за ворот рубашки и пододвинув тарелку к себе слишком близко, хотя локти класть на стол уже отучился. Вчера он брал выходной: провожал в последний путь друга, страдавшего онкологией.

— Как все прошло? — спросил Греков.

— Нормально. Но я бы хотел умереть не от болезни, а от старости и при своем уме, — заметил Дима.

— Ну да, — не удержался от нравоучения хозяин, — откуда юноше знать, что старость хуже болезни. Она не лечится, а протекает тяжело, особенно, как ты сказал, при своем уме. Котелок варит, желания еще теплятся, а тело не отвечает, и этот раскосяк — самое отвратительное.

Сын громко вздохнул, обозначая неуместность темы, и указал вилкой в сторону окон:

— Утро какое прекрасное! Октябрь в этом году теплее сентября, и цветы словно обрели вторую молодость.

Все дружно принялись жевать: Илья энергично, Дима аккуратно, старик тщательно и так медленно, словно вдруг забыл, зачем шевелит челюстями.

После овсяной каши, кабачков в омлете, источающем запах теплого сливочного масла, и говяжьего паштета с запеченной корочкой подали кофе, черный, без сахара, без сливок.

Закончили завтрак молча.

— Ты сегодня какой-то задумчивый, — замечает сын.

Отец, погруженный в свой внутренний мир, не слышит. Зацепившись глазом за легкие занавеси на остекленном фонаре, которым заканчивается столовая, он уже блуждает мыслями в иных сферах. Долго и упорно разглядывает узор, явно прозревающий цикличность происходящего в подлунном мире. Голубые и зеленые круги, маленькие и большие, между ними еле заметные волнистые линии, похожие на скользкие горки, они тянутся куда-то за окно, на простор и там растекаются по бесконечности. В институте студенты в шутку называли эти линии «бурля», по имени знаменитого бразильского ландшафтного дизайнера и художника Бурле Маркса, который, отступая от классической планировки, внедрял в свои ботанические шедевры округлый извивающийся рисунок. Сдается, контуры сопок Кольского полуострова — как он раньше-то не сообразил — поддерживают тот же ритм и повторения, что наверняка хорошо видно с самолета.

В памяти опять всплывает сон. Настойчивость его возвращения убеждает Грекова, что просто так избавиться от ощущения ледяной горы детства не получится и, скорее всего, не нужно. Это подсказка: что-то не доделано, не завершено. Он чувствует позыв, который объяснить не может. Но дело не в том, что необъяснимое существует, кто бы спорил, а в том, что оно существует на праве законного физического явления, порождая безотчетное стремление к действию. Сегодня на это наложилось

вполне реальное чувство если не вины, то неловкости, неудобства, которые можно исправить. И Греков неожиданно говорит:

— Мне надо съездить в Мурманск.

Сын чуть не поперхнулся:

— Куда?!

— На родину.

— Какую родину? Какой Мурманск? Ты никогда о нем не вспоминал, больше полувека живешь в Сочи, главный ландшафтный архитектор города...

— В прошлом.

— Неважно. Зато навсегда почетный гражданин. Здесь твоя родная земля, твои растения, здесь твой мир!

— Нет, Илюша. Родина там, где родился.

2.

Лейтенант Степан Греков окончил Ленинградское высшее военно-морское инженерное училище и был направлен на Северный флот, образованный в 1933 году в небольшой бухте Кольского залива Баренцева моря по личному выбору и приказу Сталина, о чем высоко на скале извещала гранитная стела с панегириком, который начинается словами: «Здесь был Сталин!» Сам залив — глубоко, на пятьдесят семь километров вдающийся в сушу узкий фьорд, но тут уже есть отливы и приливы, а значит, и морские течения. Благодаря теплому Гольфстриму и его ветви — течению Нордкап, переходящему в Мурманское, вода у северной части Кольского полуострова не замерзает.

В нижней точке залива, на восточном берегу, стоит город Мурманск, а флот обустроился где-то посередине на западе, в крошечном дореволюционном поселке Александровск, переименованном в Полярный. Конечно же, раз за полярным кругом!

Во все стороны, сколько может захватить глаз, тянутся сопки — эти униженные горы в темных проплешинах, с редкими шлепками грязного снега, застрявшего в скальных вмятинах. Между сопками — похожая на жидкий свинец вода, дважды в сутки регулярно уходящая от берега на пару метров. По обнажившемуся дну разбросаны раковины моллюсков, гребешки, морские звезды и бегают зазевавшиеся крабы — с середины дня до вечера они ждут возвращения моря.

В небе громко размахивают тяжелыми крыльями и кричат скрипучими, раздирающими воздух голосами чайки — грузные, голенастые птицы, которые почему-то считаются эталоном красоты, хотя на самом деле являются образцом хищности: длинные, острые, как клинки, когти, приспособленные глубоко вонзаться в добычу, мощный крючковатый клюв, легко разрывающий жертву на куски. Крупные, в зеленых пятнах, чаичьи яйца, несъедобные из-за жесткого белка, созревают прямо на выступах скал. Выстланные грубым, похожим на плесень черно-зеленым мхом, камни служит яслями птенцам, которые вырастут и улетят в серое небо, низко нависшее над ледяным морем.

Суровая природа, трудная некрасивая жизнь. Не Черное море, не Балтика, даже не заштатная Каспийская флотилия, так что в каком-то смысле молодому офицеру не повезло. Военные служат, куда пошлют, колесят по стране, часто живут в мало приспособленных для обитания местечках. Супружницы мотаются за ними, а как иначе сохранить семью?

Между тем Степан, дипломированный инженер-связист, уехал в Полярный один, потому что беременной жене разумнее сидеть в тепле, в родном Мичуринске, под

присмотром близких. Но та, подождав немного, засомневалась: парень пригожий, совсем один, найдется лихая девка, отобьет. Не знала, что чужих женщин в военных поселках нет, все запасаются своими, и отправилась на Север.

Прибыла в Мурманск 21 июня, навсегда вписанного в историю России 1941 года, и удивилась, что никто не встретил, снова отбила мужу телеграмму и получила ответ: «Немедленно возвращайся домой». Растерялась, испугалась, почувствовала боль в животе. Билеты были распроданы далеко вперед: лето, время отпусков. Весь день без еды и воды просидела на жестком вокзальном стуле, а ночью немцы уже беспощадно бомбили город. Деревянный, он весь полыхал, больница тоже сгорела.

Женщину, у которой начались схватки, кто-то сердобольный отвел в портовую медсанчасть. Там и появился на свет младенец Греков, впопыхах названный Иваном. Роды оказались тяжелыми, но женщина с грудничком в слабых руках вернулась на полуразрушенный вокзал. Железную дорогу бомбили постоянно, поезда практически не ходили, да и Мичуринск вскоре был оккупирован. Ввиду безвыходной ситуации капитану Грекову разрешили привезти семью в Полярный.

Несколько часов на буксире, и вот в отлив жену и ребенка с помощью высокого трапа подняли на причал. Она думала, что Степан обрадуется, а он, хмурый, молча шагал по немощеной дороге, крепко прижав к груди сверток с ребенком. Молодая женщина в модных, с большим трудом раздобытых босоножках на высоких каблуках еле за ним поспевала, спотыкалась и, боясь упасть, ухватилась сначала за рукав мужниной шинели, а потом за хлястик, который тут же оторвался, и форменные металлические пуговицы полетели в лужу.

Лейтенант остановился на минуту и сказал куда-то в пространство и без выражения:

— Дура. Явилась на мою голову.

Они миновали достопримечательность городка — трехэтажный кирпичный дом, прозванный циркульным. Его закругленный фасад, подпоясанный широкой верандой, смотрел на серое здание штаба флота, гавань и часть главного пирса. В цоколе до войны размещался Военторг, где продавали подворотнички к кителям, пуговицы, нитки, патефоны и патефонные пластинки. В циркульный заселяли командиров, начиная с капитана второго ранга, чины пониже получали комнаты в двухэтажных деревянных домах на Первой линии. Линиями назывались улицы, всего их было три, в каждой по несколько стандартных построек с одинаковой планировкой. Оставив приезжих в коммунальной квартире, связист отправился на службу и заглянул проведать лишь через месяц.

Продовольственные магазины отсутствовали, все жители военного городка получали паек, который выдавал краснофлотец-баталер в баталерке: молоко, картошка, капуста, яичный порошок — все сушеное, а также макароны, крупа и консервы. Жене Грекова полагался паек мужа. Дрова, чтобы топить печку, лежали на общей кухне, впрочем, соседи заглядывали редко и ненадолго, так что женщина одна распоряжалась общей площадью, которую рыжие тараканы считали своей и без боя уступать не собирались. Уже годовалый Ваня, сидя на горшке, с интересом наблюдал, как прусаки отчаянно пытались выбраться из граненого стакана, смазанного внутри жиром.

Поначалу не было и бомбоубежищ, потом в высокой скале за причалом взрывчаткой пробили пещеры, обшили внутри фанерой. Туда переехал руководящий состав флота и его подразделений, одна ниша отводилась под укрытие для жителей. Жена Грекова часто болела и бежать с младенцем на руках не могла, поэтому по сигналу воздушной тревоги прятала малыша под кровать, а сама ложилась сверху, на панцирную сетку с ватным матрасом.

К лету 1943 года положение на мурманском участке сухопутного фронта упрочилось, снабжение наладилось, и в Полярный понемногу стали возвращаться командирские семьи. В одном из подъездов циркульного дома открылась английская миссия. Иностранцы ходили по поселку в гражданской одежде, катались на лыжах и дарили детям жевательную резинку, которую те поначалу принимали за конфеты. Английские эсминцы из союзных конвоев, поставлявших в СССР боевую технику и военное имущество, бывало, и поврежденные в боях, стояли у пирса, за островом Сальный прятался от немецких подлодок и самолетов линкор «Родней». Случалась и гибель кораблей, конечно, не только иностранных, но и наших, сопровождавших конвои. Жены, допущенные в пограничный городок, все видели, все знали, переживали и помалкивали, лишних вопросов мужьям не задавали.

Так прошли четыре военных года. Победу отпраздновали скромно: несколькими залпами корабельных орудий, охапками крупных северных ромашек и концертом военного ансамбля флота в Доме культуры. Семье капитана третьего ранга Грекова выделили в квартире еще одну комнату, ночевать он уже давно приходил домой, играл с сыном в солдатиков и модельки кораблей, сработанные старшиной, до войны окончившим Строгановское училище.

Появился невнятный дощатый магазинчик, где за деньги можно было купить кое-какие вещи и продукты вроде соленого сливочного масла, конфет, иногда куриных яиц, а под Новый год и редкое лакомство — замороженные мандарины в решетчатых ящиках. Однажды завезли детские двухколесные велосипеды, о чем, задыхаясь от бега, сообщил маме маленький Греков. Купить успели, и Ваня был в таком восторге, что сразу сел — и поехал!

К его печали, мать так до конца и не оправилась после родов. Она мужественно боролась с трудностями быта, а когда трудности закончились, вздохнула с облегчением и умерла. Ее похоронили на местном кладбище в Кислой губе. Событие это сын помнил смутно — глаза заволокло слезами, он рыдал неудержимо в первый и последний раз. На другой день отец привел женщину, которую велел Ване называть мамой. Она не была ни злой, ни доброй, она была никакой, главное — чужой. Отношения не заладились.

Мальчик рос молчаливым, много читал, зимой гонял по замерзшему озеру на коньках-снегурках, прикрученных веревками к валенкам, бороздил снег на коротких широких лыжах, без палок взлетая над самодельными трамплинами. Летом любил светлыми призрачными ночами уходить за сопки, где ел морошку, голубику, наблюдал за насекомыми и пеструшками — так здесь называли леммингов, — удивляясь жизненному ритму этих крошечных северных полевок в пушистых шубках: от рождения до смерти два часа едят, два часа спят. Привыкший к холоду, он не очень понимал, как камни и вода могут быть теплыми, деревья высокими, а цветы такими красивыми, что сердце замирает. Видел, конечно, в кино райские кущи, которые потом ему снились, но то был мир иллюзий, соблазнительный и недоступный.

В 1947 году отменили карточки, а флот с учетом опыта войны и новых реалий перебазировался ближе к областному центру, в более просторную бухту Ваенгу, вскоре получившую новое название — Североморск. Степан Греков на выходные наведывался в Мурманск, где сохранила довоенную квартиру новая жена. Город тогда был еще невелик, со множеством деревянных построек, кирпичные дома сосредоточились на короткой главной улице Сталина. Внушительно выглядели здания почты, кинотеатра да еще построенного после войны железнодорожного вокзала со шпилем и часами. Огромный плакат на убогой площади Пяти Углов,

из которых пока имелось только четыре, в том числе два деревянных, рисовал мурманчанам прекрасное будущее.

В школу принимали с восьми лет, и пришла пора Ване учиться. Мужская десятилетка — а обучение в Советском Союзе с 1943 года было раздельным — стояла на пригорке, к зданию вела деревянная лестница, но зимой ребята шли по ней только вверх, а вниз со смехом и гиканьем скатывались на чем придется, в основном на портфелях, а то и просто так. После уроков из престижной женской школы № 2 к ним поднимались девчонки, что побойчее. Завязывались знакомства, которые продолжались на большом заливном катке в центре, за домами, и закреплялись на чинных школьных танцевальных вечерах, куда заглядывали парни из Мореходки. Синяя форма выглядела красиво, и у девочек курсанты котировались высоко, но Ваню военная карьера не привлекала.

Между тем отец решил:

— Отдам тебя в ленинградское училище. Высшее. Станешь моряком. Не треску ловить.

— Нет.

— Ну, радиотехником.

— Нет.

— А кем же? — сильно удивилась мачеха.

— Еще не знаю, но тем, кем понравится.

— Такое сбывается редко, — усмехнулся отец. — Все мы были мечтателями. Я вот хотел стать летчиком.

— Значит, плохо хотел! — дерзко крикнул мальчик и получил подзатыльник.

Не так уж и больно, хотя оскорбительно. Случалось, малолетнего Ваню ставили в угол, позже — лишали ужина или прогулки. Это делало семью если не злом, то неизбежным неудобством, которое надо перетерпеть в ожидании паспорта и побега в другой, открытый мир. Мир жесткий, возможно жестокий, который, однако, лучше зависимости, когда нельзя ни ответить, ни потребовать справедливости. Ты еще мал, глуп, и этим все сказано.

Да, мал, но не глуп. Иван понял расклад сил довольно рано, хотя многие и повзрослев продолжают рассчитывать на папу и маму, которые, случается, и большим умом не обладают, и в детях хотят видеть лишь собственное продолжение. Говорят родители, конечно, другое, но слова эти только по форме отличаются от подзатыльников. Мальчик помалкивал и прилежно занимался, рассчитывая, что золотая медаль станет пропуском к свободе.

Он учился в шестом классе, когда на ледяной горке у мужской школы появилась девочка с необычным именем Муза. У нее были быстрые темные глаза, большой рот и заразительный смех. Сначала эти двое исподтишка поглядывали друг на друга, старались скатываться рядом, потом перестали смущаться и подружились.

Ваня мастерил для Музы наглядные пособия по тригонометрии — была тогда мода на подобную методику, а девочка приносила из дома вечно голодному другу шоколадные конфеты, крутые яйца и завернутые в газетный обрывок котлеты.

— Сперла? — спрашивал мальчик.

— Мама меня закармливает: я во время войны туберкулезом болела. Она из кухни выйдет, я котлетку быстро за пазуху, а ей говорю: съела.

Однажды принесла большую редкость — вялый, уже желтоватый огурец.

— А это?

— А это, как ты говоришь, сперла, — ответила девочка.

— Эй, Грек, завтра Майн Рида не забудь. Обещал, — окликнул Ивана одноклассник.

— Ладно.

— Ты правда грек? — спросила Муза.

— Ага. А Антон Павлович Чехов — чех.

Она расхохоталась:

— Вот никогда не задумывалась!

— Думать полезно. Попробуй. Не обижайся. Меня жизнь заставила.

Муза не обиделась.

— Если такой умный, скажи: откуда берутся вши?

Он озадачился:

— Какие вши?

— Обыкновенные, которые в волосах ползают и откладывают гниды. Мы в эвакуации жили с мамой в Молотове. Комната маленькая, дом без водопровода, а с нами еще одна семья: бабушка, тетя и два брата. Зима холодющая, не то что здесь, я на улицу не ходила: нечего надеть, мы ведь из Крыма бежали. И вот у меня одной завелись вши, больше ни у кого. Откуда? Старушка вычесывала их мне густым гребнем на газетку, называла бубами и говорила: вши приходят с войной. Но война была у всех, а вши только у меня.

Ваня рассмеялся:

— Значит, ты самая вкусная!

Однажды они слетели на портфелях с ледяной горы, держась за руки, и внизу оказались так близко, что соприкоснулись лицами. Не раздумывая, ткнулись друг в друга закрытыми холодными губами и замерли. Дыхание мальчика остановилось, и только сердце стучало так громко, что отдавалось в ушах. Даже потом, когда кино и улица обучили Ивана целоваться по-взрослому, он помнил необычное состояние невесомости души и тела, уплывающее в высокую даль блаженства. Ощущение это нельзя было сравнить ни с чем испытанным за долгую жизнь, оно пребывало отдельно от всего, оставаясь самым сильным, ни на что не похожим и даже таинственным.

Хорошее продолжалось, пока не случилось то, что случилось, что чаще всего случается неожиданно, и, глядишь, поезд судьбы уже катится по другим рельсам, а в нужную ли сторону, заранее не узнать, надо доехать до последней станции.

Капитан второго ранга Степан Греков получил новое назначение — на Тихоокеанский флот, точнее, в один из портов Сахалина. Это противоположный конец страны. Как там обустроен быт, есть ли школа-десятилетка для сына — непонятно, а тут еще жена собралась в очередной раз, как всегда не вовремя, рожать. И Ваню отправили в Мичуринск.

3.

Бабушка обрадовалась. Она пережила немецкую оккупацию, потеряла мужа, но остались брат и сестры, чудом уцелел домишко, и хоть изрядно пострадал, жить можно, помаленьку все подправили и даже достроили, пруд на задворках двора почистили. Плодово-ягодные совхозы возродились, набрали силу, требовали рабочих рук, собственный приусадебный сад плодоносил, огород зеленел, а значит, внучок будет сыт и при деле.

Мичуринск, бывший Козлов, городок старинный, сугубо провинциальный, малоэтажный, зимой — морозно-слякотный, заваленный неубранным снегом, зато летом нежно-зеленый, уютный, с песчаными пляжами на берегу Лесного Воронежа. Самый центр Русской равнины. Садоводство тут процветало издревле.

Для Вани все выглядело непривычным: розы вдоль тротуаров, густая трава на обочинах, теплая спокойная вода дружелюбной реки, птахи малые, нежно поющие,

а не истошно кричащие, кругом сады, где на больших деревьях растут съедобные плоды, которым нет числа.

Вся семья, включая двоюродных братцев и сестричек, занималась сельским хозяйством, и мальчику с севера это нравилось. Доставляло удовольствие самому возиться в теплой земле, наблюдать, как из семян, рассады и черенков формируются растения. Он подолгу бродил в музейном питомнике биолога и гениального селекционера-самоучки Мичурина. Но более плодов парня привлекали цветы. Их ведь тоже можно скрещивать и получать новые формы, краски, даже запахи.

Естественно, что после школы Иван поступил в Плодоовощной институт имени Мичурина, где к тому времени были кафедры садоводства и ландшафтной архитектуры. Учился блестяще, с упоением, получив специальность — ученый агроном высшей квалификации по озеленению населенных мест. Успешного специалиста, интересующегося наукой, приняли в аспирантуру и направили на стажировку в Сочинский дендрарий.

Анализ композиций всего здесь растущего и агропоника его не вдохновили, а вот с задачей сменить цветочное оформление города аспирант справился блестяще, получил премию и предложение — остаться работать в Сочи. С тех пор успешная карьера, научные и практические достижения, да и вся жизнь ландшафтного архитектора Ивана Грекова была связана с этим благодатным краем.

Он проектировал парки, скверы, дачные участки первых лиц государства на Кавказе и в Крыму, сочинский олимпийский объект — лоскутное цветочное одеяло — тоже его рук дело. За все задачи брался с энтузиазмом, не чурался ничего, даже художественного оформления кладбищ. Победил на конкурсе оформления международной выставки «Цветочный ЭКСПО-90» в Японии и получил там медаль, но главной наградой для себя считал возможность наблюдать за работой японцев, которые демонстрировали эталон отношения к труду и искусству.

Когда в Россию вернулась частная собственность, Греков, не оставляя прежних обязанностей, организовал собственную компанию с турками, а в поселке Вардане, в тридцати километрах от Сочи, приобрел два гектара земли, мечтая превратить участок в ботанический сад для сельхозтуристов. Многолетними усилиями создавал зеленый рай из редких деревьев и растений со всего мира. Таких поблизости нет ни у кого. С огромным трудом заказывал, транспортировал, сажал, экспериментировал и добился необычайной красоты.

Красота и удобство всегда были его главным принципом, а путь от самого детства до болезни служил наглядным примером прописной истины, которую склоняли еще римские философы: самое драгоценное в нашей жизни — время. Ни одной минуты он не потратил напрасно, трудился с любовью и на благо. Всегда раздражали вопли: времени не хватает! Времени вовсе не мало, времени достаточно, если не тратить его бездарно.

Еще совсем недавно Греков и вообразить не мог, что каждый день станет преодолением. Он был полон сил и планов, смешанных с мечтами, выдумки обгоняли друг друга, выстраивались в очередь. Жарким летом вкалывал от рассвета до заката, привозил саженцы, нанимал рабочих, технику и только с наступлением темноты ехал на джипе искупаться в море с очередной избранницей.

— Всего полно, второй дендрарий, красота, деньжищи! Зачем тебе что-то еще? — удивлялись женщины, непохожие на Нору, потому и сменялись часто.

Жена вспоминалась по всякому поводу и в саду, и в доме, где они с Норой были счастливы. Здесь она умерла. Скорее всего, здесь и он закончит свои дни, сокры-

то лишь, когда и каким образом. Неизвестность — щедрое утешение к жесткому, без вариантов, закону природы — родиться, чтобы умереть. Правда, свято место тут же будет занято новым проросшим зерном, но уже в другом облике, отчего ушедшему мало проку. Значит, считал Греков, надо восторгаться каждым днем жизни, дышать полной грудью, с трепетом ощущая, как жадно воздух наполняет легкие. А можно философствовать, предчувствуя заключительные аккорды прекрасной симфонии. От этого ничего не изменится, начало все равно соединится с концом. Рондо.

Однако к состоянию покоя предстоит долгий трудный путь. Цветочный дизайнер не сентиментален, но начитан, и в памяти всплывают бессмертные строки забытого поэта Ивана Тхоржевского, кстати, министра землепользования при Столыпине:

Вот уже кончается дорога,
С каждым годом тоньше жизни нить...
Легкой жизни я просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

По привычке Греков прогнал стих в голове несколько раз. Кстати, сам он легкой жизни никогда не искал, даже не представлял, что это такое, его устраивала до изнеможения бурная деятельность, в которой он пребывал постоянно. Вот Нора любила, балагуря, заявлять: «Господи, дай мне жизнь веселую и красивую». Как она умирала, лучше бы никому не видеть.

Старик то ли задумался, то ли задремал, сидя в тени бананов, высокие паруса которых в солнечные дни отбрасывали мягкую тень. Шеренга пирамидальных кипарисов вдоль северной границы участка создавала микроклимат, внушительные площадки разноцветных хризантем отпугивали комаров, облюбовавших ручеек с мелкими рыбешками, искусственные прудики с черепашками и улитками, декоративные водопады.

Из этой зеленой беседки возле дома он часами смотрел на американские секвойи с красно-бурыми стволами, на высоченные веерные пальмы вашингтонии робуста — символ тропиков Аризоны, которые при малейшем дуновении ветерка начинали трепетно перебирать пальцами листьев. Старой маслине вообще триста лет, а дальше на умело распланированном пространстве блаженствовали эвкалипты, бамбук, голубые ели, сосна поникшая. Вокруг заросли мирта и цветы, цветы, цветы, которые так чувственно любила Нора. Индийская сирень, роскошные лилейники соседствовали с аллеей фиолетовых глициний, разнообразие сортов роз и гортензий поражали воображение.

Немного поодаль, на широком травяном поле, стояли теплицы, оборудованные по последнему слову техники. В них наемные работники выращивают цветы на продажу, здесь же можно приобрести готовые растения, рассаду и семена. Все идет нарасхват. Деньги нужны не только для жизни, но и для развития дела, для закупки новых редкостей.

Этими захватывающе интересными процессами он и сейчас порывается руководить, однако усталость отбивает вкус к работе. Однажды к тому, что болит всегда — мышцы и кости, — прибавилось то, что болеть не должно. Значит, пришла пора остановиться. Даже самое хорошее и счастливое имеет конец. Что смог и сумел, воплотил, и, кажется, совсем неплохо. Жизнь как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна, писал Сенека. Так что не стоит сетовать на возраст и спокойно доживать отпущенное Богом.

Взвесив все за и против, Греков окончательно, юридически, передал дело сыну. Вот тогда-то и начались настоящие хвори, терпеливо ожидавшие, когда человек за-

кончит работать и начнет отдыхать. После операции он каждое утро просыпался от дискомфорта во всем теле и думал: завтра лучше не будет, будет только хуже. Это бодрило, и Греков начинал сопротивляться. Контролировал сделки, контракты, заказы, просматривал бухгалтерию. Сын не возражал.

Не привык перечить? Или отец напрасно приписал ему отчуждение и меркантильность, а за вопросом о плане БТИ ничего не стоит? Греков долго вертел спасительную мысль так и эдак, но она не хотела ложиться в предложенную форму. Чтобы отвлечься, надо включить другие темы, которых не счесть.

Ну, например, приверженность идее. Коммунистическая теория общественных отношений, взятая из Библии, прекрасна, а экономическая ошибочна, считал Греков, поэтому в партию не вступил, хотя начальство сильно настаивало: большой руководитель обязан быть членом ведущей и направляющей. А он терпеть не мог врать и выкручиваться, всегда говорил, что думал, отчего испытывал большие неудобства. Но уж какой есть, такой есть. В кого уродился? Наверное, в отца. Матери он не помнил, помнил только, что когда-то, в далеком детстве, был абсолютно счастлив, и это ощущение никогда больше не повторилось, каких бы успехов взрослый Ваня ни достигал.

Или вот — добро и зло. Все зависит от конкретного человека. Если надо, вложи свое, помоги страждущему бескорыстно, а общенародное — неприкосновенно. Теперь же бюджет разворовывается, и не только в Сочи, это система. Когда главным мерилом жизни становится прибыль, можно красть, обманывать и даже убивать. Однако лишать жизни позволительно только на войне, когда либо ты, либо тебя. Так наши парни в русском Донбассе защищают право русских свободно жить на своей земле и говорить на русском языке, а не на украинском диалекте.

Но как это совместить с обывательской повседневностью? Греков почти не включает телевизор, а тут искал новости и напоролся на обширную программу, где солидные дяди и тети обсуждали проблему: соглашаться ли на уколы, чтобы избавиться от лишнего веса? Жрать надо меньше, говорила Плисецкая. Послать бы авторов и режиссеров программы «на передок» хоть на пару часов. Пусть прикинут, как наши воины, вернувшись с фронта домой, смогут приспособиться к этой суетной жизни, полной ничтожных мишеней?

В голове старого дизайнера, не обремененной бытовыми проблемами, бродят разные образы и соображения, они слоняются, толкают и сменяют друг друга, по ночам мешая спать. «Я перестану думать, — говорит он сам с собою, — только когда умру, хотя кто знает, как задумал Создатель. Возможно, именно тогда мысли потекут легко, без запинок и объяснят наконец мне то, о чем при жизни я только смутно догадывался».

Греков успокаивается, вспомнив о принятом за завтраком решении. Воплощение потребует усилий, но нельзя оставлять после себя незавершенные дела.

4.

Ехать с подопечным в Мурманск Дима отказался наотрез:

— Что вы! Ни за какую отдельную награду! У меня практика в больнице начинается!

Греков вроде бы и не удивился, но огорчился: вечная ошибка влюбленных думать, что тебе обязательно отвечают взаимностью.

Илья не скрыл сарказма:

— А чего ты ожидал? Два года платил за учебу, пока перевели на бюджет, обеспечивал бесплатным жильем, едой по высшему классу, и вот благодарность.

Отец поморщился:

— Да все нормально. Не брать же ему академический. За деньги можно ненавидеть, а любят всегда не за что-то. Ладно. У РЖД размах широкий, услуг много, в том числе сопровождение.

До столицы ехали на автомобиле — сын убедил, что так будет лучше. Устроил на заднем сиденье лежачее место и сам вел машину, делая необходимые остановки по заранее составленному графику. Однако к концу пути спина Грекова противно заныла, и вечером второго дня усталый путешественник наконец с облегчением растянулся на полке фирменного поезда Москва—Мурманск.

Он отказался от ужина и лежал неподвижно, чувствуя, что отдыхает не только телом, но и душой. Баюкал размеренный стук колес, качало из стороны в сторону, как, наверное, качало в младенческой люльке, прохладный воздух из потолочного вентилятора и приглушенный свет были приятны. Сознание предвкушало свободу: в этом отгороженном от мира узком пространстве в течение полутора суток время будет принадлежать только ему, Ивану Грекову. Можно читать, дремать, думать, не ожидая раздражающей телефонной трели или звонка в дверь.

С некоторых пор ему стало казаться, что в мелкой, необязательной суете день проходит, а точнее, пролетает, слишком быстро, и всякими уловками старался его растянуть. Ближе к полуночи долго чистил зубы, отфыркивался в душе, аккуратно развешивал на сушилке банное полотенце, не спеша облачался в пижаму, принимал лекарство, внимательно изучал самим же составленную программу действий на завтра, уже у кровати разглаживал ладонью подушку и пристраивал на столик свежую газету и очки. Читал до тех пор, пока не переставал понимать текст, и лишь оставалось без сожаления выключить свет.

В поезде он заснул рано и почти мгновенно. Недодуманные мысли сбились в кучку и смирились. Состав из пятнадцати пассажирских вагонов, не заходя в Санкт-Петербург, несся сквозь тьму прямо на север. Купе люкс спланировано удобно, с отдельным туалетом, что важно: не надо далеко ходить. Греков велел выкупить оба места, но рачительный сочинский сотрудник, которому поручили дело, разузнал обстановку и решил сэкономить, заплатив за одно: ехать осенью на север желающих мало, поезда недогружены, хозяин и так наверняка окажется в одиночестве.

Греков согласился, что нет смысла сорить деньгами, даже если не жалко. Толковую команду он подобрал для своей агрофирмы, умеют ребята вести дела. Кроме профильных специалистов и рабочих, есть многоопытный бухгалтер, прожженный юрист, а еще виртуозный айтишник, который, если нужно, в тишине кабинета показывал боссу, куда тыкать пальцем в ноутбуке или на смартфоне. Свой, по нынешним понятиям, недостаток Греков не демонстрировал, опасаясь быть неправильно понятым. Выучил английский, чтобы беседовать с зарубежными коллегами и читать научные статьи — без этого никуда, а вот тонкости электронной техники были ему не просто неинтересны, но враждебны, поскольку интуитивно непредсказуемы. Он пользовался гаджетами по необходимости, хотя и старые инструменты казались ладно приспособленными к прежним потребностям и скоростям. Просто время резво ускакало вперед и требовало с собой считаться. Так оно никогда не стояло на месте, беззастенчиво заставляя шевелиться живее.

Однако РЖД потому и богатая организация, что умеет не тратить лишнего. Пустые купе, которых большинство в мертвый сезон, заперты на ключ, и касса продает билеты лишь в заявленные. Экономия Грекову вышла боком: утром в Петрозаводске к нему подсела попутчица. Элегантная дама, пальцы в изящных кольцах с мелкими бриллиантами, духи легкие, дорогие. Сдержанная, даже немного зажа-

тая. Поздоровались, поговорили коротко, ни о чем. По тому, как тщательно женщина подбирала слова, Греков решил, что имеет дело с филологом, и вдруг услышал:

— Вот еду от любимого мужа на свидание к нелюбимому любовнику.

Такое можно сказать, когда очень припекло и только человеку, которого больше никогда не увидишь. С Грековым подобное тоже случалось, потому не удивился, спросил осторожно и как бы шутливо:

— Уверены, что я вас не выдам?

Дамочка поджала губы и кивнула в знак согласия:

— У меня глаз наметанный — журналист все-таки. Вот и командировки себе выписываю, когда приспичит. Любовник мой — биолог, точнее, бриолог, изучает мхи и утверждает: ничто не остается неизменным, вопрос лишь во времени, и, между прочим, вопреки привычным ахам и охам, что всё нацелилось в пропасть, по его мнению, это самое всё стремится к лучшему, даже люди с возрастом становятся добрее, мудрее и способнее к общению.

Греков подумал, что вывод банален, женщина права, но она смазлива и привыкла пользоваться своей привлекательностью, поэтому подчиняться не хотелось.

— Сколько себя помню, мой характер не менялся.

Соседка вдруг раскрепостилась и улыбнулась лукаво:

— А седые волоски из бровей пинцетом выдергиваете — хотите выглядеть моложе.

— Откуда вам знать?

— Так по возрасту они должны там быть, а их нет. — Женщина уже и расхохоталась легко, необидно. — Хотите подправить природу? Приветствую!

Она даже в узкие ладошки захлопала.

— Так я в этом направлении всю жизнь работал, — миролюбиво сказал Греков и, сев на своего конька, начал рассказывать про скрещивание цветов, про редкие кустарники и деревья, про парковый дизайн. Прелестная попутчица задавала уточняющие вопросы, и он охотно сообщал подробности.

Проговорили до обеда, обильного, из трех блюд, с десертом и вином в маленьких бутылочках. Языки совсем развязались.

— Муж-то чем не угодил? — поинтересовался Греков.

— Скучно, влечение пропало. Всем хорош, умный, на руках носит, уважает. Только тоска заела.

— По профессии он кто?

— Чиновник.

В купе стал слышен мерный стук колес. Проводник в переднике забрал посуду, и соседка, подкрасив губы, разомкнула тишину:

— А вас что побудило под зиму ехать на край земли? Очень важное, наверно.

Прозвучало сочувственно. Греков размяк.

— В Мурманске я родился и прожил в этих краях двенадцать лет. Где-то далеко, на задворках, память хранит холод, бомбежки, скудную еду, боль нелюбви и неласковость природы. Но потом жизнь моя сложилась удачно, я общался с хорошими людьми и занимался тем, что нравилось, пытался мастерить красоту, которую видел внутренним зрением. Полмира объездил, и вернуться за шестьдесят девятую параллель даже позыва не возникало. Только, знаете, физическое ощущение конца отпущенного тебе времени заставляет о многом задуматься. Вдруг стало любопытно, что я почувствую на севере и почувствую ли как-то иначе, чем раньше. К тому же должок у меня тут зарыт.

Журналистка отреагировала встречным откровением:

— А меня здешняя природа волнует мало. В отпуск езжу на модные курорты, под пальмы, но это не глушит тоски. И муж тут совсем ни при чем. Природа наградила

меня даром художника, но, поварившись немного в этой пропахшей олифой среде, поняла: чтобы добиться воплощения мечты, создать что-то серьезное, оригинальное, надо от многого привычного отречься, уйти в особый, жертвенный мир. И решила — не хочу. Понимаете? Не «не могу», а «не хочу»! Вот и существую без напряга, мотаясь для развлечения к любовнику. Главное, не сойти с ума от мысли, что прожить иначе, ярче уже не получится, повторить ничего нельзя, каждому дается только один шанс. Как вам такая судьба?

— Вы ее сами себе назначили, значит, она вам подходит, а талант ваш, получается, не так велик, чтобы ломать, не спрашивая. Мне доставляло удовольствие за полночь падать в постель от усталости, вам нравится нежиться в шезлонге на пляже. Не худший вариант на сломе эпох. Боюсь, у потомков не будет такого выбора. А вспомните, как красиво все начиналось: шуршащая упаковка, пластмассовые стаканчики, бумажные платочки, потом появились химическая еда, искусственный голос, решения, принятые за тебя. Совсем близко в этом ряду — эрзац любви и рождение детей в отдельной емкости. Это уже конец жизни. Такой, как ее задумал Создатель.

— Вы верите в Бога?

Греков задумался.

— В каком-то смысле — да. Я не верю церкви. Она посредник между мной и Всевышним, а у посредника единственная цель — собственная выгода. Только так. Я на этом собаку съел.

Женщина опять засмеялась:

— И как, вкусно? А я не верю никому. И вам тоже, и себе. Говорят, с концом календаря майя началась перезагрузка цивилизаций. Возможно, мы уже живем в виртуальном мире. И эта картинка за окном, и мы сами — давно лишь иллюзия. Да. Кто бы знал истину. Вы извините, полезу наверх, подремлю, Кандалакша в три часа с копейками.

Журналистка покинула купе ночью, тихо, стараясь не беспокоить. Греков слышал, но притворился спящим, с интересом для себя обнаружив, что вместе с нею ушло женское обаяние и пришло прозрение. «Старый дурак, совсем потерял чутье. Такая пригожая, отзывчивая и такая несчастливая! Кормила меня дешевыми баснями. Да есть ли любовник? Вряд ли. Примитивный прием, когда надо разговорить незнакомого человека. Ну что ж, вполне удалось. Разболтался. Сварганит какую-нибудь дешевую статейку для местных любителей чужого белья. Жаль только, что день пролетел бездарно. Целый божий день!» — с досадой подумал Греков, опять засыпая без усилий.

Пробудился он, наверное, совсем рано: не видно было стрелок на часах, а может, все заволокло мутным туманом, или серые облака отгородили небо от земли. Свет включать не хотелось. Лежал не шевелясь, продолжая слушать стук колес, которые несли вагоны вперед, а мысли назад. Лежал долго, не то чтобы с удовольствием, скорее, с удивлением нащупывая в себе ощущения, отличные от тех, что окружали его долгую южную жизнь. А когда окончательно разлепил веки и поднял наконец шторку, увидел в призрачной дали уходящие за горизонт сопки. Сопки не из снов, а из далекого, почти стершегося из памяти детства. Одна гряда сменяла другую, и несть им конца.

Северную тайгу уже потеснила лесотундра, появились дачки. В половине восьмого состав дернулся и, лязгнув железом, остановился — станция Пулозеро, отсюда, почти до конечного пункта, колея идет по долине Колы. Река не широкая, не глубокая, но щедрая, плодит по пути озера. Река быстрая, смелая и даже веселая, бодро

прыгает по камням, чувствуя блаженную близость устья. Сколько воды утекло с тех пор, как Греков покинул эти места, а река все бежит и бежит, оставляя на дне песок и камни воспоминаний.

Всего через полчаса — Лопарская. Лопарями русские издревле называли саамов, которые прежде составляли основное население полуострова — так объясняли Ване учителя в мурманской школе. А ведь еще вчера он считал, будто названия эти позабыты навсегда. Но нет, топорщатся и тянут за собой другие: Имандра, Гремиха, Териберка, Мурмаши, Кильдин... Только одно — губа Кислая — лежит бездыханно в самом дальнем уголке памяти, он его никогда не тревожил, потому что не представлял, что с ним делать. Но теперь грядут перемены. Состарившийся мальчик Ваня мелко трясет головой: мое бедное сердце, все-то ты знаешь заранее.

Последняя перед Мурманском станция — Кола, здесь главная река сливается с рекой Туломой, и начинается Кольский залив. Еще десять минут поезд идет вдоль залива, мимо огромного шумного морского порта, где в густом окружении портовых кранов, похожих на застывшие шеи жирафов, соседствуют без счета плавучие платформы, причалы, тральщики, буксиры. Слышен скрежет металла, небо барражируют большие белые чайки, возбуждая округу победными криками, и Греков вдруг вспоминает, как на открытии богатого цветочного полотна центральной площади в Сочи мэр города сказал, что фантазия декоратора поднялась так высоко, словно ее подхватила сильная птица. Наконец поезд плавно сбавляет ход и замирает, а сердце инвалида из вагона люкс, завидевшего «сталинскую» башню с часами, начинает биться неровно.

На перроне по заказу бюро услуг, оформленному и оплаченному из Москвы, коляску принял крепкий мужчина, он катит ее перед собой уверенно и быстро — внизу ждет машина, а в путевке стоит адрес престижной гостиницы. От вокзала дорожка ведет на пешеходный мост через железнодорожные пути, откуда открывается панорама города. Заказчик вдруг просит везти его туда, не спешить и вертит головой.

Прямо за морским портом толпятся разновысокие современные строения — дома с плоскими крышами, утыканные глазницами темных окон. Подробностей на расстоянии не разглядеть, но, конечно, главная улица, теперь проспект Ленина, как сказано в путеводителе, и площадь Пять Углов, и П-образный дом, и школа № 2, где училась Муза, никуда не делись, все ждут его там, а сопки по-прежнему сторожат горизонт.

Какие же они милые, эти бывшие горы, ласково поглаженные неведомой гигантской рукой. Это тяжелое, сопротивляющееся льдам море, щедро кормящее всех рыбой. Эти могучие белые птицы, имевшие мужество бороться с остервенелыми ветрами норд-оста и выращивать птенцов на голых камнях. Эти северные сияния, пробуждающие в темных небесах нотку надежды...

Греков вглядывается вдаль до рези в глазах. Так знакомо, так узнаваемо. Так близко и понятно. Неприязнь и обида уходят без остатка. Душа перемалывает прошлое. За полвека боль слежалась, острые углы обмялись, и всему нашлось назначенное место.

К горлу подкатывает запирающий дыхание огромный мягкий ком. Мужчина в коляске невольно потянулся придержать его рукой и почувствовал растекающееся тепло. Как будто кто-то большой, добрый обнял его и прижал к себе. Круг замкнулся.

— Ну, здравствуй, родина, и прости меня, мама. Я вернулся, — прошелестел Греков немыми губами и заплакал.

Дмитрий ДАРИН

РАССКАЗЫ

ЖИВОТНОЕ

Звали их одинаково, но жизнь была разная. Гармонист Васька и кот Васька. Последнему жилось куда лучше: хозяйка Нюра, баба масштабом с печь, кота привечала сметаной и лаской. О муже — почти всегда пьяненьком Василии — такого сказать было нельзя.

— Нюша, у меня веселая профессия, — оправдывался после очередных «гастролей» на свадьбе или гуляньях Василий, — потому я навеселе прихожу. Ну ты чего?

Нюша отпускала кота и брала скалку. Василий, не зная того, повторял стезю древнего Сократа. Если бы они жили в одно время, наверняка бы спелись.

Василий сам-то к рюмке не тянулся — но подносили, не забывали, могли обидеться, если за чье-то очередное здоровье не опрокинет. А обидятся — больше не позовут, а «гастроли» — всегда хлеб. Нюра это понимала, но и другое чуяла: где веселья да пляски, там и девки до другого веселья охочие. Прямых улик не было, но на этот случай профилактика скалкой никогда не помешает.

Вот и в этот раз Василий домой не спешил. Гуляли по-хлебному, драк почти не было, выходили иногда парами за плетень, это и не драка, а так... удаль проверить. Один ухарь был, городской, а в обиду не дался — два раза выходил, два раза один возвращался. Третьего охотника не нашлось. Гармонист — он же не только играет да частушками сыплет, он глаз наметанный на народ имеет, суть человека почти сразу определить способен. Кто ест жадно да в тарелку соседа поглядывает. Ясный перец, прижимистый мужик, хозяйство крепкое, но деньги в чужом кармане любит считать. Таких на селе не жалуют, общаются больше по нужде какой, не для сердца. Кто, наоборот, к последнему куску не поспевает, да досады не обнаруживает — легкий человек, как и он сам. Без очереди не полезет, но и чего-то важного не добудет. Бабы по молодости таких любят, но потом тюкают до невозможности. Как и его Нюрка. Вон этот бахвалится, бахвалится, как говорится — молодец супротив овец, а против молодца и сам овца. А тот чуть не плачет с какого-то горя, а приглядишься — не горюет мужик, а с заезжей гостьи слезу выжимает, чтоб по-своему, по-бабьи пожалела. Ну, баба — дура, оно понятно, потому часто такое проходит. Только не в этот раз, бабочка обжегшаяся попалась, всхлипам не очень-то поверила, пересела к городскому.

Ну, как бы там ни было, а положенное отгуляли, отплясали, и побрел Василий до хаты с трехрядкой своей верной. Месяц серебрил ему дорогу, запленкал дальний

Дмитрий Александрович Дарин родился в Ленинграде в 1964 году. Член Союза писателей России, ЛНР и ДНР, член Союза журналистов России, лауреат многих литературных и музыкальных премий. Автор 11 поэтических сборников и трех книг прозы («Русский лабиринт», «Синдром бабочки», «Рассказы о нас»). На стихи автора написано более 200 произведений академической и популярной музыки. Действительный член Петровской академии наук и искусств, Российского военно-исторического общества.

соловей, духмяный ветер ласкал душу. Было так хорошо, что Василий даже не удивился, когда увидел посреди тропы коня. Масть в сиреневых сумерках уже была неразличима, но, наверное, вороной. Конь приветственно фыркнул и мотнул головой.

— Ну ты чего? — ласково ответил Василий. — Заблудился, что ль?

Конь снова фыркнул.

— А, гуляешь... — понял Василий и вдруг неожиданно предложил: — А хочешь, я тебе сыграю?

Конь подошел ближе и с шумом втянул воздух.

— Что ты, как Нюрка, меня обнюхиваешь? Я почти трезвый. Вот слушай лучше.

Василий накинул ремни, растянул меха и тихо повел:

Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
Только слышно: на улице где-то
Одинокая бродит гармонь.

Конь внимательно слушал, наклонив красивую густогривую голову.

— Не, — оборвал Василий, — слезливо че-то. Вот про тебя, слушай!

Ой, при лужку, при лужке,
При широком поле,
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.
При знакомом табуне
Конь гулял на воле.
Эй, ты, гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не споймаю.
Как споймаю, зануздаю
Шелковой уздою...

Конь всхрапнул, понял про узду.

Василий допел, помолчал.

— Вот ты кто? Конь. Животное. А я кто? Человек. А мне с тобою лучше, чем с другими человеками. Отчего так?

Конь переступил с ноги на ногу и помотал головой.

— Не знаешь, — вздохнул Василий. — А я знаю. Ты вот животное, а людей понимаешь. А люди людей не понимают, хотя языком одним говорят. Василий закинул гармошку за плечо, потрепал коня за ушами и пошел дальше, не оглядываясь. Шума копыт не услышал, значит, конь так и остался стоять на месте, глядя вслед случайному приятелю с музыкой.

Лай на околице сразу показался знакомым. Точно — общепоселковый пес Гуталин. Названный по какой-то особенной черноте шерсти, ночью он был неразличим даже на фоне неба. Но душа у пса была точно белая, ласковая. С бродячими собаками не знался, кормился по домам — имел подход к хозяевам, к тем, у кого своего пса не было. Конечно, дворовые собаки Гуталина недолюбливали и на порог не пускали: их хлеб отнимал. Василий полез в карман за какой-нибудь колбаской или конфеткой, но рука нащупала чекушку. Вытащил с изумлением — точно она, чуть початая, не иначе, в дорогу кто-то сунул. Нести ее домой было бы верхом непредусмотрительности.

— Скажи мне, Гуталин, — Василий вытер руки рукавом и им же занюхал, — ты вот жи-вот-но-е, так?

Гуталин не возражал, наоборот, потерся о колено.

— Вот я и говорю. Животное, хотя разум имеешь. И побольше, чем у иных... особливо баб. А они вот, особливо бабы, ни хрена в голове не имеют, одна дурь да туман. И скажи мне теперь, как они красоту-то, — Василий указал куда-то в темную

даль, — красоту, говорю, как понимают? Как могут-то понять... а... не могут. А я могу. И ты можешь. Хотя и животное, а понимание в тебе имеется.

В подтверждение этих слов Гуталин откровенно понюхал карман пиджака — что там ведь должно быть вкусное — давай доставай, если человек. Василий погладил Гуталина, вздохнул.

— Нема закусона, неужто бы не поделился. Видишь, в дорогу чекушку дали, и то сейчас кончится. Жаль, ты непьющий, и беленькой бы последней с тобой поделился. И с конем... Вот Нюрка моя тоже не пьет, а хрен бы я ей закуску отдал, — не совсем логично заключил Василий и опрокинул в рот последнее. Гуталин сочувственно поскулил и слился с темнотой. Василий посмотрел на небо — яркие звезды подбадривающе подмигивали лисьими глазами, мол, ничего обойдется, жизнь — штука всякая.

Василий почему-то подошел не к дверям, а к окну. Хотя ясно почему: на подоконнике, поджав лапы под себя, между двумя горшками с геранью возлегал его удачливый тезка — рыжий кот Васька. Васька с сытым добродушием смотрел на хозяина — можно, дескать, и погладить. Василий так и сделал, кот зажмурился, привстал на лапы и выгнул спину.

— Васька, Васька... животинка, а соображаешь... и как сытым быть, и довольным быть... а я вот... ну ты чего?

Кот вдруг забеспокоился и спрыгнул с подоконника в дом. Через мгновение оконный проем заслонили Нюрины плечи — в саду сразу потемнело.

— Ты где шляешься, скотина?! Опять нажрался, свинья?! Ни шагу на порог, иди проспись на сеновал, животное ты паскудное, алкаш никудышный!

— Нюша, ну ты чего? Почему сразу животное-то? Я ж немного... и чекушки не принял, — немного скривил против истины Василий, но кривизна не вывезла.

Василий еще некоторое время слышал в спину проклятия жены, потом как-то все стихло, Нюра закрыла окно. Сеновал обдал душистым теплом, и сейчас конь был бы тут кстати. Василий положил голову на гармонику и сразу же заснул, не стянув сапог. Месяц заглянул в прореху на крыше, улыбнулся щербатым ртом и подкинул золотистой соломы из своего небесного гумна.

ФУЗИЛЛИ

Андрей Павловский был вундеркиндом. Самым настоящим. Музыка была его единственным воздухом с детства. Деревенский воздух соткан из живой музыки, не то что городской, сработанный из лязга и чада. Но и деревенскую музыку не каждый услышит: нужен впитывающий слух, а не отражающий, как у обычных людей. У Андрея был именно такой: в птичьем хоре он слышал симфонии, в заливистом брехе собак — кантаты и даже в мычании коров различал мелодии. И голос у Андрея с детства был высоким, звонким, чистым, как вода лесного ручья. Такие люди до седин верят в душе, что солнце всходит исключительно по приказу разноцветных петухов.

Мать и радовалась, и боялась: талант на диво, но талантам на Руси сложно. Иногда даже опасно: не любят у нас поцелованных Богом, словно видят в себе, нецелованных, ущербность какую-то. В детстве дразнят, в деревне и побить могут, так, ни за что вроде. Андрея, правда, несмотря на тонкость лица и худощавость фигуры, не трогали — он часто пел в деревенском клубе и даже в районном Доме культуры, известность охраняла, но и в обычные мальчишеские дела не звали. А когда повзрослеет такой — неприкаянным ходит, полуголодным да униженным — не считают за умного человека, умный-то реальным делом занят, деньгу зашибает, должность

добывает, крутится, одним словом. А такому в спину с ехидцей бросят: «артист», хорошо, если у виска не покрутят. После смерти, правда, уважают больше.

— Не шел бы ты в музыканты, — сетовала мудрая мать. — Деревенские мы, отец тракторист, я библиотекарь, маленькие люди. Мы в обслуге надежней проживем, большие-то люди всегда чем-то замараны, и ты от них замараешься.

Андрей по нежности души не спорил, но в глазах зажигалось что-то грозовое.

Музыкант в чем-то тоже обслуга, но обслуживать хотелось только народ, а не каких-то «больших» людей из города. Да и разве может быть счастлив человек, живущий не по призванию?

Пение в районном ДК помогло: районные власти написали ходатайство, и парнишку без натуги приняли в музыкальное училище при Государственной академии музыки. Путь был определен. Редко кому удается встать на свой путь с первого же шага, и это был тот самый случай. Люди в поисках призвания меняют подчас до десятка профессий, Андрея призвание нашло само и сразу. Нашло и вело, они были верны друг другу, поэтому ни обязательный кропотливый и упорный труд до кровавого пота, ни первые медальные успехи их не разлучили.

В девятнадцать лет он уже учился в знаменитой Гнесинке. К тридцати годам в музыкальном мире Андрея уже называли по отчеству — Андрей Иванович.

Но уважение в одном мире не гарантирует уважения в другом. Организация концертов или выпуск диска при либерально-торговом строе невозможна без денег, то есть спонсоров. А когда ты не дешевая попса, которой кормят население, а серьезный музыкант-народник с дирижерским образованием, то под твою музыку нужно плакать и радоваться, а не забываться в отупляющем веселье. Искусство продается хуже, чем развлечение, увы, такова человеческая природа, и дельцы это знают. Вот государство почему-то забывает об этом, и многим музыкантам приходится добывать деньги самим.

Со спонсором Николаем Петровичем Н., владельцем крупного отеля, Андрея свел общий знакомый импресарио. Встреча тет-а-тет переносилась несколько раз ввиду командировок одного и гастролей другого, но наконец-то состоялась. В ресторане того самого отеля, которым владел Николай Петрович.

— Андрей, погоди пару минут, улетаю вечером в Сибирь, а куртку дома оставил, — Николай Петрович зашел в бутик по соседству с рестораном. Андрей зашел вслед. Николай Петрович действительно уложился в две минуты — продавщицы летали, не касаясь пола, принесли на выбор несколько курток самых известных мировых брендов, Николай Петрович ткнул в одну за полмиллиона рублей, поднес карту, нажал цифры ПИН-кода, и они вышли. Куртку в фирменном пакете принесли за столик одновременно с меню.

— Ну, так что у тебя? — не отрывая глаз от меню, спросил Николай Петрович. — Херес будешь?

Андрей не пробовал в жизни даже вина и, рискуя обидеть, отказался.

— Была бы честь предложена, — буркнул хозяин отеля, — мне вот это, это и херес.

Официантка, стоявшая все время у столика, улыбнулась самой начищенной улыбкой и пошла исполнять. Отказавшись от хереса, Андрей уже не стал открывать меню, хотя голод уже подкручивал желудок. Будет ли он что-нибудь из еды, его так и не спросили.

— Ну, так что у тебя? — повторил вопрос Николай Петрович, уже глядя в глаза.

— У меня диск. Пятнадцать моих произведений с оркестром на стихи разных поэтов: Есенина, Рубцова, Гумилева...

— Этот, Гунилев, из современных, что ли?

Андрей знал, что усмехаться нельзя. Поэтому ответил с некоторой задержкой.

— Нет, Серебряный век.

— А... а вот у нас теперь золотой. Только золото тускнеет — посетителей все меньше, а капризов все больше.

— Ваше фузилли. — Официантка споро сгружала с подноса изящные тарелки, чуть ли не работы Кузнецова. Андрей по инерции проследил взглядом — загадочное фузилли оказалось обычными макаронными рожками.

— Точно не голодный? За мой счет. — По-своему истолковал взгляд Андрея потенциальный спонсор.

— Нет, спасибо, я не голоден.

Николай Петрович ловко заработал вилкой и ножом. Ел он вполне культурно, разве что быстро, наспех. Андрей пожалел, что не заказал хотя бы воды — были бы заняты руки, хотя бы одна. Так он не знал, куда их деть — то ли держать на коленях, то ли положить на стол, как школьник на парту. Фузилли было поглощено за три минуты, потом что-то еще, и, наконец, Николай Петрович начал вкушать херес — уже медленно, по глоточку.

— Зря отказался, отменный «Tio Rio». Испанский, настоящий, дорогой. И вкусный. Когда был первый раз в Испании туристом, пристрастился, теперь напрямую мне поставляют. Так что у тебя?

Андрей извинительно улыбнулся, мол, не пью даже вкусный.

— У меня диск. Оркестровки нужно прописать, записать на студии, свести... оркестр, репетиции...

— Сколько?

— Тридцать пять — сорок человек в оркестре...

— Сколько денег?

— Мне сильно идут навстречу. Так что уложусь в сто тысяч, хотя при обычных обстоятельствах такой диск вышел бы в два-три раза дороже.

«Примерно в половину твоей новой куртки, — договорил Андрей, но уже про себя. — А так в капюшон уложусь».

— Сто тысяч... — Николай Петрович запил цифру очередным глотком своего «Tio Rio». — сейчас трудные времена, Андриян. Рекламный бюджет на этот год давно перерасходован.

— Но это же не реклама. Вернее, реклама тоже — бренд вашего отеля будет на всей полиграфии. И на афишах концерта в поддержку диска тоже будет реклама, какая захотите.

— А сколько ты дисков планируешь продать?

Андрей пожал плечами.

— В основном предполагается раздавать публике бесплатно на концертах.

— А сколько будет этой твоей публики? Скажем, за год?

Андрей снова пожал плечами.

— Тысяч десять-пятнадцать. Может, и больше. Это по минимуму.

Николай Петрович снова отхлебнул хереса и зажмурился от удовольствия.

Разжмурившись, он в упор уставился на Андрея.

— Денег я тебе не дам. Непроизводительные расходы. Что мне пятнадцать тысяч нищебродов, которые придут тебя слушать. Они же сюда не придут фузилли кушать, я уж не говорю, чтобы номер снять, хотя бы на одну ночь для любовных утех. Могу дать тебе платиновую карту в этот ресторан, будешь весь год бесплатно фузилли трескать. Вкусная вещь, я тебе скажу, зря отказался.

Андрей, стараясь, чтоб это не показалось вызывающим, вздохнул. Он где-то у современного поэта нашел фразу «Душа купца — в его мошне». Речь в исторической

поэме шла о временах Иоанна Грозного, но, видимо, времена на Руси не меняются, только декорации.

Смотри на богача без зависти, и ты лишишь его половины богатства. Андрей так и смотрел, еще и с жалостью, но Николай Петрович пока не беднел.

— А знаешь, почему не дам?

Андрею осталось еще раз пожать плечами.

— Вот ты думаешь, что занимаешься высшим делом, искусством там, Гунилевыми всякими, а мы тут черви в грязи, и нам все это искусство твое не доступно.

Андрей хотел было возразить, но Николай Петрович остановил.

— Да, Андриян, не возражай, знаю я вашего брата артиста. Ты пойми, есть два рода людей — кто ищет золото, и те, кто продает им лопаты. Вот последние и правят бал, независимо, есть здесь золото или нет. А все думают, что наоборот. А твое золото сомнительно, да и дела мне до него нет. А лопату — купи!

Андрей решил попробовать еще раз. Хотя знал, что если надо объяснять, то не надо объяснять.

— Но ведь настоящее искусство, не попса, и не должно широко продаваться. Это не золото в смысле богатства, это золото для душ человеческих. И оно не должно быть доступно, но оно должно быть понятно. Ведь ваш успех в бизнесе тоже далеко не всем доступен. Но результат понятен. Даже нагляден. — Андрей обрисовал рукой окружающее пространство. — А меценатство — тоже золото, только для собственной души. Да, это не бизнес, но и не милостыня. Это... это скрытый смысл вашего бизнеса и вашей жизни, может быть. Фузилли не для желудка, а для ума и сердца. А если не для сердца, то это просто макароны, как красиво ни назови.

— Эй, официант!

Николай Петрович прищелкнул пальцами, давешняя официантка выросла перед ним, как Сивка-бурка перед Иванушкой.

— Повтори-ка, голуба, еще фузилли для желудка. И хереса повтори, для души, столько же.

Андрей понял, что пора прощаться. Николай Петрович, однако, уловил это намерение и снова остановил.

— Золото для души... красиво сказал. Но любое золото имеет цену. А по большому счету — и душа. Ты думаешь, можно вести большой бизнес, не заложив душу? Нельзя, братец, никак нельзя. И те, на кого ты намекаешь, типа Саввы Морозова, просто откупались от такого заклада. И сами понимали, что зря. Ничего у них не вышло, откупиться не вышло. Так зачем деньги на воздух пускать? Тебе дам, другой попросит. А чем тот другой хуже тебя? Тоже о душе начнет втирать. Запомни: я не спонсор, я — бизнесмен. Короче, придумаешь, чем сможешь соответствовать, звони, телефон у тебя есть.

В проходе между столиками Андрей чуть не столкнулся со спешащей к Николаю Петровичу официанткой. Он ее не задел, но, уклоняясь, девушка уронила поднос. По ресторанному ковру рассыпались любимые недоспонсором рожки. «Загубили все фузилли», — усмехнулся Андрей и вышел на улицу. Есть расхотелось.

ЗНАК

Фома, в отличие от своего библейского тезки, был верующим. В принципе. Не то чтобы совсем воцерковленным, совсем не то чтобы безгрешным и тем более несуеверным. Но кто из несуеверных спокойно первым пересечет незримую линию, проведенную лапами черной кошки, рванувшей вдруг наперерез?

Вот и сейчас Фома, возвращавшийся с дачи в город, непроизвольно нажал на тормоз на узкой деревенской дороге — черная хвостатая тварь с непостижимым достоинством перешла дорогу прямо перед колесами его «пижона», как в народе окрестили французскую иномарку «пежо».

— Вот уж кто точно пижон, так это ты, котяра! — Фома проводил взглядом черного, как тюремная ночь, наглеца, который, будто специально, разлегся на тротуаре.

Фома не сидел и не собирался, но представить мог. Воображение у него было художественное, хотя не по профессии — работал он в техподдержке одного известного онлайн-магазина, какое уж там воображение. Претензии покупателей были одна другой тупее, догадаться написать в чат мог один из десяти, а до специальных инструкций по типовым вопросам вообще никто не опускался. Ну хоть прямого контакта с этим потребительским стадом не было, а то бы нервы износились, как покрышки от неровной езды.

Прохожих, как назло, не было, других машин тоже. Фома стоял на месте: пересекать первому мистическую черту отчего-то не хотелось. То ли воображение рисовало в подсознании что-то подозрительное, то ли просто не хотелось так уж спешить к этой странной женщине Алине, то ли просто пришла пора постоять в жизни на месте. А скорее всего, все вместе.

Алина постоянно нигде не работала, но активно устраивалась на всевозможные работы — от референта и личного помощника до редактора издательства, — упирая на незаконченное полиграфическое образование. При этом она была, как выражается молодежь, зумеры, как она же себя называет, что-то среднее между дурцинеей и росомахой, а если нормальными словами — с причудами. Саму Алину уже никак с ее тридцатником к зумерам отнести было нельзя, но лексикон шел оттуда. Фома не всегда ее понимал, фразы типа «Хотела пофлексить фотками с пляжа, да как-то не зефирно вышло, завайпю всю на фиг» переводило на нормальный русский только догадливое воображение. По-женски она была привлекательна, некоторая неразборчивость в одежде и часто растрепанные каштановые волосы придавали привлекательности еще и умилительный оттенок, хотя плохо влияли на кадровиков. Глаза были под цвет волос и красивыми, когда останавливались на собеседнике. Это случалось нечасто — Алинины глаза вместе с душой постоянно сканировали Вселенную. К этому можно было привыкнуть, и Фома сошелся бы с ней надолго, хоть и был для нее в тридцать пять лет уже олдом и бумером (старик — молодеж.), даже перевез бы к себе жить, если бы не один токсичный прибабах: Алина во всем видела знаки свыше.

— Не, ну прикинь, бэсти (лучший друг — молодеж.), — трещала Алина в смартфон, — сижу с одним челом в баре, подходит официант, душный такой, зовут Алик, пиво сквозь зубы предлагает, сорта не комментит. Ну, мы попросили другого — так прикинь, подходит бикса, а на плоских сиськах табличка — Инна. Сложить — что получается? Правильно — Алина. Ну, реальный кринж (ситуация неловкости, дискомфорта — молодеж.), так я не стала заказа ждать, свалила. Ясно же, что в этой точке ничего хорошего не получишь.

Это был первый случай, но он запомнился как раз потому, что Фома захаживал в этот бар именно из-за отменного пива.

Дальше шло, как говорят бухгалтеры, нарастающим итогом. Как-то у Алины перед очередным собеседованием остановились часы — и началась истерика.

— Часы не идут, хотя почти новые, понимаешь! — верещала Алина, вращая глазами. — Это плохая примета, значит, я остановилась в развитии, понимаешь! Никакого карьерного роста там не будет, а мне очень хотелось на ту работу, понимаешь ты или нет?

Фома про работу понимал, про часы — не очень. Обычные новомодные смарт-часы со стразами — после замены батарейки и выставления времени оно, то есть время, потекло своим обычным порядком. Но на Алину это не повлияло — на собеседование она не пошла и вообще проплакала полдня. Исправили дело только заказанная пицца и пару энергетиков.

То, что они не пошли на какой-то рок-концерт из-за случайно упавшей их совместной фотографии, уже не удивило.

— Это знак! Это недобрый знак, понимаешь ты? Овердофига (в большой степени — молодеж.) недобрый! Если мы выйдем из дома, то можем сильно поссориться!

Фома хотел на концерт, но не хотел идти один, хотя билеты обошлись ему в копеечку. В тот вечер Алина вполне компенсировала рок в клубе рок-н-роллом в постели, но было не до конца понятно, почему одно не могло совместиться с другим.

И так все время. Алина никогда не убиралась в квартире и не выносила мусор по вечерам, никогда не стирала по воскресеньям, не сметала со стола крошки в руку, не подшивала джинсы или блузку на себе и обувалась только с правой ноги. А неодетую обувь не ленилась расставлять носками врозь. Это оставалось бы милыми суевериями, если бы Алина неукоснительно не требовала бы того же от Фомы.

— Брось ты эти предрассудки, — не раз увещевал Фома, — этого даже церковь не одобряет.

Стихийный агностик Алина останавливала глаза, которые сразу наполнялись злой слезой.

— Ты меня не любишь ни капли, ты меня харасишь (мучаешь — молодеж.)! Какой ты бэсти после этого! А я думала, что ты соулмейт (родственная душа — молодеж.)! А ты токсик, и все!

Фома вытирал свой лоб, потом Алинины глаза. Все утрясалось, как обычно — в постели.

Но вот последний случай утрясти не удалось. Вернувшись вечером из гостей, куда Алина не пошла из-за плохого знака — где-то обронила сережку с левого уха, — Фома застал подругу одетой во все черное, включая платок на забывшей расческу голове.

— Ты чего это? Умер кто?

Алина страшно повращала глазами.

— Это я... почти... скоро...

Фома наморщил лоб — из зумерского лексикона в памяти всплыло словечко «криповый» (ужасный, жуткий, пугающий — молодеж.).

— Ты как-то это... крипово выглядишь. Что случилось-то, тебе плохо?

Алина уперлась глазами в Фому, словно двустволкой. Фома даже поежился.

— Искала проклятую сережку весь день — всю халупу облазила — нету нигде. А эти сережки мне подарила тетя Капа из Кингисеппа!

Фома сдержался, чтобы не пожать плечами.

После зловещей паузы и снова водя глазами по высшим сферам, Алина выдала суть:

— Она покойница. Рили (действительно — молодеж.) померла уже, понимаешь? Реально, крипота!

Фома выдохнул.

— Мои соболезнования.

— Да она давно померла, но раз ее сережка пропала, когда я спала, значит, она ее взяла. Меня так к себе зовет! А я во сне падала и падала в какой-то скользкий овраг! Это — знак!

Фома не рискнул что-то говорить, просто начал сдвигать кровать и кресла, ясно же, что украшение закатилось куда-то, куда взгляд просто так не достанет. Ничего не блеснуло.

— Я на диване спала, — глухо сообщила Алина.

Фома встал в позу Семена Семеновича Горбункова, «потерявшего» запонку на спецзадании в отеле «Атлантик».

Но заглянуть за диван не удалось — на него плюхнулась Алина с блуждающей улыбкой.

— Я поняла! Я знаю, что делать! Нужно немедленно вернуть тете Капе вторую сережку! Тогда она успокоится и отстанет!

Фома отряхнул колени.

— Как вернуть? На тот свет слетать на выходные?

Алина снова помрачнела.

— Ну ты слоупок (долго соображающий, недалекий человек — молодеж.)! Я сейчас же еду на вокзал и первым поездом — в Кингисепп! Я знаю кладбище и ее участок — положу сережку на могилу тете Капе. Тогда снова все ништяк! Го (пойдем, здесь — поехали; молодеж.) со мной!

Фома покачал головой: мчаться в Ленинградскую область к покойной тете Капе как-то не хотелось.

— У меня работа, между прочим. Да и найду я твою сережку, здесь где-то. Ты же не выходила никуда?

— Не выходила. Но это знак! ЗНАК!

Алина затряслась в предрыдальной фазе, схватила холщовый мешок, служивший ей дамской сумочкой, и выбежала на лестничную площадку.

Через день она уже весело щебетала в телефон, о том, как все удачно сложилось, и как она услышала крик какой-то птицы слева, и, почти заблудившись на кладбище, повернула в первую левую аллею, и сразу увидела могилу тети, и это, конечно, был знак, а птица была сама тетя Капа, вернее, ее дух, который подсказал дорогу. Сережку она для верности завернула в пакетик, а пакетик придавила камнем, который, как специально, валялся рядом с плитой. Фома не стал сообщать, что нашел потерявшуюся сережку в вазе с конфетами. Помогло то же воображение: нужно было искать там, где труднее всего представить. Или в похожей среде. Как говорится, прячьте дерево в лесу. Но Фома ничего не сказал. Если кому-то легче с потерями, зачем расстраивать находками?

Улица, как назло, опустила совсем: никто не шел и не ехал ни в том, ни в другом направлении. Роковая черта оставалась никем не пересеченной, даже кошек других цветов не наблюдалось. Хвостатая причина остановки беззастенчиво вылизывала лапу, надменно поглядывая на «пижона».

«Это верный знак!» — подумал Фома, опустил стекло, швырнул злосчастные полподарка покойной тети Капы в черного кота, наконец-то хоть от чего-то напрягшегося, и развернул машину. Мириться расхотелось. Даже в постели.

Свои вещи он забрал от Алины на следующей неделе, во вторник. И ведь, действительно, не в понедельник же заниматься таким неприятным делом, связанным со слезным женским безумием. Тем более с утра накрапывал слепой дождик — под солнце. А это, говорят, к удаче.

Александр МЕЛИХОВ

ЛОЖЕ И СТАНОК

Рассказ

Типы: С подъемным механизмом, Без подъемного механизма, Мягкие, Каркасные, С ящиками, С мягким изголовьем, Без изножья, С изножьем, На ножках.

Когда мой сынишка был совсем маленький, он всегда забирался плакать в свою кроватку: там, за деревянной решеткой, он, видимо, чувствовал себя в большей безопасности. И когда у него что-нибудь болело, он забирался туда же: он понимал миссию спального ложа лучше, чем ее сегодня понимаю я.

Или мы все?

Я своего детского спального места совершенно не помню, хотя вся наша хибара годы и годы так отчетливо стояла перед глазами, что я не мог не протащить ее в изящную литературу.

На восьмиметровой кухне сквозь чугунные трещины дышала вулканическим огнем плита, сосредоточенно клокотало белье в баке, царственными облаками расходился пар, впятеро утолщая и искривляя стекла и стекая с подоконников по старому чулку в чекушку, жалась к полу кованая дедушкина койка, на которой дедушка роскошествовал, как богдыхан, подставив под ноги специальный деревянный ящик (койка была коротковата), перегородив им выход в сенцы.

Он задумчиво, словно пробуя некие воздушные аккорды, перебирал пальцами белой босой ноги, которой в любой миг мог ухватить тебя за бок. В пятнадцатиметровой комнате всем тоже хватало места: вечером начинали раскладывать на полу матрацы, мы с братом немедленно бросались кувыркаться, а когда появилась тугая, как барабан, защитная, как плащ-палатка, раскладушка, мы с ним до драки сражались за право спать на ней. Папа объяснил, что изголовье у раскладушки следует поднимать ровно на два зубца: один — слишком низко, а три — слишком высоко, и ни при какой другой установке я и поныне заснуть не могу.

Правда, иногда на меня находил какой-то стих, и я просил обставить раскладушку стульями, чтобы почувствовать себя отчасти в пещере. Иногда, с той же целью, за-

---

Александр Мотелевич Мелихов родился в 1947 году в городе Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, главный редактор журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Лауреат многочисленных литературных премий, в том числе премий им. Искандера (2022), правительства Санкт-Петербурга (2006, 2023), «Книга года» (2023) и Царскосельской премии за роман «Сапфировый альбатрос», премии им. Гончарова за роман «Тризна» (2023), премии «Неистовый Виссарион» за вклад в развитие критической мысли (2024), премии «Литература без границ» за роман «Испепеленный».

бирался под стол и завешивался скатертью: у всех детей временами возникает мечта о каком-то убежище, непременно маленьком, тайном и укрытом со всех сторон. И очень долго, уже взрослым, я старался спать лицом поближе к стене — где-то в подсознании, стало быть, еще жила мечта о безопасной норке. Правильная, заметьте, мечта!

Я уже пытался увековечить и немолодую супружескую пару, в молодости помыкавшуюся по стройкам коммунизма, а под старость лет вышедшую в новые русские. И оказалось, что в огромной спальне новоиспеченной и непропеченной миллионерше никак не заснуть, хотя в молодости ей случалось спать и среди чистого поля: казалось, замкнутый простор спальни таит какую-то опасность. В конце концов она велела поставить кушетку в чулане, площадью примерно с «тещину комнату» в их утраченной «распашонке», и блаженный сон снова начал слетать на ее вежды, стоило их ей сомкнуть.

Примерно в те же судьбоносные годы мне случилось пожить в съемной хрущевке у молодого человека, который еще только грезил о собственном особняке, но в предвкушении будущих роскошеств уже обзавелся кроватью, полностью покрывшей все небогатое пространство советской спаленки. На спинке черного дерева резвились купидоны, но сойти с кровати было некуда, ты всюду утыкался в стену — приходилось вставать, балансируя на поющих пружинах, добираться до двери и спрыгивать прямо в соседнюю комнату. При всей огромности кровати ни один из спящих не мог выбраться наружу, не разбудив другого.

Но кровать и не выглядела утилитарным предметом — она служила скорее алтарем.

Что для меня, впрочем, не было новостью: когда-то в нашей халупе бабушкина кровать тоже смотрелась священным предметом. Хоть я тогда еще и не знал этого слова, но почтение, которое она мне внушала, граничило с благоговением.

Казалось бы, что может быть естественнее — попрыгать на ее пружинах, когда тебя никто не видит, — но мне такое кощунство даже не приходило в голову. А между тем когда со сломанной ногой я добрался до больничной пружинной кровати, я немедленно начал скакать на ней даже в гипсе! И когда соседи по палате начинали меня ругать, что я растягиваю пружины, я мрачно бурчал: «Они не ваши, а государственные». Прыгать же на бабушкиной кровати мне именно что не приходило в голову: мировой порядок хранят не запреты, а святыни.

Во-первых, углы алтаря были увенчаны сияющими шарами, — как я был уверен, серебряными, — настолько неузнаваемо уродовавшими твое отражение, что это казалось чем-то вроде кары за чрезмерно наглое к ним приближение. Во-вторых же, покрывало алтаря сияло белизной и было обрамлено сквозными узорами, которые, как я недавно узнал, называются мережкой. Такая же мережка очерчивала в середине покрывала большой — я тогда еще не знал слова ромб, но бубновый туз мне был уже знаком. Так вот, сквозная граница туза сияла алым атласом ватного одеяла, а макушка туза упиралась в подножие пирамиды ровно из трех подушек: первая огромная, вторая средняя, а третья, самая маленькая, именовалась думкой. Почему думкой, сказать не берусь — никто о ней не думал, а тем более она сама.

Подушки были облачены в такие же белоснежные наволочки с мережками, но главная их ценность была в том, что они были набиты чистейшим пухом, из которого годами отсеивались колючие перьевые примеси. Да-да, вы не ослышались, годами. Спасаясь от последствий коллективизации, потеряв дом и кузню, дедушкино-бабушкино семейство скиталось по стране в поисках лучшей доли, которой в ту героическую пору считалась возможность не загреметь в ссылку и не помереть от голода. И это им удалось, отчего они до конца своих дней считали себя удачни-

ками и счастливцами; правильно говорил главный российский почвенник граф Толстой: народ нигде не стонет, это либералы повыдумывали. Так вот, единственное, с чем бабушка не расставалась в этих странствиях, были подушки. Бабушка возила их с собой из края в край и на каждом новом месте их высыпала, перебирала и сушила. И так лет двадцать-тридцать.

Поэтому я нисколько не удивлялся, что в бажовском «Синюшкином колодце» столь серьезно говорится о перьевом наследстве: «Она, видишь, эта бабка, хитрая была — по улицам перья собирала, подушку внучку готовила, да не успела. Как пришло время умирать, позвала бабка Лукерья внука и говорит:

— Гляди-ка, друг Илюшенька, сколь твоя бабка пера накопила! Чуть не полное решето! Да и перышки какие! Одно к одному — мелконькие да пестренькие, глядеть любо! Прими в поминок — пригодится! Как женишься да принесет жена подушку, тебе и не зазорно будет: не в диковинку-де мне — свои перышки есть, еще от бабки остались. Только ты за этим не гонись, за подушкой-то! Принесет — ладно, не принесет — не тужи».

Моя бабушка и мне вполне могла бы что-то подобное сказать. Только я бы наверняка пропустил эту мудрость мимо ушей. В университетской общаге подушки были ватные, тощие, слежавшиеся, но меня они вполне устраивали — просто надо было складывать их вдвое, а лучшее снотворное, как известно, чистая совесть: заплати налоги и спи спокойно.

Зато кровати в общаге были пружинные! Можно было прыгать сколько влезет, но, как говорит еврейская пословица, Бог дает человеку штаны, когда у него уже нет задницы.

Кровати эти еще и обладали свойством прачечной. Носили мы все тогда немаркие ковбойки, но иногда даже они занашивались до такой степени, что, однажды неосторожно взглянув на воротник, ты вдруг чувствовал, что надеть ее больше не в силах. Тогда ты бросал ее под кровать и натягивал новую. А когда и с новой происходило то же самое, ты доставал из-под кровати старую, и оказывалось, что за эти недели она превратилась во вполне носкую. Я до сих пор подумываю, не запатентовать ли этот метод.

В Китае гремела культурная революция, на Западе сексуальная, а мы по-евразийски объединили их обе: предавались сладким таинствам любви свободно, но культурно — просили дружков удалиться на часок-другой, и зримые свидетельства утраченной невинности открывались одной лишь бельевщице. Или ее звали кастелянша? Неважно, важно, что пружинное ложе было для любви совершенно не приспособлено: оно прогибалось чуть ли не до паркета, да еще и норовило войти в резонанс. Такая вот неуместная отзывчивость. Хотя всякий третий тут был совершенно лишним.

Однако с нами в комнате жил бывалый парняга, прошедший армию и флот, который приводил свою даму сердца (впрочем, при чем здесь сердце?) по ночам: он считал, что умеет предаваться любовным утехам совершенно беззвучно. Но какое может быть беззвучие, когда все уши настроены на единую волну!

Понемногу нам надоело это в чужом пиру похмелье, мы собрали по всей общаге пустые консервные банки и бутылки, которых там валялось превеликое множество, и, наверно, битый час, лежа на спине в пыли, привязывали их к пружинам любовного ложа нашего бестактного соседа. Так что когда он, как ему казалось, с присущей ему деликатностью приступил к любовным процедурам, поднялся такой перезвон и тарарам, что его дама сердца (хотя при чем тут сердце?) вырвалась из его объятий и убежала навсегда.

По крайней мере, от нас. Он даже не пытался ее догонять. Он лишь с горькой укоризной произнес: «Сволочи» — и, включив свет, полез с ножом под кровать. Он бренчал и звенел минут двадцать, однако никто из нас так и не проснулся.

А однажды ночью мы гудели особенно буйно, и вдруг, словно Каменный гость, откуда ни возьмись возник комендант, окинул орлиным взором отставника мозаику окурков, киснущих в лужах пива и бормотухи, — она обладала тем преимуществом, что ее достаточно было закусывать плавлеными сырками, «мылом», — и вынес безжалостный приговор: или выселение, или завтра в преддверии ремонта мы таскаем запасные кровати из подвала на чердак.

Это походило на курс молодого бойца. Мы клали спальные части на голову, голова продавливала в пружинах глубокую воронку, так что было очень удобно взяться руками за стальную раму и, пошатываясь с жуткого бодуна, брести вверх через пять этажей, а комендант откуда ни возьмись возникал то тут, то там, сладострастно покрикивая: «Шире шаг, салаги!»

После этого у меня к кроватным пружинам возникла глубокая личная неприязнь, и я нисколько не жалел, что вскоре моим супружеским ложем сделалась продавленная почти до пола тахта. Этим она и была хороша: повидав и переслыхав все на своем веку, она уже ничему не удивлялась и ничему не отзывалась, что было особенно важно, поскольку в одной комнате с нами спала и мать жены, женщина настолько чудесная, что даже не хочется называть ее тещей. Мы жили в пригородном бараке рядом с железной дорогой, и когда мимо проносились товарняки, дрожал весь дом, и, проснувшись, ты часто не мог понять, в какую сторону развернуты твои ноги.

Жаль, я не знал, что это и было счастье — уверенность, что впереди ждет что-то неописуемо прекрасное. Денег было совсем мало, но ведь нам нужны не деньги, а уверенность, что все когда-то будет не просто хорошо, а упоительно. Так что о покупке нового дивана мы задумались только тогда, когда нашему сынишке перевалило за четыре, и он уже набрался достаточно ума, чтобы возненавидеть мебельный магазин, куда жена в декретном ожидании второго наследника таскала его чуть ли не ежедневно: дешевые диваны в ту пору на дороге не валялись.

Но в этом была своя прелесть. Сынишка всегда норовил увязаться с нами, и когда нам хотелось от него отделаться, мы сами его звали: «Пойдем в мебельный?», и он в ужасе кричал: «Нет!!!» И мы шли в кино.

Диван «Комсомолец» мы купили после моей таймырской шабашки, после которой мне ничего не стоило, поставив его на попа, навалить на горб и без всяких служб доставки оттартать домой за пару километров. Уже подмораживало, и я не удержался, чтобы не съехать с диваном на спине с обледенелого взгорка, — встречная тетка аж заругалась.

Хорошая штука бедность, когда ты силен, молод и полон надежд!

Скверно оказалось только то, что «Комсомолец» оказался на редкость отзывчивым и певучим, и сколько раз я вспоминал, как это было разумно — «стелиться» на полу. Сынишка в ту пору спал детским сном праведника, а мать жены, к счастью, была сильно глуховата, но все равно то и дело приходилось замирать и прислушиваться. Но я напоминал себе, что комсомольцы, беспокойные сердца, все доводят до конца. Друзья, вперед!

И все пришло — и деньги, и квартиры, и отдельные спальни, и как-то раз моя теща, любуясь в шкафу стопками наших простынь и пододеяльников, даже прослезилась: «До чего жалко, что мой старик до этого не дожил! Поглядел бы, сколько

у вас добра! Мой брат специально в метро ездил работать, чтоб на простыни заработать, а то б начальником каким был...»

Ее брат Пашка по какой-то комсомольской разнарядке поступил в институт, где студентам приходилось спать одетыми. В средние века, если верить Марку Твену, люди не только спали в одежде, но им еще и казались дикарями те, кто перед сном раздевается: что же они, звери?.. Пашка был человеком нового времени: чтобы заработать на простыню с пододеяльником, устроился работать в Метрострой к Лазарю Михайловичу Кагановичу. («Наш Московский метрополитен замечателен именно тем, что там не просто мрамор, — нет, там не просто гранит, — нет, там не просто металл, — нет, там не только бетон, — нет! Там в каждом куске мрамора, в каждом куске металла и бетона, в каждой ступени эскалатора сквозит новая душа человека, наш социалистический труд, там наша кровь, наша любовь, наша борьба за нового человека, за социалистическое общество». Л. М. Каганович.) Постельным бельем Пашка обзавелся, однако в начальники не вышел и, возможно, только поэтому погиб не в тридцать седьмом, а только в сорок втором.

У меня же простынь и наволочек сегодня раз в пять больше, чем мне требуется. Теперь я живу один в четырех комнатах, а благородного дерева кровать жены недавно подарил дворничихе-таджичке. Тащить тяжеленную кровать с нею набежала целая орава некрупной родни, и все страшно меня благодарили, а я благодарил их.

А уж как бы мы благодарили того благодетеля, который бы избавил нас от мучительных воспоминаний!

Или мы бы все-таки предпочли мучиться и помнить?

Теперь я сплю на диване рядом со своим компьютером — спальное место рядом с рабочим, как это бывало в войну, да не сочтут мое сравнение кощунственным. Разложив диван раз и навсегда, я не убирал постель и днем, но однажды ко мне зашла интересная женщина (а женщины не бывают неинтересными), и я почувствовал, что это неэстетично — выставлять на обозрение не только грязное, но и сравнительно чистое белье.

После этого я начал по утрам убирать постель в фанерно-опилочное нутро дивана — для этого достаточно поднять спальное место, а спинка тогда сама собой уходит назад, они друг с другом жестко связаны. Зато я и на ночь перестал диван раскладывать — на нем и так вполне можно разместиться. И спать я начал не лицом к стенке, а лицом к комнате: потребность в норке затерялась где-то в прошлом.

Но еще одна интересная женщина прямо-таки поразилась, что я сплю на такой аскетической площадке — будто в вагоне.

— Это же у тебя не постель, а станок для восстановления сил! Работаешь у одного станка, а потом переходишь к другому. Ты вдумайся, вдумайся, что такое ложе. Оно должно быть удобным и просторным, как театральная ложа! Чтобы можно было разложить лэптоп, смотреть фильм, поставить подносик с чаем и чем-нибудь вкусненьким. Чтобы почувствовать, что ты заработал не просто отдых, а удовольствие! Что ты в своей норке, где уже никто тебя не тронет! Ты белье часто меняешь?

— Ну, когда замечу, что вроде пора. Но чего мне его особенно менять, я же не в шахте работаю.

— Ты глупый, ты ничего не понимаешь! От свежего белья особый запах, у меня от одного этого запаха делается хорошее настроение. Когда у меня плохое настроение, я поменяю белье, и сразу становится хорошо. Ты попробуй, вот увидишь!

Может, и в самом деле попробовать?

Наталья РОЗЕНБЕРГ

МАЛЕНЬКИЙ ОСЛИК НАДЕЖДЫ

Стихи Натальи Розенберг удивили меня. Было видно, что они из тех, что не сочиняются, а случаются. Но случаются — и вот это уже большая редкость! — в идеальной форме, «в кадре, выверенном точно» (если воспользоваться ее определением). Эта идеальная, безупречная форма каким-то невероятным образом сопрягает в себе четкий сюжет, написанный пером каллиграфа, и музыку скрипки, берущую за сердце, трогательную порой до слез. Удивительно также, что Наталья Розенберг одновременно обретается в разных измерениях — там, где сугубый реализм и конкретность описываемого, и там, где метафизика, где сказка. Притом границы между этими измерениями для нее не существует.

И это завораживает! Стихи ее хочется читать и перечитывать, в них доброта, гармония, живое вчувствование в бытие и отважный выход за его пределы.

Виктория ШОХИНА

* * *

За чертой живого смысла
колокольчики растут,
мы обходим всю поляну
за четырнадцать минут,
мама в пестром сарафане
держит за руку меня,
и аукается рядом
уцелевшая родня,
холоднющая водица
из колодца, звон ведра,
заусенец на мизинце
задирается с утра,
и вода по желобочкам
деревянным льется вниз,
потому что малым детям
полагается сюрприз.

Наталья Розенберг родилась в Горьком. В Союз писателей вступила в 2006 году и вскоре издала небольшую книжку стихов. Печаталась в поэтических альманахах и литературных журналах. Сейчас готовится книга избранных стихов и прозы в издательстве «АСТ».

* * *

Маленький
ослик надежды
переступает между
трех стихотворных строк,
чуток и невысок,
уши лежат на спинке.
Шапочка и ботинки,
желтый речной песок,
если сама я фея,
заколдовать умею,
руку кладя на шею,
за полночь, на часок,
поцеловав
в висок.

* * *

Кафе называлось «Космос», там вечно толпились
столики из легкого алюминия. На стенах по синему
полю летели косые линии, светила еще дымились,
потухая в тисках абсурда, зал прижимали стекла
космическими ладонями. Я помню яйцо под соусом
из разбавленного майонеза, кофейный напиток безо
всякого продолжения в виде булочки с кремом или
пастилы для меня, тихони из соседнего университета,
за столиком колченогим немного, совсем немного.
Для девочки-недотроги, не ведавшей про стихи,
в то время как гибкие корни зукосмыслов лезли
уже в верхи, сквозь залежи чепухи, безрадостных
столкновений с неозвученным внешним миром,
продираясь, сражаясь за чистоту эфира под слоями
словесной ваты. Я в кафе приходила плакать посуху,
незаметно, в сумочке сигареты, конспекты в иероглифах
чисел, но кто-то меня повысил в должности вертопраха,
прожигателя настроений, отчаиваясь, как гений
какой-нибудь настоящий, но без его восторга.
Выпивала напиток горький, отвратительный,
но привычный под разрезанное яичко с горошком
и майонезом, одинокая до зарезу. Здесь сидели
старушки чистенькие, подсыхающими лисичками,
православные, мусульмане, католики усаживались
за столики и те, кто стоял за Будду. Разве я их забуду?
Бомж мусолил сосиску в тесте, мы тоску заедали вместе
в чистом и светлом месте, воробушки на насесте,

космические щеглы, освоившие углы своей городской
вселенной, блинной или пельменной, вот чем раньше
богат был город для тех, кто горазд и молод, или же
одряхлел и отошел от дел, детеныши мегаполиса,
будущие поэты и, может быть, их поклонники,
садящиеся за столики в кафе на удачном месте,
на главной красивой улице, которая не забудется
среди предстоящих улиц, бульваров и авеню,
распахнутая, как ню, прелестная куртизанка,
вывернутая наизнанку любимая улица юности,
включающая кафе с шустрой стайкой студентов
пьяных, подвывающих самбу рьяно, браво
плюющих на пол, улепетывающих тихой сапой,
не доплатив немножко, спрятавшись за окошко
и строя смешные рожицы на глянцевой синей
кожице космического кафе.

* * *

Кроме любви, ничего нет,
все остальное бред!
Фантазии, дрязги, числа,
не имеющие смысла,
ползучая тьма и тени,
и тем не менее живые звуки
располагаются по науке
человеколюбия, ненавистничества,
в зависимости от приличия
и наличия души, иногда бездушия...
Никого за версту не слушаю,
кроме кота орущего,
спасающего хозяйку,
белую, словно чайка,
секунд сорок пять до взрыва,
спокойный и молчаливый
кот закричал не по-котьи,
выпустив жутко когти!
Хозяйка кота подхватила,
кинувшись вихрем к двери,
схватив на бегу беретик,
помчалась, коту поверив,
в обморочной истоме
волной звуковой от дома,
не различая улицы
той, где сейчас целуются,
переплетаясь в воздухе,
к цели стремясь без роздыха,

бомбы, ракеты, пули!
Пальчики все загнули?
В то время как дом оставленный
махал ей вдогонку ставнями,
ракета, врезаясь в крышу,
шипела коту: «Потише!»,
с ненавистью расплавленной
прожигая чердак и спаленку,
оставляя взамен воронку,
дребезжащую пастью тонко.
Под окошком сгорели вишни,
подошедшие близко слишком.
Это есть акт любви.
Реви не реви! Живи!

* * *

По праздникам бывали пироги
в таком количестве, что запросто могли
собою покрывать весь круглый стол.
Лишь утром ноги опусти на пол,
знакомый аромат заполнит нос,
особенно пока ты не подрос.
Я помню булочки румяные с повидлом,
с капустой пироги, когда не стыдно
их нарезать потом перед друзьями
и придвигать ватрушку своей маме.
Вот за окошком стало вечереть,
нам больше не сидеть неспешно впредь
на улице Корнилова Бориса
за пирогом большим с яйцом и рисом
и быть счастливыми, смешливыми уметь,
проказить, угощаться, песни петь
лет двести кряду, может быть, и триста.

* * *

Я та же девочка-любовь
с искусанными губами,
зареванными глазами,
не прекословь.
Под сердцем шепоты и крики,
стихающие в ночи,
не оправдаешься, любимый,
терпи, молчи.
Там на стене помимо лика
вкруг головы сошлись лучи,
к ним потихонечку приникни,
возьми ключи,
они от каменной светелки,
где я живу,
не постаревшая нисколько.
Ревмя реву.
На небесах, не забывая
ни день, ни век,
слезами стены омывая,
мой человек.

Мария КОНЮКОВА

ОДА К ЖИЗНИ

Рассказ

Лидочка, Ниночка, Димочка, Витенька... Господи, как только можно такую боль вынести! Как не разорвалось-то материнское сердечко! Смотрел я всегда на мою мамочку и только поражался ее твердости, силе, стойкости. Что она была за женщина... Сейчас таких и не встретишь. Если только Нюся... Но она, конечно, другая была.

Один я остался. Вот и хочется вспомнить тех, кто любил меня и кого любил я. А кто меня, старого, слушать будет? Гришка, что ли? Да ну. Вот и бормочу сам себе под нос — как артист на сцене перед темным залом...

Ну да ладно. Расскажу все по порядку.

Кто была моя мама? Простая женщина. Деревенская, в общем. Что она в жизни видела? Эх...

Мамочка моя родилась в 1909 году в деревне во Псковской области. В 1930-м они с отцом поженились и подались в город. Где они познакомились — понятия не имею. Они из соседних деревень. А папа — он знатный гармонист был. Не то чтобы первый парень на деревне — врать не буду. Он с детства подслеповат был. Очки носил с толстенными линзами. В общем, как на моей работе говорили, не Ален Делон. Но видный, крепкий. Все умел руками делать. Спокойный. Слов лишних не ронял...

В общем, сосватали их как-то, по всей видимости. Смотрю на фото матери — она в молодости вполне миловидная была. Глазки серые. Волосы плоечкой укладывала волнами — тогда так модно было. Одета невзрачно. Платье какое-то темное, мешковатое. Но кто тогда наряжался? Тогда о другом думали. О главном...

В Питер, значит, они подались. В Ленинград, как его тогда называли. В деревне, папа говорил, делать было нечего...

Отец столярничал. Мама дворником устроилась. Им комнату дали в центре. Ну и зажили, как все. Потом дети у них пошли. Я ведь у них шестой по счету...

Тяжело рассказывать так вот — без передышечки. И лет мне много. Ладно. Пойду съем чего-нибудь.

Мария Львовна Конюкова окончила Санкт-Петербургский политехнический университет им. Петра Великого. Ее книга «Мы — русские: новая энциклопедия русской жизни» вышла в издательстве «Феникс», а затем — на голландском языке. В издательстве «Азбука-Аттикус» была опубликована «Журналистика для всех». В издательстве «Феникс» — «Джентльменский набор интеллектуала: 30 книг, которые нужно обязательно прочитать», «Победить наркоманию: дорога из ада». За роман «Защита осифа Винца» в 2024 году получила Национальную литературную премию «Рукопись года».

* * *

Вот многие говорят: на завтрак каша полезней всего. Овсянку особенно хвалят. А я так не считаю. Чтобы желудочек и кишочки нормально работали, нужен такой завтрак: творожок со сметанкой. И простой салатик: помидорчик, огурчик, сметанка, соли чуть-чуть. Овощи нарезать такими немелкими кусочками: желудочку нужно дать поработать, чтобы потом все лишнее, как щеточкой, протолкнуло по кишечнику и назавтра вышло оно без всяких задержек. Я в творожок со сметаной всегда немного кипяточку подливаю. Чтобы смесь эта, кальцием богатая, в такой приятный крем превратилась.

А запить всю эту легкую, питательную и полезную еду лучше не кофе или чаем, а цикорием...

* * *

В общем, они в нашем городе прожили четырнадцать лет до моего рождения. Я, если честно, не особенно спрашивал о том, как там они жили. Да и так ясно. Как все жили. Как вся страна тогда жила. Отец работал. Мать работала. К 1941 году у них уже пятеро детей было: три сына и две дочки.

Потом война началась. Отца не мобилизовали: у него зрение на обоих глазах было чуть ли не по минус семнадцать. Бог знает, как он столяром работал... У него руки были золотые. Чутье какое-то у него в руках было.

Перед войной они моего брата Колю отправили во Псковскую к бабушке. А родители с четырьмя детьми остались в городе. Там их всех блокада и застала.

А Коля, он вроде как, пока они в Псковской под немцами были, менингитом переболел или чем-то типа того. Тогда, понятное дело, никто диагнозов не ставил. Слава богу вообще, что жив остался. Да все равно — жив не жив, а после этой болезни он дурачком сделался. С головой он не особо дружил... Ну да ладно — о моем брате рассказ впереди.

* * *

Опять прервусь. Перекусить надо. По телевизору доктор недавно говорил: если есть раз пять в день, а может, и шесть, то кишечничек будет, как часы, работать. И правильно сказал — я это на себе проверил.

Второй завтрак у меня легонький — чтобы желудочек и кишечничек не перегружать.

Тут недавно у меня небольшая неприятность случилась. Закрыли мой любимый магазин «Неделя». Всего через два дома от меня был — удобно. Там нет-нет да и можно было что-нибудь вкусненькое цапнуть. Например, дней пять назад я очень удачно зашел. Было двадцать четвертое. А они выбросили скумбрию холодного копчения. У нее крайний срок был двадцать пятое.

Я эту рыбку — цап! Вкусно! С огурчиком. С картошечкой в мундирчиках. Со сметанкой...

Вчера пришел — магазин закрыли. С чего — черт их разберет. Где я еще такую рыбку буду брать?

Я ее в холодильнике храню. Но все равно вчера небольшой запашок появился. Я решил все-таки еще немного ее покушать — говорят, запашок небольшой неврe-

ден. Даже придает рыбке пикантности. Желудочек мой ее прекрасно переварил. Значит, правильно считают про запашок.

* * *

В блокаду эту страшную мама с папой всех детей потеряли: и Лидочку, и Ниночку, и Димочку, и Витеньку. Все они померли от голода. А Коля у бабушки в Псковской войну пережил.

Но мамочка моя считала: плохо в доме, где нет детских голосов. И чуть полегче с продовольствием стало — она опять принялась рожать. И родила меня в 1944-м и мою сестру Катьку — в 1946-м. Но про Катьку тоже рассказ впереди. А я пойду отдохну. Почитаю что-нибудь. Потом надо еду приготовить.

Знаете, я русскую литературу люблю. В смысле, не переводную.

Шукшина просто обожаю. Рассказы его чудесные, добрые, про русских людей. Про нашу деревню. Я хоть там не жил — в Питере родился. А во Псковской бывал только летом — наездами по большей части. Но все равно понимаю: Василий Макарович, он настоящим духом был полон. Он его по-особенному чувствовал...

А эта, новая моего сына, сказала, что тоже Шукшина любит. Хотя, как мне кажется, вроде и не должна.

Есть за мной один небольшой грешок: люблю я людей так немножечко поддевать. Это я в мамочку мою — она просто была мастером этого дела.

Я пару разков с таким невинным видом спрашиваю ее — как бы невзначай, мол, как она к творчеству Шукшина относится. А она отвечает:

— Шукшин — замечательный писатель. Мой любимый его рассказ — «Алеша Бесконвойный». Там хорошо про свободу написано.

Странно, конечно, что она его любит. Хотя голова у нее — как ходячая энциклопедия. Все читала. Все помнит. Но с другой стороны, у нее работа такая: в вузе гуманитарному учит.

Я этот рассказ, честно говоря, не помню. Там у него историй всяких много. Я в свое время всю его книгу рассказов прочитал. Когда-то такие у каждой советской семьи были — я его на макулатуру покупал. Помните, как тогда было: двадцать килограммов ненужной бумаги сдаешь — получаешь талончики. И пожалуйста — покупай хорошую книжку.

А сейчас — не пойми, что и читать.

* * *

Для меня главное — чтобы книга воспитывала. Или учила чему-нибудь полезному.

Я люблю в выходной день съездить на Удельную. Там барахолка хорошая. Для нас, пенсионеров, самое то. Я на Удельной много хороших вещей покупал. К примеру, круг для точила: я после смерти родителей целую комнату — их бывшую — себе под мастерскую оборудовал. Верстак большой поставил. Мастерю в свое удовольствие...

Так вот, на Удельной много книг хороших и полезных продается. Я больше всего люблю кулинарные и про здоровье. Ведь если правильно питаться и вести нормальный образ жизни, тебе все болячки будут нипочем. Правильное питание мобилизует защитные силы организма. А когда иммунитет хороший, никакие болезни тебя не возьмут — по себе знаю.

И в этом направлении стоит поработать. И просвещаться, конечно, тоже. Книжные развалы на Удельной — просто кладезь всяких ценных книжечек.

Например, когда-то купил хорошую, дельную книжку. Называется «Лечение лимоном». Сын мой Гриша, когда я перед ним ею похвастался, долго надо мной смеялся. Но он дурак. Ничего в этом не понимает. Лимон — фрукт целебный. В разном виде от всех болезней помогает. С медом — от простуды. Если с чайком его пить — просто поддерживает иммунитет на хорошем уровне. Спиртовая настойка лимона лечит пищевые отравления. В общем, перечислять можно долго. Вы сами эту книжечку достаньте и почитайте.

Или другая книжечка хорошая, там же купленная. Называется «Здоровье без лекарств». Вот она мне с Нюсенькой очень помогла в свое время. Очень. Там все по главам расписано: какой отвар полезен при повышенном давлении, какой — когда желудочек не в порядке, какой — когда печеночка барахлит...

Сын говорит, что, мол, вся эта ерунда есть в Интернете. Не хочу я этого Интернета. По телевизору говорят: много разной грязи на хороших людей льют и немало вранья показывают. Я лучше — по старинке... У телевизора.

Ну где, к примеру, я в этом Интернете найду рецепт моих любимых блинчиков на дрожжевой опаре? В моей поваренной книжечке 1950-х годов издания все выверено до полуграммчика. Я с этой книжечкой в готовке ни разу не прокололся. И вкусно, и сытно, и полезно.

И в диеты я не верю. Еда должна быть полной: чтобы все в ней было. Но конечно, в умеренных количествах.

Ну ладно, пойду картошечки на копченом сале пожарю. Немножечко, конечно. Маленькую сковородочку.

Сын мой Гриша, когда я картошечку на сальце начинал жарить, всегда нос воротил. Граф какой. Прям бежал в их комнату. И дверь плотно закрывал. Краснел как рак.

Ну скажите на милость, почему я в собственной квартире не могу себе ужин приготовить такой, как я хочу?! А я считал: в конце концов, если не нравится, пусть жилье себе купят и едут жить туда. Я здесь всю жизнь прожил. Тут мои родители были, живые, здоровые и еще энергичные. Сюда я Нюсю привел и отсюда я ее в ту чертову больницу проводил... Эх...

* * *

Первые послевоенные годы я помню уже довольно хорошо. Играли мы во дворе с детьми. Ну и главным человеком для меня была мамочка. Мы с ней так любили друг друга — это просто чудо какое-то. Когда мама всегда меня с улицы звала, я прибегал сразу. А Колька — он с детства был как уличная собака. Не дозовешься его.

О мобильных телефонах тогда, естественно, слыхом не слыхивали. Правда, думаю, Колька свой все равно потерял бы или выключил. Ему отец говорит: «Чтоб дома был не позже девяти!» А Колька... Нет его. Он с детства был как приблудная собака шелудивая. Без родины, без флага, как говорится.

Так вот, насчет брата: отец, как ни пытался его воспитывать, все без толку. Уж сколько орал на него, сколько подзатыльников ему давал — Кольке все что в лоб, что по лбу.

Помню, кудри свои водой пригладит, ботинки до блеска натрет. Чуть не два часа их щеткой трет-трет, трет-трет. И на танцульку. Дурак дураком. Что еще про него скажешь?

А я с детства положительный был. Ничего особенного — такой, как все. Просто нормальный человек. Мне ничего десять раз повторять не надо было. Мамочку всегда слушал. Отца уважал. Учился. Спортом занимался.

* * *

Мы в семье любили разное вкусненькое готовить и заготавливать. Сейчас я расскажу про варенье. Тут разные медики новоиспеченные говорят: мол, сахар вреден для здоровья. А я скажу: во-первых, для кого как, а во-вторых, в каких количествах. Если ты от диабета помираешь, то и сладкое нечего есть. А так — немножечко, для удовольствия — очень даже можно. Мозг глюкозой питается! Сын мой Гришка меня спросил тут недавно:

— Папа, сколько у тебя литров варенья в холодильнике?

Ответил честно:

— Литров пятьдесят.

— Ни фига себе! Тебе зачем столько?

— Как зачем? Есть понемножечку.

И не стал дальше объяснять. А что ни фига себе-то? У меня все аккуратненько. Все баночки годами «производства» помечены. Я наклеечки так делаю: нарезаю прямоугольнички аккуратненькие из медицинского пластыря. И пишу шариковой ручечкой «год выпуска». Недавно открыл баночку фейхоа. Три года назад варил — а такое ароматное. Чудо просто!

В чем секрет такой вкуснятины? Все просто: соотношение сахар — ягоды — два к одному. Вы не ослышались: два к одному. И не надо говорить, что у меня слипнется. Получается сладкий насыщенный вкус. И ягодки сохраняются. А то я послушал тут одну: меньше сахара положил. Потом все равно пришлось переваривать. Даже в холодильнике прокисло.

Про еду рассказываю — вот и есть захотелось. Пойду перекушу. Чайку попью с чем-нибудь сладеньким.

* * *

Так вот, в общем, бить меня было совершенно не за что. Не просто так я был у мамы любимый сын.

Мамочка моя умела подсуетиться вовремя. И благодаря мамочкиным усилиям мы все время каким-то образом переезжали в большие комнаты.

Последняя перед переездом сюда в 1963-м была хорошая — тридцать метров. Окнами на Фонтанку.

Но в отдельной, хоть и на окраине, всяко лучше. Все свое. Ты хозяин.

Но благодаря моей маме мы все и в коммуналке себя чувствовали хозяевами. Она умела кого хочешь на место поставить. За собой последнее слово оставляла. Бывает, ругается с кем-нибудь на кухне. Прямо вымотает соседа или соседку. Тот уже бежит из кухни с поражением. Дверью своей хлопнет. А мамочка из-за двери как гаркнет чего-нибудь. Так им потом было страшно на кухню нос показать. Уметь надо так, как моя мамочка. Сейчас таких мало! Отец — он наивный был. А мамочке, если она даже сама чего-то не понимала и не замечала, я всегда мог все объяснить. Я сразу ей сказал: с Колькой жестко надо. Нечего миндальничать. Но я так — вежливо — ей это все объяснял. Нельзя же матери про сына говорить, что он непутевый, никчемный человечишка. Я ей говорил: мол, присмотрись, как он жизнь свою по-глупому расходует. Да, конечно, я моложе, чем он. И в жизни меньше повидал. Но я понимаю, к чему все идет. И как в воду глядел. На самом деле пророком не надо было быть, чтобы видеть, куда Колькина жизнь катится.

Ладно. Пойду еще перекушу. Давно я себе ничего вкусненького не готовил.

* * *

Про варенье я рассказал. Но конечно, питание должно быть сбалансированным. Если в полдник розетка варенья, то в обед жареная рыбка, к примеру. С лучком. Ой, как вкусно. А к ней — пюрешечка картофельная. Мммм... Простенько и, как говорится, со вкусом.

* * *

Вообще, что и говорить, а братец с сестрицей у меня подкачали. Я мамочке всегда говорил, что и с Катькой строже надо быть. Мамочка как начнет на них орать. А толку? Им обоим что в лоб, что по лбу. Нет, иногда и криком полезно показать человеку на его место. Я голосом много побед в жизни вырвал. Но тут действовать надо было.

Действовать пришлось мне. Но когда я уже старше стал...

Вот мы уже в большой комнате на Фонтанке. Все пятеро.

Правда, благодаря отцу нас как-то раз чуть шестеро не стало.

Он однажды взял да и привел собаку с улицы. Огромного шелудивого пса. Говорит:

— Дети! Это Шарик. Теперь эта собачка будет жить с нами.

Совсем с ума сошел.

Ну мамочка моя — разумная женщина — как взовьется:

— Ты дурак старый! Ты как жить собираешься с этой грязью?!

Очень она любила чистоту и аккуратность. Культурно любила хозяйство вести.

Я, хоть и маленький был, маму поддержал. Собака замерзшая, дрожит вся. Зима была на улице. Холод, понятно. Ленинград — север у нас.

А мама все больше распалялась:

— Нам детей малых кормить-одевать не на что! А ты мне еще один рот притащил!

Мамочка очень эмоциональная была. Иногда, особенно когда ругалась, могла для пользы дела что-нибудь преувеличить. И правильно делала. Против грязной, шелудивой собаки в доме все средства хороши.

Правда, что-то, конечно, у меня кольнуло, когда папа уводил на веревке этого дрожащего пса. Тот, видать, уже понадеялся: решил, что будет у него подстилка и косточка в теплой комнате... Да что там говорить. Дети важнее.

Я, вообще, считаю, что самое главное — это семья, родные люди. И Нюся моя тоже так считала. Наверное, поэтому мы с ней душа в душу сорок пять лет прожили. Дорожили друг другом. Своими чувствами.

* * *

Сейчас много всяких новомодных ресторанов, кафе, баров — не помню, как еще они там называются... И народ в них сидит. Ест что-то, пьет. В общем, деньги оставляет непонятно за что. Кто там готовит? Что там готовят? Из чего? Подумать страшно.

Лично я — сторонник домашнего питания, когда ты сам знаешь, что ты ешь и из чего это приготовлено.

В СССР вообще по ресторанам обычным людям шататься было не принято. Не было такой, так сказать, традиции.

Я бы питание разделил на две части: на, так сказать, повседневную еду и на заготовки. В нашей семье много внимания заготовочкам разным уделяли. Летом

и осенью постараешься — потом до следующего лета ешь себе всякую вкусноту. И достается она тебе почти даром.

Начну, к примеру, с грибочков. Грибы можно варить, солить, сушить, мариновать. Родители на все лето сначала вдвоем, а потом с маленьким Гришкой уезжали в нашу псковскую деревню.

Там-то все лето шли заготовки, как я шутил (я, знаете, по молодости юморной парень был, любил хорошую шутку), в промышленных масштабах. Папа ведрами белые грузди солил. Вынимаешь такой грибок из ведра, а у него ножка от обработки стала фиолетовая. Кладешь в ротик. А он хрустит. И укропом, и чесноком отдает. А какую грибную солянку мамочка делала из белых и красных! С перловочкой! Ложечка в ней стояла! Чудо просто! Язык проглотишь!

Моховики мамочка мариновала в уксусе. С кругленьким перчиком. С лавровым листиком. Пальчики оближешь. Вот наколешь такой грибок на вилочку. Хруп — и проглотил! Отец говорил: лучшая закусочка к беленькой. А я выпить не любитель. Беленькая многих в могилку свела. А я уходить пока никуда не собираюсь. Я жизнь люблю. Она меня каждый день радует. Знаете, кого я совсем не понимаю? Тех, кто жизни радоваться не умеет.

Куда полезнее вкусно поесть. Вкусно, но умеренно, конечно. Не переедая.

Гришка говорит:

— Ты ешь пять раз в день! В комнату сначала твой живот входит, а потом ты сам.

Не знаю, что не так. Я чувствую себя по возрасту. Ем умеренно. Что он там говорит — его это дело.

Он мне тут заявил:

— Ты хоть на ночь не наедайся!

А вот это в корне неправильно! Доктор Говядин по телевизору недавно сказал: на ночь лучше неплотно, но покушать. Чтобы желудок поджелудочную железу во сне не переварил.

А у Гришки-то у самого животище. Не меньше моего. Эта его все готовит ему. Старается. Надо отдать ей должное, она в этом преуспела.

* * *

Я учился — твердо решил в люди выйти. Старался.

Спортом занимался. Я в молодости худой паренек был. Ловкий. К нам на урок физкультуры пришел тренер по легкой атлетике Давид Соломоныч. Шустрый такой мужик, худощавый. Ну и отобрал меня. Может, ему понравилось, как я бегаю. А может, потому что меня Львом зовут. Может, решил он, что я тоже из ихних?

Но как бы то ни было, стал я бегом заниматься серьезно.

А родители и брат с сестрой? А Катька? Что Катька? Она нормальная девочка была. Тихая такая. Бывало, мы с мамочкой, прямо как две подружки, сядем вечерком на диване пошептаться о своем. А ей даже неинтересно: хоть о ней мы говорим, хоть о ком-то другом. Сидит — мечтает. Мы уж с мамулей всех перетрем. А Катька...

Она маленькая очень смешная была. Помню, сидит в своей кроватке, палец сосет, что-то напевает, покачиваясь, как будто сама себя убаюкивает. Ей тогда года три было. Волосенки жиденькие, тоненькие — голова как одуванчик. Глаза голубые.

Отец Катьку очень любил: то леденчик ей сунет, то сухарик сладкий. А я, маленький, помню, ревновал очень, злился: почему это все вкусненькое ей?! Только потому, что она девочка?! Отнимал у нее конфеты. Конфетку хвать — и бежать. Катька ревет. А я — леденчик в рот и тикаю, не оглядываясь.

Мамочка, она за то, чтобы всего всем поровну было. Но если честно, я от нее все самое вкусненькое первым получал: я у мамы любимчиком был. И не буду скромничать: она права была. Поняла, на кого ставить в этой жизни.

* * *

Мы с Нюсей моей были, как говорится, мы с Тамарой ходим парой. Многое вместе делали. Особенно я с ней вместе любил готовить.

Какие у нас огурчики солененькие получались — чудо просто! Жестенькие такие, хрустященькие, рассол прозрачный. Красота! Вы спросите: в чем главный секрет? Отвечаю, так сказать, не таясь: в рассол нужно добавлять дубовые листья. Хорош в нем и лист черной смородины. Нюсенька добавляла в огурчики еще по гроздке красной смородины. Мммм... Ягодки эти в рассоле становились зелеными, как хризолиты. На банки наши смотреть было просто загляденье. А я вообще все красивое люблю. Красота — радость в жизни.

* * *

С этим Давидом Соломонычем романа, так сказать, не получилось. Я у него все бегал-бегал. Но судя по всему, он вскоре надежды на меня возлагать перестал. И больно он меня задел своим охлаждением. Конечно, может, в спорте я был не очень. Но все же думаю: он сначала подумал, что я из ихних. А когда понял, что я русский, во мне он разочаровался. Они ведь своих любят тянуть...

Но я тогда техникой всякой увлекся. И как оказалось, правильно. Ну что было бы? Ну стал бы Соломоныч меня двигать. Никакой гарантии, что из меня бы чемпион мира вырос. А так я нормальную карьеру сделал. И работу свою любил. И в командировках за казенный счет всю страну объездил. Мир повидал — себя показал.

* * *

Как раньше говорили: нечего ждать милостей от природы. Вот и от жизни не надо ждать милостей. Надо учиться самому себя радовать. Я уже писал об этом.

Вот японцы умеют находить красоту в малом. Им и ветка сакуры, и сосновая иголка, и пиала с чаем кажутся прекрасными. Так и нужно жить.

Наверное, меня наша хрущевка-живопырка приучила искать красоту в малом. Гришка говорит: папа, у тебя в мастерской Содом и Гоморра. Пыль, грязь, раскардаш. А ему какое дело. У меня там своя, так сказать, системка. Да, бывает, какую-нибудь фитюлечку найти не могу. Ну потрачу время на это. Ну и что? Я на пенсии, в конце концов — торопиться некуда.

А насчет того, что все нужно делать не торопясь — так сказать, с чувством, с толком с расстановкой. Я всегда студень на 9 Мая варю. День Победы — святой праздник. И я готовлюсь в нему заранее. Например, могу чуть не в январе свинину купить. Для студня. Слава богу, морозилочки у меня две — в обоих холодильниках. А там и говядинка подтянется. И за куриными лапами дело не станет. С курицей у нас — какой угодно — проблем нет.

Так вот, наварил я тут студня на 9 Мая. А деньки теплые выдались. Лоджии у меня в квартире нет. В короб за окно — мы его еще с папой мастерили — нет смысла ставить. Он там не застынет, да и прокиснуть может. В общем, распихал я этот свой студень в диком количестве тарелочек и судков по холодильникам — и в их,

и в мой. Хотя какой там у них свой холодильник? Я сам оба агрегата покупал в свое время на свои наличные.

Гришка мне говорит:

— Что это ты, папа, весь холодильник наш своими тарелками со студнем заставил?

И эта его нос свой длинный воротит.

А я говорю:

— У меня в холодильнике места нет. Освободится — туда холодец перенесу.

НАШ холодильник! Что тут его-то есть?

Ну да ладно. Слава богу, он ругаться не любит. Проглотил. А у его этой вообще прав никаких нет здесь.

* * *

Мамочка меня учила быть скромным. Не хвастаться достатком. Удачами. Радостями. Не надо, чтобы люди тебе завидовали.

Вот и я свой студенек тихонечко едал в своей мастерской за столиком. Что его в кухню-то выносить? Бывает, камешки свои перебираю (о них я еще расскажу) — и цап вилочку холодечика. А он прямо во рту тает — такой нежный. Такой ароматный. Такой вкус у него насыщенный.

А потом чайку с вареньицем из морошки. Это ли не счастье...

Спросите: почему я с ними не поделился? Отвечаю: во-первых, у меня пенсия небольшая. Еле на себя хватает. Рыскаю, как ищейка, по магазинам — ищу, что подешевле. Во-вторых, ну это так — по секрету — я, в общем, не рассчитывал, что так все обернется неожиданно и они ко мне, так сказать, на ПМЖ въедут. Я старый человек. И привык жить у себя дома. У меня тут и уклад свой — раз и навсегда заведенный. Я за годы без Нюси научился жить, как мне удобно — со всем справляться. Вы поймите — мне тоже тяжело. Был один — а теперь нас трое. И эта его вроде умная, симпатичная. И с Гришкой у них вроде все хорошо. А чужая, чужая, чужая...

Если я тут с ними каждой крошечкой буду делиться, то, может, они подумают, что я всю жизнь с ними жить только и мечтал. А так они поймут всё, поднатужатся и купят себе что-нибудь отдельное. Сил у меня нет в моем возрасте жить так, как я не привык...

Вы скажете: что ты все о еде? О духовности давай. Подождите — будет вам и духовность.

Я здесь счастлив.

Поднимаю глаза — а тут мои картиночки любимые висят.

Не буду скромничать, некоторые из них — моего, так сказать, производства.

Внук мой, Гришкин сын, говорит, что это все мазня. Ну понятно, он художественную школу окончил. А я нигде не учился живописи. Но знаете, я просто рисую, как чувствую и что чувствую.

* * *

Вот у меня перед глазами картинка. Я ее по памяти нарисовал — уже осенью. Хотя впечатление это летнее долго в себе носил. И как бы внутри меня оно сначала в картинку превратилось. Как у поэта Самойлова в стихотворении про войну: «И это все в меня запало и лишь потом во мне очнулось».

Мы с Нюсей приехали к Гришке во Псковскую. И пошли мы нашей маленькой семьей гулять в луга. А там луга чудные, зеленые, яркие. А на них солнечные пят-

на как будто светятся изнутри. На границе луга, недалеко от нашей деревни была дубовая роща. Дуб — дерево радостное. Что-то озорное в нем есть. Думаю, не зря Пушкин кота своего под дуб посадил...

Вот и я Нюсеньку с Гришкой шестилетним под огромным дубом на краю поля разместил. Нюсю нарисовал в ситцевом белом платье в голубой цветочек. А на голове у нее — белая косынка от солнца. Не знаю, зачем она голову от солнца прикрывала. Волосы у моей жены были белые, как лен. Больше ни у кого таких не видел. А глаза голубые, как васильки. Она и сама была как тот летний луг.

Вот они с Гришкой сидят и сейчас напротив меня в тот солнечный день. Я Нюсю нарисовал легкими, нечеткими мазками — специально. Как на картинах импрессионистов: она должна была быть как бы не самой Нюсей, а ее улыбкой. У нее улыбка лучистая, светлая. И Гришка маленький тоже улыбается. Он в детстве был такой белоголовый большеголовый мальчик. Сидит, к маме прислонившись, в красной футболочке и синих шортиках. Ножки скрестил. И тоже так еле заметно улыбается. Такой счастливый был день.

* * *

Как к человеку приходит любовь? Наверное, к каждому своим путем, так сказать.

Я извернулся. Учился в техникуме на вечернем. А днем на Кировском заводе токарем работал. Было мне двадцать три года. Жил с родителями. Катька, сестра моя, тогда уже по наклонной пошла. Брат к жене, слава богу, отъехал.

Но девчонки меня, конечно, влекли уже, что и говорить. Дело молодое. Я то с одной встречусь пару раз. То с другой. И все, знаете, не мое. Сердце ни к кому не лежало — хоть ты тресни. Одна, помню, уже чуть не на первом свидании стала мне жаловаться: мол, я вся больная. Почки у меня не в порядке. Это, конечно, было честно с ее стороны. Хуже, если бы потом все выяснилось. Я и подумал: у меня жизнь только начинается. Что мне ее тратить на то, чтобы с хворями чужими возиться? В молодости хочется радости, праздника какого-то, красоты! А я как представил, что жить буду там, где лекарствами пахнет... Уф.

Знал бы я тогда, сколько мне придется с Нюсей больной возиться.

* * *

В общем, прихожу я на работу в какой-то обычный день. Рано. Темно еще. А у нас новая девочка пришла на работу — инструмент рабочим выдает. Мне что-то там понадобилось.

И с утра, не особо смотря по сторонам, говорю, мол, мне нужно то-то и то-то. И вдруг я проснулся — в один миг. Она свою белую голову повернула. И на меня глянули два голубых глаза. Я такого оттенка голубого у людей не видывал никогда — только в природе.

И тут я настолько оторопел, что сказал — неожиданно для себя самого:

— Господи, да в твоих же глазах утонуть можно!

Сам не знаю, как эти слова у меня вырвались. А она так спокойно на меня посмотрела и улыбнулась. А улыбка у Нюси была красивая — она не одним ртом улыбалась, а всем лицом.

Ну, в общем, я спросил ее, что она делает вечером. И после работы мы гулять пошли. И быстро все завертелось. Наверное, так и бывает, когда любовь настоящая.

Нюся была девушкой строгих правил. Я, конечно, хотел. А она до брака — ни-ни. Так мы почти год и наматывали круги по ленинградским улицам. Но знаете, я се-

бя все равно счастливым чувствовал. Я сразу понял: Нюся — не только красавица, но и женщина с замечательными человеческими качествами. Мне за нее держаться всю жизнь надо. И тут я не ошибся — не прогадал.

* * *

Вот говорят, что в советское время был дефицит продовольствия. Так-то оно так... Но свою-то голову на плечах надо иметь. Нельзя быть простофилей, который питается как попало. Смекалочку надо проявлять.

Например, мы с Нюсенькой специально отслеживали, когда огурчики дешевыми станут. И шмыг на рынок. После работы. Благо Кировский рынок прямо напротив нашего Кировского завода. Наберем огурчиков. Самых вкусненьких. Самых хрустящих. И давай их солить. Мы с Нюсей, бывало, литров по двадцать насолить умудрялись. И думаете, как это все съедалось? Влет уходило. Мы все любили хрустященьким огурчиком котлетку с картошкой закусить. Его и так можно, а можно и в винегретик. Ну и в главное блюдо любого нашего праздничного стола — в салат «Оливье».

Нюсе, правда, потом все такое нельзя было. А может, и сразу было нельзя. Кто знает...

* * *

В общем, поженились мы с Нюсей в конце лета. Свадьба простая была, веселая. Смотрю я на фото с ней — там брат Колька еще более-менее нормальный. И Катька, сестра моя, в перманенте. Такая стройняшка. И не подумаешь, что у нее тогда уже двое детей было: двойняшки Ирочка и Юрочка. Кто мог представить, что через несколько лет с моими непутевыми братом и сестрой случится?

У нас у всех волосы вьются: и у отца, и у меня, и у Кольки, и у Гришки моего. У этой новой Гришкиной тоже кудрявые. Но она говорит: они у нее жесткие, как мочало. Я не трогал, конечно. Это, видимо, их нации свойственно. А у нас мягкие — мы же не евреи. Мы русские люди.

* * *

Я приду вечером. Сяду за уроки. Если не на тренировку. Сижу тихо над учебниками. Катька с матерью что-то готовят. Мама ее рано стала к домашнему труду приучать — и правильно, какая из девушки мать семейства и хозяйка, если она ни убрать, ни приготовить нормально не может?

Не буду хвастаться, но меня в семье умным считали. За это мне разные поблажечки были. Если за уроки сел, то родители в мою сторону чихнуть лишний раз боялись. Ну, если честно, я в детстве, конечно, немного мухлевал. Иногда просто сидел за письменным столом. Ворон считал. Лишь бы ничего не делать. И меня к хозяйственным заботам не припрягали.

* * *

Что было дальше? Колька женился. Он только из армии пришел. Ну и ушел к жене. Они недалеко от нас жили. Тоже в коммуналке. Прописался у нее. А эта Валя старше его лет на пять была. И с ребенком от первого брака.

Как говорили в деревне: женилка выросла, вот и женился. Пил он, как сапожник. Ну и ввязался в какую-то драку по пьянке. Осудили его на два года. Папа там чего-то выяснять пытался. Мы с мамой только пальцем у виска крутили. Мамочка моя умная сразу все поняла. Конечно, близких надо уважать. Но нельзя быть необъективным.

В общем, возвращается Колька из тюрьмы. И куда ему идти? Его жена, пока он сидел, его из жилья выписала. Тогда такой закон был. Ну и подался он, понятное дело, к нам. А я только из армии пришел. И вернулся, надо сказать, не в нашу комнату в коммуналке на Мойке, а уже в отдельную эту квартирку. Ну да, вот в эту. Хоть, конечно, и хрущевка-живопырка. Но зато четырехкомнатная. Комнатки крошечные. Кухонька — с гулькин нос. Первый этаж. Это отцу дали, пока я в армии был.

Осень была 1964 года — отдышаться я не успел, вдохнуть вольного воздуха после казармы, как Колька к нам заявляется: мол, радуйтесь мне, любите-холите, пропишите меня, жена из дома выгнала.

Конечно, его понять можно. Куда ему податься, кроме мамы с папой? А мы как будем с ним жить, если он сиделый, пьющий, да еще и буйный во хмелю?

Но я сразу папе-маме сказал:

— Я вас понимаю. Колька — вам сын. Но подумайте, как мы все будем с ним жить? Ну устроится он куда-нибудь чистильщиком обуви (это я пошутил — вспомнил, как Колька ботинки драил), ну будет пить после каждой получки, пока деньги не закончатся. А потом вы его за свой счет будете содержать? А пьяные драки? А скандалы? А вы уверены, что к нему в гости его бывшие сокамерники не приедут? Вот вы придете домой, а тут пара здоровых лбов на вашей кухоньке сидят-распивают и вашими солеными огурчиками закусывают. Вы как с ними будете разбираться? Тут, между прочим, еще мы с Катькой живем. Я учусь. Как я под этот пьяный гвалт уроки буду делать?

В общем, мама подумала-подумала и встала на мою сторону. Ну и отец вслед за ней.

А Кольке я сказал:

— Коля, после всех твоих художеств мы тебя заселить и прописать никак не можем. Прости. Поезжай-ка ты во Псковскую в бабке. Там не жизнь, а лафа: свежий воздух, натуральные продукты. А мы летом приезжать будем. Так что мы тут недалеко. Никто никого не бросает.

Колька, он покладистый был, когда трезвый. Я же говорю: дурачок. Даже жаль его. Так что собрал он свои вещички и двинул во Псковскую. Устроился там скотником на колхозную ферму. Жил у бабки нашей. Пил, как свинья, понятное дело. Потом к бабе какой-то переселился. Вроде непьющая такая тетка из соседней деревни. Зачем он ей такой сдался — не знаю. Может, в деревне дефицит мужиков. А может, ей дров на зиму наколоть некому. Колька работящий был, когда трезвый...

Летом, когда я Гришку и родителей отвозил на лето во Псковскую, видал я своего брата. Помню, встречает он нас как-то на автобусной остановке. А мы с вещами из Ленинграда едем на все лето. Отец ему дал чемодан понести. А Колька выпивши был — как швырнет чемодан с тушенкой в канаву. Папа ему по старой памяти подзатыльник залепил. Заставил чемодан подобрать...

А иногда мы уже спать ляжем — а Колька тут как тут. Под окнами орет: «Всех зарежу! Вы сына родного из дома выгнали!» Даже связывать его приходилось. Я родителям говорил: вот еще раздумывали о том, прописать его к нам или нет. Любуйтесь — вся эта красота у нас дома была бы. И каждый день.

* * *

Ладно. Пойду перекушу. Утром я оладий нажарил. Скажу я вам: в сложном деле выпечки оладий главное — не торопиться. Как говорится, тише едешь — дальше будешь. Еще одна хорошая наша русская пословица: терпение и труд все перетрут. И победа всегда была за мной.

Так вот, оладьи нужно делать на дрожжевой опаре. Не лениться. Я этот рецепт прочитал в замечательной иллюстрированной Энциклопедии русской кухни. Я ее буквально за копейки на удельнинском книжном развале купил.

Я когда Гришке и его этой посоветовал обратиться к моей энциклопедии, чтобы правильно оладьи печь, мне Гришка еще раз повторил:

— Папа, в Интернете этих рецептов оладий сто миллионов. Давай я тебя компьютером пользоваться научу. Там найдешь себе рецепт оладьев хоть из крокодильих лапок.

* * *

Все-таки с Катькой все как-то странно вышло. До сих пор не понимаю, как так получилось.

Она всего на два года меня младше. Последняя, поскребышек. Мама родила ее в тридцать девять лет. А папе уже за сорок было. Подумать только — она у них седьмая была.

Выросла она высокая, костлявая — вся в отца. Мамочка у нас полная была, низенькая. Мне такие женщины, как Катька, если честно, не нравятся. Я люблю, чтобы с фигурой, так сказать, была. Как Нюся моя...

Училась Катька неважнецки. Ох, как мамочка на нее кричала из-за этого! А что тут кричать, если человек тяги к знаниям не имеет — хоть ты тресни? Я говорил родителям:

— Не давите на нее с этой учебой. Не будет она учиться! Пусть лучше ремесло какое-нибудь освоит: поваром станет, например.

Мамочка мне отвечала:

— Какой из нее повар! Она же укроп с петрушкой перепутает. И в суп вместо говядины свинину положит, если вовремя пинка ей не дать.

И то верно. В общем, на семейном совете решили Катьку машинописи учить. И не прогадали. То есть как не прогадали? В итоге с ней ничего хорошего не случилось. Но на тот момент это было правильно. И как-то так лихо все у нее пошло. В общем, Катька наша вскоре стала машинисткой со скоростью слепой печати чуть не триста знаков в минуту.

Она и выглядела нормально: в то время в моду вошли такие худые, с тонкими ногами, которые из-под мини-юбки торчат. Перманент себе пышный сделала. Летом носила пестрые платья крепдешиновые. В общем, вполне себе ничего девочка стала. Хоть и не в моем вкусе. Устроилась секретарем директора на один большой завод. Там она со своим будущим мужем Лешкой познакомилась...

В 1967-м родила близнецов Юрочку и Ирочку. Вроде все как положено. А потом начались странные вещи. Немного объяснял все происходящее один эпизод. Катьке было лет восемнадцать. Я только из армии пришел. И вспомнил, что у отца были часики такие наручные. Красивые, командирские. Ему кто-то подарил. Ну я хотел

пофорсить красивыми часами. И попросил папу их мне подарить. Ему в столярке хорошие часы ни к чему. А отец говорит, что, мол, Катьке их отдал буквально на днях.

Мамочка, мой лучший дружочек, конечно, за меня вступилась. Говорит отцу:

— Ты, дурья башка, зачем Катьке часы отдал? На кой ей мужские часы? Она только со своими подружками их пропьет. А Леве они нужны — он серьезный человек. В техникум учиться идет.

Но что упало — то пропало. Часов — как не бывало. И Катьки пару-тройку дней дома не было. Говорила, что у подружки на даче была. А как проверишь? Тогда мобильных телефонов и в помине не было.

В 1966-м она замуж вышла и к Леше переехала. Детей родила. Мама сразу почуяла неладное. Говорит: «Гудят они там». Мы с отцом поверить в такое не могли. А ведь права мамочка была...

В общем, исполнился деткам годик. Год был 1968-й — я почему запомнил — потому, что у меня с Нюсей роман был в разгаре. Дело шло к свадьбе и, следовательно, к переезду к нам. А что? Общая комната свободна. У меня — своя. Родители еще в одной. Так что местечко даже мне для, так сказать, учебного кабинетика оставалось.

Я планы строил. И тут — неожиданность. В один прекрасный день раздается звонок в дверь. Спрашиваю:

— Кто там?

— Я, Катя.

Открываю — у двери стоит Катька. И Юра с Ирой за ее руки держатся. Она сама какая-то потасканная — то ли уставшая, то ли больная, то ли испитая. А они маленькие. Только ходить начали.

Катька говорит:

— Я с Лешей жить больше не буду.

И входят они в дом. Все трое.

Вообще, странно. Что у них там с мужем случилось — я не знаю. Она незадолго до рождения двойняшек от нас выписалась. Они с Лешей и детьми тогда быстро квартиру в новом районе получили — далеко от нас. Жить бы им и поживать...

В общем, я тогда как одинокий парень переселился в кабинетик свой. А что делать-то? Мама сказала: «Это наша дочь. У нее жизнь не заладилась».

А в тот момент жизнь не задалась у меня. Стал я как пес бездомный. К Нюсе не очень пойдешь: она в общежитии жила. Дома дети бегают, как оглашенные. Всюду заходят. Все со стола хватают. Пришлось мне мою конурку от них на замок закрывать: они мне то чертежик изрисуют, то ластик стащат, то конспект порвут.

Не жизнь стала, а ад какой-то. Катькин Леха там, значит, один в их квартире прохлаждается. А мы тут вшестером в хрущевке. Нормально, да?

На мамочку мою смотреть было страшно. Она очень полная была. Ноги как тумбы. Еле дышит. Только пот рукой со лба отирает. Я уже чуть не забыл свою бойкую маму, которая так в коммуналке всех соседей строила. Вспоминаю, после скандала на кухне соседка уйдет в свою комнату с гордо поднятой головой. Дверью хлопнет. А мамочка подойдет к ее двери и прямо в скважину крикнет:

— Ты за все электричество в квартире у меня заплóтишь! Не нравится — ехай в свою Палестину! Мы тут по русским законам живем!

Тогда, конечно, всех воспитывали в духе, так сказать, интернационализма. Думаю, мамочка не особо разделяла людей по национальности. Но иногда считала нужным уколоть, чтобы на место поставить.

Мы были семьей многодетной — в одной комнате ютились. А эта Анна Самуиловна жила в двух смежных одна. У нее мужа вроде еще в 1930-е расстреляли. А сын на войне погиб. Грустно это, конечно. Но жизнь продолжается. У мамы моей, между прочим, тоже четверо детей в блокаду умерли...

Помню, мама на следующий день после того, как той соседке по коммуналке предложила за все электричество в квартире заплатить и посоветовала ей в Палестину ехать (для острастки, понятно), говорит, так сказать, для закрепления результатика:

— Ну че, дорогуша, когда на Палестину билет заказывать будем?

* * *

В общем, стало ясно: мамочку спасать надо. Вижу, и отцу тяжело от всего этого гвалта круглые сутки. А тут еще стало ясно окончательно и бесповоротно: Катька наша — пьяница. Не лучше Кольки. Ох, что только с людьми эта беленькая делает. В свиней человеков превращает...

Катька вскоре пропадать начала. То на день. То на два. Детей на нас оставит. И гудеть с подружками. Приходит с таким перегарным выхлопом — хоть святых выноси. Никакой ответственности перед малышами.

В общем, расклад такой. У нас с Нюсей — никакой жизни. Дети квартиру разносят. Катька где-то водку жрет. Мамочка еле жива. Отец только молчит. Вот к нему я и подошел — выбрал моментик:

— Папа, как ты считаешь, все, что в нашем доме творится — нормально?

Он мне чего-то типа:

— Так это же моя дочь. Мои внуки...

А я ему:

— Так кто же с тобой спорит? Кто их гонит отсюда? Давай, пап, чтобы мамочке нашей спокойней было, часть большой комнаты со входом в вашу спальню стеной отгородим. Чтобы мамочка, когда от шума устанет, могла в тишине хоть отдохнуть немного.

В общем, сделали мы маме подарок. Появился в нашем доме, так сказать, островок безопасности. Родители в спальне и в большой комнате — мы с папой их отгородили. Я свою конурку сам запер. Ну а Катька с детьми в семиметровой. Ну и к их услугам санузел и кухня.

Катька там чего-то сказать пыталась... Но сама понимает: у нее в нашей квартире больше нет прописки. Ни у нее, ни у ее детей.

А дальше у них с Лешей вроде все налаживаться стало. И она с Ирой и Юрой к нему вернулась. Так что я, можно сказать, поспособствовал воссоединению молодой семьи на их законно полученной площади. Ну после их отъезда мы с отцом ту фанерную стенку убрали: зачем площадь большой комнаты уменьшать?..

А дальше, правда, все невесело обернулось. Катька еще буквально пару лет там пожила. В то время у нас как раз телефон появился — Леша ее искал то и дело. Ну а нам откуда знать, где и с кем сестра пьет?..

Тихая ведь девочка была, нормальная. Катька-одуванчик. Катька с косичками. Катька — машинистка-пулемет.

Потом она к нам приходила — уже тощая, испитая: мол, примите меня дома, родные люди. Видимо, ее Лешка со свекром и свекровью окончательно выгнали. Ну тут уже мы с мамочкой не дали отцу даже слово в ее защиту сказать. В конце концов,

у меня не лечебница для алкоголиков. Я ее к спиртному не приучал. Денег ей на водку не давал. И тем более ей не наливал.

Катька пришла к нам, когда уже Нюся с нами жила. И Гришка на свет появился. Куда нам ее, пьяницу? Я ей, как и Кольке, предложил отправиться на свежий воздух во Псковскую. Катька всегда была покладистая. И отправилась туда.

С ней виделись совсем редко. Она при ком-то обосновалась в соседней деревне — километрах в семи от нашей. Гришка рассказывал: Катька как-то раз к ним заявилась. Подшофе, понятное дело, да еще с сожителем своим — каким-то мордоворотом. Он страшный, только из зоны. Весь в зоновских наколках — представляю, какого страха моя мама натерпелась... Вот такую судьбу выбрала себе наша Катя.

Мы узнали, что Леша ее родительских прав лишил. Детей он вместе со своими родителями воспитывал.

О смерти брата, а потом и сестры нам сообщали — как-то дозванивались из колхозной конторы. Оба раза была зима. И я, если честно, не поехал. Ну чего ехать?

* * *

Как говорится, сколько на свете людей, столько мнений о том, как готовить котлеты. Ну и у меня на этот счет, понятное дело, свое мнение имеется. Котлетки должны быть, во-первых, нежные, а во-вторых, прожаренные. Но ни в коем случае не пережаренные.

Как достичь того, чтобы котлетки таяли во рту? Тут следует начать с мяска. Говядины должно быть процентов шестьдесят. Остальное — свининка. Фарш я сам мелю. Но иногда позволяю себе нечто еще более нежное. Беру процентов восемьдесят говядинки. И процентов двадцать свиного жирка. Совсем нежненько получается. Говорят, свиной жир — сплошной холестерин. Вредно. И все такое. Ерунда это все. Вкусная еда не может быть вредной. Повторяю: вопрос в том, сколько есть. Я больше пары котлеток в день себе не позволяю.

Да, а к мяску я добавляю примерно полбатона белой булочки, отмоченной в молочке предварительно. Ну и луковичку. И пару-тройку долек чесночка. Сказка, а не котлетки. Во рту тают. А если еще с пюре с маслицем сливочным. И с огурчиком малосольным... Эх... Пойду-ка я себе обед готовить.

* * *

Знаете, я с детства рисовать любил. И у меня, как мне кажется, иногда что-то получалось. Помните, я уже рассказывал про картинку, на которой Нюсю с Гришкой маленьким изобразил?

Вот сижу я сейчас за своим рабочим верстаком. А на стенку перед собой я много разных любимых картинок повесил. Конечно, ту с летним днем. Еще иконку замечательную. Там Богоматерь над колыбелью с младенцем Христом склонилась. А лицом Мария — вылитая моя Нюся. Художник эту икону русский написал. Почему я так решил? Ведь не зря же говорят: иконописцы в разных странах рисуют героев библейских сюжетов похожими на своих соотечественников. Говорят, на японских христианских иконах Богоматерь раскосая. Смех, да и только! Так вот, на этой моей любимой иконке мать Христа с таким нежным лицом склоняется над ребенком. И личико у нее такое нежное. И прядь светлая на лбу — ну вылитая моя Нюсенька.

Иногда смотрю на нее — и слезы наворачиваются. Жену мою дорогую вспоминаю.

Нюся моя искусством не увлекалась — не до того ей было. Но тоже картины чувствовала и, так сказать, переживала.

Как-то мы поехали в Киев — еще Советский Союз был. Там в Киево-Печерской лавре мы такую икону увидели. Нежное лицо Богоматери я забыть не могу. Мы с Нюсенькой тихо так сели напротив нее. Мне показалось, как будто какая-то тихая музыка зазвучала. Не знаю, сколько мы так просидели. Нюся почти плакала. Она вообще добрая и чувствительная была.

Вот в Советском Союзе на щит поднимали только один вид искусства — реализм. А когда во время перестройки нам открыли много новых интересных имен, знаете, мне некоторые из них очень даже понравились. Как это Малевич рисовал свои как будто светящиеся фигуры? А Филонов — это просто чудо какое-то. Как это он смог так абстрактно и в то же время понятно нарисовать формулу весны? Чудеса. Просто чудеса.

Есть у меня еще одно небольшое увлеченьице. Ну почти искусство. Я вам потом о нем расскажу...

* * *

Мы поженились в августе. А Гриша у нас в мае родился — все как полагается, так сказать. Хороший такой мальчик, светлый, как Нюся. Большеголовый. Смышленым был с детства.

Нюсенька как родная вошла в нашу семью. Родители мои хорошо ее приняли. Так мы и жили много лет: в одной комнате мы с Нюсей, в другой — родители, в бывшей моей конурке — Гришка. Ну и общая комната с телевизором.

Но телевизор больше родители смотрели. Нюся как-то сразу впряглась во все хозяйство. Такая чистюля была: бесконечно все чистила, мыла, убирала, до блеска натирала, пылесосила. Мамочка больше на готовке специализировалась. Но ей легче приходилось все-таки: она на пенсии была.

А как со всем Нюся справлялась, я до сих пор не пойму. Ведь она полный день работала. Пошла учиться в техникум на заочное — ее мастером на заводе сделали. Рабочий день с семи утра. Вставала всегда в пять. Она любила следить за собой. Помню, проснется. Идет сразу в душ — мы с родителями никак не могли в толк взять, что она столько моется. Я вот разок в недельку с мылом душик приму — и будет. Отчего я так уж могу испачкаться? Не на помойке живу.

А Нюся с утра волосы феном сушит. Потом красит ресницы, волосы укладывает. Она ведь, как я шутил, патентованная блондиночка была.

Она меня просила:

— Лева, брови мне покрась.

Специальную краску разводила. И я такой тонюсенькой кисточкой ей брови намазывал. С темными бровями все-таки лицо ярче кажется.

Она после свадьбы еще лет двадцать красивая была — на нее все заглядывались. На работе к ней многие подкатить пытались. А Нюся моя — ноль внимания. Я для нее единственным мужчиной был. Вот так.

А вот после сорока она как-то вянуть начала. Очень располнела. И если честно, постепенно стала похожа черт знает на что...

* * *

Роды были тяжелые. Я как мужчина особо в подробности не вдавался. Но там вроде, по словам Нюси, какой-то вакуум применяли. И с давлением какие-то про-

блемы были. Ей ведь всего девятнадцать лет было. Какие болезни в таком возрасте... Так я тогда думал. Знал бы, чем это давление потом обернется...

Больше Нюся рожать отказалась категорически. А я ведь хотел. Она — уже не помню — пять или шесть абортов сделала. Тогда, знаете, аборт фактически был единственной мерой контрацепции. Время такое было. Но что бы сейчас ни говорили про контрацепцию, но таблетки — это всегда гадость и вред. Врачи специально людей на них подсаживают, чтобы нажиться. Не знаю я, если честно, как правильно предохраняться без таблеток. Любовь, так сказать, должна быть полной и завершенной. А как это возможно в резинке? Вы понимаете, конечно, о чем я.

Какая была Нюся моя, пока здорова была! Огонь! Бывает, в воскресенье поднимется пораньше. И нас с Гришкой будит. Я на работу хоть и ходил не к семи, а к восьми тридцати, все равно в выходные поспать любил. В постели мне нравилось с утра поваляться. Но нет. Она нам говорит:

— Вставайте! За ночь во дворе снега навалило. Пойдем ковры выбивать!

И вот мы с сыном, как две сонные тетери, плетемся за бодрой Нюсей. А она маленького росточка. Но походка у нее была энергичная. Пока она совсем не разболелась...

А во дворе — какое-то царство ковров. Самых разноцветных. Ярких. С разными замысловатыми узорами. И воздух свежий. Ковры все расстелили на снегу. Некоторые повесили на турники во дворе. Каких там только не было! Какие яркие краски! Какие плавные линии. Как какая-то восточная мелодия. И вот с утра раздается стук выбивалок. И этот белый снег, и узоры на нем, и веселые люди с выбивалками... И Нюся, и мы с Гришкой, разгоряченные работой на свежем воздухе. Как давно это было. Вся жизнь, как сон, пронеслась.

Гришка мне говорит: «Убери ты эти ковры. Обстановка нафталиновая. Как в прошлом веке». А я ему отвечаю: «Ковры — это уют. Не буду их убирать». Ничего он не понимает в красоте.

* * *

Еще очень хорошо, когда у тебя в жизни есть хорошенькое такое увлечение. Я, например, камешками увлекался. Собственно, и сейчас увлекаюсь. Но, так сказать, материальные возможности уже не те: пенсия у меня небольшая.

Как я к этим камешкам пришел? Все, конечно, не так просто.

Кем я был? Парнем из простой семьи. Работягой. А тут я женился. Техникум окончил. Квартирный вопрос решился.

И думаю я: надо что-то с работой делать. Не век же мне в грязном цехе кантоваться. И техникум все-таки...

К нам в цех часто по разным рабочим вопросам заходил такой Виктор Степанович Сергеев — приятный такой, молодой еще мужчина лет тридцати семи где-то. Заведующий конструкторским отделом. Смотрел, как детали к их приборам в цеху делают. А я к нему специально — разок-другой-третий — с вопросиками. Придумывал, как ту или иную детальку получше сделать. С улыбочкой. Иногда дома вечерком после работы что-нибудь начерчу относительно того, как процесс, так сказать, рационализировать. Утром, когда Сергеев приходит — сразу к нему с предложением.

Постепенно мы с ним стали разговаривать не только о работе, но и о том о сем. Тогда, знаете, с работы никого не увольняли: в СССР же не могло быть безработицы, поэтому работяги были алкаш на алкаше. А я молодой парень, уже женатый, после техникума. Чистоплотный, положительный. Жена тоже рядом работает. Хорошая девушка. В общем, Виктор Степанович во мне перспективу увидел.

Я решил немного его, так сказать, поторопить с переводом меня на должность инженера-конструктора. В разговоре он как-то упомянул о том, что его интересуют камешки: драгоценные, полудрагоценные и поделочные. Ну я тихонечко как-то после работы — шмыг в библиотеку. Почитал там про разные минералы. Потом в музей Горного института. Поначалу мне это, если честно, совсем не было интересно. Но зато, так сказать, к беседе на отвлеченные темы с Сергеевым я подготовился. Чтобы не выглядело такое совпадение интересов странным, я разговорчик наш начал с вопросов про разные камешки. Потом своими знаниями блеснул... В общем, и месяца не прошло, как я уже числился инженером второй категории.

Так я практически до пенсии под началом Сергеева и проработал. До заместителя конструкторского отдела дослужился! Без высшего образования рядом с инженерами трудился и голос свой смело подавал!

Вот, к примеру, то, что Гришка называет маркетингом. В Израиле такой хорошенький поделочный камешек, как азурмалахит, называют эйлатским камнем или аж камнем царя Соломона. Говорят, Эйлат — это у них хороший курорт на Красном море. Понятно: тут тебе и реклама курорта, и камешки красивые, и все тридцать три удовольствия — только плати.

А камешек этот ерунду стоит. И известен давным-давно. У меня есть такой один. Так смотреть на него приятно. Голубая змейка бирюзы как будто бежит по зеленому полю малахита. Как посланница Хозяйки Медной горы.

Или просто лазурит — темно-синий, как иногда небо бывает в сумерках. Или перед грозой. Камни — они как отражение всего лучшего в мире...

Я потом к начальнику своему Сергееву с разными камешками домой ездил. Он мне свою коллекцию показывал, я ему — свои экземплярчики. Так и подружились.

* * *

Знаете, у камешков есть магическое свойство: они умеют воспоминания вызывать.

Вот, помню, сижу я так же — через лупу новый малахит рассматриваю. А в соседней комнате Нюся мамочку на горшок сажает. Мама моя к старости, как в деревне говорили, обезножела. Утром Нюся ее одевала. Лицо ей мыла. Усаживала на кресло. И мама в окно целый день смотрела — как в тумане она уже была. Нюся-то сама была не очень-то здорова: она на пенсию в сорок пять пошла по инвалидности. Как начали ее бить эти микроинсульты — один за другим. А она мастером на заводе работала — я уже говорил об этом. Работягами командовала. А они то металл запорют. То какой-нибудь в запой уйдет — на работу не явится. А план гнать надо — хоть наизнанку вывернись. В общем, весь этот дурдом вместе с каждодневным подъемом затемно сделали свое черное дело. Вот где это давление сказалось, о котором ей в роддоме говорили, когда Гришка рождался. Как я уже говорил, красоты там этой белокурой не осталось вовсе. Но я ей об этом не говорил.

Но кто еще стал бы так со свекровью возиться? С утра как встанет — сразу к мамочке:

— Мама, ты проснулась?

Ну и самая трудная задача — высадить маму на горшок. Она уже и полутора метров до туалета дойти не могла. Ну и вынести за ней потом. И подмыть-подтереть саму мать. И так — несколько раз в день. Как и покормить. Ужас, что это было: не знаю, как Нюся все это вынесла! Меня только камешки от всего этого ужаса отвлекали. Господи, как тяжела женская участь. И как я прав был, связав свою жизнь с таким прекрасным человеком.

* * *

Рассказал это. И пюрешечки захотелось. Пойду картошки начищу. Сейчас поставлю ее варить и продолжу.

* * *

Когда в нашу жизнь пришли болезни, я стал много о них думать. И пришел к определенным выводам.

Но начну по порядку. Сначала у папы стал болеть живот. Видимо, он долго терпел: отец, в отличие от мамочки, терпеливый был.

В общем, вызвали участковую. Она его в больницу. Там — на хирургический стол. Толком не понял, что они там с ним делали. Но в итоге вернулся он домой со стомой — трубка у него такая из живота торчала. Ох и намучился отец с этим шлангом чертовым! Он ему кожу раздирал. В туалет, понятное дело, обычным образом папа ходить перестал. После той операции он еще много лет прожил. Но разве это жизнь?

Стал он вялый какой-то. Целый день сидел в большой комнате у телевизора и смотрел все подряд: хоть новости, хоть бразильский сериал про любовь, хоть наш какой-нибудь детектив. Настало у отца равнодушие к жизни.

Раньше, бывало, сходит на угол с бидончиком за пивком. Хлебнет кружечку-другую. Возьмет гармошку. И давай наяривать. Набор у него, правда, был ограниченный: «Барыня», «Когда б имел я златые горы», «Коробейники»... Еще пара-тройка песен. А все равно от его игры на душе радостно становилось, приятно как-то.

Тяжело было видеть отца таким скучным и вялым. Лично я виню во всем врачей. На что они, эти эскулапы, способны? Да ни на что. На лекарства людей подсаживать. Им фармацевтические концерны за это большие деньги платят.

А от чего человек выздоравливает? От мобилизации всех сил иммунитета.

Вот, к примеру, я лет двадцать назад загремел в больницу. Результаты своих анализов сохранил — для потомства, так сказать. Тут у меня и гемоглобин низкий, и кровь в кале, и язва желудка. И черта лысого у меня только не нашли. Предложили оперироваться. И что, вы думаете, я сделал? Ничего. Просто ушел из больницы. Плюнул на них.

А дальше я стал укреплять свой иммунитетик. Ел фрукты. Гулял. Думал только о хорошем. И результат: я и забыл про их диагнозы.

Чтобы выздороветь, нужно, так сказать, взять себя в руки, и вот уже все и прошло.

Отец хоть и мучился с этой стомой, но прожил долго. И мама умерла, когда ей было ближе к девяноста.

В общем, не успели мы маму схоронить, как стала моя Нюся сдавать не по дням, а по часам.

Неотложка ее в больницу увозила. Там ее наколют черт-те чем. Вроде лучше становится. И домой выписывают. Список лекарств для приема дают. Советуют консультироваться с неврологом.

Я зашел в аптеку, приценился к этим лекарствам. И прямо оторопел. Они что — разорить нас хотят своей химией? И стал лечить Нюсеньку без врачей и без лекарств. Рассудил так: если уж попала в больницу, то от их методов не отвертеться. Пусть делают там, что считают нужным. Спрашивают, принимает ли она дома всю эту химию, — киваю утвердительно. А делаю так, как мне сердце подсказывает.

Ну скажите: что полезней — их эти таблетки за пять тысяч рублей или бульончик из натуральненькой курочки, который в сто рублей обходится? То-то же.

Я Нюсеньке каждый день давал по ложечке лимонного сока — для укрепления иммунитета, так сказать. Нюся морщилась, но пила. Не все полезное вкусно.

И о пользе меда спорить бессмысленно. Я лично медок обожаю. Гришка мне тут говорит:

— Папа, я уже понял, что у тебя по сусекам литров пятьдесят варенья припасено. А меда у тебя, видать, литров с десяток?

— Ну что-то около того, — отвечаю.

Есть, да не про вашу честь, думаю.

Я люблю утречком, когда они спят или на работе, чайку с медком хлебнуть. На улице светло. Я открываю шкафчик. А там медок всеми оттенками янтаря переливается. Светло-бежевый — это липовый. Темный — это гречишный. Темный прозрачный — это кардамон. По вкусу он — как такое пикантненькое вареньице. Я пару ложечек с чайком выпью — вот и новый денек начался.

* * *

Раньше мы с Гришкой и его этой новой питались вместе. А потом я решил отделиться. В конце концов, не надо волноваться о том, достанется ли мне порция: откладывать себе заранее в другой холодильник.

Ну рассудите здраво: сыну пятьдесят. Да, у него две доли в квартире: его собственная и Нюси покойной. Но кто на самом деле ее хозяин? Я. Я в ней жизнь прожил. Он, в конце концов, мог себе за столько лет на какое-нибудь отдельное жилье заработать.

А теперь я мучайся? В общем, рассудил я так. Жить буду так, как будто их нет. Но только одну комнату им уступил: спать-то людям где-то нужно. А в маленькой моя спаленка. Дальняя — моя мастерская. В большой — проходной — я телевизор смотрю, когда хочу и что хочу.

Готовить стал себе сам: я делаю все медленно. Если, например, примусь за борщ, то на полдня кухня занята с гарантией.

Видно, что Гришкина эта морду воротит. Но меня, если честно, это даже раззадоривает: совсем обнаглела — губки на чужой территории еще поджимает.

Как-то она не выдержала. Утром в выходной день я на кухоньке на моей чад развел: все жарил-парил. В две мои комнаты заходить нельзя. Да и нечего им там делать. А в большой я уселся телик смотреть. Так вот: она выходит из их комнаты. Да как дверью шваркнет. А потом зашла в кухню — и еще раз дверью.

Я ее приструнил, конечно.

Ну она на меня матом как пойдет — я даже обалдел. Еще культурная женщина называется. Потом два месяца со мной не разговаривала. Но — я подумал — я человек не гордый: стал делать шажки навстречу. Че в конфликте жить? Она и так все поняла.

Гришка тоже со мной ругался. А смысл? Что он мне сделает? Я тут прописан и треть собственности имею.

А то иной раз специально встану пораньше и ванну займу. Понятно: им на работу надо. А я, старый человек, у себя дома почему не имею права помыться, когда мне хочется?

Или ей на полку с нижним бельем свои несвежие треники кину. А что? Шкаф-то чей? Что хочу, то и кладу.

* * *

Картофельное пюре мне удалось на славу. Сыт и доволен...

Конечно, грустно мне бывает без Нюси. Тоскливо. Особенно когда я один дома сижу, а на улице уже темно и плохая погода.

Как в последние полтора года болела моя Нюсенька! Как болела... Без палочки даже по квартире не могла ходить. А ей ведь только шестьдесят два года было.

Больницы, больницы, больницы...

Ну между больницами я как-то вызвал участковую — так, больше для профформы. Она, понятное дело, начала про то, какие лекарства нужно купить и какие дорогие обследования нужно пройти, которые нужно самим оплатить: нет-де их в системе ОМС.

Как будто это поможет больше, чем проверенные веками средства.

Ну я ее — матом. И добавил:

— Вы людей не лечите, а гробите!

Ну и дальше еще по матушке. Она — оп — и выпорхнула из квартиры.

У меня внутри все прямо кипело. Не поленился — пошел на следующий день в поликлинику. И высказал им все, что я о них думаю. Они там только бровки подняли... Ну ничего — пусть знают, что я о них думаю.

В общем, лечил я Нюсеньку проверенными средствами: медком, лимоном, бульончиком...

То получше ей становилось, то похуже... Ох...

Как-то ночью проснулся — слышу — она зовет меня:

— Что-то совсем плохо, Лева.

Я неотложку вызвал. Ее в больницу отвезли. Положили в реанимацию.

Не знаю, какими лекарствами они ее там пичкали. Но через три дня она умерла.

* * *

Самыми большими утратами в моей жизни были мамочка и Нюся. Отчего особенно грустно: пережил я тех, кого любил и ценил больше всех на свете. И они меня любили.

* * *

Недавно попала мне в руки одна статья — о том, какого возраста и пола люди выживали в блокаду. Там было написано: лучше переносили голод дети лет от двух-трех до подросткового возраста и женщины лет до сорока. А первыми умирали здоровые мужчины (их организмам полноценное питание нужно) и маленькие, еще не окрепшие детишки.

Так что получается, в блокаду должны были выжить мамочка и двое старших ее деток. А выжили только мои родители. Ну и Колька — но он, помните, у бабки во Псковской был в войну. Так что он не в счет.

И знаете, вот что я подумал — вы только никому не говорите. Мамочка моя верно рассудила: один сын у них уже есть. Война кончится — они люди нестарые — еще себе нарожают.

Вот она, видимо, делила детские пайки — Лидочкин, Ниночкин, Димочкин, Витенькин — между собой и отцом. Не знаю, как было на самом деле. Но я так думаю. Предполагаю, так сказать.

И хоть четверых детей они потеряли, зато сами выжили. И меня и Катьку-дуру родили. И спасибо им за это.

И внуков дождались. И старость достойно встретили.

* * *

В общем, взяли Гришка с его этой себя в руки, видимо, поскребли по сусекам и купили себе квартирку — не знаю, были у них деньги, или кредит взяли.

Гришка говорит мне:

— Все, папа, в воскресенье мы переезжаем. Я уже машину заказал.

Слава господу! Сподобились! Дали старику спокойно в своем доме дожить!..

В четверг выхожу в прихожую — вижу: его эта сидит — ботинок застегивает. Видимо, на работу собирается. Я ей — опять про Шукшина. Она — опять: мол, хороший писатель. И тут я заготовочку свою, так сказать, выкладываю, чтобы результатик закрепить, как мамочка делала:

— А фильм его «Калина красная» тебе нравится?

И тут она ничего неожиданного мне не отвечает — слава богу, как я и предполагал (значит, не зря готовился):

— Этот фильм мне не нравится. Сюжет неправдоподобный. Все какое-то неестественное.

Тут я и ввернул к месту:

— Это про русскую душу. Тебе этого не понять.

Она промолчала. Ну, думаю, у нее теперь и мысли не будет сюда еще раз свой длинный нос сунуть. На своей территории нужно жить.

* * *

Сейчас весна. Небо какое-то необыкновенно синее. Как лазурит. Настоящие весенние сумерки — такие, о каких мы всю зиму мечтаем.

Я сижу в своей мастерской. Тихо так. Спокойно.

Передо мной — картина, где я Нюсю с Гришкой нарисовал.

А тогда было лето. И все светилось — Нюсино лицо, луг, та дубовая роща.

И Гришка был тихим, улыбчивым, большеголовым ребенком.

И вдруг я понимаю, что плачу. Плачу, как дурак, мальчишка, сопляк. Плачу о том солнечном дне, которого нет больше...

* * *

Нос заложило от слез — я не заметил, что вся квартира в дыму. Картошка сгорела на плите.

Картошка — она ерунду стоит. Не жалко. А вот кастрюлю от нагара оттереть — это целое мероприятие. Но не выкидывать же ее.

И куда я соду подевал? Не помню. Пойду искать.

Илья ВАСИЛЬЕВ

Четверть века назад в числе выпускников отделения музееведения, которым я преподавал основы фондовой работы, Санкт-Петербургскую академию культуры окончил Илья Васильев из Якутска. Он был крайне немногословен, и у меня не осталось сколько-нибудь ярких воспоминаний о нем. Я открыл его для себя два десятилетия спустя, когда случайно прочел несколько его стихотворений, каждое из которых заставляло удивиться, засмеяться или ахнуть... Больше я Илью Васильева не закрывал. Я надеюсь, что рубрика «Нестоличная Россия» позволит читателю «Невы» также открыть для себя этого петербургского поэта из Якутска. «Я ведь толком не был в Петербурге, – признается Илья Васильев, — он во мне, похоже, был всегда».

Виктор ФАЙБИСОВИЧ

* * *

Эта призрачная музыка
и туманы у воды,
эти два твои союзника,
эти две твои беды.

Все единственно неверное,
только чушь твоя и блажь,
эти зори акварельные,
уходящие в гуашь.

Все, что некогда и некому,
никому и никогда,
фонари твои с аптеками
и замерзшая вода.

Что мерещилось и мучилось
через долгие века,
и древесная задумчивость,
и ковыльная тоска.

Будет много недопетого,
но нет-нет да оживет
это все твое вот это вот,
все твое вот это вот.

Илья Эдуардович Васильев родился в 1978 году, живет в Якутске. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский институт культуры. Музейный работник. Автор научных и научно-популярных статей по истории науки и культуры Якутии.

* * *

На душе, как в поле зимнем, пусто,
и пуста дурная голова,
с журавлями улетели чувства,
и замерзли в озере слова.

Серо-тяжелы, темно-серьезны
мысли все мои и небеса,
облетели строчки и березы,
поредели рифмы и леса.

Город с фонарями и домами
скоро скроется в седой туман,
да и сам я растворюсь в тумане
как провинциальный графоман.

* * *

Плетет зима, как белый сон,
туманов белых белый кокон,
и домик твой до самых окон
стоит, снегами занесен.

Зима свое веретено
верти́т вокруг тебя ветрами,
и по накатанной программе
снегами все заметено.

Который год, в который раз,
как сон предутренний, большая,
метет зима, меня спасая,
метет, спасая нас от нас.

* * *

Проникая в черноты истории Белого Света
и питаясь осколками падших античных высот,
нарождался наш век — катастрофа железного века,
создавался наш мир как нелепый смешной эпизод.

Разделяя людей непрестанно на верхних и нижних,
выдавая друзей за врагов, а врагов за друзей,
мне ли, Боже, не знать, что такое зарвавшийся книжник,
мне ли, отче, не знать, кто тут главный у нас фарисей?

В бесконечно уютной дискуссии белых и красных
не понять ничего, а уже и зовут умирать,
и сияет мой глянцевый лоск на рассыпанных пазлах,
из которых уже ничего невозможно собрать.

Поклоняясь усердно иконам царей и генсеков,
постоянно в себе раздувая их яростный пыл,
я так долго копил на свою деревянную церковь,
что в какой-то момент, для чего это все, позабыл.

Все пройдет и слиняет в три дня, как смешная нелепость,
оставляя неясную грусть, как уехавший цирк,
и веселый старик будет петь героический эпос,
иногда по привычке сбиваясь на русский язык.

* * *

Гортанные звуки пытаются спеть
свое восхищение небом.
Но голос мой пуст, как монгольская степь,
в которой я, к слову, и не был.

Не будь атаманом, а все же терпи,
ты — мальчик, а был или не был...
По слухам, как купол в бескрайней степи,
огромное звездное небо.

Где только лишь звезды и могут помочь,
когда по степи́ заплутали,
где каждую Божию ясную ночь
бескрайний висит планетарий,

что в мир посылает суровых мужчин,
каких он доселе не видел.
Взгляни на меня, я тот самый ямщик
и тех ямщиков представитель.

О них не написано в книжных сетях,
мы не создавали скрижали,
а только на вьючных своих лошадях
студеное море снабжали.

Убогий станок — вот и весь мой колосс,
то холод, то жаркое солнце,
на эту работу других не нашлось,
один только я и нашелся.

Как прежде труслив, безнадежен и глуп,
я тот же безгласый тихоня,
но сказку про заячий этот тулуп
я тоже, однако же, помню.

Где я замерзал, продолжая хрипеть
в холодное звездное небо
протяжную песню про круглую степь,
в которой я даже и не был.

* * *

По-другому, может, и хотели бы,
только все об этом, об одном.
Белый снег на потемневшем дереве
на заборе за моим окном.

Сколько в нем прекрасного, контрастного
черной, неухоженной земле.
Это он кричит в грачах Саврасова
и у Пастернака в феврале.

Суриковский на снегу юродивый,
что из снов пророчит наяву
прямиком из лермонтовской Родины
через всю кабацкую Москву.

Даже я, в моем мышленье клиповом,
вижу снег с веранды Грабаря...
Здравствуй, мать, Настасьюшка Филипповна,
с праздником Седьмого ноября.

* * *

Через крепость пройти; под рострами,
Превращая маршрут в обряд...
Сергей Адамский

По раз намеченному кругу,
из года в год
идет поэт по Петербургу,
и снег идет.

Свой белый стих из белых кружев
вокруг творя,
снежинки кружат, кружат, кружат
от фонаря

и падают на ту аптеку
и тот канал,
что и поэта, и поэтку
так доконал.

Текла толпа проспектом Невским,
всегда права.
И я был в ней, но было не с кем
делить слова.

Но все же есть железный довод
сказать себе:
июньским утром по Садовой
я шел к Неве.

* * *

К весне готовится природа
в двадцатых числах февраля.
Обещанного ждут три года
леса, и реки, и поля.

Ты им наобещал так много
и не сбываешься никак,
им так смертельно одиноко
в твоих сверкающих снегах.

Из тальников, песка и сажи
и летом, и среди зимы
природа создает пейзажи,
которые рисуем мы.

Рисуем всюду непрестанно,
насколько хватит глаз и ног:
где не увидим Левитана, —
там обязательно Ван Гог.

Вон, в точности как у Ван Гога,
обугленные тополя
обещанного ждут три года
в двадцатых числах февраля.

* * *

Моя роль непомерно огромна,
а вина бесконечно горька:
я молчу недостаточно громко
и бездействую без огонька.

Потому что по целым неделям,
сколько б я ни ходил, идиот,
получается: чтоб я ни делал,
получается все это вот.

Мне бы в этой березовой чаще
затеряться со всеми, как все.
Я бы был рядовой соучастник,
если б сам не составил досье.

Но однажды покажется кромка,
я за ней, как нормальный пророк,
замолчу оглушительно громко
и застыну как вечный упрек.

Алексей КУРЕНЁВ

ЧАНСК

Роман

Алексей Куренёв — заочник Литинститута, где я веду творческий семинар прозы. Он не столь уж юн. Родился в Самаре. Окончил Ульяновское высшее военное инженерное училище связи, уволился из армии в звании старшего лейтенанта, затем — Самарскую академию путей сообщения. Ему есть о чем писать. Возраст не лимитирует его жизнь. Куренёв снова стал студентом, получает уже третье образование, на этот раз в Литературном институте. Куренёв — студент, однако, как и когда может, публикуется и в местных, и в центральных изданиях, возобновил у себя на родине выпуск литературного журнала «Южный Урал», вместо того чтобы завывать, как плохо все вокруг: угнетают и не печатают. Живет он в славном городе Челябинске, важном литературном объекте так называемого «уральского треугольника» (Пермь, Екатеринбург, Челябинск). Принимает участие в организации литературных фестивалей. Его «бытовые» рассказы ясны, лаконичны, хорошо сделаны. Сейчас вот появился роман «ЧАНСК» — выдающийся текст нашего нового времени, когда наконец-то можно писать ОБО ВСЕМ, цензура и единомыслие запрещены Конституцией РФ, и писателю для того, чтобы состояться, вовсе не обязательно стремиться в Москву или Питер. Практически в каждом большом, а то и уездном городе России есть крупный писатель. Вот и в Челябинске живет такой оригинальный Куренев, который, кстати, в «Неве» уже один раз печатался.

На этот раз он сочинил страшную историю о том, как в умирающем промышленном уральском городе Чанске неонацисты-неоязычники устроили кровавый ритуал на месте древнего капища, однако вместо ожидаемого божества они высвобождают Древний Гнев — слепую, хтоническую сущность, дремавшую под землей со времен легендарной битвы между силами Велеса и Перуна. В город просачивается древнее зло: оживают лешие, водяные, упыри и прочая нечисть, а градообразующий Чанский металлургический комбинат пробуждается как бездушная, механическая сила, порождающая техноморфов — гибриды плоти и стали.

Скептик археолог Андрей Соколов и молодой православный священник отец Алексий вынуждены объединиться. Вместе они исследуют архивы и предания, чтобы понять природу пробудившегося кошмара. Однако для обретения прежней гармонии требуется, чтобы они добровольно принесли себя в жертву, нашли способ восстановить хрупкий баланс, пока Древний Гнев не поглотил все. И всех. Нас.

Журнал «Нева»», который на сегодняшний день является, пожалуй, самым важным глашатаем литературы и искусства нашей великой возрождающейся стра-

Алексей Михайлович Куренёв родился в 1976 году в Куйбышеве. Автор публикаций в литературных журналах «Бельские просторы», «Традиции & Авангард», «Нева», «Южный Урал» и других.

ны, правильно сделает, опубликовав «Чанск» Куренева, текст-катастрофу, роман-предупреждение о том, что не все так просто было, есть и всегда будет у нас в России, хотя она и находится под Божьей дланью.

Полагаю, что эта жуткая, но увлекательная проза будет иметь вдобавок и коммерческий успех. Мне, читателю, интересно было, например, следить за тем, окажутся ли Андрей и отец Алексий победителями или окончательно сгинет «Чанск».

Выживем?

Евгений ПОПОВ

ПРОЛОГ. КАПИЩЕ

В эту ночь луна над Чанском была неестественно большой — мутно-красной, как запекшаяся кровь. Багрянец пробивался сквозь рваные облака, падая на раскопанный холм у старого карьера, где когда-то добывали глину для кирпичей. Теперь это место называли «Чертовым горбом». На самой окраине, где лес уже начинал отвоевывать землю у асфальта, горели огни.

Пятеро мужчин в черных рубахах с вышитыми красными рунами стояли в кругу, выложенном из обгоревших костей и ржавых железных обручей. Они называли себя «Сынами Ратибора», «Возрожденцами», искателями «истинной веры предков», воинами против «иудео-христианского ига». В Интернете они читали про «великую силу древних богов», про то, что «Русь поработили крестом». И теперь, после месяцев поисков, они наконец-то обрели место силы. Воздух здесь был спертый и тяжелый, как в забытом склепе, пропитанный запахом сырой земли, тлена и чего-то еще — сладковато-кислого, как гнилой мед. Из далекого города, за лесом, донесся протяжный, тоскливый вой собак, будто спровоцированных единой невидимой силой.

В центре круга — каменная плита, покрытая резными знаками, такими древними, что даже археологи не смогли бы их расшифровать. На плите лежала глиняная табличка — с трещиной посередине, с выдавленными символами, похожими на спирали и звериные морды. Ее нашли неделю назад, когда копали это место — по их догадкам, бывшее капище. Плоский квадрат, покрытый странными значками, не руны, не кириллица, что-то более древнее.

— Начинаем, — прошептал тот, что стоял посередине круга. Надбровные дуги его сошлись, глубоко посаженные глаза сверлили плиту. Он был их вожаком — высокий, жилистый, с выбритыми висками и татуировкой «ВЕЛЕС» на шее. Настоящего имени никто не знал — только кличку: Волк. Остальные замерли.

Серый — толстый, с лицом, изуродованным глубокими оспинами, нервно провел ладонью по самому крупному шраму на щеке. В руках он держал нож — не ритуальный, а простой, кухонный, но заточенный до бритвенной остроты. Сбоку от него стоял Костя — долговязый, с безумными, горящими фанатичным огнем глазами, сжимал мешок с травами. Его губы беззвучно шевелились: «...энергии концентрируются... мощь... откроем врата...»

Чуть поодаль высился Бородач, кличкой он был обязан своей неухоженной волосне, паклей болтавшейся на лице, закрывавшей губы и доходившей до ушей. Никто не помнил, как его звали на самом деле, в руках он держал человеческий череп — с дыркой в районе виска. Пальцы аккуратно обхватывали свод кости, с преувеличенной осторожностью, словно хрустальную вазу. Время от времени другой рукой он почтительно поглаживал отполированную временем теменную кость черепа.

Внезапно он поморщился, схватившись за голову: резкая, колющая боль пронзила мозг иголкой.

Замыкал круг Кирилл — самый молодой, девятнадцатилетний, с дрожащими руками и восторженным взглядом новичка. Парень лихорадочно достал смартфон, пытаясь сфотографировать плиту и табличку. Экран тускло светился в лунном свете, показывая значок «Нет сети». «Черт... но такую мощь надо запечатлеть!» — пробормотал он, делая еще один кадр.

— Настоящее капище Велеса, — процедил Волк, бросив неодобрительный взгляд на Кирилла. — По старым книгам, — Волк развернул потрепанный листок с переписанным от руки текстом, — зовем Хозяина.

Они зажгли костер из полыни и дубовых веток. Дым стелился по земле, обвивая плиту, как змей. Костя рассыпал вокруг круга соль и пепел, его бормотание стало чуть громче. Бородач, все еще морщась от головной боли, поставил череп у края плиты. Серый сжал рукоять ножа, суставы побелели.

— Кровь, — прошептал Волк.

Кирилл сглотнул, пряча телефон в карман.

— А если... если не сработает?

— Сработает, — Волк ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. — Велес любит кровь.

Они не планировали убивать. По крайней мере, не человека. Но когда нож был занесен над головой приведенного черного козла, которого украли у местного фермера, из кустов, с той самой стороны, откуда доносился собачий вой, выполз старик. Они видели его раньше — вечно пьяного бродягу, копошащегося на свалке у карьера. Ничтожество. Но теперь он шел не шатаясь, а как сомнамбула, его движения были неестественно плавными, а глаза в лунном свете казались пустыми, мутными, как у мертвой рыбы.

— Вы че тут делаете? — прохрипел он, и в его голосе не было пьяной агрессии, а лишь ледяной ужас и какое-то странное, пророческое предостережение. Пахло от него потом и самогоном, но теперь к этому запаху примешивалось что-то затхлое, болотное.

«Бомж. Свидетель», — Волк посмотрел на него, затем на Серого. В его взгляде не было сомнений, только холодный расчет.

— Время изменилось, — сказал он тихо, почти ласково.

Серый понял. Его лицо, изуродованное оспой, стало каменным.

Нож вошел в живот старика легко, как в масло. Тот даже не успел закричать — только ахнул, глядя на рукоять, торчащую из его грязной куртки. Его пустые глаза широко распахнулись, но не от боли, а от внезапного, запредельного ужаса, который он, казалось, увидел за спиной Волка.

— Врата требуют жертвы, — прошептал Волк, подхватывая старика, пока тот не рухнул.

Кровь хлынула на плиту. Алая, теплая, живая. Она заполнила резные знаки, заструилась к табличке. И тогда...

Земля дрогнула. Долгий, мучительный стон вырвался из самых недр.

Сначала они подумали — землетрясение. Но это было не оно. Плита взвыла и треснула. Из разлома полез черный дым — густой, как смола, воняющий удушающей, тошнотворной смесью приторной сладости, смешанной с запахом свежевскопанной могилы.

— ЧТО ЭТО?! — завопил Костя, выскакивая из круга, его восторг сменился первобытным страхом.

Волк смеялся, его смех был резким и истеричным.

— Он идет!

Дым сгущался, принимая форму какого-то существа, искажая пространство вокруг себя. Лунный свет гас и мерцал, как бывает, когда свет преломляется под водой. Показались причудливо ветвистые рога. Глаза — их было шесть — отсвечивали красным. И рот — слишком широкий, без губ, полный кривых зубов. Воздух вокруг него густел, начинал звенеть тонко, пронзительно, как натянутая струна, готовая лопнуть. Трава у самых копыт существа моментально чернела и рассыпалась в прах. Растопыренные, резные копыта оставляли зияющие прогалы в зеленом ковре.

— ВЕЛЕС! — закричал Волк, падая на колени, ослепленный собственной верой.

Существо наклонилось к нему. И заговорило. Но это не был язык. Это был скрежет камней под прессом, вой ветра в узкой трубе, хрип умирающего — звуки, от которых лопались барабанные перепонки, сводило челюсти, поднималась рвота. Звук проникал внутрь и впивался в мозг, парализуя волю к движениям.

— НЕ ВЕЛЕС... — голос был множественным, древним, как сама земля, и безумным от долгого заточения. — Я — ТО, ЧТО БЫЛО ДО НЕГО. Я — ГНЕВ ЗЕМЛИ. Я — ПАМЯТЬ КАМНЯ. Я — ГОЛОД.

И тогда оно двинулось.

Серый умер первым. Существо прошло сквозь него, как туман, но там, где оно касалось, плоть вздувалась, лопалась, превращалась в труху. Через секунду от Серого осталась куча костей, обтянутых черной, лоснящейся кожей. Костя побежал. Он успел сделать три шага, прежде чем земля разверзлась под ним. Из трещины вырвался щупальцевидный корень, обвил его ногу — и утащил вниз. Его крик оборвался мгновенно, поглощенный гулом земли. Бородач молился, зажимая руками уши, из которых струйками сочилась кровь.

— Господи, Иисусе Христе, прости! Прости!

Существо расхохоталось — звук был похож на падение скалы в бездонный колодец. Тело разорвало пополам. Внутренности, черные и дымящиеся, брызнули на плиту.

Волк не убегал. Он стоял, дрожа, с ножом в руке, лицо его было искажено не страхом, а безумной надеждой и разочарованием.

— Я, я звал тебя! Я твой жрец! Я принес кровь!

Рога наклонились к нему. три пары глаз сверкнули холодным, бездушным любопытством.

— ТЫ ЗВАЛ ТОГО, КОГО НЕТ. КОГО ЗАБЫЛИ. Я — ТО, ЧТО ПРИШЛО ВМЕСТО. В ОТВЕТ НА ЗОВ КРОВИ.

В следующий миг коготь вонзился вожаку в грудь. Волк не умер. Он изменился: кожа покрылась сочащимися язвами, изо рта полезли черви, глаза побелели, став мутными шариками. Он завыл — первобытный звук, лишенный разума, огласил поляну — и кинулся в сторону Кирилла.

Кирилл побежал было, но упал. Он полз, чувствуя, как земля дрожит под ним, как будто пытается проглотить. Волк, точнее, то, что раньше было Волком, шел за ним, скрюченный, булькая чем-то внутри, его ноги двигались с кошмарной, судорожной быстротой.

— Пожалуйста, — шептал Кирилл, отползая, слезы смешивались с грязью на лице. — Ма-а-м-а-а, помо-о-г-и-и-и. — В его глазах, всего мгновение назад полных глупого восторга, был теперь только чистый, детский ужас перед непостижимым кошмаром.

И тогда оно снова появилось. Существо. Древний Гнев. Оно посмотрело на Кирилла. Его взгляд был лишен выражения. И решило.

— ТЫ... ПОДХОДИШЬ. МОЛОД. ПУСТ. ГОТОВ ПРИНЯТЬ.

Тьма хлынула в Кирилла через рот, через глаза, через кожу. Он закричал — последний человеческий звук, полный агонии и протеста. Но крик быстро стал смехом. Глухим. Пустым. Безумным. Нечеловеческим.

Когда утро наступило, на месте капища не было ничего живого. Только разлом — глубокая, дымящаяся черным паром трещина в земле. И один человек — Кирилл. Он сидел на краю разлома, качаясь вперед-назад и бормоча что-то на языке, похожем на скрежет камней. Его глаза были черными. Полностью, без белка и зрачка. А в руке он сжимал глиняную табличку. Цельную и без трещины. Как будто никто ее не разбивал.

В городе еще не знали, что случилось. Но уже чувствовали. Вода в колодцах стала маслянистой и теплой. Собаки выли без причины, забившись в самые углы дворов. А в церкви замироточила икона Богородицы. Черными, густыми, пахнущими серой и тлением слезами.

ГЛАВА 1: ПЕСНЬ ПЕРВАЯ. ДРОЖЬ ЗЕМЛИ

Чанск. Спустя неделю

Прошло семь дней с той ночи на «Чертовом горбе». Семь дней, за которые Чанск из просто умирающего города начал превращаться в место, сходящее с ума. Сначала были лишь шепотки на рынке да беспричинный вой собак по ночам. Потом, дня через три, случилась история с псом Бироном, вцепившимся в глотку хозяину, а следом — старуха Матрена завыла по-волчьи, не останавливаясь провыла сутки, и ее увезли в психушку.

Город, почуяв неладное, замер. Шушуканья, избегающие взгляды, плотно закрытые на ночь ставни. Но жизнь, пусть и покореженная, пока еще текла в своем старом русле. Работа в музее, островке личного уютного хаоса, все еще позволяла Андрею отмахиваться от самых мрачных предчувствий. До сегодняшнего утра. До новости о карьере и до того, как он сам увидел, что пыль на витрине шевелится сама по себе.

Чанск. Краеведческий музей имени П. С. Иванова. Конец мая 2025 года

Тишина Краеведческого музея имени П. С. Иванова по утрам была не мирной, а гробовой. Воздух стоял неподвижный, густой, пропитанный запахом вековой пыли, старой бумаги, паркетного воска и чего-то еще — слабого, едва уловимого, напоминающего запах высохшей травы или древних костей. Солнечный луч, пробившийся сквозь высокое стрельчатое окно в зале славянских древностей, выхватывал из полумрака миллиарды пылинок, танцующих в своем вечном, немом вальсе.

Андрей сидел за рабочим столом. Слоями лежали стопки пожелтевших отчетов о раскопках 50-х годов, тщательно завернутые в папиросную бумагу фрагменты керамики, открытые тома с выцветшими гравюрами городищ, пачки свежих распечаток со спектрограммами. Между ними ютились кисти разной жесткости, склянки с реставрационными клеями и растворителями (их химический запах слабо, но настойчиво пробивался сквозь общую затхлость), коробочки с мелкими инструментами: скальпели, пинцеты, иглы. И в центре этого научного бедлама, как алтарь, стоял микроскоп. Рядом с ним — образцы грунта с разных точек города, аккуратно разложенные в маленькие контейнеры и подписанные его четким, немно-

го угловатым почерком. Андрей Николаевич Соколов не был просто реставратором. Он был археологом-хранителем, последним стражем угасающего знания о земле, на которой стоял город металлургов. В городе, где единственной ценностью стала ржавеющая сталь завода, он охранял память о том, что было до. И о том, что, возможно, никогда не уходило по-настоящему.

Его пальцы, тонкие и чувствительные, несмотря на следы клея и грунта, под лупой осторожно перебирали очередную находку сезона раскопок — крошечные фрагменты костяного амулета. Каждое движение было выверенным, медитативным. Здесь, в этой тишине, среди мертвых вещей, он чувствовал если не покой, то смысл. Смысл, который ускользал за стенами музея, в серых улицах умирающего города.

Музей — зеркало города: Андрей отложил лупу и поднял голову. Его взгляд скользнул по залу промышленной славы. Когда-то сюда водили экскурсии школьников. Теперь зал напоминал мавзолей. Пыльные витрины, внутри которых поблескивали потускневшие образцы продукции комбината: болты, шестерни, кусок рельса. Этикетки под ними выцвели, буквы расплылись, и прочитать что-либо было почти невозможно. На стенах висели выцветшие фотографии: дымящие трубы, работающие цеха, прокатные станы, строгие лица передовиков производства. Теперь на них смотрели только призраки. Полупустые стенды о природе края, чучела лисы и кабана, пожелтевшие гербарии, карта заповедных зон — все покрывал равномерный слой пыли. Никто не протирал их годами. Знание о земле, ее богатствах и красотах стало никому не нужным в городе, убивающем и землю, и себя.

Единственным звуком, нарушающим тишину, кроме собственного дыхания Андрея, был скрип половиц. Старый дуб всхлипывал под ногами смотрительницы тети Лиды в дальнем зале. Скрип был ритмичным, почти живым: шаг... пауза... скрип... шаг... пауза... скрип. Как сердцебиение спящего гиганта. Или как шаги невидимого сторожа в этом царстве праха.

Пыль. Андрей подошел к главной витрине зала древностей. Под толстым, чуть мутноватым стеклом лежали находки из Старого Городища: наконечники стрел, грузила, обломки пряслиц, ритуальные фигурки. И тот самый фрагмент ножа. Его взгляд упал не на артефакты, а на пыль на стекле. Она не просто лежала. Она шевелилась. Крошечные черные точки, похожие на споры плесени или частицы сажи, медленно, но верно перекатывались сами по себе. Не ветром — сквозняка в зале не было. Они собирались в микроскопические холмики, на мгновение образовывали спирали или подобия звериных морд с пустыми глазницами, а затем рассыпались, чтобы заново начать движение. Андрей задержал дыхание. Статическое электричество? Микроскопические вибрации здания? Рациональные объяснения вертелись в голове, но выглядели вдруг жалко и неубедительно.

Он прислушался. Скрип половиц, едва различимый, от шагов тети Лиды, женщины с вечно встревоженным лицом и в вязаной кофте поверх формы, раздавался где-то далеко. Тихо. Слишком тихо. И тогда он услышал его. Гул. Низкий, ровный, чуть уловимый, как отдаленный шум трансформатора. Но трансформатора под музеем не было. Гул шел снизу. Из глубокого подвала, где хранились невостребованные фонды, ящики с битыми черепками и архивные папки. Андрей неосознанно положил ладонь на холодную каменную кладку стены рядом с витриной. Камень был теплым. И под пальцами он ощущал слабую, едва различимую вибрацию, синхронную гулу. Ровные, медленные толчки, как пульс. «Иллюзия, — подумал он, резко отдергивая руку. — Нервы. После трагедии в заброшенном карьере».

Краем глаза он уловил движение. Тень. От деревянной копии идола Перуна, стоявшего в углу зала. Солнечный луч сместился, и тень на стене должна была плавно

удлиниться. Вместо этого она дернулась резко, неестественно, будто фигура под накидкой вздохнула или передернула плечами. Андрей быстро обернулся. Идол стоял неподвижно, его грубо вырезанное лицо было обращено в пустоту зала. Тень на стене теперь лежала покойно. «Игра света. Пыль в воздухе. Переутомление». Он выдохнул, но холодок между лопаток остался.

Его взгляд вновь притянуло к фрагменту ритуального ножа под стеклом. На лезвии, особенно в местах сложного узора (спирали, переходящие в звериные морды), микроскопические частицы темной глины, прилипшие к металлу век назад, вибрировали. Не так сильно, как пыль на стекле, но заметно под острым взглядом хранителя. Без всякой видимой причины. Андрей осторожно прикоснулся кончиком пальца к стеклу прямо над лезвием. Резкий, ледяной укол, как от тончайшей иглы сухого льда, пронзил палец и побежал вверх по руке. Он вскрикнул и отдернул руку, судорожно сжимая ужаленный палец другой ладонью. Боль быстро прошла, оставив ощущение онемения. «Статическое электричество!» — мысль прозвучала громко, почти отчаянно, в его голове. Но он знал. Знал всем телом, что это не так. Его подсознание и сама плоть уже знали правду. Что-то в этом ноже было живо.

Давящая тишина сгущалась, становясь почти осязаемой. Ее разрывали лишь ровный, подземный гул и тихий шелест перекатывающейся пыли на витринах. Чувство, что музей — не хранилище прошлого, а гробница, ожидающая пробуждения, охватило Андрея с новой силой. Он стоял посреди зала древностей, последний страж на пороге пробуждающегося кошмара, и ледяной пот выступил у него на спине. Знание, которое он охранял, больше не было безопасным. Оно просыпалось. И оно было голодным.

Пыль веков осела на ладони Андрея, но сегодня она горела. Не метафорически — крошечные частицы глины, отколовшиеся от рельефа с изображением Рода, вибрировали на его коже, вызывая легкое, но навязчивое покалывание, словно микроскопические осколки стекла. Он отдернул руку от витрины, сжал кулак, пытаясь унять странную дрожь. В музее было прохладно, как всегда, кондиционер боролся с наступающей летней духотой, но рубаха на спине Андрея взмокла.

«Опять», — подумал он с раздражением и глухим страхом, переведя взгляд с ладони на свои пальцы. Они были бледными, чуть дрожащими, будто после долгого напряжения. Началось это три дня назад. Сразу после новости. Той самой, о которой в городе говорили шепотом, перебивая шум телевизоров и гул редких машин: на заброшенном карьере за металлургическим комбинатом, где какие-то «энтузиасты местной истории» копались в поисках «истинного наследия предков», произошел жуткий инцидент. Обвал. Несколько погибших. Единственный выживший Кирилл Сомов, двадцатилетний парень с пустым взглядом и репутацией искателя приключений на сомнительных форумах, сошел с ума прямо на месте. Говорили, он бормотал что-то невнятное про «бычачью голову», «глину, которая шевелится», и «звезды под землей». Официальная версия — несчастный случай на несанкционированных раскопках, подкоп подрыл неустойчивый грунт. Но город съежился, почуяв неладное. Слухи на рынке, подозревающие взгляды, наглухо зашторенные окна.

Андрей мысленно вернулся в воспоминания. Он видел Ольгу Сомову сегодня утром у входа в городскую больницу. Она была похожа на призрак: седая прядь выбилась из-под платка, глаза огромные, воспаленные от слез и бессонницы. Она кричала в запертую дверь приемного отделения, била в стеклянную панель кулаком:

— Я его мать! Покажите мне сына! Кирилла Сомова!

Медбрат за дверью лишь качал головой, его лицо было бесстрастным, как маска:

— Нельзя, гражданка. Состояние нестабильное. Опасен для себя и окружающих. Приходите завтра.

Из-за тяжелой двери донесся звук — не крик, не стон. Тихий, мерный скрежет, будто по камню скребут железом. Ольга почувствовала, как спину продрал озноб. Этот звук не принадлежал ее мальчику. Это был голос чужой, древней, неумолимой беды.

А в палате № 7, куда не заглядывали даже медсестры, Кирилл Сомов сидел на кровати, уставившись в стену. Его пальцы медленно, с нечеловеческой силой, скоблили бетонный пол, оставляя глубокие борозды. Из его горла вырывалось тихое бульканье, и воздух вокруг звенел от напряжения. Врачи в медкарте писали «кататонический ступор», но боялись подойти ближе чем на три шага. Инстинкт подсказывал — это не болезнь.

Николай Сомов стоял рядом с женой, сгорбившись, бессильно сжав кулаки, лицо его было скрыто глубокой тенью от козырька кепки. Андрей отвернулся, чужое горе всегда царапало его изнутри.

Стоя у витрины, Андрей не просто чувствовал покалывание — на миг перед глазами мелькнули вспышки костров на фоне темных деревьев, искаженные крики, а в ладони вспыхнуло ощущение холодной, липкой глины, сжимающей пальцы. Он резко вдохнул, отгоняя видение. Эти внезапные проклятые «всплески» участились с тех пор, как он начал работать с тем откопанным месяц назад ножом. Бабушка Мария часто говорила Андрею, что их род, коренные жители Чанска, чует свою землю по-особому. Он всегда отмахивался. А теперь эта «особая связь» оборачивалась ледяными мурашками по спине.

Андрей подошел к высокому стрельчатому окну, вмурованному в толстую стену бывшей купеческой усадьбы, где теперь находился музей. Вид открывался нерадостный: серые, облезлые корпуса Чанского металлургического комбината, дымящие трубы которого давно погасли, но все еще зловеще вздымались к небу, как каменные идолы забытой эпохи. Сегодня небо над ними было особенно свинцовым, низким, будто придавленным невидимой плитой. Гроза созревала, это чувствовалось кожей, но какая-то... тихая. Безветренная. Воздух за стеклом стоял тяжелый, неподвижный, насыщенный запахом озона от приближающегося разряда и чем-то еще. Сладковатым, прелым, как в глубоком, старом лесу после слепого дождя. В городе-то. Этот запах преследовал его с утра, от самой окраины, где жила бабка Мария.

Историк вернулся мыслями к своему рабочему столу, заваленному бумагами, кистями, тюбиками с реставрационными составами. В центре, под стеклянным колпаком, как экспонат сам по себе, лежала главная его головоломка последнего месяца и источник усиливающихся кошмаров — большой обломок ритуального ножа. Найден случайно месяц назад подростками, искавшими приключений недалеко от того самого злополучного карьера. Передан в музей «на всякий случай». Кость рукояти, обожженная древесина, вставки и странный, темный, почти черный металл клинка, не поддающийся точной идентификации. Спектральный анализ дал противоречивые результаты, словно металл был неоднороден по своей сути. Лезвие сломанное, но на сохранившейся части был вырезан сложный, гипнотизирующий узор — спирали, перетекающие в звериные морды с пустыми глазницами, сливающиеся в нечто чужеродное, тревожащее. Андрей осторожно поднял стеклянный колпак, намереваясь снова зарисовать детали узора, который упорно не хотел поддаваться точной фиксации. Как только его пальцы приблизились к артефакту, покалывание в руке превратилось в резкий, болезненный укол, будто его ткнули раскаленной спицей. Он вскрикнул, отшатнулся, задев стопку бумаг. Листы рассыпались по полу белым веером. В ушах зазвенело, и на долю секунды сквозь гул тишины музея прорвался другой гул. Низкий, мощный, рокочущий. Не сверху, от туч, а снизу,

из глубин. Как будто где-то далеко, в чреве комбината, проснулись и закрутились гигантские мертвые турбины. Сердце Андрея бешено заколотилось.

— Андрей Николаич? Все в порядке? — Из соседнего зала выглянула смотрительница тетя Лида.

— Да, да, Лидия Петровна, — Андрей поспешно нагнулся, собирая бумаги, стараясь скрыть дрожь в руках.

Тетя Лида посмотрела на него с немым вопросом, ее взгляд скользнул за его спину, к витрине с дохристианскими амулетами и черепками, где лежали обереги с солярными знаками и костяные фигурки древних божков. Ее лицо стало еще бледнее. Она быстро, нервно перекрестилась.

— Опять, — прошептала она так тихо, что Андрей еле разобрал, но в этом шепоте был целый мир давнего страха и смутного знания. — Слава тебе, Господи, — добавила она чуть громче и, не дожидаясь ответа, поспешно скрылась за дверью, словно боясь, что стены услышат.

Зов Повелителя

Он шел по спящим улицам, и город отступал перед ним. Асфальт под его босыми ногами трескался, обнажая темную, влажную землю. Фонари на его пути мигали и гасли, заливая кварталы благодатной, живой тьмой. Из подворотни на него уставилась пара голодных глаз. Бездомный пес, кожа да кости.

Кирилл, вернее, то, что носило его тело, как одежду, остановилось. Оно протянуло руку — не руку, а сгусток тени и воли. Пес заскулил, но не от страха, а от внезапного пробуждения древнего инстинкта. Его шерсть встала дыбом, а в глазах вспыхнул зеленый огонек немой ненависти ко всему человеческому, чужому, к этому миру стен и машин. Он вскочил на дрожащие лапы и, поскуливая от переполнявшей его ярости, побежал за своим повелителем. Лес рос. Скоро он поглотит эти мертвые каменные стены. Скоро.

Квартира Сомовых — вечер, за несколько дней до событий на карьере

Запах борща и жареной картошки висел в скромной кухне квартиры Сомовых, смешиваясь с вечерней прохладой, проникающей через щели в старых деревянных рамах. Телевизор на тумбочке бубнил что-то про очередные сокращения на заводе. Ольга Сомова разливала суп по тарелкам, ее движения привычные, усталые. Николай Сомов, лицо которого побили жизнь и водка, угрюмо насаживал вилкой скоблянку. Внимание Николая было погружено в вечернюю газету, но взгляд скользил по строчкам, не цепляясь за смысл. Безработица и выпивка оставили на нем свой отпечаток: тяжелый взгляд, преждевременные морщины.

— Кирилл! Ужин! — позвала Ольга, стараясь в голосе сохранить бодрость.

Из комнаты вышел парень лет двадцати. Ниточка только-только пробившихся темных волосков над верхней губой образовывала жиденькие усики, как на портрете Гоголя, висевшем когда-то в кабинете литературы его родной школы. Энергия, казалось, била из него ключом, контрастируя с унынием родителей. В руках он держал ноутбук, экран которого светился изображением какого-то замысловатого символа — сплетения зверей и спиралей.

— Пап, смотри! — Кирилл поставил ноутбук на газету перед отцом. — Вот нашел на форуме «Сынов Ратибора». Говорят, это настоящий знак Велеса! Сила земли, зна-

ние предков! Не то что у нас в церквах — попы только деньги вымогают да страхи нагоняют.

Николай медленно поднял глаза. В них вспыхнула знакомая Ольге смесь раздражения и бессилия.

— Опять твои дурацкие секты? — Голос его был хриплым, резким. — В голове одни сказки! Лучше бы работу искал, Кирилл! Или учебу в ПТУ не бросал! Из тебя, с такими-то бреднями, ничего путного не выйдет! Сплошная блажь опасная! — Он резко выдернул газету из-под компа. Ноут зашатался, но устоял. — Настоящая жизнь — вот она! Безработица, долги, завод гниет! А ты про каких-то древних божков!

Кирилл смотрел на монитор гаджета, где светился замысловатый знак. Помрачнел. Энтузиазм сменился обидой и вызовом.

— Это не бредни, пап! Это наша история! Наша сила! Ты просто не понимаешь! Здесь, на комбинате, все сгибаются, ржавеют! А там, в лесу, у карьера — настоящая сила! Место силы!

— Место силы? — Николай фыркнул, наливая себе водки в стакан. — Заброшки да свалки? Там одна ржавчина да грязь!

— Ты сам как ржавчина! — выкрикнул Кирилл, и в его глазах вспыхнула обида всех этих лет, прожитых в задыхающимся городе с отцом-неудачником. — Ты смирился! А я нет! Я найду то, что заставит этот город вспомнить, кто он!

— Кирилл! Николай! Не ссорьтесь, пожалуйста, — вступила Ольга, ставя тарелку перед сыном. Голос ее был мягким, но усталость в нем выдавала постоянное напряжение миротворца. — Давайте просто поужинаем спокойно. Кирилл, садись, борщ остынет.

Кирилл неохотно сел, отодвинув ноутбук. Он ковырял ложкой в тарелке.

— Мы с ребятами на выходных собираемся съездить к старому карьеру, за комбинатом, — пробормотал он, не глядя на родителей. — Там, говорят, интересные штуки можно найти. Остатки древних капищ, может.

— К карьеру?! — встрепенулась Ольга, забыв про ужин. — Кирилл, там же опасно! Обвалы, бродяги! Нельзя!

Николай хмыкнул, отхлебнув водки.

— Пускай, Оль. Раз умничать вздумал, пускай разомнется. Авось чему научится. Глядишь, реальность в голову постучит, а не эти форумы.

В его словах была горькая ирония, которой он сам не осознавал.

Кирилл уперся сумрачным взглядом в тарелку. Ольга вздохнула, чувствуя, как пропасть между мужем и сыном становится все глубже. Хрупкое семейное тепло ужина было пронизано невысказанными обидами и тревогой.

Воскресенье

Ужинали вдвоем... Молча... Только телевизор вел неумолкающий монолог.

Внезапно резкий звонок домашнего телефона разрезал тягостную тишину. Николай вздрогнул, выронил ложку, угрюмо отодвинул стакан. Ольга, инстинктивно вытирая руки о фартук, шагнула к телефону, висевшему на стене. Ее лицо, обычно такое смиренное, на миг озарилось слабой надеждой: может, Кирилл передумал, звонит предупредить, что задерживается.

— Алло? — ее голос прозвучал громче обычного в напряженной тишине кухни.

На другом конце говорили быстро, официально, бесстрастно. Слова, как осколки льда, посыпались в ухо: «...несчастный случай... карьер... Комбинат... госпитализация... тяжелое состояние...»

Кровь отлила от лица Ольги. Телефонная трубка выскользнула из ослабевших пальцев, повиснув на спирали шнура, мерно раскачиваясь, как маятник, отсчитывающий конец прежней жизни. Глаза ее расширились, наполнившись непонимающим ужасом.

— Кто? Что? — одними губами, глядя в пустоту, будто не узнавая собственной кухни. — Кирилл? Наш Кирилл? Не может быть! Ошибка!

Николай замер. Первоначальная гримаса раздражения сменилась оцепенением. Он уставился на жену, не в силах осмыслить сказанные ею слова. Даже его вечная горечь куда-то испарилась, оставив лишь пустоту. «Карьер? — пронеслось в его голове эхом собственной недавней саркастической реплики: — Авось реальность постучит...» Теперь этот «стук» отдавался в висках оглушительным гулом.

— Ольга? Что случилось? — его собственный голос показался ему чужим, хриплым.

Она не ответила. Словно пробудившись от кошмара, Ольга рванулась к болтавшейся трубке, судорожно схватила, прижала к уху. Слышались лишь короткие гудки. Она с безумной настойчивостью давила на кнопки телефонного аппарата. Пальцы дрожали, сбивались.

— Не отвечает! Господи! Не отвечает! — ее шепот перешел в рыдающий вопль. — В больнице сказали. Но не сказали КАК?! КАК он?! — Она лихорадочно листала записную книжку, ища номер приемного покоя городской больницы. Набрала. Ждала. Каждая секунда длилась вечность.

— Приемный покой, слушаю, — голос был равнодушным.

— Здравствуйте! — ее речь была сбивчивой, переполненной паникой. — Мой сын... Кирилл Сомов... Его привезли? Из карьера? Как он? Пожалуйста! Я мать!

Голос в трубке был холоден и непроницаем, как стена:

— Информацию о состоянии пациента могут предоставить только родным при предъявлении документов, подтверждающих родство. Вам необходимо явиться лично с паспортом и свидетельством о рождении. Мы не можем ничего сообщать по телефону.

— Но я его мать! — закричала Ольга, отчаяние придавало ей сил. — Скажите хоть что-нибудь! ЖИВ?! Он жив?!

— Женщина! Успокойтесь! Процедура стандартная. Приезжайте с документами о родстве, — в трубке раздались гудки отбоя.

Ольга опустилась на стул, как подкошенная. Трубка снова выпала из рук. Она сжала голову ладонями, трясясь всем телом. Мир рушился, и никакие силы не могли остановить это падение. Где-то там, в безымянной больничной палате, угасал ее мальчик, ее искатель, а ее отгородили стеной формальностей и бездушия.

Николай медленно поднялся. Лицо его было пепельно-серым. Впервые за долгие годы в потухшем взгляде мелькнуло нечто иное, кроме гнева и апатии, — животный страх за жизнь своего сына. Он подошел к жене, неуклюже положил руки ей на плечи.

— Поедем, — глухо произнес он. — Сейчас поедем. Разберемся. — В его дрожащем голосе было осознание абсолютной беспомощности перед грянувшей бедой.

Холодный свет луны, пробивавшийся сквозь старые рамы, лег на забытый ноутбук Кирилла, где по-прежнему светился загадочный символ Велеса — знак силы, которая оказалась бессильной против жестокой реальности карьера и равнодушия системы.

Храм Святителя Николая. Час спустя

Прохлада храма Святителя Николая обычно обволакивала отца Алексия, как умиротворяющая длань. Вековые стены пахли ладаном, пчелиным воском и старой, добротной лиственницей. Дом Божий был его убежищем от внешнего мира. Но сегодня

благоговейный холод не приносил покоя. Он казался застойным, почти могильным. Воздух был тяжел, словно пропитан невидимой пылью отчаяния, летящей с обветшалых улиц Чанска...

Священник стоял на амвоне, перед иконостасом, старательно протирая мягкой, телесного цвета, замшевой тряпицей подсвечник. Движения были привычными, отточенными за три года служения, но сегодня они казались механическими, лишенными благодати. Тяжесть в душе давила на плечи, как влажный тулуп. Он был не просто священником — он был молодым человеком тридцати лет, когда-то полным идеалов семинариста, мечтавшего нести свет веры, утешать страждущих, быть маяком в житейском море. Реальность Чанска обрушилась на эти идеалы, как обвал в карьере. Городская разруха, закрытый завод, облупленные дома, пустые взгляды прохожих были лишь фоном. Гораздо страшнее была духовная пустота, которую он ощущал у многих прихожан. Они приходили по инерции, ставили свечи, крестились, но глаза их оставались потухшими, как окна заброшенных цехов. Молитвы звучали без сердечного жара, исповеди механическими — часто формальными, о бытовых грехах, но не о кризисе души. Он чувствовал себя сапером, пытающимся разминировать поле, засеянное апатией и безнадегой, но не знающим, где искать мины. И эта тихая, разъедающая душу пустота удручала его сильнее, чем явные пороки.

Отец Алексий перешел к следующему подсвечнику, его взгляд скользнул по лику Казанской Божией Матери в центральной части иконостаса. Старинная икона в потемневшем от времени, но все еще величественном окладе. Позолота на нем местами стерлась, обнажив темную медь, местами была исцарапана небрежными руками. Отец Алексий всегда чувствовал к этой иконе особую нежность. Лик Богородицы, несмотря на потемневшую олифу, излучал кротость и глубокую, всепонимающую печаль. Он поднес замшу, чтобы осторожно стереть пылинки с оклада вокруг нимба.

Руками, облаченными материей рясы, старательно вытирал пыль с позолоченного оклада мягкой тряпицей. Движения были механическими, мысли витали где-то далеко — в тревожных разговорах прихожан, в новостях о странных происшествиях. В памяти всплывали выцветшие страницы старых церковных хроник, которые он когда-то листал в семинарии: записи о «бесноватых» XVII века в соседнем уезде, о деревне, сгинувшей в Смутное время после того, как мужики «выкопали каменную бабу и понесли в село», о странной эпидемии немоты и ярости, поразившей приход в прошлом веке... Тогда это казалось диковинными суевериями. Теперь же каждая строчка вставала перед глазами с леденящей душу отчетливостью, как пророчество.

Подушечки пальцев наткнулись на что-то не просто липкое, а вязкое, мешающее движению руки. Отец Алексий нахмурился, наклонился ближе, щурясь в полумраке утра, еще не рассеянном полностью лампадами. Сначала он подумал, что это старая капля воска или смолы от лампады, застывшая на выпуклости оклада. Но нет. Источник был выше. Глубже.

С иконы, из уголка правой глазницы Божией Матери сочилась темная субстанция. Не слеза, не влага. Когда он попытался осторожно коснуться Лика, тряпица прилипла к иконе и стала неприятной на ощупь. Священник поднес замшу к глазам. На протирке расплылось пятно непроницаемо-черного цвета, как ночь без звезд, но с каким-то зловещим маслянистым блеском на поверхности. Алексий перевел взгляд на любимую икону — из глаз Богоматери медленно, неумолимо тонкой, тягучей струйкой стекала по старой, потемневшей темпере иконы, оставляя за собой жирный, блестящий след, контрастирующий с матовой поверхностью красок, смолистая жижа. И запах... Резкий, едкий запах серы — тот самый, что ассоциируется с преисподней, с го-

рящими спичками и гнилыми болотными испарениями — ударил в ноздри отца Алексия, мгновенно перебив привычные, умиротворяющие ароматы храма. Ощущался еще и металлический привкус меди на языке, словно он лизнул батарейку.

Его ужас не был суеверным. Это был глубоко личный, пастырский, человеческий ужас. Чувство осквернения святыни, поругания самого дорогого и чистого. Его сердце сжалось, как от удара. «Плач Богородицы?» Нет. Ничего святого, ничего утешительного не было в этой мерзостной жидкости. Это было надругательство. Вторжение чего-то чуждого, грязного, враждебного в самое сердце его храма, его веры.

Из кармана рясы он достал небольшой ватный диск (он всегда носил их для протирания лампадного стекла или нечаянно пролитого масла). Рука его едва заметно дрожала. Священник поднес ватку к тонкой стекающей нити, стараясь осторожно собрать черную субстанцию, не касаясь самой иконы.

Ватка коснулась «слезы».

Не было взрыва, не было огня. Но произошло нечто ужасающе материальное и необъяснимое. Там, где чистая белая вата соприкоснулась с вязкими чернилами, она мгновенно потемнела, не просто пропитавшись, а будто прогорая изнутри. По краям соприкосновения вата обуглилась, превратившись в хрупкий черный пепел. Появился едва слышный шипящий звук, как от капли воды на раскаленной плитке, и крошечные струйки едкого серого дымка поднялись от места контакта к расписному своду. Отец Алексий отдернул руку, словно обжегся, глядя на ватный диск. Теперь это был омерзительный грязный комок, обведенный по краю пепельной каймой, пахнущий серой. Он уронил его на каменные плиты пола, где тот лежал, как маленький, тлеющий уголь ада, принесенный в дом Божий. Физическое доказательство того, что происходящее — не галлюцинация, не игра света, а реальное, материальное зло, просачивающееся сквозь краску и дерево иконы, способное обращать в прах чистоту.

Он замер, глядя на черную струйку, все еще стекающую из глаза Пречистой. Тяжесть в душе сменилась ледяным ужасом, пронизывающим до костей. Храм, его крепость, его убежище, вдруг показался ему осажденной цитаделью, стены которой истончились до предела, и враг уже здесь, внутри, оскверняя самое святое. И впервые за долгое время молитва, шевельнувшаяся было на устах, застряла в горле комом немого отчаяния.

Это был уже третий случай за неделю. Иконы «плакали» смолой. Вчера в маленькой часовне на самой окраине, где редко кто бывал, обнаружили, что лик Спаса на старинном распятии обагрился темно-красным липким налетом, как будто проступила настоящая кровь из-под краски. А еще отцу Алексию звонили прихожане. О старом псе Бироне, с детства тихом и ласковом, который вдруг вцепился в горло своему хозяину-пенсионеру во дворе, хотя тот всего лишь нагнулся налить воды ему в миску. Собаку еле оттащили, хозяин в больнице. Прививки у пса, как выяснилось, были все. О старухе Матрене из дома напротив храма, которая вдруг посреди дня начала выть по-волчьи, низко и жутко, и кидаться с кулаками на соседей, пока ее не связали мужики. Пожилую женщину, бормочущую про «рогатого», увезли в психушку. О вспышках немотивированной ярости у обычно спокойных людей — водитель автобуса, мужчина средних лет (Вадим Крутов — мелькнуло в голове Алексия, но он не был уверен), говорил о немотивированных приступах ярости за рулем, о том, что видит движение в лесу у дороги, которого не может быть. Чувствует, что «сходит с ума», чуть не устроил ДТП, ругаясь матом на пассажиров. Продавщица в магазине разбила витрину кулаком. Мелкие, но тревожные штрихи, складывающиеся в картину всеобщего помутнения.

Отец Алексий стоял перед «плачущей» иконой, тряпица бессильно повисла в его руке. Тяжесть в душе стала невыносимой. Он не мог молчать. Достав телефон, он трясущимися пальцами набрал номер владыки Антония, епископа епархии.

— Владыка, простите за беспокойство в столь поздний час, — голос Алексия предательски подрагивал. — Но здесь... У меня. У нас, в Чанске, происходит что-то ужасное. — Он описал «темные слезы» иконы, их вид, запах серы, обугливающуюся ватку. Пересказал суть самых тревожных исповедей: кошмары о шевелящейся земле и червях с лицами, о рогатой тени в углу, о приступах немотивированной ярости, о бешеной собаке и воющей старухе.

— Люди в панике, владыка! Это не просто страхи! Это что-то... необъяснимое. Злое!

Ответ владыки Антония был спокойным, отеческим, но в его ровном тоне сквозили отстраненность и легкое раздражение:

— Батюшка Алексий, успокойтесь, прошу вас. Не драматизируйте. Иконы стареют, смола — естественный процесс, особенно при перепадах влажности. Люди напуганы — завод закрывается, безработица, будущее туманно. Их сны и страхи — лишь отражение этих земных тревог. Молитва, пост, усердное служение, окропление святой водой — вот ваше оружие. Не раздувайте панику. Не давайте повода для суеверий и слухов. Доверьтесь Промыслу Божьему. Он не оставит свою паству. Все назидательно. Благословляю вас. — Связь прервалась...

Его тревогу не разделили. Его опыт, его чутье пастыря, видящего реальный ужас в глазах прихожан, не признали. Списали на нервы, воображение и социальные проблемы. Алексий опустился на скамью перед иконой. Он чувствовал себя не просто одиноким. Он чувствовал себя преданным. Оставленным наедине с нарастающим кошмаром. Его вера сильна, но теперь она сталкивалась не с абстрактным злом, а с его плотью — темной, непостижимой, реальной, что плакала смолой на иконах и убивала котов во дворе. «Демоны? — думал он, глядя на черную каплю. — Классическая, церковная парадигма была такой соблазнительной. Четкой. Были ангелы, были демоны, была вечная борьба. Но то, что он видел и чувствовал, не укладывалось в эти рамки. Демоны искушали, соблазняли душу. Нет, это слишком земное. Это было похоже на природную катастрофу. На прорыв плотины, за которой не адский огонь, а нечто древнее, слепое и равнодушное, как землетрясение или чума. Что-то не так с самой землей, с этим местом! Силы древнего зла!» — попытался он снова найти опору в привычных формулировках, но слова повисали в воздухе пустыми. Зло подразумевало выбор, волю. А здесь была лишь голодная, безличная сила. Вспомнились бабушкины сказки о леших и домовых, о духах болот. Он всегда считал их суеверием, проявлением языческого невежества. Теперь же ему казалось, что предки видели мир точнее. Они не придумывали демонов, а давали имена и форму стихийным, а порой и ужасным силам самой природы. И сейчас природа, оскорбленная, забытая, просыпалась. И его вера в Бога, любящего и личного, трещала по швам, сталкиваясь с реальностью божества совсем иного, хтонического, жестокого в своей безличности.

Отец Алексий чувствовал кожей: тьма сгущалась. Она давила на стены храма, на души людей, как тяжелый, гнилой туман, просачивающийся сквозь щели реальности. Он перекрестился, глядя на черную, мерзостную слезу, сочащуюся из глаза Пречистой. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Дай сил. Дай разумения. Что это на нас нашло?» Молитва шла из самой глубины души, но ответа, кроме давящей тишины и запаха серы, не было. Лишь ощущение пустоты, словно слова уходили не в небеса, а впитывались этой самой сгущающейся тьмой, как

вода в сухую землю. Где же Твоя помощь, Господи? Вера боролась с холодной волной ужаса, поднимавшейся из желудка. Отец Алексий стиснул зубы, заставляя себя продолжить молитву.

Ржавые игры. Заброшенная детская площадка. День

Солнце клонилось к закату, окрашивая красным ржавые качели и покосившуюся горку на заброшенной детской площадке в микрорайоне «Сосны». Воздух был неподвижен, наполнен запахом пыли, старого железа и увядающей сирени. Трое детей — Аня, Петя — близнецы, брат с сестрой семи лет, и их соседский друг восьмилетний Вовка — копошились в песке, давно потерявшем свою желтизну и превратившемся в серую, слежавшуюся массу. Они строили что-то больше похожее на крепость из мусора: осколки кирпичей, банки, палки.

— Смотри, я башню сделал! — гордо объявил Петя, водружая консервную банку на вершину своего сооружения.

— Это не башня, это коровник! — фыркнула Аня, копая ямку у основания «крепости». — Надо рвы выкопать, чтобы защищаться!

— От кого защищаться? — спросил Вова, оглядывая пустынную площадку. Тишина была звенящей, нарушаемой только их голосами да далеким гудком поезда.

— От монстров! — с энтузиазмом ответил Петя. — От ржавых монстров! Они тут живут, в старом колодце! — Он указал пальцем на заросшую крапивой и лопухами бетонную трубу в углу площадки — заваленный строительным мусором старый дренажный колодец.

— Нет монстров, глупый, — сказала Аня, но ее голос звучал неуверенно. Она тоже посмотрела на колодец. Оттуда всегда тянуло сыростью и чем-то прелым.

Вдруг Вова замер. Его глаза расширились.

— Тише! Слышите?

Дети притихли. Сначала ничего. Только биение собственных сердец. Потом. Да. От колодца донесся звук. Не скрип, не шорох. Шепот. Тихий, прерывистый, словно кто-то говорил под землей сквозь слой песка и камней. Слова были неразборчивы, но интонация — скрипучая, насмешливая, злая.

— Э-это ветер, — прошептала Аня, но сама не верила. Ветра не было.

— Нет, — прошепелявил Петя, прижимаясь к сестре. — Там кто-то есть!

И тогда они увидели ЕГО. Не в колодце. На краю песочницы, у самой «крепости» Пети. Фигурку ростом с большую крысу. Она была слеплена из мокрого, темного песка и грязи. У нее были короткие, кривые ручки, толстенькое тельце и слишком большая, почти круглая голова с двумя глубокими ямками вместо глаз и щелью рта. Она не двигалась. Она просто СТОЯЛА там, где ее секунду назад не было. И казалось, что пустые глазницы смотрят прямо на детей.

Тишина взорвалась визгом. Петя вскрикнул и отпрыгнул, снося свою «башню». Аня замерла, парализованная страхом, ее рот был открыт в беззвучном крике. Вова, самый смелый, схватил палку и швырнул в фигурку.

— Убирайся!

Палка пролетела сквозь глиняного человечка, как сквозь дым. Фигурка не рассыпалась. Она лишь слегка дрогнула, как мираж. И тогда из щели-рта донесся тот же скрипучий шепот, что и из колодца. Словно смех. Или угроза.

Дети не помнили, как выбежали с площадки. Они мчались домой, не оглядываясь, сбиваясь с ног, с криками:

— М-а-а-м! П-а-а-п! Там человечек! Глиняный! Он шептал!

Дома их встретили по-разному. Мама Ани и Пети, уставшая после смены уборщица, отмахнулась:

— Опять фантазируете? Не стращайте друг друга! Играли в песке, грязи нахватались, вот и привиделось. Идите руки мыть!

Папа Вовы, водитель грузовика, отругал сына:

— Чего орешь? Напугал мать! Колодец этот опасный, я же говорил — не подходить! Наверное, крыса шуршала. Или хулиганы баловались. Перестань выдумывать!

Никто не поверил. Никто не увидел, как вцепились детские пальцы в подолы одежды, как дрожали губы. Страх остался с ними, холодный и липкий, как глина из колодца. А на заброшенной площадке в сумерках песок у края песочницы медленно, сам по себе, сдвигался, образуя новые крошечные глиняные бугорки.

Окраина Чанска. Домик бабки Марии. Вечер

Андрей вышел на покосившееся деревянное крыльцо, глотнул воздуха полной грудью. Напряжение музея, вибрация ножа, гул земли — все это давило на грудь. Запах грозы усилился, смешавшись с ароматом скошенной бабушкой травы у забора и... дикого чеснока. Странно. Чесночница росла в лесу, за километр отсюда, возле тех самых болот. Андрей заметил свежие следы на земле у порога: рассыпанную тонкую белую полосу соли и новый пучок сухих трав (полынь, зверобой), привязанный к притолоке веревочкой. Знакомая работа бабушки. Он вспомнил, как в детстве она заставляла его носить за поясом зубчик чеснока и клала под порог нож, тупой стороной кверху. «От лихого, Андрюша, от лихого», — говорила она тогда. Теперь «лихое» пахло попеременно озоном и гнилым болотом.

Бабушка Мария стояла у самого края своего огорода, спиной к дому, неподвижная, как старая, корявая береза, вросшая в землю. Она смотрела не на закатное небо, окрашивающее верхушки берез в розовое, а в сторону быстро темнеющего леса за полем и дальше — на мрачные силуэты Чанского комбината, уже сливающиеся с наступающей ночью. Завод казался спящим чудовищем.

— Ба! — окликнул ее Андрей, спускаясь со ступенек.

Мария медленно обернулась. Ее лицо, изрезанное морщинами, как древней картой забытых дорог, было необычайно напряжено. Глаза, обычно мутные от возраста, сегодня казались невероятно острыми, пронзительными, почти зрячими в сгущающихся сумерках. Они ловили каждый шорох, каждый отблеск света.

— Чуешь? — спросила она хрипло, почти беззвучно. Голос звучал не как вопрос, а как констатация неоспоримого, страшного факта. Как приговор.

— Чую, — признался Андрей, потирая все еще ноющую, будто обожженную, руку. — Музейный хлам. Живой стал. Дрожит. И земля. Под ногами дрожит? Или это мне кажется?

Бабка Мария кивнула тяжело, будто голова ее была отлита из чугуна.

— Дрожит... Н-е-е-е. Тебе не кажется. Ткань мира истончилась, Андрюша. Как паутина перед грозой, как старая рубаха на плечах. Скот земной чует. Птица с пути сбивается. Вода в колодце мутится, песок со дна встал. Старые раны земли заныли, кровь подземная поднялась... — Она сделала шаг к нему, ее пальцы, узловатые и цепкие, как корни, сжали его запястье. Прикосновение было горячим, сухим, не по возрасту сильным. — Беда, Андрюша. Большая беда пришла. С той стороны. — Она кивнула в сторону леса и болот.

— С какой стороны, ба? Что случилось? Что это за беда? — Андрей почувствовал, как по спине пробежали ледяные мурашки. Бабушка знала вещи. Старые вещи.

Про которые в городе давно забыли или над которыми смеялись, называя бабкиными сказками. Но он-то видел ее «заговоры» на зубную боль, которые работали лучше таблеток. Видел, как она «отводила» грозу от огорода, шепча что-то в бутылку с родниковой водой и закапывая ее на огороде. Видел, как замолкали собаки, заслышав ее тихий свист. Бабкино знание было смесью языческих примет, православных молитв и глубокого понимания природы — то самое «двоеверие», о котором он читал в летописях.

— Не первая беда, внучек, — голос ее стал глуше, уходя в воспоминания.

— Помню, лет пятьдесят назад, когда я еще девкой была. Тогда тоже земля дрожать стала, тихо-тихо. И запах... запахом мертвой воды из болот потянуло. Вышла я как-то за околицу траву собирать, к вечеру. А у старой столовой, что на выезде была, вижу, стоит мужик. Оборванный, лицо землистое, глаза пустые, как у щуки. И пахнет от него сыростью да тиной. Поздоровалась я. А он ко мне руку тянет, ледяную, склизкую. «Пойдем, — шепчет, — пойдем, красавица, ко дну. Там тепло, там тихо». Голос — будто вода в трубе булькает. — Бабка Мария содрогнулась. — Я нательный крест из-за блузки вынула, выставила перед собой и, непрестанно крестясь, заговорила: «Нечистая сила, откачнись! Землей пресной, солью ядреной!» Да пучком полыни ему в лицо. Он как зашипит, будто раскаленным железом плеснули! И рассыпался, внучек, рассыпался в лужу мутной воды да тины. Вот так малой мерзостью пахнуло. А нынче... — она махнула рукой в сторону завода. — Нынче пахнет по-крупному. И старым, лесным, и новым, железным. Оба злы, оба сильны. — Грань, — прошептала бабка Мария, и в ее глазах, таких острых мгновение назад, мелькнул первобытный, животный страх, знакомый всем живым существам перед непостижимым ужасом. — Грань меж мирами тонка стала. Порвалась кое-где. Сквозь дыры лезет. И старое, и новое зло проснулось. Одно — шерстью, рогами, землей сырой пахнет. Другое — железом да громом, — она снова повернула голову в сторону завода.

В ту же секунду небо над комбинатом вспорол ослепительно-белый, неестественно тихий разряд молнии. Он ударил не в сохранившийся громоотвод, а в самую верхушку старой, давно остывшей доменной печи № 3, высекая сноп ослепительных сине-белых искр. Грома не последовало. Только низкий, протяжный, скрежещущий стон, прокатившийся по земле, заставил задрожать стекла в доме и отозвался тупым ударом в груди. Андрей почувствовал, как вибрация прошла сквозь подошвы ботинок прямо в кости.

— Видишь? — старая женщина не отвела взгляда от завода, ее лицо в отблеске гаснущих искр было каменным, непроницаемым. — Оно тоже проснулось. Каменный бог. Железный. Гнев у него страшен. Беспощаден. Как и у того, из леса, — она наконец перевела тяжелый взгляд на внука, и в нем была не только тревога, но и давящая, почти отчаянная решимость. — Найди священника, Андрей. Молодого. Алексием звать. Он — чистый. Сердцем. Не заржавел, не сломался, как другие в своих рясах, что боятся свою же паству. И, — старуха замолчала, в ее глазах мелькнуло что-то древнее, знающее, — род его здешний, коренной. Прадед его, старец Игнатий, тот самый, что часовню на болотах ставил, с силой той боролся. Кровь помнит. Она в нем шевелится, хочет помочь, вытягивает его навстречу буре. Чует неладное. Вам двоим — искать. Пока не поздно. Пока Грань совсем не рухнула и не смешались миры. Ищи то, что разрезало Грань. Ищи то, что может ее зашить.

Она отпустила его руку, словно перенесла на него часть своей тяжелой ноши, и молча пошла к дому, темный платок слился с наступающими сумерками. Андрей остался стоять на влажной от надвигающейся грозы земле, слушая, как тихий, непрекращающийся гул из-под земли смешивается с нарастающим, нервным шелестом

листвы в огороде — будто сама природа затаила дыхание в ожидании бури, которая будет не просто грозой. В кармане джинсов он сжимал телефон, на экране которого уже горел номер, найденный еще днем, в контактах, указанных на сайте церкви: «Отец Алексий. Храм Свт. Николая». А на запястье, где сжали пальцы бабушки, осталось четкое, жгучее ощущение жара и древнего, леденящего кровь страха.

Маршрут центр Чанска — улица Ленина. Поздний вечер

Дождь начался внезапно, обрушившись на город тяжелыми, холодными потоками, хлеставшими по асфальту и редким прохожим, спешившим укрыться. Вадим Крутов, водитель последнего автобуса, вел свой почти пустой пазик по маршруту, думая только о теплой постели и стакане чего-нибудь согревающего. Город за окном плыл в серой пелене дождя, фонари расплывались мутными желтыми пятнами. Улицы были пустынны, только тени от мокрых деревьев прыгали на стенах домов.

Вадим вел последний пазик по маршруту № 4 — от вокзала через мертвый центр к спальному району «Сосны». Мысли путались: о долгах за квартиру, о вечно кашляющем ребенке, о жене, которая все чаще смотрела куда-то вдаль. Чанск. Город-призрак. Город-гробница. Еще лет десять назад на этом маршруте вечерами яблоку негде было упасть — смены на заводе заканчивались, народ возвращался домой. Сейчас — пустота. Комбинат маячил слева темными громадами, похожими на окаменевших великанов. Окна цехов — зияющие провалы. Лишь редкие огоньки охраны. «Дохлый гигант», — подумал Вадим с горечью. Он свернул с улицы Ленина на старую Мельничную, ведущую вдоль речушки Чанки к окраине. Дорога сузилась, асфальт разбит. Справа темнели пустырь и остов старой мельницы, слева — обмелевшая, но коварная Чанка, журчащая в темноте.

Внезапно на пустынном перекрестке у старой мельницы Вадим увидел фигуру. Она стояла посреди проезжей части, под проливным дождем, не двигаясь. Высокая, сгорбленная, закутанная во что-то темное, наброшенное на голову. Водитель пазика нажал на клаксон — резкий, пронзительный звук прорезал шум дождя. Фигура не шелохнулась. Проклиная про себя пьяных и самоубийц, Вадим стал притормаживать, подъезжая ближе. Когда фары высветили фигуру, ледяной ужас сковал его руки на руле.

Это не было человеком. Во всяком случае, не совсем. Существо было неестественно высоким, под три метра, и худым до костлявости. Его тело, покрытое не одеждой, а длинной, слипшейся от воды шерстью грязно-бурого цвета. Из-под накидки, заменявшей капюшон, торчали не уши, а острые, покрытые той же шерстью рога, как у старого козла. Но самое жуткое было внизу. Там, где должны быть ступни ног, виднелись... копыта. Крупные, раздвоенные, прочно стоявшие на мокром асфальте. Существо медленно повернуло голову в сторону автобуса. Вспышка молнии осветила его лицо — вытянутую, звериную морду с горящими изнутри желто-зелеными глазами, полными немой, древней злобы. Из полураскрытой пасти, усеянной мелкими, острыми зубами, вырвалось тихое, шипящее дыхание, которое Вадим услышал даже сквозь закрытое окно и шум ливня.

Вадим вжался в сиденье, парализованный страхом. Его мозг отказывался верить. Леший. Бабайка. Костяная Нога. Детские страшилки ожили посреди его маршрута. Водитель судорожно закрутил ручку стеклоподъемника, чтобы глотнуть воздуха. Существо сделало шаг к автобусу. Запах дичины, болотной тины и гнили ворвался в салон. Вадим вцепился в руль. Сердце колотилось, как бешеное, кровь стучала в висках. «Не может быть! Это галлюцинация! Не спал две ночи. Переутомление?»

Но копыта стучали по мокрому асфальту с пугающей четкостью. Существо сделало шаг к автобусу, его длинная, покрытая слипшейся шерстью рука с крючковатыми когтями протянулась к капоту. Вадим инстинктивно рванул ручку КПП, давя на газ. Мотор автобуса взревел, захлебнулся на мгновение от перегрузки, потом рванул. Он резко вывернул руль влево, ближе к реке, пытаясь объехать фигуру по краю дороги. Колеса забуксовали на грязи. В этот момент в небо над перекрестком ударил разряд молнии.

Вадим давил и давил на педаль газа, упершуюся в полик, а он все давил и давил, пытаясь ее дожать. Движок автобуса рычал на максимальных оборотах. Небо ослепил еще один разряд молнии — фиолетовый, до белого, бивший не в землю, а вверх, в самую гущу туч, как гигантское копье. Гром грянул мгновенно, оглушительно, сотрясая автобус. Существо взвыло — звук высокий, визгливый, полный боли и ярости. Оно отпрянуло, закрывая глаза от света, его фигура на мгновение как будто расплылась, стала полупрозрачной.

Вадим не раздумывал. Он выжал газ до упора. Автобус рванул с места, брызги из-под колес окатили странную фигуру. В зеркало заднего вида Вадим увидел, как существо, все еще шипя и размахивая длинными, когтистыми лапами, как он не заметил их раньше, растворяется в ливне и тени, как кошмар наяву. Но его взгляд на секунду зацепился за другое. На крыше старой мельницы, над самым колесом, в блеске очередной молнии он различил другую фигуру. Низкую, коренастую, покрытую чешуей или тиной, с огромной лягушачьей головой. Она сидела на корточках, наблюдая. И, казалось, смеялась беззвучно, открывая широкий, беззубый рот. Водяной. Крутов давил на газ, пока не выехал на освещенную площадь, к остановке. У столба с табличкой, на которой было написано: «Ост.„ Пл. Кирова“», двое промокших до нитки пассажиров терпеливо ждали последний рейс. Он не мог говорить. Он только трясся, глядя в пустоту за лобовым стеклом, где дождь заливал город, смывая... или принося что-то нечистое. В салоне, несмотря на открытое окно водителя, стоял невыносимый, сладковато-гнилостный запах болота и мокрой шерсти. А на лобовом стекле, прямо перед его лицом, четко отпечаталось размытое пятно влаги — форма его напоминала раздвоенное копыто. Он провел ладонью по стеклу, стирая отвратительный знак. Бросив взгляд в зеркало заднего вида в поисках мельницы, он на миг увидел отражение — огромную лягушачью голову, ухмыляющуюся ему с заднего ряда сидений. Вадим вскрикнул, резко обернулся — сиденья были пусты. Когда он снова посмотрел в зеркало, отражения не было. Только темнота и струи дождя за окном. Вадим нажал на кнопку, и двери с шипением разъехались, впуская пассажиров — пожилую женщину с авоськами и мужчину в замызганной спецовке. Они что-то говорили, но Вадим не слышал. В ушах стоял звон, смешанный с тем жутким шипением и визгом Лешего. Руки на руле дрожали так, что он едва удерживал траекторию. Весь его организм кричал об одном: «Бежать!»

Запах болота и мокрой шерсти, несмотря на открытое окно, не выветривался. Он чувствовал его на языке, в ноздрях, на коже. Как будто тварь все еще была здесь, невидимая. «С ума сошел. Совсем. Как тот, про которого говорили в новостях — Сомов с карьера».

Он довез пассажиров до конечной на автопилоте. Как только они вышли, Вадим заглушил двигатель и сидел, уставившись в лобовое стекло, по которому струились потоки воды. Отпечаток копыта был смыт, но он знал, что он БЫЛ. Реальным. Физическим. Он достал из бардачка плоскую фляжку с дешевым самогоном. Рука дрожала, когда он откручивал крышку. Он сделал один, два, три больших глотка. Жгучая жидкость обожгла горло, но не принесла ни тепла, ни успокоения. Только

усилила тошноту и головокружение. Картинки всплывали перед глазами: горящие желто-болотные глаза, крючковатые когти, беззубый рот Водяного. Смех. Шипение. «Скоро...» — эхом отозвался в памяти шепот из детских страшилок.

Он не мог ехать домой. Не мог видеть жену, ребенка. Не мог объяснить даже самому себе. Он достал из кармана куртки телефон. Пальцы лихорадочно листали контакты. Нашел номер дальнобойщика Сашки. «Сань, — голос его сорвался. — Сань, привет. Слушай, на той неделе ты говорил, что тебе в Питер завтра? Возьмешь попутчиком? Деньги есть. Срочно надо! Очень! — В трубке пауза. Вадим сглотнул ком в горле. — Да, да, понял. Час ночи на трассе у поста ГАИ. Договорились!» Он бросил телефон на пассажирское сиденье. Решение было принято. «Бежать! А жену и сына потом перевезу, как устроюсь. Бежать! Из этого проклятого города. Из этого кошмара. Пока не стало слишком поздно. Пока не стал тем, кто воет по-волчьи на площади или видит упырей в зеркале заднего вида», — он запустил двигатель и направил автобус в депо, чувствуя, как дрожь проходит сквозь руль и сиденье — не от самогона, а из самой земли, из-под асфальта, на котором остались следы копыт неведомого зверя.

Храм Святителя Николая. Ночь

Отец Алексий не мог уснуть. Ворочался. Слеза Богородицы... Он сидел в своей маленькой келье при храме, с тусклым светом настольной лампы, пытаясь читать Псалтырь. Но строчки плыли перед глазами, не складываясь в смысл. Вместо них в голове стоял крик той старухи Матрены, описание бешеной собаки, рассказ прихожанки о том, как ее сын-подросток теперь боится спать один, потому что «в углу шевелится тень с рогами».

Тишину ночи разорвал душераздирающий кошачий крик[1]. Не мяуканье, не драка — именно вопль смертельного ужаса и боли. Он доносился со стороны церковного двора, где жили несколько храмовых котов, ловивших мышей. Алексий вскочил, накинул рясу и выбежал наружу. Дождь уже стихал, оставляя после себя тяжелую, влажную мглу. Во дворе было темно, только тусклый фонарь у ворот отбрасывал слабый свет.

Он увидел: на мокрой плитке двора, под каменной скамьей лежало что-то темное и бесформенное. Подойдя ближе, настоятель содрогнулся. Это был один из котов, Васька, полосатый здоровяк. Но то, что осталось от Васьки, было невообразимо. Тело животного было иссушено, сморщено, будто из него мгновенно высосали всю жидкость. Шерсть торчала клочьями на сером пергаменте кожи. Глаза были открыты. Остекленевшие, полные запредельного страха, они смотрели последним взглядом из расширенных от ужаса зрачков. А на шее... На шее отчетливо виднелись два маленьких, аккуратных прокола, как от игл, но вокруг них кожа была мертвенно-белой, покрытой инеем. И стоял сладковато-тошнотворный запах тления, смешанный с запахом сырой земли.

* * *

Прошло уже три недели с той ночи на «Чертовом горбе». Семь дней, за которые Чанск из просто умирающего города начал превращаться в место, сходящее с ума,

[1] Синдром кошачьего крика (англ. cat's cry syndrome, фр. maladie du cri du chat; также болезнь кошачьего крика, синдром Лежена — по имени описавшего его в 1963 году французского ученого) — хромосомная мутация, вызываемая отсутствием фрагмента пятой хромосомы.

сменились двумя неделями вязкого, ползучего кошмара. Алексий в уме поделил это время на Фазы.

Фаза Первая: Шепотки на рынке, беспричинный вой собак, странные сны. Большинство прихожан связывало произошедшие события со случайными совпадениями или валило все на истрепанные нервы. Он и сам пытался...

Фаза Вторая: Истории с псом Бироном и старухой Матреной. Это была уже не паника, а материализующееся безумие.

А теперь, глядя на тушку Васьки, лежащую у его ног как приговор, Алексий с ужасом понимал: все сомнения рухнули. То, что раньше он мысленно называл «Фазой Первой» — шепотки и странные сны — и «Фазой Второй» — первое проявление безумия, — теперь казалось лишь прелюдией. Это была Фаза Третья. Твари вышли на охоту. Осознание этого было холодным и тяжелым, как надгробная плита. Начинается Фаза Третья. Твари из легенд не просто шныряли в тенях. Они начали охотиться. Активно. Системно. Целенаправленно. И если сначала их жертвами становились бродяги или животные, то теперь очередь дошла до горожан. Вчера пропал подросток, сегодня нашли труп сторожа мельницы, похожий на высосанный вакуумный пакет. Город не просто сходил с ума — его пожирали заживо.

В темноте, прижимаясь к стенам храма и дровяного сарая, жались оставшиеся коты. Их глаза светились в темноте, а сами они жалобно мяукали, прося помощи и защиты. Шерсть стояла дыбом. Они не приближались к месту гибели собрата, не шипели — они просто сидели, замершие, уставившись на иссохший комок шерсти и костей. В их молчании и неподвижности была жуткая, неестественная покорность, словно они видели нечто, лишившее их воли даже к животному страху.

Отец Алексий перекрестился, чувствуя, как волосы встают дыбом на затылке. Упырь. Легенды о мертвецах, сосущих кровь и жизненные силы, ожили во дворе церкви. Он оглянулся, ощущая на себе чей-то взгляд. Тени под аркой ворот казались неестественно густыми, живыми. Откуда-то из глубины двора, из-за дровника, донесся тихий, сдавленный смешок. Похолодевший, как могильный склеп, священник схватил охапку дров и бросился обратно в келью, запирая дверь на тяжелый засов. Он молился до утра, но ощущение, что храм — не убежище, а осажденная крепость, не покидало его.

Квартира Андрея. Ночь

Андрей ворочался в постели. Сны были кошмарными и мозаичными. Он увидел карьер — яму, из которой выползали фигуры из влажного, шевелящегося месива с бычьими головами. Видел комбинат, оживший, как механический зверь, изрыгающий молнии из труб. Бабушку Марию, стоящую на тонкой, трещащей под ногами перемычке между бездной с ревущими зверями и бездной с грохочущими машинами. И сквозь все — постоянный, назойливый гул. Во сне он никак не мог понять, что это за гул. Гудение трансформатора? Рев ветра? Рокот земли?

Проснулся музейщик от резкого толчка. Не во сне. Кровать вздрогнула. Легко, но ощутимо. Как от дальнего взрыва или проезда железнодорожного состава по просмоленным деревянным шпалам. Час ночи, за окном — тишина после дождя. Андрей сел на кровати, прислушиваясь. Гул не исчез. Он шел извне. И снизу. Город спал. Андрей услышал другой звук. Топот. Тяжелый, мерный, множественный топот. Как будто мимо его дома по мокрой улице маршировал отряд. Но не людей. Шаги были слишком тяжелыми, слишком глухо отдающимися в ночи. И сопрово-

ждались они глухим лязгом металла, какой бывает, когда бьют мечом по щиту. Андрей подошел к окну, осторожно раздвинул занавеску.

Улица была пуста. Фонари освещали мокрый асфальт, блестящие крыши машин. Но топот не стихал. Он зазвучал где-то рядом. Невидимый легион шел сквозь туман времени прямо по современному асфальту. Андрей присмотрелся к теням под фонарем. На мгновение ему показалось, что тени сгущаются, принимая очертания высоких фигур в рогатых шлемах, с длинными копьями. Фантомы? Призраки древних воинов, разбуженные дрожью земли? Или игра света и его перевозбужденного воображения? Топот удалялся, стихал, растворяясь в ночи, оставляя после себя только отголосок и знобящее чувство присутствия чего-то древнего и враждебного, что теперь бродило по его городу.

Глухой лес за карьером. Предрассветные сумерки

Он шел. Вернее, ОНО вело его тело сквозь спящую, но беспокойную чащу. Тело Кирилла Сомова было сломанной, покорной куклой, обернутой в грязь карьера, в засохшую кровь товарищей и собственные экскременты. Разум был погребен под лавиной чужих образов, голосов, инстинктов. Но внутри бушевала Сила. Дикая, темная, первозданная, как сердцевина земли. Она наполняла вены не кровью, а густым, черным медом ярости и абсолютной власти. Лес не был ему помехой. Кусты расступались, ветви ласково касались его лица, оставляя царапины, которые не болели, а лишь напоминали о связи с плотью мира. Земля под босыми, огрубевшими ногами была теплой, живой, дышала. Он слышал ее голос — рокот подземных рек, скрежет камней в глубине, шепот корней, переплетенных в вечном танце жизни и смерти. И голоса Других. Тени мелькали между стволами вековых сосен — высокие, лохматые, с горящими угольями глаз. Они кланялись ему, склоняли однорогие головы. Повелителю. Велесу.

Скотий Бог... Хозяин Нижнего... Владыка Перекрестков... Змей Подземный...

Имена, титулы, эпитеты вгрызались в его разум, как мутные, могучие потоки, смывая жалкие обломки личности Кирилла. Он ощущал их силу. Силу хаоса. Силу дикой, неукротимой природы. Силу разложения, дающего начало новому росту. Силу иллюзий и первобытной магии. Перед его внутренним взором маячил образ — громадный, из ржавого металла и мертвого камня, гудящий фальшивым, механическим громом. Завод. Перун. Каменный идол.

ГЛАВА 2. ПЕСНЬ ВТОРАЯ. ШЕПОТ АРХИВОВ

Чанск. Заброшенный цех Чанского металлургического комбината. Ночь

Дождь хлестал по разбитым окнам, как мелкая картечь, заливая ржавые поддоны и провалы в бетонном полу. Внутри царил полумрак, нарушаемый лишь редкими вспышками молний, выхватывающих из темноты остовы мертвых станков: гигантские токарные, покрытые чешуей ржавчины, прессы с застывшими в последнем усилии гидравликами, похожие на скелеты исполинских зверей, убитых в неравном бою. Пахло ржавчиной, едким озоном и... жареным мясом, приторно и тошнотворно.

Сергей Петрович Малышев, бывший слесарь высшего разряда, а ныне сторож-алкоголик этого металлического кладбища, дрожал не от холода или мокрой одежды. Он слышал их. Шаги. Нечеловеческие. Не человеческие — тяжелые, шаркаю-

щие, с глухим постукиванием, как от копыт или когтей, скребущих по бетону, сопровождаемые тихим, булькающим рычанием, словно из глотки, полной воды и грязи. Шаги бухали по верхнему ярусу, где когда-то располагались пульт управления цехом и красный уголок с портретом Ленина, изгрызенный крысами. Звуки доносились сверху, эхом отражаясь от пустых стен и высоких потолков. Он забился в угол, за груду заплесневевших деревянных ящиков с печатями «Арматура 12 мм», конечно, давно пустых, зажимая рот ладонью, чтобы не закричать, не выдать себя. Сердце колотилось, как отбойный молоток, кровь гудела в ушах, но сквозь этот шум пробивался ужасный звук шагов и рычания. Глаза его, привыкшие к полутьме, бегали, пытаясь пронзить темноту, уловить движение. В очередной вспышке молнии — ослепительной, синевато-белой — он увидел тень...

Тень. Огромную, сгорбленную, неестественно широкую в плечах. Неясные очертания напоминали то ли медведя, то ли кабана-переростка, но спина была усеяна острыми, костяными наростами, как у дикобраза из кошмара. Из пасти, усеянной желтыми загнутыми клыками, капала слюна, шипящая и дымящаяся при попадании на промасленный металл пола. Запах — невыносимый: гнили, дикого леса и болотной тины — ударил Сергея в нос, заставив сдержать рвотный спазм. Леший? Вурдалак?

Существо остановилось, будто почуяв его страх. Его массивная, покрытая свалявшейся шерстью голова медленно повернулась в сторону укрытия Сергея. Вспышка погасла, но в темноте загорелись два желто-зеленых огонька — глаза, полные немой, древней злобы и голода.

Сергей вжался в стену, молясь всем святым, которых помнил, и тем, которых забыл. Про себя, беззвучно, истерично.

Но святые молчали. Заговорило железо.

С потолка, прямо над тварью, свисал пучок оборванных кабелей под высоким напряжением — аварийное освещение, которое чудом еще подпитывалось от старого, дышащего на ладан трансформатора где-то в подвале. Кабели были оголены, измотаны временем, смертельная опасность, о которой Сергей знал, но на которую давно махнул рукой. Внезапно, без всякой видимой причины, изоляция на самом толстом кабеле лопнула с резким, сухим хлопком. Голый провод, шипя и искря голубым, почти лиловым адским светом, метнулся вниз, как разъяренная змея. Он не просто коснулся твари — он впился в один из костяных наростов на ее спине.

Раздался нечеловеческий, пронзительный визг, переходящий в рев боли и ярости. Тело чудовища затряслось в неистовых конвульсиях, озаренное снопом ослепительно-белых, рвущих сетчатку искр. Запах гнили мгновенно перебило смрадом паленой шерсти, горелого мяса и меди. Тень замерцала, исказилась, словно сигнал на разбитом телевизоре, и... рассыпалась. Не в прах, а в клубы едкого черного дыма, который тут же с шипением втянуло в ближайшую вентиляционную шахту с жалобным завыванием, будто завод сделал глубокий, довольный вдох.

Сергей, обмочившись от страха, выполз из укрытия. На месте твари осталась лишь черная, обугленная отметина на полу, несколько оплавленных костяных щербин и стойкий запах гари. Тишина вернулась, нарушаемая лишь шелестом дождя за окнами и далеким, нарастающим гулом, идущим из самых недр завода. Гул, похожий на удовлетворенное урчание спящего дракона, разбуженного на миг и усмирившего непрошеного гостя. Сергей не знал, что страшнее — сама тварь или ее мгновенное жестокое уничтожение этой силой. Он бежал, спотыкаясь о мусор, не оглядываясь, в ночь, где тени деревьев у проходной казались ему живыми, злобными и готовыми протянуть цепкие ветви-руки.

Город в личинке страха

Чанск больше не спал. Он задыхался. Свинцовое небо, нависшее после той странной, безгрозовой ночи, не рассеялось. Оно сжимало город, как гробовая крышка, выжимая из него последние капли нормальности. Воздух, тяжелый и влажный, пропитался не запахом дождя, а едкой смесью страха и слухов.

Закрытые ставни бросались в глаза первыми. Даже в разгар утра. Дома, особенно на окраинах, близ леса и завода, стояли, уставившись пустыми глазницами окон. Деревянные ставни, многие покосившиеся, не крашенные годами, были наглухо захлопнуты. Не просто закрыты — заперты на щеколды и подперты изнутри палками. Как будто жители пытались отгородиться не от воров, а от чего-то иного, бестелесного и куда более страшного, что бродило по улицам в предрассветных сумерках или шептalось в трубах. В центре города ставни были редкостью, но и там окна первого этажа часто завешивались плотными, темными шторами. Город прятал глаза.

Рынок — биржа слухов. Так было во все времена. Центральный рынок, обычно шумный, гомонящий базар жизни, превратился в гудящий улей тревоги. Торговали вяло. Люди скупали в первую очередь соль (старухи нашептывали, что она «отводит нечисть»), свечи (церковные и хозяйственные), консервы, спички, крупы. Но главным товаром были слухи. Они витали над прилавками с тухловатой рыбой и вялыми овощами, передавались шепотом у палатки с носками и махровыми халатами, булькали в чайных стаканах у «столовки».

— Слыхала? У Марьи Игнатьевны пес, как бешеный, кинулся на зеркало! Все в щепки изодрал, а сам потом издох, весь синий! — шипела одна бабка, заворачивая в газету три луковицы.

— А у нас в подъезде, на третьем этаже, каждую ночь — топот! Как будто кто в сапогах с подковами ходит! А под дверь — песок сыплется, как с мокрых ног! — вторил ей мужик в засаленной фуфайке.

— Говорят, на кладбище у Святого Ключа могилы сами... раскрываются! Земля шевелится! И следы оттуда — нечеловечьи! — трещал чей-то голос, как сухая ветка.

— А Сомов-то, Сомов, тот, что с карьера, в психушке, говорят, он не просто ревет! Он на древнем языке каком-то говорит! И стены дрожат, когда он орет! — этот шепот заставлял людей креститься испуганно и озираться.

— Влады[2] говорят, земля трястись будет! Большая беда! — это было уже не шепотом, а громким, истеричным выкриком, от которого смолкали даже самые громкие сплетники.

Слухи множились, обрастали чудовищными подробностями, пожирали рассудок. Люди смотрели друг на друга не с привычной усталой апатией, а с подозрением и животным страхом. Кто следующий? Кто уже «не свой»? В глазах мелькала паника, сдерживаемая только привычкой к выживанию и светом дня.

На серых, облезлых стенах гаражей, на бетонных оградах заводской территории, даже на задней стене полупустого универмага стали появляться странные, пугающие символы. Их кто-то рисовал по ночам, тайно. Не яркой краской, а чаще углем, сажей, чем-то темным и липким. Спирали, закручивающиеся в бездну. Переплетенные звериные морды с пустыми глазницами. Знаки, напоминавшие одновременно стилизованные молнии и рогатые черепа. И рядом — грубые надписи: «ВЕЛЕС ГРЯДЕТ!»,

[2] Влады — местное название знающих бабок, вроде бабки Марии. Их авторитет в дни беды взлетел до небес (прим. автора).

«ПЕРУН НЕ СПИТ!», «ЗЕМЛЯ ВОССТАНЕТ!», «ПРИМИ ЖЕРТВУ!», «ГРАНЬ РВАНА!». Это были не хулиганские росчерки. Это были манифесты пробуждающегося безумия, призывы к древним силам. Они действовали на нервы сильнее любых слухов, как видимые шрамы на лице города, свидетельствующие о внутреннем гниении.

Волна страха выплеснулась за пределы города. По единственной крупной дороге, ведущей на трассу и к железнодорожной станции, встала километровая пробка. Груженные под завязку «Жигули» и «лады», видавшие виды «газели», даже несколько дорогих инородных иномарок — все они пытались бежать. Люди бросали квартиры, наскоро сколачивая скарб. Лица водителей и пассажиров в окнах были искажены страхом и решимостью. Они давили на клаксоны, ругались, пытались втиснуться в несуществующие просветы. Некоторые, отчаявшись, разворачивались и ехали обратно, в пасть беды, не зная, что хуже — остаться или застрять в этой пробке, когда «оно» начнется. Над колонной висел смрад выхлопных газов, пыли и человеческого отчаяния. Это был исход, лишенный всякой надежды. Исход тех, кто еще верил, что спасение — там, за пределами Чанска. Тех, кто не хотел ждать, пока их город станет жертвенником древних богов или ареной битвы между ними.

Возле обочины стоял «москвич» с открытым капотом — его хозяин в ярости пинал спущенное колесо, крича в никуда о том, что бензин кончился, а запаски нет. Впереди, на перекрестке, две иномарки сцепились бамперами — их владельцы, вчерашние соседи, с остервенением лупили друг друга кулаками, пока их семьи в ужасе смотрели из окон. Они бежали от ужаса, но везли его с собой, в своих переполненных машинах и изможденных сердцах.

Кабинет мэра. Поздний вечер

Воздух в кабинете мэра был густым, пропитанным запахом старого ковра, дешевого кофе и безмолвной паники. Виктор Сергеевич Борзов сидел за своим массивным столом, уставившись в сводку, которую только что положил перед ним бледный, как полотно, зам. Три десятка пропавших без вести. Пять трупов — один обвит корнями, у другого, найденного в Чанске, зияли жабры. Двести с лишним обращений о «нечисти» и порче имущества. Дежурный офицер Росгвардии настаивал на введении войск и режима ЧП.

— Виктор Сергеевич, мы не паникеры, — тихо, но настойчиво сказал зам. Его пальцы нервно барабанили по столешнице. — Люди гибнут. Надо вызывать федералов. Армию. Это уже не наши масштабы.

Борзов не поднял глаз. Он смотрел на фотографию одного из трупов — синее, раздутое лицо с бахромчатыми щелями на шее. И видел за ней другое — высокую, рогатую тень за окном своего коттеджа прошлой ночью, от которой стекло покрылось инеем. Животный ужас, знакомый и липкий, снова сжал его горло.

— Федералы? — он изобразил горькую усмешку, но получился лишь болезненный оскал. — И что они увидят? Сумасшедший дом? Город-призрак, который мы не смогли сохранить? Они поставят на нас крест. На мне.

— Крест поставят? — голос зама сорвался на фальцет. — Да здесь уже кладбище устраивают! Нас уже списали, Виктор Сергеевич!

— Нет! — Борзов резко встал, с силой ударив кулаком по столу. Стакан с карандашами подпрыгнул и загремел. — Не списали! Пока я здесь сижу — нет! А если приедут военные из МЧС и Росгвардии с камерами, если они начнут рыскать, задавать вопросы, — он замолчал, переводя дух, и его взгляд устремился на массивный, старомодный телефон на столе — не городской, а правительственной связи, се-

рый и немой, как скала. — Нас не просто спишут. Нас ликвидируют. Как бракованный образец.

Зам замер, смотря на него с новым, леденящим пониманием.

— «Эпидемиологи», — прошептал он.

— «Эпидемиологи», — кивнул Борзов, с трудом разжимая сведенную судорогой руку. — Их вердикт был четок: «Любая паника, любое привлечение извне структур, не входящих в протокол, будет расценено как срыв операции и утрата контроля на месте. Последствия — карантин полного цикла». Ты понял, Игорь? «Карантин полного цикла!» Это не когда никого не выпускают. Это когда никого не находят. Никогда. Ни мертвых, ни живых. Город-призрак в самом буквальном смысле. Мы для них — подопытные кролики в клетке. И если кролики начнут слишком громко пищать и привлекать внимание к эксперименту — клетку с кроликами просто уничтожат. Без шума и пыли.

Он тяжело опустился в кресло. В глазах его, помимо ужаса, читалась страшная, давящая усталость от этой игры, где его город и его жизнь были разменными фишками.

— Мой приказ — держать щит. Держать видимость. Официальная версия: несчастный случай, токсичные выбросы с ЧМК, геологические процессы и, главное, — он снова ударил по столу, но на этот раз без силы, — массовая истерия! Наш главный враг — не эти твари из болот или с завода. Наш главный враг — паника, которая заставит нас сделать роковой звонок. И пока «специалисты» там, наверху, решают, что делать с этим «Гневом Земли», мы должны сидеть тише воды, ниже травы. И молиться, чтобы они нашли решение до того, как этот город станет жертвенником или его сотрут с карты.

Борзов откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Его официальные версии были тонким коконом, за которым он прятал не только собственный, животный ужас, но и знание, что он — надсмотрщик в тюрьме, приговоренный к той же камере, что и его заключенные. И что спасти город он может, только обрекая его на тихую, невидимую миру агонию.

* * *

На этом фоне официальный голос властей прозвучал как издевательство. В полдень по местному радио и в эфире уцелевшей городской телепрограммы (вещавшей с перебоями) выступил мэр Чанска Виктор Сергеевич Борзов. Его лицо было похоже на маску: статичное, подчеркнуто спокойное, но в каждом уголке этой статичности чувствовалось сдерживаемое напряжение. Голос звучал натужно-бодро, как у плохого актера в агитке.

«Дорогие чанцы! В связи с последними событиями и распространяющимися паническими слухами считаю необходимым дать официальные разъяснения! Происшествие на заброшенном карьере у территории Чанского металлургического комбината было тщательно расследовано компетентными органами. Установлено, что имел место несчастный случай, вызванный нарушением техники безопасности при проведении несанкционированных земляных работ группой лиц. Обвал грунта стал его печальным следствием. Состояние единственного пострадавшего, Сомова, стабилизировано, он получает всю необходимую медицинскую помощь. Что касается отдельных тревожных сообщений о необычных явлениях — скачках напряжения, локальных вибрациях грунта, случаях неадекватного поведения — они имеют под собой сугубо техногенную природу. Старые коммуникации, подземные пусто-

ты, образовавшиеся в результате долгой эксплуатации карьера и шахт, геологические процессы — вот реальные причины. Работы по оценке состояния подземных структур уже начаты. Убедительно прошу граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокациям! Не распространять непроверенную информацию! Ситуация находится под контролем! Помните! Массовая истерия является нашим главным врагом в данный момент! Доверяйте официальным источникам! Работаем, коллеги! Работаем для стабилизации обстановки!»

Запись закончилась. В квартирах, магазинах, на рынке, в пробке люди слушали. Реакция была единодушной — горькое, бессильное неверие. Слова «техногенная авария», «геологические процессы», «массовая истерия» звучали как пустой звон. Они не объясняли шевелящуюся пыль, темные слезы икон, видения рогатых теней или глиняных человечков, иссушенных котов и вой старух. Они не объясняли страх, который витал в воздухе и въелся в стены. Заявление мэра не успокоило, а лишь углубило пропасть между властью и людьми, между рациональным мифом официальной версии и жуткой реальностью, в которой теперь жил Чанск. Контроль был потерян. Беда была уже здесь.

Храм Святителя Николая

Храм Святителя Николая казался клочком относительного спокойствия в бушующем море страха. Но это спокойствие было обманчивым. Давящая тишина здесь была иной, чем в музее. Она была напряженной, как струна перед разрывом. Запах ладана не мог перебить слабый, но стойкий душок серы, исходивший от иконы Казанской Божией Матери.

Отец Алексий стоял перед ней, не молясь. Он смотрел. Смотрел на замутненное стекло киота, за которым лик Богородицы был почти скрыт темным, тяжелым окладом. И на ту самую точку в уголке глаза, откуда три дня назад сочилась «черная слеза». Сейчас она не черноточила. Но на старой краске осталось неистребимое жирное пятно, черное и блестящее, как запекшаяся кровь. Алексий поднес руку, но не коснулся стекла. Он боялся. Боялся ощутить тот ледяной укол снова. Боялся, что слеза начнет течь опять. Его лицо было бледным, осунувшимся. Тени под глазами говорили о ночах без сна, проведенных в молитвах, которые казались теперь такими беспомощными. Он чувствовал себя осажденным. Не только злом извне, но и неверием епархии, пустотой в душах многих прихожан, которые теперь боялись даже зайти в храм. И этим пятном на иконе — физическим воплощением кошмара, оскверняющим самое святое.

Скрип тяжелой входной двери заставил его вздрогнуть. Он обернулся. В притвор вошел Андрей Соколов. Он выглядел не лучше священника: усталое лицо, взъерошенные волосы, темная куртка, на которой белели следы музейной пыли. Не было в его взгляде привычной цепкой наблюдательности — лишь утомленная поволока, сквозь которую смотрела наружу тихая, но отчетливая паника. Он остановился, оглядывая полупустой храм, его взгляд скользнул по иконостасу и задержался на отце Алексии и на той самой иконе.

Андрей медленно подошел. Не крестясь, не ставя свечу. Он просто подошел и встал рядом со священником, тоже уставившись на черное пятно под окладом.

— Отец Алексий? — спросил он тихо, голос слегка хриплый.

— Да. Андрей Николаевич? Из музея? — Алексий узнал его: немногие в городе имели такой вид «погруженного в прошлое».

— Да, — Андрей кивнул в сторону иконы. — Это то самое место?

— То самое, — голос священника звучал глухо. — Она. Плакала. Не водой. Чем-то черным. Густым. Пахло серой. Ватка обуглилась, — он выдохнул, как будто признание сняло с него малую толику тяжести. — Вы знаете?

— Знаю слухи. Видел кое-что другое, — Андрей помолчал. — У нас в музее пыль шевелится сама по себе. Тени дергаются. А тот нож, с городища, он жжется льдом сквозь стекло. — Он сжал руку в кулак, вспоминая тот холодный укол. — И земля гудит. Под ногами. И не только в музее. Бабка моя, Мария, живет на окраине. Она чует. Говорит, грань истончилась. Порвалась.

Алексий смотрел на него со смесью надежды и отчаяния. Здесь был человек, который видел. Не просто слышал, а столкнулся с аномалией лицом к лицу, как и он.

— Грань? — переспросил он. — Между мирами? Между рациональным и тем, что за гранью?

— Примерно так она говорит. Между нашим миром и чем-то иным. Лесным. И железным, — Андрей кивнул в сторону, где за стенами храма маячили трубы завода. — Она считает, что и то, и другое проснулось. И оба злы. — Андрей провел рукой по лицу. — Я археолог. Историк. Я работаю с фактами. С артефактами. С грунтом. Все, что происходит, оно не вписывается ни в какие научные парадигмы. Шевелящаяся пыль, обугливающаяся ватка, вибрации, которые не фиксируют приборы, но чувствует кожа, — безумие. Нарушение всех законов, которые я знаю.

В его голосе звучала не столько уверенность, сколько отчаянная попытка ухватиться за рушащиеся устои своего мира.

— Законы Божьи тоже нарушены, — тихо сказал Алексий. Его глаза горели внутренним огнем веры, смешанным с ужасом. — Осквернение святыни, явление нечисти. Это не просто аномалия, Андрей Николаевич. Это духовная война. Демоны выходят из тьмы. Силы древнего зла пробуждаются. Владыка говорит, что это истерия. Но я видел! Я чувствую это здесь! — Священник прижал руку к груди. — Вера... Она не отменяет реальность зла. Она дает силы ему противостоять. Но я, я не знаю, как бороться с этим, — в его голосе прозвучало откровенное признание в беспомощности пастыря перед лицом невиданной мощи.

Андрей изучающе смотрел на священника. Он видел не фанатика, а искреннего, напуганного человека, столкнувшегося с чем-то, что ломало и его картину мира.

— Демоны. Духи. Древние боги, — Андрей произнес эти слова с трудом. — Для меня это мифы. Сказки. Объяснения наших предков тому, чего они не понимали. Геология, химия, физика нестабильных полей — вот где я ищу ответы. Он указал пальцем на черное пятно. — Но это — это факт. Физический факт. Как и вибрирующий нож. Как и гул. Игнорировать их — глупо. Называть массовой истерией — преступно. — Он замолчал, в его глазах шла невидимая борьба между научным скепсисом и неопровержимостью пережитого. — Бабушка... Она велела мне найти вас. Сказала: «Он чистый сердцем. Чует неладное». Она сказала, что нам двоим нужно искать. Искать то, что «разрезало Грань». И то, что может ее «зашить».

Слова о «чистоте сердца» смутили Алексия, но фраза «искать то, что разрезало Грань», заставила его вздрогнуть.

— Что? Что могло ее разрезать? — спросил он, в голосе появился интерес исследователя, заглушающий на мгновение страх.

— Карьер, — твердо сказал Андрей. — Трагедия с Сомовым и его друзьями. Бабушка уверена, что они там что-то нашли. Или что-то выпустили. Этот нож в музее — его нашли подростки недалеко от карьера, незадолго до обвала. Он — ключевой. Я чувствую. Он связан со всем. — Музейщик посмотрел прямо в глаза Алексию. — Я хо-

чу понять, что это? Как это работает? Откуда это пришло? Научными методами. Архивы музея, старые отчеты, может быть, церковные хроники, все, что может пролить свет на историю этого места. На то, что здесь происходило раньше. На легенды, которые вдруг стали явью. — В его голосе звучала решимость ученого, столкнувшегося с неизвестным и готового его исследовать, даже если оно ломает все теории.

Алексий задумался. Мысль о церковных хрониках была правильной. В семинарской библиотеке он как-то наткнулся на сборник фольклора народов Урала — там было о каменных идолах, приносивших беду. Он всегда считал это суевериями. Теперь... Теперь это выглядело предупреждением.

— Архивы, — пробормотал он. — Да-да. В храме есть старые книги. Метрики, летописи прихода. Возможно, что-то есть, — священник посмотрел на черное пятно, потом на решительное лицо Андрея.

Вера и Разум. Казалось бы, непримиримые противоположности. Но перед лицом общего, необъяснимого врага переплетающиеся причудливым образом.

— Я помогу вам искать, Андрей Николаевич. В церковных архивах. Возможно, вместе... — Алексий не договорил, но смысл был ясен: — Вместе у нас больше шансов понять и, может быть, остановить.

Это было начало. Начало странного союза. Скептик ученый и верующий священник, объединенные не верой друг в друга, а общим страхом, общим врагом и тлеющей искрой надежды, что знание — любое знание — может стать оружием против надвигающейся тьмы. Они стояли перед иконой с черным пятном, как перед картой неизведанной и ужасной территории, на которую им теперь предстояло отправиться вместе. Шепот архивов звал их. Шепот прошлого, которое отчаянно пыталось предупредить настоящее о грядущей буре.

Архив Чанского краеведческого музея. Следующий день. Утро

Пыль здесь была другого рода: сухая, книжная, благородная, пахнущая тлением бумаги, старой кожей переплетов и чернилами, выцветшими за десятилетия. Пыль висела в лучах слабого утреннего солнца, пробивавшегося сквозь высокое окно. Андрей и отец Алексий сидели за широким дубовым столом, заваленным фолиантами, папками с отчетами полузабытых археологических экспедиций, микрофильмами церковных летописей и распечатками со сканов. Между ними искрило невидимое, но ощутимое напряжение: рациональный, основанный на фактах скепсис ученого сталкивался с непоколебимой, глубоко личной верой священника. Но общий враг — неведомый, древний, пугающий — заставил их отбросить предубеждения и искать ответы в прошлом, копаясь в разбухших от старости страницах, где история переплеталась с мифом, а христианская добродетель — с языческим ужасом.

— Вот смотрите, — Андрей ткнул пальцем в распечатку перевода древнерусского текста. Летопись монаха Кирилла (ирония имени не ускользнула от отца Алексия) из Никольско-Чанского монастыря, основанного в XII веке и разрушенного в Смутное время. — «...И приидоша беси люты, яко вепри дикии, шерстью покровени, рогати, смрад изо уст испущающе. Искушаху люди, в леса и болота уводяще, аки скотину на закланье. И глаголаху старци, яко си суть твари Велесовы, бога скотья, из Нави пришедшия...» — Андрей поднял глаза на священника. — Отец Алексий, это же классическое описание леших или... или того, что вчера видел сторож на заводе. Монахи называли их «бесами», но описания — они слишком конкретны, слишком материальны. И связь с Велесом прямо указана.

Отец Алексий лишь молча кивнул. Бессонная ночь запечатлелась на его лице мертвенной бледностью и фиолетовыми полумесяцами под сконцентрированным, невидящим взглядом. Он изучал старинную, потемневшую от времени запись в церковной метрической книге Свято-Никольского прихода, датированную 1743 годом: «Въ деревнѣ Подгорной, крестьянинъ Игнатъ, одѣржимъ бѣсомъ лютымъ, ревъ и рыканіе вепрево испущавъ, силою нечеловѣческою обладáемъ... Молúтвами и окроплéніемъ святóю водóю у мѣста кáпища старáго, úдоломъ погáнымъ разорéннаго, бѣсъ изы́де...» (в деревне Подгорной крестьянин Игнат одержим бесом лютым, рев и рыкание вепрево испущая силою нечеловеческою обладаем... Молитвами и окроплением святою водою у места капища старого, идолом поганым разоренного, бес изыде).

— У места капища старого, — повторил он тихо, проводя пальцем по выцветшим чернилам. — Ваша бабушка права, Андрей. Древние места силы — они словно незаживающие раны на теле земли. Шрамы. Даже освященные, поруганные, застроенные. Энергия в них затаилась, спит беспокойным сном. И может проснуться. Особенно если кто-то, — он взглянул на футляр с фрагментом ритуального ножа, лежащего на столе как обвинительное доказательство, — намеренно их тревожит, вскрывает, как гнойник. Эти «бесы», которых описывали монахи, — они не были демонами в чистом, церковном понимании. Это были духи места. Силы природы, обожествляемые нашими предками, силы стихий. Искаженные гневом от забвения, осквернённые или пробужденные не вовремя, в неподходящей форме. Как дикий зверь, разбуженный посреди человеческого жилья.

Андрей развернул большую топографическую карту района. Его пальцы, привыкшие к тонкой работе, дрожали, он по крупицам собирал информацию, перелопатил горы литературы, и только сейчас, под свежим впечатлением от слов бабки и увиденного в музее, разрозненные пазлы — обрывки летописей, данные спектрального анализа ножа, странные геологические аномалии — начали складываться в чудовищную, но цельную картину. «Смотрите», — его голос был хриплым от усталости и возбуждения. Красным карандашом он обвел три ключевые точки: гигантскую территорию нынешнего комбината, обширную болотистую низину за ним, уходящую в глухой лес (те самые «подгорные» болота), и центр современного Чанска, где стоял Никольский храм, построенный в камне как раз на месте старой деревянной церкви, упомянутой в летописи.

— Подобные ритуальные ножи, — размышлял Андрей, — обычно находят не в одиночку. Они часть комплекса. Если основное капище было на холме под заводом, то карьер. Карьер мог быть местом силы попроще, периферийным святилищем. Возможно, грабители могил или сами жрецы унесли нож для какого-то обряда. Или его вынесло подземными водами. Так или иначе, он оказался в эпицентре ритуала, который вскрыл «нарыв». Сопоставляя археологические отчеты о случайных находках — ритуальные топоры-молоты, глиняные идольчики с рогами и без, капищные кольца с солярными знаками, фрагменты жертвенных ножей — и церковные записи о местах «беснований», «наваждений» и уничтожения «кумирниц», — Андрей провел жирные красные линии между точками, — получается четкий треугольник. Здесь, под заводом, на самом высоком холме — капище Перуна Громовержца, бога княжеской дружины, порядка и воинской силы. Там, в низине, в болотах и глухом лесу — святилище Велеса, Хозяина Нижнего Мира, бога скота, магии, подземных богатств и хаотических перемен. А здесь, в центре, на перекрестье путей, — он ткнул в центр города, — точка соприкосновения, конфликта, баланса.

Место, где «Грань» между мирами — Явью, Навью и Правью[3] — всегда была тонка, проницаема. Нынешний кошмар — это эхо древней войны богов. Войны, которая никогда не заканчивалась, а лишь затихла на время.

— Войны, — отец Алексий с горечью покачал головой, сжимая в руке деревянные четки, — в которой страдают люди. Как Сергей-сторож. Как те несчастные, которых находят, — он не договорил. Оба знали о новых жертвах, о которых шептался весь город. Одного нашли вчера вечером в реке Чанске у старой мельницы — тело было покрыто толстым слоем тины и странными, похожими на рыбью чешую, зеленоватыми наростами. Лицо синее, раздутое, а вместо рта... зияли жабры, слабо шевелившиеся в последней агонии («водяной утянул»). Другого — сегодня утром в городском парке, обвитого корнями огромного старого дуба так плотно, что кости были переломаны, словно спички. На лице застыли гримаса ужаса и странное, неестественное умиротворение, будто дерево обняло его навеки («леший защекотал»). Власти говорили о несчастных случаях, о влиянии токсичных отходов завода, о массовой истерии. Но страх был реальнее любых объяснений.

В этот момент тяжелый фолиант на краю стола — «Церковные соборы XVI века» — сам по себе с грохотом упал на пол. Пыль взметнулась столбом. Андрей вздрогнул, но его взгляд был прикован к карте. Там, где его карандаш обозначил болото Велеса, бумага начала темнеть, как будто пропитываясь влажной плесенью. Из ниоткуда пополз сладковато-прелый запах гнилого меда и болотной тины.

— Они. Слушают, — прошептал Алексий, сжимая крест. Его лицо побелело.

И тогда в гуле, доносившемся из-под пола, проступил голос. Не в ушах, а прямо в сознании, множественный, скрипучий, как трущиеся друг о друга вековые деревья: «МА-А-А-ЛЕНЬКИЕ ЗЕРНА. ПОНИМАЕТЕ. СУТЬ ИГРЫ. НО ДРЕВНИЕ ПРАВИЛА. ЗАБЫЛИ. ВАША КРОВЬ. ОСВЯТИТ НОВЫЙ ПОРЯДОК».

Эхо голоса замерло, оставив после лишь давящую тишину и тлеющий на карте знак.

Повисшую паузу прервал Андрей.

— Нам нужен ключ, — твердо сказал Андрей, отодвигая карту. Глаза его горели решимостью, смешанной с тревогой. — Что-то, что может укрепить Грань. Заделать дыры. Или, — историк посмотрел прямо в глаза напарнику, — закрыть дверь наглухо. Бабушка говорила: «Ищи то, что резало Грань. Ищи то, что может ее зашить». Этот нож... — он кивнул на футляр, — он резал. Он был инструментом того ритуала на карьере. Но что может зашить? Что обладает противоположной силой? Силой созидания барьера, а не его разрушения?

Отец Алексий задумался, перебирая бусины четок. Его взгляд блуждал по стеллажам, забитым папками, потом упал на распечатку описи монастырской ризницы Никольско-Чанской обители, датированную 1587 годом. Среди прочих сокровищ там упоминалось: «Крестъ обережный древяный, кипарисный, златѣніемъ украшенный, съ мощьми святаго мученика Трифона, обрѣтенный на мѣстѣ разореннаго капища Перунова, идѣже нынѣ храмъ каменный стоитъ... Сей крестъ чудотворенъ, бѣсы отгоняетъ и навязанія, силу Перунову въ служеніе Господу обративъ...» («Крест обережный древяный, кипарисный, златением украшенный, с мощьми святого мученика Трифона, обретенный на месте разореннаго капища Перунова,

[3] Явь, Правь и Навь — понятия, которые, по некоторым представлениям, обозначают три мира славянского мифологического миропонимания. Впервые эта триада упоминается в «Велесовой книге» (сочинении, заявленном как текст IX века, но признанном учеными фальсификацией XX века). В аутентичных источниках эти понятия отсутствуют.

где ныне храм каменный стоит... Сей крест чудотворен, бесы отгоняет и наваждения, силу Перунову в служение Господу обратив...»).

— Крест, — прошептал он, указывая на строку. — Святыня. Не просто освященный предмет, но созданный специально, как щит. Освященный на месте силы и древнего конфликта. Мощи святого Трифона, покровителя... охотников и домашних животных. Символично. Противовес Велесу, Хозяину зверей. Возможно... он мог бы стать ключом? Но где он теперь? Монастырь разрушен поляками в 1610 году, ризница разграблена, — в голосе священника звучала безнадежность.

— Или, — Андрей открыл толстую папку с полулегендарными местными преданиями, записанными фольклористами в конце XIX века. Он быстро листал пожелтевшие копии, пока не нашел нужное: — «...И было у князя Ратибора, что правил здешними землями до крещения, копье дивное, громовое. Сказано, сам Перун в дубе молнией его выковал и князю вручил. Им разил Ратибор порождения Нави, тварей лесных и болотных, что людей поедали. И стояло капище Перуново на холме высоком, и хранилось в нем копье, стража против сил Нижних...» — Андрей посмотрел на отца Алексия. — Копье Перуна. Мифический артефакт. Оружие против «навьих» тварей. Что если его фрагмент как часть ритуала охраны сохранился? Возможно, был замурован в основании капища? Или спрятан где-то рядом? Если мы найдем его или Крест, — голос историка наполнился надеждой, — у нас будет шанс.

Внезапно погас свет.

Тьма, густая, липкая и абсолютная, накрыла архив. За окном бушевала вторая за день гроза, тучи снова сгустились, но и гром, и шум дождя словно притихли, заглушенные внезапностью темноты. Только гул из-под земли — гул комбината — стал ощутимее, громче, заполняя зловещей вибрацией внезапную тишину. Он шел сквозь пол, сквозь стены, наполняя кости холодом.

— Генератор должен... — начал было Андрей, инстинктивно вскакивая, но замолк, прислушиваясь.

Они услышали. Скрип. Скрип не дерева, а кости по каменному полу. Сухой, противный звук. И шепот. Множество голосов, сливающихся в один шипящий, булькающий поток. Древняя, гортанная речь, полная щелкающих согласных и горловых звуков, незнакомая, но несущая в себе леденящий смысл ненависти и голода. Шепот шел со всех сторон. Из темных углов. Из-за высоких стеллажей, забитых архивами. Из-под стола. Обволакивал.

— Не двигайтесь, — еле слышно прошептал отец Алексий. Его рука сжала нательный крест, другая нащупала в кармане рясы маленький флакон со святой водой. — Они здесь. Чувствую хлад. Зло.

Андрей почувствовал движение воздуха. Дыхание, несущее запах сырой земли, могильного холода и гниющих листьев. Тьма перед ним сгустилась, приняла зыбкие, но отчетливые формы. Не одну. Несколько. Низкорослые, не выше метра, кривые, с длинными, до пола, цепкими руками, заканчивающимися когтями, волочащимися по камню. Их тела казались худыми, костлявыми, обтянутыми темной, пергаментной кожей. Головы — непропорционально большими, со впалыми глазницами, в которых светился тусклый, болотный огонек. Упыри? Лесные духи низшего порядка? Навьи слуги Велеса?

Одна из тварей резко метнулась вперед, к столу, где лежал футляр с фрагментом ножа. Костлявая, покрытая слизью и плесенью лапа протянулась к нему, когти скребли по пластику.

— Нет! — крикнул Андрей, инстинктивно хватая ближайший тяжелый фолиант с выбитым на корешке золотым тиснением названием «Труды Археологического общества 1898—1901 гг.». Но священник действовал быстрее. Он не стал бросаться вперед. Он запел. Тихо сначала, но с невероятной силой, чистотой и верой. Старинный псалом, молитва изгнания нечистой силы. Звук, чистый, как серебряный колокол, ударил по темноте, по шепоту, по давящей тишине. «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его...»

Твари взвыли. Не от боли, а от яростной, бессильной ненависти. Их зыбкие фигуры заколебались, как пламя на сильном ветру. Светящиеся глазки сузились до булавочных головок, полных бешенства. Одно из этих мерзостных существ, что тянулось к ножу, отпрянуло, шипя, словно обожженное невидимым пламенем, коготь на его лапе задымился. Футляр с ножом слегка подпрыгнул на столе.

Но их было больше. Пять... шесть... Они начали сходиться, окружая двух людей, медленно, как пауки, плетущие сеть. Шепот перешел в низкое, угрожающее рычание. Андрей поднял фолиант, готовясь к отчаянной обороне, чувствуя, как страх сковывает мышцы. Отец Алексий пел громче, его голос креп, дрожал от напряжения, но не сдавался, наполняясь силой молитвы. Он шагнул вперед, прикрывая собой Андрея, держа крест перед собой, как щит. «И да бежат от лица Его ненавидящий Его...»

В этот момент фрагмент ритуального ножа в футляре... завибрировал. Гулкий, зловещий, низкочастотный звук, противостоящий чистоте молитвы. Вибрация передалась на стол, на книги. Твари воспрянули духом, их рычание усилилось, стало увереннее. Одна из них, самая крупная, с облезлой кожей на черепе, прыгнула с неожиданной ловкостью, целясь длинными, острыми, как бритва, когтями в лицо священнику. Гнилостное дыхание ударило в лицо.

Щелчок. Резкий, яркий свет.

Свет мощного фонаря ворвался в темноту из прохода между стеллажами. Он выхватил из мрака искаженную злобой морду твари, замершей в прыжке, ее оскал, когти, уже в сантиметрах от лица отца Алексия. И осветил фигуру человека, держащего фонарь. Это был пожилой архивариус Иван Петрович, с лицом, белым как мел от ужаса, но рука с тяжелым фонарем дрожала несильно. В другой руке он сжимал увесистую металлическую линейку, как дубину.

Свет! Простой, яркий, электрический свет фонаря!

Твари взревели, заслоняясь от него своими длинными руками, их тени задергались на стенах архива, неестественно большие и угрожающие. Сам свет, казалось, причинял им физическую боль. Они отступали, шипя и корчась, их полупрозрачные тела начали дымиться, растворяясь в глубоких тенях углов, словно чернильные пятна на промокашке, смываемые водой. Последним исчезло светящееся око, полное немой, обещающей месть ненависти, уставившееся прямо на отца Алексия. Шепот стих, сменившись тихим, злобным шипением, уходящим в никуда.

Свет в архиве мигнул и зажегся снова, зажужжали потолочные лампы, вернув миру привычные очертания. Но хаос царил повсюду: сброшенные со столов книги, перевернутые стулья, разорванные папки. Футляр с ножом лежал на боку. Андрей тяжело дышал, все еще сжимая фолиант, костяшки пальцев белые. Отец Алексий опустил руку с крестом, его пение прервалось на полуслове. На лбу у него выступили капли пота, он вытер их тыльной стороной руки.

— Спасибо, Петрович, — хрипло сказал Андрей, опуская книгу. — Вы вовремя.

Старик Иван Петрович кивнул, вытирая платком лицо. Рука его все же дрожала теперь.

— Генератор старый. А может, и авээрка[4] капризничает. В последнее время часто. Как и все в этом городе. — Он посмотрел на беспорядок, на бледные, напряженные лица мужчин. — Нашли что-нибудь... полезное? Или эти, — он кивнул на пустые углы, — будут теперь почаще навещать?

Андрей и отец Алексий переглянулись. В глазах каждого горело одно и то же понимание, подкрепленное только что пережитым ужасом. Страх был реален. Твари были реальны. Опасность нарастала как снежный ком. И времени на поиски, на сомнения почти не оставалось. Город катился в пропасть.

— Копье, — сказал Андрей, поднимая футляр с ножом. Он снова чувствовал его слабую, но зловещую вибрацию сквозь пластик. — Или Крест. Нам нужно найти либо копье Перуна, либо тот старый монастырский крест с мощами святого Трифона. Что-то из этого еще должно быть здесь. В городе. Или под ним. Это единственный шанс.

— Ну ищите, ищите. Ищущий да обрящет. Только недолго ищите, а то, — старик опять махнул фонарем на ближайший угол, — некуда будет возвращаться. — Иван Петрович постоял еще немного в дверях, как будто раздумывая. — Пойду посмотрю, что там со светом могло приключиться.

Размеренные шаркающие шаги архивариуса удалялись по коридору.

Отец Алексий подошел к окну. Дождь стихал, но небо оставалось тяжелым, свинцовым. Над корпусами завода клубился черный дым — последствия ночного «инцидента» со сторожем. А на горизонте, над темным массивом леса и болот, тучи сгущались в нечто напоминающее гигантские изломанные рога, вонзенные в небо.

— Искать будем, — произнес священник, глядя на рогатую тучу, его голос звучал устало, но твердо. — Но будьте готовы, Андрей. Они знают, что мы ищем. Они чувствуют интерес к этим артефактам. И попытаются остановить нас. Силы тьмы Велеса, — он кивнул в сторону леса, — и силы гнева Перуна. — Взгляд его скользнул к заводу. — Обе одинаково опасны для человека, оказавшегося между ними.

В кармане Андрея резко и громко завибрировал телефон. Незнакомый номер, без имени. Он почувствовал ледяную дрожь по спине, но поднес телефон к уху. На той стороне — не голос. Это был не звук, а взрыв чистой, нефильтрованной ненависти, ворвавшийся прямо в сознание. Ошметки образов: черные корни, рвущиеся из глазниц, рев медного быка, вкус гниющего меда на языке. И сквозь этот хаос — воля, древняя, как сама земля, и безумная от голода. Она не говорила — она вдалбливала смысл прямо в мозг: Тяжелое, хриплое, булькающее дыхание, словно из легких, полных воды. И сквозь него — шепот. Низкий, гортанный, полный нечеловеческой власти и презрения, от которого кровь стыла в жилах: «Мое. Все здесь. Мое. Скоро. Приготовься, Жрец Нового Бога. И ты, Копатель Мертвых Костей». Связь прервалась резким, неприятным писком.

Андрей медленно опустил телефон, глядя на отца Алексия. Лицо священника было каменным. Андрей медленно опустил телефон. Он не был мистиком, но понимал: если сущность может просачиваться в реальность, меняя плоть и материю, то почему она не может использовать ее же инструменты? Радиоволны, электричество... Завод использовал их для своего «гула». Почему Велес не мог использовать сотовую сеть как рупор? Это был не технологический звонок. Это было плевком в лицо, использование их же мира против них.

---

[4] АВР — автоматический ввод резерва — система, которая автоматически переключает нагрузку на резервный источник питания при сбоях в электроснабжении. Ее основная задача — сохранить бесперебойную работу оборудования и минимизировать простой.

— Он знает, — просто сказал Андрей, голос его был чужим. — Велес знает. И он назвал нас. Жрец. И Копатель Мертвых Костей. — Взгляд его упал на фрагмент ножа. — Он следит.

Архив, наполненный пылью веков и мудростью предков, внезапно показался им очень маленьким, хрупким и беззащитным местом в огромном, пробудившемся мире древнего кошмара. Поиски только начинались, но первая битва была проиграна. И цена ошибки теперь измерялась не просто жизнями, а самой душой, самой сутью города и, возможно, чем-то большим. Тень рогатого бога нависла над Чанском.

В поисках ключей

Оправившись от пережитого, напарники прошли в каморку, служившую музейщикам столовой, попить чаю. К ним заглянул и Иван Петрович. Разговор опять свернул в тему поисков. Несмотря на свое неверие в их чаяния, старик указал им на одно место: дом Елисея Кузьмича, старообрядца-начетчика, жившего на самой окраине, чья семья хранила книги и предания, отвергнутые официальной церковью и наукой.

— Чудак он, конечно, но книг у него — море. При царе старообрядцы, стало быть, на Урал и дальше бежали — тем и спаслись. После революции их особо не трогали как жертв царского режима. Правда, потом, в тридцатых, их и арестовывали, и паломничество на Веселые Горы возле Нижнего Тагила — это было такое ключевое событие в литургическом календаре старообрядцев-часовенных, собиравшее сотни и тысячи паломников из отдаленных мест Урала и Сибири, находилось под запретом властей. Вот они и подались: кто на Алтай да в Сибирь, а кто в города, в частный сектор на окраине — так и пережили, не высовывались, приспособились.

— А что касаемо Кузьмича, книгам он обязан всем. В эпоху победившего социализма гонений таких уже и не было, но везде староверов зажимали. Артем, сынок нашего тогдашнего секретаря обкома, по научной линии пошел. По исторической, кстати. Мотался в столицу. Все не мог определиться с темой кандидатской работы. Определился. Что будет по истории православия писать. Перестройка. Сами понимаете, времена были такие, что не до церквей и уж тем более не до научных работ по истории религии. Тоже облазил все библиотеки, наш музей снизу вверх переворошил, пока умные люди не натолкнули его на этого Кузьмича. Помог ему тогда старовер. Защитил Артем кандидатскую, уехал в Москву. Вот я и думаю, может, Кузьмич знает что.

Дом Елисея стоял отдельно, словно отгородившись от мира высоким забором и вековыми елями, как последний бастион старой веры против наступающего индустриального хаоса и новой, невообразимой тьмы. Сам Елисей, хозяин, сухонький старик с пронзительными голубыми глазами и седой бородой лопатой, встретил их настороженно: впустил по одному и долго всматривался в лица, особенно в Алексия, словно искал знак. Его изба была не просто хранилищем, а живым организмом: сушеные травы пахли не только пылью, но и свежестью, восковые свечи на полках казались слепленными вручную, а в углу стоял странный деревянный идолок — не славянский, а, скорее, финно-угорский, покрытый сложной резьбой в виде сетей и рыб.

— Дух-хранитель вод, — буркнул Елисей, заметив взгляд Алексия. — Старее вашего Николы тут. — Запах старых книг, сушеных трав и воска витал в избе, густой и сложный. — Музейщик да поп никонианский... — пробурчал Елисей, разглядывая гостей. — Чего надо? Истории? У нас своя история. Не ваша!

— История места, Елисей Кузьмич, — осторожно начал Андрей. — До всяких расколов. До заводов. Что было здесь? Что скрывает земля?

Старик помолчал, его взгляд стал острым, изучающим.

Когда Андрей заговорил о «шевелящейся земле» и «глазах под камнем», старик непроизвольно перекрестился по-старообрядчески, двумя перстами, быстрым, отрывистым движением.

— Слухи ходят. Плачут иконы? Земля дрожит? Шепчется? — Он тяжело вздохнул. — Значит, Оно шевелится. Древнее. Злое. — Он махнул рукой. — Идите. — Он привел их в крохотную горницу, заставленную до потолка тяжелыми фолиантами в обшитых кожей переплетах, свитками, тетрадями в клеенчатых обложках. Здесь пахло временем и тайной.

Его голос, когда он заговорил о «Древнем Гневе», стал не просто монотонным, а глубоко усталым, как будто он нес этот груз знания всю жизнь и теперь наконец мог его разделить перед концом. Старец показал им не только книги, но и свиток, написанный на бересте странными, угловатыми знаками.

— Говорят, это письмена самих ведающих Велеса. Никто не прочтет. Но хранить велено. Ищите, — сказал Елисей просто. — Здесь корни вашего Чанска. И вашей беды. «Сказание о Камне Горыныче» — бредни поповские, но зерно истины есть. Летопись Кирилла-беглеца — вон та, в синем переплете. Хроники купца Скворцова — под прессом. А дневник того инженера бесноватого у меня, — он постучал пальцем по толстой тетради с потертой кожаной обложкой, лежащей отдельно как нечто опасное. — Читайте. Но не говорите потом, что не предупреждал. Знание — груз. Иногда смертный.

Голоса из Бездны Времени (чтение документов)

Они устроились за грубым столом, зажгли керосиновую лампу (Елисей не доверял электричеству «с того завода») и погрузились в прошлое.

1. Летопись монаха Кирилла (нач. XVI в., пергамент, устав)

Почерк был неровным, торопливым, буквы дрожали, чернила местами размыты, как слезами или потом.

...Въ лѣ́то ҂з҃кн҃ (7028-е) ѿ созда́нїѧ мі́ра...

Придо́хомъ на мѣ́сто сеѐ при рѣцѣ́ Ка́мѧнцѣ, да ѡснова́емъ ски́тъ во и́мѧ Спа́сово...

Но землѧ́ сїѧ̀ проклѧ́та є҆́сть. Не прїе́млетъ она̀ моли́твы ч҃тыѧ.

Въ но́щи слы́шимъ гꙋ́лъ и҆зъ-подъ го́ры, ꙗ́кѡ ѕвѣ́рь вели́кїй во ѵтро́бѣ воро́чаетсѧ. Во́здꙋхъ же тѧ́нетъ смра́домъ сѣ́рнымъ...

Мѣ́стнїи, ѡ҆ста́вшїисѧ ма́лѡ, ше́пчꙋтъ ѡ «Глꙋбинѣ́мъ Гнѣ́вѣ», и҆́же дрема́лъ здѣ̀ и҆спро́ва. И ѡ то́мъ, ка́кѡ «Рога́тїи» и «Гро́мовикъ» (ѻ҆каѧ́ннїи бѣ́си!) сго́воришасѧ и скова́ша є҆го̀ ѹ҆́зы ка́менными, да не поглоти́тъ мі́ры...

На хо́лмѣ томъ, идѣ́же нн҃ѣ ка́пище скве́рное стои́тъ, ѡбрѣто́хомъ ка́мень ди́вный. Не мѣ́стный. Че́ренъ, ꙗ́кѡ но́щь безлꙋ́ннаѧ, но про́жилки въ не́мъ, ꙗ́кѡ мѡлні́и засты́вшїѧ и҆лѝ рѣ́ки крѡ́вные. Те́плъ є҆́сть, и бье́тсѧ ꙗ́кѡ се́рдце... теплота̀ ѿ него̀ и҆де́тъ во́лнами, ꙗ́кѡ дѧ́ханїе.

Прикоснꙋ́сѧ є҆мꙋ̀ рꙋко́ю — и ѹ҆зрѣ́хъ бе́зднѫ. Тьмꙋ̀, ꙗ҆́же дви́жетсѧ сама̀ собо́ю, и ѻ҆́чи въ не́й, вели̑чїи, не морга́ющїи, и҆спо́лнь вѣ́чнагѡ го́лода. И ѹ҆слы́шахъ ше́потъ, и҆́же леденѝтъ дꙋ́шѧ: — «Ѡ҆свободи́-и-и...»

Ѡ҆дрѧ́нꙋлъ рꙋкꙋ̀ — на пе́рстехъ ꙗ́звы, ꙗ́кѡ ѿ мра́за лютꙋ́ющагѡ.

Пыта́хомсѧ кр҃то́мъ є҆го̀ ѡ҆сѣни́ти — ка́мень возропта̀! Гꙋ́лъ пои́де по землѝ, и сѣ̑ни зашевели́шасѧ междꙋ́ дре́въ.

Ѡтстꙋпи́хомѧ. Поста́вихомѧ кр҃тъ на ѿши́бѣ.
Но стра́хъ не ѿходи́тъ. Чꙋетъ дꙋша̀ моѧ̀: печа́ть ветша́етъ. Ꙁы ржавѣ́ютъ.
И прїи́детъ де́нь, є҆гда̀ Гнѣ́въ воста́нетъ, и не ѡста́нется здѣ́ ка́менїѧ на ка́мени, нѝ дꙋшѝ живы̑...

...В лето 7028-е от Сотворения Мира... Пришли мы на сие место у реки Камянки, дабы основать скит во имя Спаса... Но земля сия проклята. Не принимает она молитвы чистой. По ночам слышим мы гул из-под горы, словно великий зверь в утробе ворочается. Воздух тянет смрадом серным... Местные, немногие оставшиеся, шепчут о «Глубинном Гневе», что дремал тут испокон. О том, как «Рогатый» и «Громовик» (окаянные бесы!) сговорились и сковали его цепями каменными, дабы не пожирал он миры... На холме том, где ныне капище скверное стоит, нашли мы камень диковинный. Не местный. Черный, как ночь без луны, но прожилки в нем как застывшие молнии или реки крови. Теплый он и бьется, словно сердце... тепло от него идет волнами, как дыхание. Прикоснулся я к нему рукой — и увидел бездну. Темноту, что движется сама по себе, и глаза в ней, огромные, немигающие, полные вечного голода. И услышал шепот, что леденит душу: «Освободи-и-и».

Отдернул руку, на пальцах — ожоги, как от мороза лютого. Попытались мы крестом его осенить — камень возроптал! Гул пошел по земле, и тени зашевелились меж дерев. Отступили мы. Поставили крест на отшибе. Но страх не уходит. Чует душа моя — печать ветшает. Цепи ржавеют. И придет день, когда Гнев восстанет, и не останется тут камня на камне, ни души живой...

В полях летописи дрожащей рукой было приписано:

...Бра́тїѧ ропщетъ. Глаго́лютъ, ѡтє́цъ и҆гꙋ́менъ по ноще́мъ ходи́тъ къ ка́менїю и шепчетсѧ съ ни́мъ. Ли́къ є҆гѡ̀ ѡбѣли́сѧ, ꙗ҆кѡ пе́пелъ, и во ѻ҆чесѣ́хъ — тѣ́нь, ꙗ҆кѡ ѿ пла́менї неꙁдѣ́шнагѡ...

Братия ропщет. Говорят, отец игумен по ночам ходит к камню и шепчется с ним. Лик его стал сер, как пепел...

2. Дневник инженера Павла Ворошилова (1891–1895) (записи становятся все бессвязнее):

Ровный, технический почерк первых записей (чертежи фундаментов, расчеты нагрузок, описание пород) постепенно сменялся нервными, рваными строчками, кляксами, рисунками странных символов. Поздние записи превратились в кошмарный симбиоз технических чертежей и мистических прозрений. Страницы были испещрены схемами печей, напоминавших чудовищных драконов с открытыми пастями, и чертежами механизмов непонятного назначения, усыпанных спиралями и звериными мордами. Рядом с расчетами прочности шли исступленные молитвы:

Стальному Перуну: Да прїидетъ Сила Твоя! Да скꙋетъ Гнѣ́въ въ цѣпи нерушимыя! Да воскреснꙋтъ горны мои жертвенниками Тебѣ́! Прими плавку нашу, прими уголь, прими... жизни...

Стальному Перуну: Да придет Сила Твоя! Да скует Гнев в цепи нерушимые! Да восстанут горны мои жертвенниками Тебе! Прими плавку нашу, прими уголь, прими... жизни...

Последние страницы были покрыты одним повторяющимся словом, выведенным с такой силой, что перо рвало бумагу: ЖАЖДѢ («ЖАЖДУ!»). А на обороте обложки — схематичная карта с отметкой КАМЕНЬ под фундаментом будущей домны № 3 и стрелкой, уходящей вглубь, с пометкой ГНѢВЪ («ГНЕВ»).

10 мая 1891. Начали рыть котлованъ подъ доменную печь № 1-й. Грунтъ нестабиленъ. Частые оползни. Рабочие ропщутъ, говорятъ, земля «живая» и «не хочетъ»... Суевѣрія...

10 мая 1891. Начали рыть котлован под доменную печь № 1. Грунт нестабилен. Частые оползни. Рабочие ропщут, говорят, земля «живая» и «не хочет»... Суеверия...

...15 іюня. Обнаружили странную пустоту на глубинѣ 15 саженей. Не карстъ. Стѣны обработаны. Какъ пещера. Но что за инструментъ? Посерединѣ — каменная плита. Алтарь? На немъ — черепа животныхъ, ржавые обломки оружія... Древнее капище. Скверное мѣсто. Приказалъ залить бетономъ немедленно. Нельзя задерживать стройку...

...15 июня. Обнаружили странную пустоту на глубине 15 саженей. Не карст. Стены обработаны. Как пещера. Но что за инструмент? Посередине — каменная плита. Алтарь? На нем — черепа животных, ржавые обломки оружия... Древнее капище. Скверное место. Приказал залить бетоном немедленно. Нельзя задерживать стройку...

...3-го іюля. Гулъ... Онъ въ головѣ. Не изъ-подъ земли. Какъ... звонъ стали. Но мелодичный. Зовущій. Говоритъ: «Сила... Порядокъ... Мощь...». Заводъ. Онъ не просто стройка. Онъ — пробужденіе. Я долженъ служить...»

...3 июля. Гул... Он в голове. Не из-под земли. Как... звон стали. Но мелодичный. Зовущий. Говорит: «Сила... Порядок... Мощь...» Завод. Он не просто стройка. Он — пробуждение. Я должен служить...

...Затихло! Гулъ подъ землею стихъ послѣ заливки фундамента печи №3-й прямо надъ тѣмъ мѣстомъ, что залили бетономъ... Но голосъ, голосъ въ головѣ громче! Онъ требуетъ больше стали, больше огня! «Сковать Гнѣвъ Сталью! Перунъ проснется!» Я вижу планы. Не мои. Машины, которыя будутъ дышать огнемъ какъ драконы. Это прекрасно! Это Сила!..

...Затихло! Гул под землей стих после заливки фундамента печи № 3 прямо над тем местом, что залили бетоном... Но голос, голос в голове громче! Он требует больше стали, больше огня! «Сковать Гнев Сталью! Перун проснется!» Я вижу планы. Не мои. Машины, которые будут дышать огнем, как драконы. Это прекрасно! Это Сила!..

...Послѣдняя запись? Не помню. Голосъ не даетъ. Онъ поетъ. Поетъ сталью. Я — руки Его. Заводъ — тѣло Его. Скоро, скоро Онъ встанетъ. И Гнѣвъ, Гнѣвъ будетъ раздавленъ желѣзной пятой... Или они сольются? Сила! Такая Сила!..

...Последняя запись? Не помню. Голос не дает. Он поет. Поет сталью. Я — его руки. Завод — тело Его. Скоро, скоро Он встанет. И Гнев, Гнев будет раздавлен железной пятой... Или они сольются? Сила! Такая Сила... (Дневник в этом месте обрывался.)

3. Семейные хроники купца Григория Скворцова (конец XIX в., уставной почерк с украшениями):

Тон был напыщенным, лицемерно-благочестивым, но сквозь строки пробивался животный страх.

...По совѣту благочестивыхъ старцевъ и по наитію Духа Святаго, положилъ я, грѣшный, воздвигнуть храмъ во имя Святителя Николая Чудотворца на холмѣ близъ строй-

ки завода господина Ворошилова. Мѣсто сіе, хотя и было въ языческія времена осквернено капищемъ, нынѣ требуетъ освященія и очищенія молитвой... Да будетъ храмъ сей щитомъ отъ всякія скверны бѣсовскія, коя, по слухамъ невѣжественной черни, обитаетъ въ сихъ мѣстахъ...

...По совету благочестивых старцев и по наитию Духа Святаго положил я, грешный, воздвигнуть храм во имя Святителя Николая Чудотворца на холме близ стройки завода господина Ворошилова. Место сие, хотя и было в языческие времена осквернено капищем, ныне требует освящения и очищения молитвой... Да будет храм сей щитом от всякой скверны бесовской, коя, по слухам невежественной черни, обитает в сих местах...

...Финансированіе стройки идетъ туго. Рабочіе отказываются копать глубоко подъ алтарь, болтаютъ о «каменномъ сердцѣ» въ землѣ и «древнемъ проклятіи». Нелѣпица! Пришлось удвоить плату...

...Финансирование стройки идет туго. Рабочие отказываются копать глубоко под алтарь, болтают о «каменном сердце» в земле и «древнем проклятии». Нелепица! Пришлось удвоить плату...

...Странности. Священникъ отецъ Ігнатій, освящавшій закладной камень, заболѣлъ внезапно. Бредилъ о «черныхъ слезахъ земли» и «глазахъ подъ камнемъ». Скончался въ мученіяхъ. Новый батюшка, отецъ Феофанъ, человѣкъ крѣпкій, но и онъ выглядитъ озабоченнымъ. Говоритъ, чувствуетъ «тяжесть» на мѣстѣ будущаго алтаря...

...Странности. Священник отец Игнатий, освящавший закладной камень, заболел внезапно. Бредил о «черных слезах земли» и «глазах под камнем». Скончался в мучениях. Новый батюшка, отец Феофан, человек крепкий, но и он выглядит озабоченным. Говорит, чувствует «тяжесть» на месте будущего алтаря...

Описание строительства церкви стало жутким:

...При закладкѣ алтаря, когда копнули глубже положеннаго, земля застонала. Какъ живая. Изъ ямы потянуло смрадомъ, падалью и сѣрою. Рабочіе въ ужасѣ разбѣжались. Пришлось нанимать новыхъ, изъ дальнихъ деревень, не знающихъ мѣстныхъ побасенокъ. Отецъ Феофанъ, освящая закладной камень, уронилъ крестъ. Ликъ его побѣлѣлъ, какъ мѣлъ. Шепталъ: «Оно смотритъ... Оно недовольно...». Потомъ недѣлю металея въ горячкѣ, кричалъ о «каменныхъ щупальцахъ» и «безднѣ подъ алтаремъ»...

...При закладке алтаря, когда копнули глубже положенного, земля застонала. Как живая. Из ямы потянуло смрадом, падалью и серой. Рабочие в ужасе разбежались. Пришлось нанимать новых, из дальних деревень, не знающих местных побасенок. Отец Феофан, освящая закладной камень, уронил крест. Лик его побелел, как мел. Шептал: «Оно смотрит... Оно недовольно...» Потом неделю метался в горячке, кричал о «каменных щупальцах» и «бездне под алтарем»...

Далее шли записи о гибели трех рабочих при возведении колокольни — упали съ лѣсовъ («упали с лесов»), но подробности были стерты, будто рукой, дрожащей от страха. И финальная, исполненная отчаяния запись:

...Храмъ стоитъ. Колокола звонятъ. Но тишина въ немъ мертвая. И страхъ мой не уходитъ. Чуетъ душа — построили мы не на костяхъ языческихъ, а на живой ранѣ земли. И рана эта — открывается. По ночамъ снится то ли заводъ, то ли гора, и изъ-подъ земли смотритъ огромный, немигающій, каменный глазъ. И голосъ шепчетъ: «Ты построилъ храмъ на Мнѣ. Я вижу тебя, купецъ...». Жертвую крупную сумму на украшеніе иконостаса. Можетъ, отмолить?..

Храм стоит. Колокола звонят. Но тишина в нем мертвая. И страх мой не уходит. Чует душа — построили мы не на костях языческих, а на живой ране земли. И рана эта — открывается. По ночам снится то ли завод, то ли гора, и из-под земли смотрит огромный, немигающий глаз. И голос шепчет: «Ты построил храм на Мне. Я вижу тебя, купец...» Жертвую крупную сумму на украшение иконостаса. Может, отмолить?..

Миф о Древнем Гневе. Рассказ Елисея и обрывки летописей

Елисей слушал их пересказы, его лицо было непроницаемо. Когда смолкли, он зажег лучину (керосин кончился) и заговорил низким, нарочито монотонным голосом. Елисей, словно читая невидимый свиток, не просто рассказывал — он пропускал миф через себя, его голос то становился ревом Перуна, то шелестящим шепотом Велеса, то леденящим гулом самой Бездны:

— Велес Лесной, Хозяин Троп и Тайн! Перун Громовой, Князь Порядка и Гнева Праведного! Они вечны? Нет! Было Время до них. Время Первого Гнева. Сущности, что не знала ни Леса, ни Порядка. Только Голод. Вечный, всепожирающий Голод Пустоты. Она спала в недрах, как червь в ядре земли. Но порой просыпалась, и тогда горы плавились, реки вскипали кровью, а небо рвали когтистые щупальца Тьмы. Не для жизни была та Сущность. Для Конца.

Он сделал паузу, глотнув воды из ковша:

— Пришла пора великой битвы. Не друг против друга — против общего врага. Велес пустил корни Леса в ее Плоть, спутав Движение. Перун выковал Молнии Запрета, сжигая Ее Волю. Но убить не могли. Слишком древняя, слишком. Иная. Тогда собрали они Силу свою — дикую Магию Земли и яростный Порядок Неба. Вызвали Дух Самого Камня — древнего духа гор и недр. И сковали Запечатанное Сердце — Камень Грани. Не просто камень. Фокус. Печать. В него вложили часть Силы своей, часть Души. Велес — знание Путей и Уз Подземных. Перун — Волю к Сковывающему Порядку. И принесли Жертву Высшую. Последний Жрец Перуна взошел на костер из священных дубов, и пепел его смешался с Огнем Небесным. Он сам возжег его священной искрой Громовержца, растворив свою плоть и дух в чистом Огне Порядка, чтобы стать живым замком Печати. Последний Ведающий Велеса не просто дал перегрызть себе горло священному Волку. Он призвал самого Духа Диких Земель, позволив ему съесть свою душу, растворив свое сознание в Хаосе Природы, чтобы стать живой цепью, сковывающей Гнев корнями мира. Их добровольное уничтожение как отдельных сущностей и стало краеугольным камнем Печати. Камень Грани — лишь физический сосуд для этой невообразимой жертвы и их объединенной Воли. Их Сила, их Жизнь, их Боль влились в Камень. Печать легла на Гнездо Гнева. Уснуло Оно. Надолго.

Елисей умолк, вытирая пот со лба, его глаза в свете лучины были темными безднами:

— Капище на холме — не просто место силы. Это Сторожевая Башня. Там стоял Камень Грани. Печать работала, пока люди помнили. Пока чтили место. Пока жрецы у Камня поддерживали связь с жертвой, подпитывая Волю жреца и Ведающего своей верой и страхом. Забвение — вот что начало разрушать ее. Ваши церкви, они не заменили древний ужас, они его вытеснили, объявив сказкой. Ваш завод — он вбил клин Стали прямо в Сердце Печати. Просверлил дыру в двери темницы. И теперь Голод. Он чувствует слабину. Он тянется к свету. К теплу. К жизни.

Пока не пришли ваши с крестами да заводами.

Трагедия Ратибора — не миф, а предупреждение (летопись и предания)

Алексий нашел упоминание в одной из тетрадей Елисея, переписанное из более древнего источника:

«А был князь Ратибор. Славен, могуч, но враги теснили. Отчаялся. Пошел не к предкам, не к Роду, а на холм запретный. К Камню. И в ночь грозовую, когда Перун бушевал, призвал он Громовержца. Не молитвой — Копьем Жертвенным, что хранилось у Камня как ключ. Предложил сделку: Победа — в обмен на Служение. Не духу предков, а Силе Стали, Мощи Непоколебимой. Перун, чья воля была в Камне, ответил. Дал Ратибору силу сокрушать врагов, как молния сокрушает дуб. Копье князя пылало грозовым светом, враги бежали в ужасе...»

«...Победа пришла. Но какой ценой? Сила Перуна — не для смертных. Она холодна, бездушна, требовательна. Ратибор возжелал большего. Кузни хотел строить, чтобы ковать оружие несокрушимое. Мечи, что сами убивают. Доспехи, что не берут стрелы. Но Голос из Копья требовал жертв. Сначала пленных. Потом — своих. Князь заржавел душой, как невычищенный клинок. Стал жесток, подозрителен. Боялся тени своей...»

«...И Перун, или то, что в Камне говорило его именем, предало его...» — тихо добавил Алексий, глядя на рисунок копья в тетради — простого, но с навершием в виде стилизованной молнии, вписанной в круг.

— Предало, — подтвердил Елисей.

Священник продолжил читать: «Когда Ратибор осмелился усомниться, захотел сбросить ярмо, Голос умолк. Сила ушла из Копья. Враги, скрывавшиеся в лесах, напали. Князя убили его же воины, подкупленные золотом и страхом. А тело его, говорят, не предали земле. Заковали в первую сталь, выплавленную по велению Голоса. И замуровали в основание первой домны, что начали строить на месте древнего капища. Чтобы жертвенная мощь князя питала кузню, чтобы она стала не просто кузницей, а новым идолом Перуна. Первым звеном в цепи, что должна была сдержать Гнев железом. Но ослабила ли она Печать Камня Грани? Или стала ее частью? Кто знает...»

Камень Грани — сердце печати и источник беды. Синтез знаний

Андрей собрал все нити:

— Языческое требище «Сынов Ратибора», про которую местный телеканал болтал почти сутки... Они не просто «будили предков». Они использовали символы, связанные с Ратибором и его копьем. Искали источник Силы. Но они копали рядом с Камнем Грани или там, где он был когда-то! Их ритуал был как удар молотком по-старому, ржавому замку. Они не пробудили Велеса или Перуна — они повредили древнюю печать, скованную из их Сил! Выпустили часть того Гнева, что дремал под ней. И Оно. Оно будит остатки их сущностей, искаженные веками заточения и соседством с Гневом. Велес — не Хозяин Леса, а что-то одичалое, слитое с гнилью болот. Перун — не Громовержец, а холодная, бездушная мощь завода, требующая порядка любой ценой и жертв. А Камень Грани. Что с ним?

Елисей встал, подошел к сундуку, с трудом поднял тяжелую крышку. Внутри, на бархатной тряпице, лежал обломок камня. Небольшой, умещающийся в ладони. Черный,

с рваными кроваво-красными прожилками. Он казался теплым даже на расстоянии. И едва уловимо вибрировал.

— Это все, что осталось, — прошептал старик. — Когда завод строили, когда церковь ломали, Камень... раскололи. Большую часть куда-то увезли. Сказали — для исследований. Не вернулась. А этот осколок дед мой подобрал ночью, после взрыва на холме. Хранил. Говорил: «Пока осколок цел, и печать не пала до конца». — Елисей протянул осколок Андрею. — Держите. Мне он покоя не дает. Чувствую, как Гнев под землей к нему тянется, как к щели в двери темницы.

Андрей взял камень. Тепло было живым, пульсирующим. В пальцах заныла старая боль от музейного ножа. В ушах усилился гул земли. Вдруг на миг перед его внутренним взором вспыхнуло видение: не черная бездна Гнева, а две фигуры, слитые в последнем усилии, — жрец в доспехах, охваченный чистым белым пламенем, и ведающий в звериных шкурах, с глазами, полными боли и решимости, пока священный зверь впивался ему в глотку. Их крики — один яростный, другой похожий на стон земли — сливались в единый аккорд жертвоприношения. И в центре — формирующийся Камень, вобравший в себя и пламя, и кровь, и последний вздох.

— Их жертва, — выдохнул Андрей, роняя осколок на стол. Камень глухо стукнул, и красные прожилки на миг вспыхнули тусклым светом. — Она и есть Печать. Не просто камень. Память. Боль. Воля. Чтобы зашить Грань... — Андрей дрожащим голосом осознания с трудом выговаривал слова, глядя на осколок, лежащий на столе, его красные прожилки слабо мерцали в такт гулу, доносящемуся теперь явственнее даже здесь, нам нужно не просто найти и собрать осколки воедино. Нужно восстановить Печать. А для этого, — он посмотрел на Алексия, потом на Елисея, в его глазах были ужас и понимание, — нужна новая Жертва. Такая же абсолютная. Два существа, добровольно уничтожившие себя, чтобы их Воля и Сила слились воедино и запечатали Бездну. Новый Жрец. Новый Ведающий.

Тишина в горнице Елисея стала гнетущей, физически давящей. Гул под ногами усилился, заставив дребезжать стакан на столе. Тень от деревянного идольца на стене дернулась неестественно резко. Знание, добытое из пыли веков, легло на плечи невыносимой тяжестью. Елисей побледнел, как смерть.

— Оно знает, что вы коснулись Памяти, — прошептал он. — Оно знает, что вы поняли.

Корни Чанска уходили в бездну древнего ужаса, а единственный ключ к спасению, возможно, требовал цены, которую никто не готов был заплатить. И под ногами сквозь толщу земли неумолимо нарастал гул пробуждающегося Гнева.

Осколки жизни: Сергей

Воздух в подвале краеведческого музея, где они только что пережили атаку навьих тварей, все еще звенел, пах гарью, озоном и пылью времени. Отец Алексий, бледный, но собранный, собирал разбросанные бумаги. Андрей стоял у окна, сжимая в кармане теплый, пульсирующий осколок Камня Грани, подаренный Елисеем. Его взгляд упирался в мрачные очертания комбината, над которыми клубился неестественно черный дым.

— Нам нужен свидетель, — глухо проговорил Андрей, не отрывая взгляда от завода. — Не из книг. Тот, кто видел обе стороны. И выжил. Я имею в виду Сергея Петровича, сторожа. Того, что с завода.

Алексий кивнул, перекрестившись.

— Да. Он видел тварь в ту ночь. И, судя по его словам, что-то еще. Но где он? После того инцидента, когда «завод заговорил», его не видели.

— Знаю, где искать, — Андрей повернулся. В его глазах горела воля к действию, смешанная с усталостью. — Старое бомбоубежище. На самой окраине, у промзоны. Еще с войны. Там иногда ночуют те, кому некуда идти. Иван Петрович как-то упоминал, — Андрей задумался на секунду. — Сергей туда приносил выпивку, когда жена гнала из дома.

Дорога к промзоне была пустынной и зловещей. Редкие фонари мигали, будто на последнем издыхании. Воздух был вязким, пропитанным запахом гари с завода и сладковатой гнилью, доносящейся со стороны леса. Тени казались слишком густыми, слишком объемными, слишком живыми. Каждый шорох — шелест бумаги, скрип ветки — заставлял вздрагивать. Гул земли под ногами был постоянным навязчивым аккомпанементом.

Бомбоубежище нашли по едва заметной тропинке, ведущей к заросшему бурьяном холму с массивной, ржавой дверью, почти сливавшейся с землей. Контур двери сочился в ночь тусклым желтым светом, и тянуло запахом сырости, дешевого самогона и страха.

Андрей постучал костяшками пальцев по холодному металлу.

— Сергей Петрович? Это Андрей Соколов. Из музея. И отец Алексий. Можно войти?

Тишина. Потом — шарканье шагов, цепкий звук отодвигаемого засова. Дверь скрипнула, открывшись на несколько сантиметров. В щели мелькнуло лицо — изможденное, серое, с запавшими, лихорадочно блестящими глазами и недельной щетиной. Сергей Малышев выглядел на двадцать лет старше, чем в ту ночь на заводе. Его рука, державшая дверь, заметно дрожала.

— Чего надо? — голос был хриплым, как наждак. — Отстаньте. Я... я... я ничего не видел. Совсем.

— Мы знаем, что видели, Сергей Петрович, — мягко, но настойчиво сказал отец Алексий, делая шаг вперед. Его ряса и крест в полумраке выглядели необычно, но, возможно, обнадеживающе. — Знаем про тварь. И знаем, что было потом. Про, — глаза священника сверкнули, — голос.

Сергей замер, его взгляд метнулся от священника к Андрею и обратно. В них читалась борьба — жгучее желание выговориться и животный страх. Наконец он тяжело вздохнул, отступив вглубь.

— Заходите. Быстро.

Бункер был крошечным — бетонная коробка с нарами, столиком и печуркой-буржуйкой. На столе горела керосинка, рядом — пустая бутылка из-под водки и почти полная — с мутной жидкостью самогона. Воздух был спертым. По стенам висели обереги, стены изрисованы углем и сажей: спирали, перечеркнутые молнией, кресты в кругах. На полу у входа — рассыпанная соль. На нарах лежала кувалда, обмотанная колючей проволокой.

Сергей опустился на табурет, судорожно потирая лицо руками. Дрожь не проходила.

— Сергей Петрович, — осторожно начал отец Алексий, присаживаясь на край нар напротив. Его голос в тесном пространстве звучал тихо, но четко. — Расскажите. Про ту ночь. Про... — батюшка запнулся, ища слова, — то, что вы увидели в цеху.

Андрей молча прислонился к холодной бетонной стене, его взгляд скользнул по примитивным оберегам, потом вернулся к лицу сторожа. Ожидание повисло в воздухе, как вездесущая заводская гарь.

Сергей вздрогнул, словно от толчка. Он поднял голову, его глаза, воспаленные и влажные, уставились на священника.

— Видели? Да, видели, — он засмеялся коротко, истерично, без радости. Звук был похож на лай запертой собаки. — Лохматое, рогатое, клыкастое. Смертью пахло. Леший, что ли? Бабайка? Из болот полезло на завод! Оно. Оно меня чуяло. Чуяло страх. Шло прямо, — Сергей замолчал, сглотнув ком в горле, пальцы впились в колени так, что побелели суставы фаланг. — А потом. Свет. Искры. Кабель... Этот проклятый кабель, оголенный, как змея живая, в него впился. И, — Сергей широко раскрыл глаза, глядя куда-то поверх голов гостей, в ужасное прошлое, — завизжало оно. Затряслось. Не по-людски. И рассыпалось. Не в труху. В дым. Черный, вонючий дым. Горелой шерстью да падалью воняло. И шахта. Шахта вентиляционная его всосала. Шшшлюп! Как будто завод проглотил. Зевнул и проглотил!

Он схватил бутылку с самогоном, отхлебнул глубоко, морщась. Кашель сотряс его тело.

— Думал, конец. Ан нет. Только начало, — Сергей поставил бутылку, его пальцы белели от напряжения. — Как выбрался на улицу, гул начался. Не сверху. Снизу. Из-под ног. Из самых кишок завода. И голос, — он замолчал, прислушиваясь к чему-то внутри себя. — Не слышится ушами. В голове. Как стальной гул со словами. Холодный. Четкий. Без чувств.

— Что он говорил? — тихо спросил Андрей.

— Говорил, — Сергей зажмурился, пытаясь воспроизвести. — «Угроза устранена. Целостность объекта восстановлена. Служитель слаб. Требуется новый ресурс. Предлагается интеграция. Сила. Порядок. Защита от Хаоса. В обмен на служение. Прими Волю Стали». — Он открыл глаза, в них был ужас. — Понимаете? Оно, ну то есть завод. Оно мне силу предлагало! Чтоб я. Чтоб я стал его придатком! Стражем! Чтобы тварей таких жечь! Или... Или еще чего!

— Вы боролись, — констатировал отец Алексий. Это не было вопросом.

— Боролся! — Сергей стукнул кулаком по столу, бутылка подпрыгнула. — Как черт! В голове гул стоит, словно там трансформатор взвывший. Тянет. Сулит: «Не будешь бояться. Не будешь слабым. Не будешь пьяницей», — голос его сорвался, — а я ведь слабый. Пропащий. Жена ушла. Работа — сторожить руины. Только выпивка и держит. А тут — сила. Порядок. Как у станка раньше. Четко. Без дури, — он снова схватился за бутылку, но не пил, просто сжимал, как якорь. — Но это же — смерть! Не моя смерть. Другую смерть. Внутри. Все живое. Все чувство. Заменит на шестеренки да провода? Я, я не могу. Не хочу! Но голос — он не уходит. Тише стал, но здесь! — он ткнул пальцем в висок. — Шепчет. Всегда. Особенно когда, — он кивнул на пустую бутылку, — особенно когда трезвею. Вот и прячусь тут. Соль сыплю. Цепи вешаю — авось замкнет его ток. Пью, чтобы заглушить. Чтобы не слышать этот стальной шепот. Не чувствовать, как он тянет обратно. На завод. К турбинам. Где оно сильнее всего.

Он замолчал, тяжело дыша. В бункере было слышно, как капает конденсат со стен и далеко, со стороны завода, доносится приглушенный грохот — то ли взрыв, то ли обвал.

— Сергей Петрович, — осторожно начал Андрей, — вы знаете, что происходит? Что это за силы?

— Знаю, что город кончается, — горько выдохнул Сергей. — Знаю, что одна тварь хочет все в глину превратить, а другая... Другая в роботов. А я, я мечусь между. Как таракан под сапогом. — Он посмотрел на них, и в его взгляде вдруг мелькнул проблеск былой сметливости слесаря. — Вы, — он дернул подбородком в сторону собеседников, — вы против них? Ищете, как остановить?

— Ищем, — твердо сказал отец Алексий. — Но нам нужна помощь. Информация. Любая.

Сергей медленно кивнул. Он порылся в кармане засаленной телогрейки, достал смятый, промасленный листок бумаги — схему заводских коммуникаций. На ней дрожащей рукой был обведен участок в районе старого литейного цеха и подписан: «Камень. Сердце. Гул».

— После того голоса, — прошептал он, протягивая схему Андрею, — я-я-я, — Сергей начал немного заикаться, — как будто чувствовал завод. Трубы. Фундаменты. И вот тут, — он ткнул грязным пальцем в обведенную зону, — самое пекло. Самый сильный гул. И холод. Ледяной. Как будто там двигатель ада стоит. Или сердце этого Стального Бога. Туда тварь лезть не рискнула. И голос. Он оттуда сильнее всего. — Сергей содрогнулся. — Может, вам это поможет. А мне, — он потянулся к бутылке, его рука снова задрожала, — мне надо заглушить шипящее бормотанье в голове. Хотя бы на время.

Андрей взял схему. Бумага была теплой от прикосновения Сергея и едва уловимо вибрировала. Карта к эпицентру беды.

— Спасибо, Сергей Петрович, — Андрей встретился с ним взглядом. — Боритесь.

Сергей лишь горько усмехнулся в ответ, уже наливая самогон в граненый стакан. Его глаза снова потухли, уйдя в себя, в борьбу с внутренним демоном стали и обещаниями ложной силы. Он был живым осколком Чанска, треснувшим под давлением древнего ужаса, балансирующим на краю между жертвой, предателем и, возможно, последним отчаянным союзником. Его судьба висела на волоске, как и судьба города.

Они вышли из бункера в сумерки. Воздух снаружи показался ледяным после спертой атмосферы убежища. За спиной щелкнул тяжелый засов. Андрей крепче сжал в руке теплую, пульсирующую схему — дорогу в самое сердце тьмы Чанского металлургического комбината.

ЧАСТЬ II: ПОИСК КЛЮЧЕЙ

ГЛАВА 3: ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ. ЛЕС СТАЛЬНЫХ КЛЫКОВ

Воздух в церкви Святителя Николая был густым, сплетенным из дыма костров беженцев, воска горящих свечей, страха и терпкого ладана. Толстые стены храма превратились в бастион: окна заложены мешками с песком, у входов громоздились баррикады из скамеек. Во дворе теснились палатки, отражая тревожный свет костров на бледные, изможденные лица. Алексий, молодой священник, чьи виски уже тронула седина от непосильных забот, стоял перед алтарем. Его глаза, запавшие от бессонницы, горели фанатичным огнем веры. Он резко осенял кадилом группу прихожан, сжимавших ведра со святой водой, тряпки и самодельные щиты.

— ...И силою Честнаго и Животворящаго Креста Господня! Огради нас, Владыко! Не попусти твари бесовской осквернить святое место сие! Каждую щель! Каждый угол! Освятить! Воду святую — на стены! На ворота! Не жалеть! — его хриплый голос, сорванный постоянными молитвами и приказами, рвал сумрак храма, дробимый неровным светом лампад.

Он нервно обернулся к Семену, пожилому прихожанину, который пытался успокоить плачущего ребенка в углу.

— Семен! Где новые связки стрел? И скажи Марье — ее группа с кипятком слишком медлит! Каждая минута — на вес жизни!

Семен, кивнув, осторожно передал ребенка матери.

— Сейчас, батюшка, сейчас. Стрелы несут. Марья говорит, котелки не держат жар.

Его слова потонули в грохоте, донесшемся снаружи. В тяжелые дубовые ворота били с яростью, сотрясая засовы. Хриплые, злые голоса резали вечернюю тишину: «Открывай, поп! Отдавай святыню Велесову! Вы прогневали старых богов своими стенами! Они пришли! И только Велес укажет путь! Открывай, или сожжем!

Алексий сжал кулаки, лицо его исказили гнев и отчаяние.

— Опять они! Фанатики слепые! Не видят, что творят! Семен! К воротам! Спокойно! Попытайся вразумить! Христа ради! — бросил он и стремительно вышел во двор, за ним устремились несколько мужчин с дубинами. Семен засеменил к воротам.

Во дворе беженцы жались к стенам храма и палаткам, словно пытаясь раствориться в камне. Детский плач сменился тихим всхлипыванием. Над лесом, теснившим церковь со всех сторон, стлался холодный, неестественно густой туман. Воздух звенел от напряжения, как натянутая струна.

В ворота ломилась группа человек в пять-семь. Одежда — грубая кожа и мех, испачканная землей и чем-то темным. Лица ожесточенные, в глазах — смесь фанатизма, страха и ненависти. Но дело было не в одежде. Их движения были резкими, порывистыми, а глаза, горящие фанатичным огнем, были остекленевшими и пустыми. Казалось, ими двигала не собственная воля, а какая-то внешняя сила. Один из них, молодой парень, дергал головой, и по его щеке пробегала нервная судорога. Они не просто верили — ими что-то управляло, и это «что-то» было лишено всякого страха и рациональности. «Велесовцы». Они били кулаками и древками топоров в дубовые створы. Сквозь щель Семен пытался достучаться до разума: «Уйдите, люди! Здесь нет вашей святыни! Здесь убежище для всех страждущих! Впустим вас, но оставьте злобу! Помолимся вместе...»

Главный из них, мужчина со шрамом через глаз и вороньими перьями на плечах, плюнул сквозь щель почти в ноги подошедшему Алексию:

— Молитесь своему немощному Богу! Они не слышат! Лес проснулся! Стальные Клыки точат о камни! Отдайте Камень Громовержца, что под алтарем спрятан! Он наш! Он защитит истинно верных!

Алексий встал перед Семеном, его голос стал ледяным:

— Под алтарем — мощи святого Трифона. Никакого вашего камня нет! Вы ведете тьму за собой, своим безумием! Ваш крик — как колокольчик для этих тварей! Умолкните!

— Тварей навлекли вы, своими стенами да крестами! Отгораживаетесь от Матери-Земли! Отдайте Камень! Сила его нужна, чтобы прогнать Железных Псов! Лес проснулся, и он очистит землю от вашей скверны! Он поможет нам! — проревел велесовец.

И в этот момент из тумана у дальней стены, где защита была слабее — в углу, заваленном не до конца укрепленными бревнами, — раздался короткий, пронзительный, обрывающийся вопль.

Все замерли. Даже велесовцы замолчали на миг.

Тишину разорвал истошный крик:

— Машка! Машк-а-а! Где моя девочка?! — и тут же — влажный, чавкающий звук, хруст кости, приглушенный всхлип.

Понимание ударило, как нож. Прямо за стеной церковного двора, в нескольких шагах от иллюзии безопасности, только что кого-то схватили. Убили.

Паника вспыхнула мгновенно. Беженцы бросились к дверям храма, сбивая друг друга, вопя от ужаса. Детский плач перешел в истерику.

Алексий стоял бледный, как саван, но его голос внезапно обрел страшную, металлическую силу, перекрывая хаос:

— К оружию! К стене! Ко мне! Свят, свят, свят Господь Саваоф! — Дрожащей рукой он перекрестил ту сторону стены, откуда донеслись жуткие звуки.

Велесовцы, воспользовавшись замешательством охраны у ворот и всеобщим ужасом, с диким ревом бросились на слабое место баррикады — ту самую зону у завала, рядом с которой только что была жертва. С яростью обреченных они растаскивали бревна, ломали плетень.

— Вернем святыню! Сила Велеса с нами! Прорвемся! Он послал своего зверя, чтобы выкурить вас из каменной норы! Пропустите его, братья! Дайте твари войти и очистить гнездо! — орал их предводитель.

Именно в миг, когда баррикада под их напором рухнула, создав опасную брешь, из клубящегося тумана за стеной метнулось нечто. Низкое, стремительное. Не тень, а сгусток хищной тьмы и ярости. Оно проскочило в полуразрушенный проем между ног велесовцев, сбив одного из них. Мелькание стальных, как бритвы, когтей. Блеск множества мелких, паучьих глаз во мгле. Сладковато-тошный запах падали и сырой земли. Тварь не стала атаковать группу — она рванула в глубь двора, к самому уязвимому скоплению людей — к толпе беженцев, жавшихся у дверей храма.

Хаос достиг апогея. Люди падали, вопили, топтали друг друга в слепой панике.

Алексий увидел это. Он бросился наперерез, высоко поднимая нательный крест. Но он был слишком далеко.

Семен оказался ближе. Старик, только что пытавшийся вразумить безумцев, увидел, как тварь, ловко обогнув костер, прыжком нацелилась на маленькую девочку, прижавшуюся к матери. Без тени раздумий, с криком, полным праведного гнева: «Не смей!», Семен шагнул прямо на пути чудовища.

Все произошло за мгновение. Мерзкий звук — точь-в-точь как ножницы, режущие мокрую кожу. Семен даже не вскрикнул. Он просто был — и его не стало. Тварь не задержалась ни на секунду — она пронеслась сквозь то место, где только что стоял старик, оставив после себя лишь кровавый веер брызг на беленой стене храма да обрывок грубой холщовой рубахи, медленно падающий на окровавленные камни. На земле осталась алая дорожка, ведущая в темноту за угол.

Наступила ледяная, оглушительная тишина. Прерванный крик матери. Шепот молитвы, оборвавшийся на полуслове. Даже велесовцы замерли у пролома, уставившись на кровавое пятно, где только что стоял живой человек. Их фанатизм на миг сменился животным ужасом перед абсолютной, бессмысленной жестокостью того, что они впустили.

Алексий стоял посреди двора, опустив руку с крестом. Он смотрел на пустое место, где исчез Семен. Потом его взгляд, медленный, требующий нечеловеческих усилий, перевелся на велесовцев у пролома. В его глазах не было больше ни гнева, ни отчаяния. Только пустота и лед. Голос, когда он наконец заговорил, был тихим, но режущим, как сталь.

— Довольны? — он обратился к велесовцев. — Ваша святыня...— Алексий сделал шаг к ним, и они невольно отпрянули, — только что сожрала старика, который пытался вас спасти от вашей же глупости. — Он указал на зияющий пролом в стене. — Залатайте эту дыру. Прямо сейчас. Камнем, деревом, чем угодно. Или следующей будет ваша кровь на этих камнях. — Священник оправил рясу и повернулся к прихожанам, его голос дрогнул, надламываясь. — А потом. Потом мы отпоем Семена. И всех, кто будет следующим. Молитесь. Крепите стены. Ночь только начинается.

Он пошел к тому месту, где погиб Семен. Наклонился, поднял окровавленный лоскут рубахи. Перекрестился. И начал читать отходную. Его голос был едва слышным хриплым шепотом, терявшимся в нарастающем вое из леса и всхлипах женщин.

Велесовцы, потупившись, молча принялись заваливать пролом обломками баррикады и камнями. Первая кровь пролита. Защита прорвана. Иллюзии — развеяны. Лес Стальных Клыков показал свои клыки прямо у алтаря.

Тишина, наступившая после ухода твари, была тяжелее любого гула. Ее нарушали лишь прерывистый шепот молитвы отца Алексия да сдавленные рыдания у дверей храма. Велесовцы, бледные и подавленные, молча заваливали пролом развороченными камнями. Их фанатичный пыл был смыт кровью Семена.

Один из них, парень лет двадцати, которого в своей пастве звали Соколом, прислонился к холодной стене, пряча дрожащие руки под потрепанный кожух. В ушах еще стоял оглушительный рев: «Вернем святыню! Сила Велеса с нами!» Его собственный рев. Он был в первых рядах, рвал плетень, чувствуя прилив дикой, пьянящей силы. Это было похоже на лучший в жизни самогон — жгучий, разливающийся по жилам огнем, стирающий страх, сомнения, саму память о жалкой реальности умирающего Чанска. В этом опьянении он видел не уродливую, шипящую тварь, а смутный образ Хозяина Леса, могучего и справедливого, идущего сокрушать каменные клетки, в которые люди сами себя заключили.

А потом... Потом была лишь щель в баррикаде. Мелькание чего-то низкого и стремительного. И алая дорожка на камнях вместо старика.

И тут опьянение схлынуло.

Словно пелена спала с глаз. Гул в голове сменился оглушительной, позорной тишиной. Сокол увидел не символ освобождения, а кошмарную помесь паука и крысы, воняющую падалью. Услышал не благословение Леса, а чавкающий звук и хруст. Понял, что они, велесовцы, были не воинством возрождения, а приманкой, живым тараном, расчистившим путь для этого... этого Голода.

Его стошнило.

Он оттолкнулся от стены, сполз по груде камней в самый темный угол церковного двора, за бочку с дождевой водой, и его вырвало скудным содержимым пустого желудка. Слезы жгли глаза, они текли, смешиваясь с потом и грязью на лице. «Что мы наделали?..» — эта мысль, первая по-настоящему его собственная за последние недели, вонзилась в мозг, как раскаленная спица. Он вспомнил глаза отца Алексия — не гневные, а пустые, ледяные. «Довольны?» Он зажал голову руками, пытаясь загнать обратно нахлынувшие образы. Проповеди Волка о «силе предков». Восторг от находки таблички. Первый ритуал у карьера, когда земля застонала. Это был не зов предков. Это был стон раненого зверя, на которого они наткнулись и которого ткнули палкой. И теперь зверь вырвался. Сила, которую он чувствовал, была не силой. Она была ядом. Обещанием могущества в обмен на душу. И он, Сокол, проглотил его с восторгом глупца.

Из кармана он вытащил маленький, грубо вырезанный из дерева знак Велеса — тот самый, что он когда-то с гордостью вырезал по рисунку из Интернета. Теперь он казался ему не символом веры, а ключом, отпирающим дверь в безумие. Резким, отчаянным движением он швырнул его в темноту, в сторону леса. Деревяшка бесшумно исчезла в тумане. Он поднял голову, вытирая лицо рукавом. Со стороны пролома доносились приглушенные голоса его бывших братьев — уже без прежней ярости, с нотками страха и неуверенности. Они все еще были в плену морока. А он... Он очнулся. И это прозрение было страшнее любого кошмара. Он был больше не велесовцем. Он был просто Артемом, испуганным парнем из умирающего города, который своими руками помог выпустить джинна из бутылки. И теперь ему предстояло жить с этим знанием. Или не жить вовсе. Он украдкой посмотрел на освещен-

ный дверной проем храма, за которым виднелась спина молящегося священника. Может, там искали спасения не просто трусливые обыватели, а те, кто понял истинную природу бури? Сейчас эта мысль уже не вызывала в нем ненависти, лишь горькую, щемящую надежду.

Завод просыпается

Адский гул ЧМК был теперь не просто фоном — он бился в висках, в такт пульсу, вгоняя ледяные иглы страха в самое нутро. Андрей стоял у забора промзоны, в тени полуразрушенного склада. Перед ним маячили корпуса завода — не мертвые руины, а спящий зверь, чье пробуждение ощущалось кожей. Воздух вибрировал от низкочастотного рокота, идущего из глубин. Ржавые трубы дышали едким паром, а где-то в чреве цехов слышался металлический скрежет, словно огромные челюсти перемалывали камень.

Рядом с Андреем, съежившись и нервно куря, стоял Вадим Крутов. Его лицо под капюшоном было серым, глаза бегали, цепляясь за каждую тень. После встречи с Лешим и Водяным он сбежал из города, но звонок Андрея, полный отчаяния и странной убежденности, заставил его вернуться. Не ради себя — ради жены и сына, запершихся в их квартире с заколоченными окнами. И ради искупления своего бегства.

— Ты уверен, что знаешь путь? — хрипло спросил Вадим, бросая окурок. Его пальцы дрожали.

— Уверен, — Андрей развернул грязную, промасленную схему Сергея. На ней дрожащей рукой был обведен участок в районе старого литейного цеха и подписан: «Камень. Сердце. Гул». Рядом — крестик и стрелка, ведущая к почти незаметному обозначению: «Старый вент. тоннель. Завал частичный. Вход у ТЭЦ-2». — Сергей говорил, что там тише. Меньше их внимания. И ближе к Сердцу.

«Их», — Крутов сглотнул. Он знал, кого имел в виду Андрей. Не только лесную нечисть, но и то, что родилось внутри завода.

Дорога к заброшенной ТЭЦ-2 была кошмаром. Пустынные улицы промзоны казались вымершими, но чувство наблюдения не отпускало ни на секунду. Тени от ржавых эстакад ложились слишком длинными и острыми. Из разбитых окон цехов доносилось не просто эхо шагов — звучало подвывание, похожее на скрежет металла по металлу, смешанный со стоном. В лужах масла и дождевой воды Андрей заметил странные отражения — не их собственные, а искаженные, с неестественно вытянутыми конечностями и мерцающими точками вместо глаз. Они исчезали, стоило приглядеться.

Вход в тоннель нашли у самого основания огромной, потрескавшейся трубы ТЭЦ. Заваленная мусором и поросшая бурьяном решетка была частично выломана — давно, судя по ржавчине на срезах. За ней зияла чернота, от которой веяло затхлостью, маслом и чем-то... теплым, живым. Гул здесь был ощутим физически, вибрировал в костях.

— Свет, — прошептал Андрей, включая мощный фонарь. Луч врезался в темноту, выхватывая узкий бетонный коридор, заваленный обломками кирпича и покрытый толстым слоем пыли, перемешанной с маслянистой слизью. На стенах — ржавые трубы, некоторые были неестественно изогнуты, будто сдавлены гигантской рукой. Воздух гудел, как в улье гигантских механических пчел.

Они шли медленно, пригнувшись, стараясь не шуметь. Каждый скрип подошвы по бетону отдавался эхом в гудящей темноте. Пыль висела в луче фонаря, танцуя под вибрацией. Андрей вел по схеме, отмечая развилки, помеченные Сергеем как «опасные» или «завалены». Один такой завал — обрушившаяся плита перекрытия — им при-

шлось обползать, пробираясь через узкую щель, заваленную острым битым бетоном. Руки Вадима были исцарапаны в кровь, но он молчал, стиснув зубы.

Внезапно фонарь Андрея выхватил из мрака картину, заставившую обоих остановиться как вкопанных. На полу тоннеля, прямо перед развилкой, лежал скелет. Человеческий. Но не просто кости. Они были неестественно черными, как будто прокаленными, и покрытыми тонким, блестящим слоем застывшего металла — свинца или олова. Череп был вдавлен, как будто раздавлен прессом. Вокруг валялись клочья спецовки, спекшиеся с металлическими обломками. И пахло не тленом, а горелой изоляцией и перегретым маслом.

— Господи, — прошептал Вадим, крепче сжимая увесистую монтировку, взятую у входа.

— Не трогай, — резко сказал Андрей. Он почувствовал знакомое покалывание в руке, где лежал осколок Камня Грани. Оно усиливалось, направляя его взгляд на правую ветку развилки. Оттуда несло сильнейшим холодом и тишиной. Относительной. Гул здесь был тише, заглушенный чем-то более мощным и сосредоточенным. — Туда. К Сердцу.

Свернули. Тоннель сузился, стены стали влажными, покрытыми инеем, странно контрастирующим с общим теплом завода. Через несколько десятков метров он уперся в тяжелую металлическую дверь с выцветшей надписью: «А-Блок. Архив. Доступ 3-Б». Замок сиротливой сережкой висел на одном ухе двери, вторая проушина была срезана, дверь была приоткрыта.

Административный корпус встретил их ледяным безмолвием и хаосом. Коридор был освещен лишь аварийными лампами, дававшими жутковатый зеленоватый свет. Кабинеты по обе стороны зияли пустыми дверными проемами. Пол усыпан бумагами, обломками мебели, осколками стекла. Стены были испещрены глубокими царапинами — не человеческими, а словно оставленными огромными когтями или гидравлическими клещами. Бурые, почти черные пятна засохшей жидкости (крови? масла?) уродливо расползались по линолеуму и стенам. Воздух пах пылью, холодом, металлом и сладковатой гнилью.

— Что здесь случилось? — прошептал Вадим, озираясь. Его дыхание вырывалось клубами пара.

— Борьба. Или — чистка, — мрачно предположил Андрей, направляя луч фонаря в ближайший кабинет. Сейф был вскрыт с чудовищной силой, дверь вырвана. Шкафы опрокинуты. Среди разгрома Андрей заметил несколько относительно целых картонных коробок с надписями «Проект „Узник“. Отчеты. Сов. секретно».

Сердце Андрея учащенно забилось. Он подошел, отодвинув обломок стула. Вадим остался у двери, нервно поглядывая в темный коридор, монтировка наготове.

Андрей открыл первую папку. Пожелтевшие листы машинописного текста, штампы «Совершенно секретно», схемы фундаментов с красными пометками. Он начал читать, и с каждой строчкой ледяная яма разверзалась у него в груди глубже.

Отчет № 7 по проекту «Узник». 15.10.1953

...Объект «Камень Грани», локализованный под фундаментом ДП-3, демонстрирует стабильную, но мощную энергоэмиссию, не поддающуюся стандартным измерениям. Попытки прямого контакта (операция «Касание») привели к инцидентам с персоналом (см. прил. 4: Психофизиологические отклонения, летальный исход у трех из пяти испытуемых). Вывод: объект обладает выраженным негативным пси-воздействием...

Отчет № 12. 03.05.1954

...Эксперименты по канализации энергии Объекта (операция «Ручеек») дали неоднозначные результаты. При подключении к системе охлаждения ДП-3 наблюдался кратковременный рост КПД плавки на 27 %, однако сопровождавшийся необъяснимыми флуктуациями в электросети и случаями спонтанной реконфигурации металлоконструкций в цеху № 4 *(прил. 7: Фотофиксация)*. В зонах подключения отмечено появление аномальных энергетических сгустков, до сих пор не имеющих названия. Существа из парадокса — плоть, прошитая сталью, воля, лишенная души. В лабораторных журналах мы пока обозначаем их как «Механизмы стихийные», но это название не передает всей их чудовищности. Персонал испытывает тревожность, сообщает о «шепоте металла» и видениях...

Служебная записка нач. спец. лаборатории № 8 тов. Петрову. 12.11.1954. Лично.

...Данные «Узника» представляют беспрецедентную ценность. Энергия Объекта — ключ к прорыву в материаловедении, возможно, в энергетике. Но контроль ускользает. «Техноформы» становятся агрессивнее. Инцидент в цеху № 4 (жертвы) требует немедленного усиления мер изоляции и утилизации свидетелей. Предлагаю ускорить разработку управляющего контура (операция «Оковы»). Цель — не просто использовать энергию, а подчинить саму Сущность, генерирующую ее. Сделать ее сердцем нового завода, его Защитником и Источником Мощи. Ради цели все средства оправданны. Подавление аномалии силой аномалии — единственный путь...

Отчет № 15-У по проекту «Узник». 30.08.1955

...Эксперименты по стабилизации «Техноформ» показали, что для поддержания их структурной целостности и выполнения базовых функций требуется постоянная подпитка органическим компонентом. На начальном этапе использовались лабораторные животные, затем — биоматериал из городского морга (акт № 14-У). Эффективность возросла на порядок при использовании биоматериала приговоренных к ВМН (см. операция «Рециклинг»). Последний инцидент в цеху № 7 показал, что зрелые «Техноформы» проявляют признаки автономии и способны к самостоятельному сбору и ассимиляции ресурса. Рекомендуется ужесточить протоколы изоляции.

Приложение к отчету № 22 (операция «Оковы»). Фото. 1957 г.

В отчете после текста была прикреплена размытая черно-белая фотография: на ней гигантская, покрытая руническими символами и проводами металлическая конструкция, оплетающая в полумраке нечто напоминающее антрацитовый, трещиноватый валун с прожилками — «Осколок Камня Грани»? К конструкции подключены шланги и кабели, уходящие в пол. Рядом, для масштаба — силуэты людей в защитных костюмах, кажущиеся карликами.

Андрей лихорадочно листал страницы. Холодные, бесчеловечные отчеты. Описания жертв — рабочих, погибших при «контакте» или ставших нестабильными «носителями». Чертежи странных устройств, призванных «стабилизировать и направить энергию Объекта». Упоминания о «контролируемом высвобождении малых порций Гнева». Мысли пулеметной обоймой выстреливали в мозгу: «Для испытаний оружия? Все это не просто знало руководство — оно инициировало! Они копались в древней ране, тыкали палкой в спящий Гнев, пытаясь приручить его силу, и спровоцировали катастрофу! Операция „Оковы“. Они пытались сковать Гнев сталью, сделать его частью завода. И что они создали вместо Перуна?»

— Андрей? — голос Вадима был прерывистым, полным ужаса. — Слышишь?

Андрей оторвался от кошмарных документов. Он услышал. Сначала — тихий, маслянистый шорох, словно что-то тяжелое и липкое ползло по линолеуму за дверью кабинета. Потом — металлический лязг, как будто тащили цепь. И запах. Резкий, едкий — смесь перегретого машинного масла и гниющего мяса.

Он вскочил, сунув самые важные документы за пазуху, схватил фонарь. Вадим стоял в дверях спиной к нему, монтировка дрожала в его руках. Луч фонаря выхватил из полумрака коридора чудовищный конструкт из плоти и железа. «Так вот какие вы — ТЕХНОМОРФЫ», — осознание было цепенеющим.

Механическое, лязгающее, оно наползало из бокового прохода. Неуклюжее, многосоставное. Основу составлял расплющенный, ржавый каркас погрузчика или небольшого крана. К нему были приварены, прикручены болтами и словно впаяны в расплавленный металл фрагменты человеческих тел. Одна рука, обугленная до кости, торчала из груды шестерен, сжимая и разжимая окровавленные пальцы. Голова, наполовину скрытая каской, наполовину наплывом застывшей стали, с открытым в беззвучном крике ртом, болталась на куске позвоночника, вплавленном в основную конструкцию. Из всех сочленений сочилось черное, густое масло, капая на пол и шипя. Вместо ног — несколько гидравлических домкратов, сгибающихся и разгибающихся с пневматическим шипением, передвигая чудовище вперед. В центре этой кошмарной скульптуры, на месте груди, пульсировало что-то напоминающее покрытый накипью механический насос, испускающий тусклое кроваво-красное свечение. От него отходили провода и трубки, впивающиеся в останки людей. Существо издавало звук — смесь скрежета металла, бульканья жидкости и хриплого, прерывистого стона.

— Назад! — закричал Андрей, отступая в кабинет. Но было поздно.

Техноморф издал пронзительный визг — звук разрываемого металла. Его «голова» повернулась, мертвые глаза уставились на людей. Оно рванулось вперед с неожиданной скоростью, гидравлика завыла. Из его «туловища» выстрелило что-то вроде гибкого шланга, заканчивающегося острым, вращающимся сверлом — словно щупальце из масла и ржавчины.

Вадим инстинктивно замахнулся монтировкой. Железо со скрежетом встретилось со сверлом, высекая сноп искр. Щупальце отдернулось, но тут же из тела техноморфа вырвалось другое — цепкая «рука» из сплющенных труб, пытающаяся схватить Вадима.

— Вадим! Дверь! — орал Андрей, хватая тяжелое металлическое пресс-папье со стола. Он швырнул его в светящийся «насос» на груди монстра. Пресс-папье со звоном отскочило, не причинив вреда, но отвлекло чудовище.

Вадим, воспользовавшись моментом, рванул дверь кабинета, пытаясь захлопнуть ее перед наступающим кошмаром. Техноморф уперся в дверь своей основной массой. Металл трещал под напором. Андрей мельком увидел, как другой техноморф начал методично, с гулким скрежетом, долбить стену рядом с дверной коробкой. Они не просто ломились внутрь — они планомерно уничтожали укрытие. Из щели просунулось щупальце-сверло, яростно вращаясь.

Андрей оглянулся в отчаянии. Окно! Зарешеченное. Но. Он подбежал, тряся решетку. Намертво. Ломика нет.

— Святая вода! — вдруг вспомнил он, и перед глазами всплыл образ отца Алексия. У него ее не было. Но был осколок Камня Грани! Он судорожно вытащил его из кармана. Камень был горячим, пульсация в нем совпадала с гулом завода и бие-

нием его собственного сердца. Андрей, не раздумывая, с силой ткнул раскаленным осколком в просунувшееся щупальце.

Раздался ухораздирающий визг — не механический, а почти животный. Щупальце дымилось, масло на нем вскипело. Оно дернулось и застыло. Дверь на мгновение захлопнулась. Вадим прислонился к ней спиной, тяжело дыша, лицо его было мокрым от пота и искаженным ужасом.

— Окно не выбить, — прохрипел Андрей. — Через коридор! Бежим!

Он распахнул дверь. Техноморф, отползший на пару метров, снова начал разворачиваться, его «насос» светился яростнее. Из соседних проходов доносились ответные скрежеты и шипения — к месту схватки подтягивались его сородичи.

Они побежали. Не назад по тоннелю, а в глубь корпуса, туда, куда вела стрелка на схеме Сергея — к Сердцу, к Гулу. За спиной нарастал грохот погони — тяжелые удары гидравлики по бетону, лязг металла, визг сверл. Техноморфы вываливались из боковых проходов, неуклюжие, но неумолимые. Одно существо, похожее на сросшиеся токарные станки с торчащими конечностями, преградило путь. Андрей и Вадим нырнули в первый попавшийся проем — в огромный, полуразрушенный цех.

Здесь Гул был всепоглощающим. Воздух дрожал. Высоченные потолки терялись в полумраке, освещенном лишь редкими аварийными лампами да зловещим багровым заревом, лившимся из огромных провалов в стене напротив. За провалами виднелось чудовищное пространство литейного цеха. Там, в центре, пылала доменная печь № 3 — не так, как в старые времена. Ее очертания казались размытыми, колеблющимися, как мираж. Из ее жерла не просто лился расплав — оно извергалось кроваво-красными сгустками, падавшими в гигантские ковши, которые двигались сами по себе, скрипя и стеная. Повсюду сновали, копошились, лезли по стенам и конструкциям техноморфы — десятки, сотни! Одни — размером с человека, слепленные из ключей, гаечных труб и окровавленных обрезков плоти. Другие — огромные, как небольшой экскаватор с башнями из редукторов и щупальцами из транспортерных лент. Воздух гудел от их движения, визга и того нечеловеческого стона, что исходил от каждого.

Но не они приковали взгляд Андрея. Над самой домной, в клубах раскаленного пара и дыма, висело ОНО. «Дух завода». Не Бог, не Перун.

Огромное, бесформенное скопление теней, света и... образов. Как в калейдоскопе кошмара мелькали лица — изможденные лица рабочих, застывшие в вечном крике боли и ужаса. Руки, тянущиеся из небытия. Искаженные черты инженеров в спецовках. Все это было переплетено, сплавлено с клубящимися тенями паровозов, летящими искрами сварки, силуэтами гигантских молотов и прессов. Сквозь эту мерцающую, стонущую массу проступали очертания фундаментов, труб, каркасов цехов — как скелет внутри раздувшегося, больного тела. В центре этого вихря страдания и металла пульсировало тусклое, холодное синее сияние — как искаженное, осквернённое подобие того жертвенного пламени, что видел Андрей в видении о создании Камня Грани. От всей этой сущности исходила не мощь, а чудовищная, холодная, механическая Воля. Воля к порядку, к движению, к бесконечному производству, где живое — лишь расходный материал, топливо, сырье. Воля, лишенная милосердия, сожаления, самой тени души. Это была не божественная сила, а квинтэссенция страха, боли и слепой веры в мощь стали, вырвавшаяся из-под контроля и обретшая уродливую псевдожизнь.

Андрей почувствовал, как эта Воля наваливается на его разум, как стотонный пресс. Не голос, а сам гул завода сформировался в его сознании в ледяные, безличные слова, лишенные не только милосердия, но и самой концепции зла:

ОБНАРУЖЕНЫ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫЕ БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: СЕКТОР А-7. УГРОЗА ЦЕЛОСТНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА. ЦЕЛЬ: ОПТИМИЗАЦИЯ. ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ. ОТКАЗ ПОВЛЕЧЕТ ДЕМОНТАЖ И ПЕРЕРАБОТКУ. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА («ЛЕС») ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЛОКАЛЬНОЙ СРЕДЫ В СТАНДАРТНУЮ ПРОМЫШЛЕННУЮ ЗОНУ.

В этот момент техноморфы, преследовавшие их, ворвались в цех. Визг моторов, тормозных колодок и гидравлики слился с общим адским хором завода. Они двинулись к Андрею и Вадиму, отрезая путь назад. Перед ними — пропасть литейного цеха и нависающий над ней кошмарный Эгрегор.

Вадим, сжав монтировку до хруста в костяшках, дико озирался. В его глазах читалось отчаяние перед безысходностью. Андрей сжал в кулаке горячий осколок Камня, глядя в пульсирующую синеву «сердца» «Духа завода». Он понял страшную правду: операция «Оковы» не просто провалилась. Она создала нового монстра. Завод не служил Перуну. Он стал его уродливой могилой и породил собственного техногенного демона, который теперь хотел проглотить весь город, переплавив его в чудовищный памятник безумию и стали.

Пути к отступлению не было. Кошмар окружал их. А на площади города, выяснилось позже, стены собора плакали черной смолой, и голос Велеса гремел, требуя отдать город плоти и глине.

Порождение завода — техноморф выполз на открытое пространство, и его «взгляд», состоящий из множества мерцающих сенсоров, медленно пополз по цеху. И остановился на них.

Сирена внутри головы Андрея взревела на максимальной громкости. Инстинкт кричал одно: «БЕГИ!»

— Вадим! Быстрее!

Чанские сталкеры рванули к дальней стене цеха, у которой по плану должен был быть люк. Обломок кровли скрывал полузаваленный проем аварийного люка. За ним зияла чернота, пахнущая сыростью и старым железом. Лаз был узким, едва ли проходимым для взрослого мужчины.

— Лезь первый! — скомандовал Андрей, подталкивая Вадима к отверстию.

Тот, не раздумывая, протиснулся внутрь, исчезнув в темноте. Андрей бросил последний взгляд на цех. Техноморф-надсмотрщик начал свое движение в их сторону. Его многоножье тело с мерзкой плавностью перебирало конечностями, с легкостью перешагивая через препятствия. От него отделились несколько меньших существ, устремившихся вперед, как псы на охоте.

Андрей нырнул в проем. Темнота поглотила его. Он оказался в узком бетонном тоннеле, таком низком, что приходилось почти ползти на корточках. Вадим в нескольких метрах впереди светил фонарем, его дыхание было частым и прерывистым.

— Дальше! Дальше! Не останавливайся! — крикнул Андрей, отползая от люка.

Они поползли, не разбирая направления, лишь бы подальше от того ада. Шум цеха быстро стих, сменившись оглушительной тишиной, нарушаемой только их собственным тяжелым дыханием и шорохом одежды по бетону. Гул, однако, никуда не делся. Он был тише, приглушенным, но ощущался всем телом — ровная, назойливая вибрация, идущая из самых основ. Проползли, казалось, вечность. Тоннель начал понемногу расширяться, потолок приподнялся, позволив им наконец выпрямиться. Спины ныли, руки и колени были содраны в кровь.

— Куда мы приползли? — хрипло спросил Вадим, прислоняясь к мокрой стене.

Андрей вытащил схему Сергея. Луч фонаря выхватил из мрака знакомые очертания. Они находились где-то в районе старых дренажных коллекторов, под самым сердцем завода. Та самая зона, что была помечена как «Сердце. Гул».

— Мы близко, — прошептал Андрей. — К эпицентру.

Он достал осколок Камня. Тот стал обжигающе горячим, и его пульсация стала резкой, частой, тревожной. Камень чувствовал что-то. Что-то родственное. Или что-то враждебное.

Тоннель вывел их в круглую бетонную камеру, похожую на резервуар или отстойник. Посередине уходила вниз огромная, покрытая ржавчиной труба, от которой исходил самый сильный гул. Воздух здесь был особенно тяжелым, насыщенным запахом меди и странным, сладковатым запахом, который Андрей помнил по музею — запах гнилого меда. Стены были не просто мокрыми — они сочились темной, маслянистой жидкостью. А в центре камеры, у основания трубы, лежало человеческое тело, вернее, то, что от него осталось, заставившее Андрея замереть на месте.

Оно было обезглавлено, а на месте шеи зияла аккуратная, будто хирургическая, рана. Голова стояла на полу поодаль, лицом к ним. Это был Сергей Малышев. Его глаза были широко открыты, и в них застыло не выражение ужаса, а нечто худшее — пустота, полное отсутствие какой-либо мысли или эмоции. Лицо было серым, восковым. И от всей его фигуры, от отсеченной головы исходило то самое леденящее безразличие, что витало в воздухе цеха.

Но самое жуткое было не это. Из отрубленной шеи вместо крови тянулись тонкие, похожие на провода, металлические нити. Они шевелились, извивались, словно живые, и уходили в бетонный пол, становясь частью общей паутины, что, как теперь видел Андрей, опутывала всю камеру.

ИНТЕГРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. РЕСУРС «СЕРГЕЙ МАЛЫШЕВ» ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАН. ФУНКЦИЯ: РЕТРАНСЛЯТОР. СИГНАЛ УСИЛЕН.

Смысловой импульс прокатился по камере, исходя, казалось, от самого тела сторожа. «Дух завода» использовал его. Использовал его страх, его слабость, его последнее пристанище. Сделал его антенной, частью своей растущей сети.

Вадим отвернулся, и его вырвало. Он, рыдая, опустился на колени, упираясь лбом в холодный бетон. Андрей же стоял, не в силах оторвать взгляд от головы Сергея. Это была не просто смерть. Это было окончательное, абсолютное поругание. Стирание души. И в этот миг он понял, с чем они столкнулись, насколько страшна эта сила. Велес, при всей своей дикости, оставлял душу. Он мог поглотить, исказить, но не превращал в шестеренку. А это... Это было небытие, облеченное в сталь.

Гул внезапно сменился. Из ровного рокота он перешел в нарастающий, яростный рев. Стены камеры задрожали. Осколок Камня в руке Андрея вспыхнул ослепительным алым светом, боль пронзила ладонь.

Из темноты тоннеля, откуда они пришли, донесся знакомый, ненавистный скрежет. Отправленный в погоню Техноморф-надсмотрщик, размером с крупного немецкого дога, нашел их. Его щупальца со сверлами и горелками показались в проеме, ощупывая пространство.

Бежать было некуда. Камера была тупиковой.

Вадим поднял голову. Слезы смешались с грязью на его лице, но в глазах, помимо ужаса, читалась отрешенная готовность принять бой. Он встал, снова сжимая свою монтировку.

— Ну что, браток, — хрипло сказал он, глядя на надвигающегося монстра. — Похоже, это наш последний рейс.

Андрей сжал раскаленный осколок Камня. Боль была невыносимой, но она была живой. Она была доказательством того, что он еще человек, что он еще чувствует. Он посмотрел на голову Сергея, на это воплощение бесчувственного порядка и понял, что лучше умереть, чувствуя боль, чем стать таким.

Он поднял фонарь, направляя луч прямо в оптические сенсоры чудовища.

— Не сдавайся, Вадим. Держись за свою боль. Держись за свой страх. Это единственное, что отличает нас от них.

Надсмотрщик с ревом ворвался в камеру, заполняя собой все пространство. Его щупальца метнулись к ним, сверла завыли, готовясь к работе.

И в этот самый миг, когда, казалось, уже не оставалось никакой надежды, Андрей полоснул себя по запястью Камнем. Кровь ударила в сенсоры, заливая налобье надсмотрщика.

Не масло. Не химикат. Кровь. Свежая, теплая, пахнущая жизнью.

Эффект был мгновенным и шокирующим. Техноморф взревел — на этот раз в нем звучала не ярость, а боль и замешательство. Там, где кровь попала на его металлические части, сталь начала дымиться, покрываться пузырями и ржаветь с невероятной скоростью. Органические фрагменты, вплетенные в его конструкцию, задергались в судорогах. Существо отпрянуло, его щупальца беспомощно затрепетали в воздухе.

Перед глазами историка встала фигура бабушки:

— Живая кровь, — ее голос прозвучал в оглушительном гуле, чистый и острый, как лезвие. — Единственное, чего не переварит эта железная падаль. То, что не вписывается в его проклятый порядок. Хаос жизни.

Она бросила взгляд на Андрея, на его окровавленную ладонь, сжимающую осколок.

— Не пора ли, внучек, вспомнить, кто ты? Не копатель мертвых костей, а страж живой памяти. Его Воля, — она кивнула на бьющегося в конвульсиях техноморфа, — построена на забытьи. На забвении жертвы, что создала Печать. Разбуди память! Разбуди боль Камня!

Андрей смотрел на нее, не понимая. Но его рука с осколком сама поднялась. Камень горел, как уголь в топке, и сквозь боль в его сознание хлынули образы. Не видения, а нечто более реальное. Он почувствовал вкус пепла на губах. Услышал неистовый крик жреца, добровольно восходящего на костер. Ощутил леденящий ужас ведающего, отдающего свою душу на растерзание духу диких земель. Он почувствовал их боль. Их отчаяние. Их любовь к этому миру, ради которой они пошли на вечное небытие.

Это не было силой. Это была память. Агония, ставшая щитом.

— НЕТ! — закричал Андрей. И это был не его голос. В нем звучали десятки, сотни других голосов. Голоса тех, кто был в Камне. Голоса самой земли. Он не направил осколок на техноморфа, ткнул им в собственную грудь, в самое сердце. Боль стала абсолютной. Белой. Очищающей. Из его груди, из места, куда он вонзил осколок, хлынул не свет, а тьма. Но тьма живая, полная шепота ушедших поколений, шума лесов, которые здесь росли, криков новорожденных и предсмертных стонов. Это была тень, отбрасываемая костром жертвоприношения. Память о жизни, противостоящая бездушному порядку небытия.

Волна тьмы накрыла техноморфа. Не разрушила его. Она его «забыла». Металл, лишенный воли, поддерживающей его существование в этой противоестественной форме, просто начал рассыпаться. Провода истлели. Плоть, освобожденная от сталь-

ных оков, обратилась в прах. Через несколько секунд на месте чудовища остались лишь куча ржавого лома и горстка пепла.

Гул в камере стих. Воцарилась тишина, звенящая и неестественная.

Андрей упал на колени. Из раны на груди сочилась кровь, смешиваясь с потом и грязью. Он чувствовал себя опустошенным, вывернутым наизнанку. Но впервые за долгие дни в его душе не было страха. Были только бесконечная, всепоглощающая скорбь и странное, горькое умиротворение.

Вадим смотрел на него с благоговейным ужасом. Видение старушки подошло к внуку, ее лицо снова стало старым и морщинистым.

— Встань, Андрей, — сказала она тихо. — Ты сделал только первый шаг. Ты пробудил Память в себе. Но Печать треснула, и одной памяти мало. Нужно восстановить Волю. Для этого нужно найти Копье. Или Крест. И нужно сделать это до того, как Гнев, что дремал под Печатью, вырвется на свободу окончательно. Ибо то, что мы видели, — она кивнула на груду металлолома, — лишь слабая тень того, что родится из чрева этого завода, если Гнев и Воля Стали сольются воедино. — А теперь иди. Лес зовет. И твой друг священник нуждается в твоей помощи. Его вера скоро столкнется с испытанием, перед которым меркнут все демоны его книг.

Она указала им рукой путь в глубь тоннеля. Оставив позади камеру с безмолвным телом Сергея — мрачным напоминанием о цене, которую требует война богов, и о том, что единственное спасение от небытия — это боль живой памяти.

Шепот болот и зов леса

Туман в заповеднике «Тимер теш урманы»[5] был не воздухом, а жидким кошмаром. Он обволакивал кожу липкой, ледяной пеленой, пропитанной смердящим дыханием гниющей плоти земли — смесью болотного газа, окислившегося железа и древнего, звериного пота. Каждый шаг по едва различимой тропе, проложенной отчаянием и алчностью, отзывался хлюпающим всхлипом трясины под ногами. Впереди, как призрак из мифа, двигался Ерофей — провожатый, которого им дал старовер после недолгих уговоров. Мощная фигура бывалого знатока заповедника сливалась с сумерками. Глаза — две угольные щели под нависшими бровями — сканировали чащу с безжалостной точностью хищника. Уши ловили не шорохи, а само молчание, готовое вот-вот лопнуть. Он был не просто проводником — он был плоть от плоти этого проклятого места, его неофициальным стражем и жертвой.

— Дышите тише, — его шепот был резким, как удар хлыста, заставив всех застыть у мглистой полосы зыбкого мха. — Свинцовое озеро. Вода чернее совести убийцы — не наступай. Берега — пасть твари. Вслушайтесь в тишину.

Озеро открылось внезапно — огромная, мертвая рана на теле леса. Вода цвета окислившейся крови и свинца. Ни ряби. Ни всплеска. Тишина висела массивным свинцовым колоколом, глуша даже стук собственных сердец. Воздух был густым отчаянием, обжигал легкие металлической пылью. Ни птицы, ни комара — жизнь здесь вымерла давно.

— Дух здесь — не наш враг, — Ерофей снял шапку, обнажив шрамы на лысом черепе. Его голос дрожал. — Она скорбит. Забыта. Замурована в этой грязи.

Они корячились вдоль трясины, ощущая, как холодная липкость поднимается по сапогам. И тогда из тумана над самой бездной выплыла фигура. Неясная, как сон на границе пробуждения, сотканная из испарений и теней. Женщина. Склонившая-

[5] Лес стальных клыков — перевод с башкирского (прим. автора).

ся над черной гладью. Ни лица, ни деталей — лишь волны немой, вселенской скорби, исходившие от нее, заставлявшие сжиматься желудок и слезиться глаза. Она не угрожала. Она взывала. Ее прозрачная рука указывала в центр озера, где вода была густой, как деготь, и мертво-неподвижной.

— Видите?! — Ерофей кивнул на видение, его пальцы судорожно сжали амулет на груди. — Предостережение! Там, в глубине — нечто чуждое. Якорь проклятого корабля? Клинок, жаждущий крови? Не знаю! Но ступить туда — отдать душу тьме.

Он достал маленький глиняный кувшин, и древние слова заговоров забытых предков полились из его губ. Густое черное масло с запахом горькой полыни и дыма священных костров хлынуло на черную воду у их ног. Запах на мгновение прогрыз болотную вонь. Видение истончилось, как слеза, оставив лишь леденящую пустоту. Ерофей сорвал несколько серых, невзрачных лишайников с полузатопленной коряги.

— Слеза Болотной Матери. Щит не от когтей, а от отчаяния, что таится здесь, как червь. Держите крепче.

Камень-Зеркало вздымался на поляне, как алтарь забытого бога. Гигантский валун, одна сторона которого была отполирована до сверхъестественного, ледяного блеска. Туман не смел переступить его границу. Лучи солнца, пробивавшие свинцовые тучи, искажались в его глубине, рождая внутри камня движущиеся тени — то ли воспоминания камня, то ли души, пойманные в ловушку.

— Сила здесь — древняя, — Ерофей приложил ладонь к зеркальной поверхности. Камень загудел — низко, вибрируя, отзываясь в костях. — Хранители Леса. Суета — им нож в сердце.

Они собрали травы у подножия исполина: «месячник», чьи листья светились тусклым серебром в полумраке, и «зверобой глубин» с колючками, похожими на крошечные клыки. Ерофей провел пальцем по сложным спиралям и зигзагам, выбитым по краю валуна, — знакам, излучавшим тихую, обережную мощь.

— Щит предков, — Его голос осекся. Пальцы нащупали свежий, глубокий шрам, пересекший древние линии — грубый символ топора-молота, вырезанный с ненавистью. — Велесовская пачкотня! Осквернили святыню!

Именно здесь, в тени осквернённого зеркала, они нашли явный след другой веры. За валуном, в тайнике под пластом дерна, лежал сверток из бересты. Внутри — небольшой челнок для ткачества. Он был из темного, теплого на ощупь дерева. Рядом лежал плат из ткани. Но не простой! Вышивка. Это была карта иных миров! Сложнейшее переплетение нитей, звезд и стилизованных женских фигур, держащих веретена, из которых струились не то капли, не то слезы. Реки судеб?

— Макошь, — выдохнул Андрей, и в его голосе были благоговейный ужас и надежда. — Пряха Жизни. Держательница Нитей. Земля-Мать...

Ерофей кивнул медленно, тяжело, словно признавая что-то давно подозреваемое. Лицо его превратилось в маску скорбной мудрости.

— Бабка Мария... Говорили, ее стежки могли сшить разорванную душу. Держалась особняком. Теперь ясно. Они, или сестры ее духа, пытались связать то, что рвется! Удержать Весы! Велес — ярость, буря, падальщик! Макошь — она корни, нити, колыбель и саван. Он бережно, как святыню, убрал сверток. — Это — ключ. Или последняя надежда.

Дорога вилась глубже, к роще Голодного Камня. Напряжение висело в воздухе, как предгрозовая тишина, но найденный челнок давал призрачный отсвет надежды. Пока лес не взорвался. Грубые, пьяные от ярости голоса, выкрикивающие хаотичный, звериный гимн. И звук. Скрежет железа по камню, лязг цепи.

— Легион! — Ерофей обрушился на них, втягивая за гнилой ствол поваленной ольхи. Его глаза полыхнули первобытным страхом. — Велесовцы! Стая! С железом в зубах!

Через щель в листве предстало зрелище кощунства. Человек пятнадцать. Оборотни в человечьей шкуре, закутанные в грубые меха и клепаную кожу. На груди у каждого — обсидиановый клык, мертвым глазом взирающий на мир. Они расположились на небольшой поляне с древним жертвенником: жгли костер не для обряда, а для жратвы, орали похабные песни, один мочился на корни древнего дуба. Их вожак, громадина с лицом, изъеденным оспой и злобой, вгрызался обсидиановым ножом в священную кору — вырезая тот же топор-молот, глубже, грязнее.

— Капище рядом, а может, роют могилу святыне? — шипение Ерофея было схоже с предсмертным хрипом. — Уходить! Как тени!

Ветка хрустнула под ногой одного из них. Звук прокатился громом по внезапно онемевшему лесу. Головы оборотней повернулись синхронно. В глазах вожака вспыхнул нечеловеческий, голодный огонь:

— ШПИОНЫ! ЖЕРТВЫ ВЕЛЕСУ! РВАТЬ ИХ!

Ерофей махнул в сторону оврага.

— Бегите к ручью! На северо-восток! Я останусь! Ни мольбы, ни сомнения. Только приказ обреченного. В одной его руке блеснуло сталью — длинный, страшный нож со свистом рассек воздух. В другой — дымовая шашка из сухого трутовика и живицы, уже шипящая фитилем. Он швырнул ее не под ноги, а в морду первому прыгнувшему зверю в обличье человека.

Ад вырвался на свободу. Густой, едкий, слепящий, пахнущий горелой плотью и серой дым взметнулся стеной. Рев, удушливый кашель, вопли ярости. Герои ринулись в чащу, слепо повинуясь инстинкту, петляя, ломая ветки, падая и поднимаясь. И тогда сзади прорвался голос Ерофея — не крик, а боевой клич древнего воина, смешанный с диким, торжествующим ревом велесовцев: «ЗА РОДИЧЕЙ! СЛАВА ВЕЛЕСУ!» Потом оглушительный, кошмарный звон — сталь о сталь? Сталь о кость? Короткий, обрывающийся хрип. И нарастающий, зверино-ликующий рев победителей, рвущихся сквозь дымовую завесу.

Они бежали. Не думая. Не сомневаясь. Сердце выбивало дробь смерти в висках. Ветки хлестали по лицу плетьми. За спиной — собачий лай, неумолимое приближение топота и звериного рыка. Смерть Ерофея подарила им секунды жизни. Они мчались к ручью, неся на себе невыносимую тяжесть: потерю, леденящий душу страх, и бесценные находки: челнок Макоши, теплившийся в кармане слабым огоньком надежды, и горькую истину: война началась. У Велеса теперь были не только твари из кошмаров, но и рукотворное оружие — яростные, фанатичные.

Шепот болот был поглощен звериным рыком леса. И они были в его клыкастой, слюнявой пасти. Бежали. Прямо в глотку тьмы.

ГЛАВА 4: ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ИСКУШЕНИЕ И КРОВЬ

Город в огне. Лики безумия

Чанск больше не умирал. Он горел. И не только пламенем, лизавшим облезлые фасады «хрущевок» и скелеты машин на дорогах. Горел безумием, яростью, древней силой, вырвавшейся на волю и растерзавшей последние остатки человечности.

Андрей прижался спиной к холодной кирпичной стене заброшенной булочной, стараясь заглушить кашель. Воздух был густым, ядовитым коктейлем: гарь от горящего где-то шиномонтажа, сладковатый запах гниющей плоти, несшийся со стороны

парка, и едкий, металлический привкус плавленого металла, витавший вокруг покореженных фонарных столбов. Рядом, бледный, но собранный, Алексий сжимал в руке простой деревянный крест, его губы беззвучно шевелились в непрестанной молитве. Их цель — дом Елисея на самой окраине, последний шанс расшифровать обрывки знаний о Камне Грани. Но путь туда лежал через ад.

Сразу за углом раздался животный рык, сливающийся с визгом. На перекрестке, освещенном кроваво-красным закатом, сквозь дымную пелену метались фигуры. Не люди — твари. Мужчина в разорванном костюме офисного планктона полз на четвереньках, рыча, его челюсть неестественно отвисла, слюна стекала струйкой на асфальт. Он вцепился зубами в ногу женщины, которая в свою очередь царапала алыми ногтями облупившуюся стену дома, издавая птичий, пронзительный крик. Стая ворон, черных и зловеще молчаливых, кружила над ними, их глаза горели нездоровым светом. Внезапно одна из птиц камнем упала на спину «офисного», выклевывая ему глаз. Он даже не закричал, лишь заурчал громче. Алексий отвернулся, лицо его исказилось от ужаса и отвращения.

Через улицу, у подножия гигантской, давно потухшей рекламной конструкции, царил иной кошмар. Три фигуры в замасленных робах и самодельных масках из листового металла (один явно был сварной каской) двигались как единый механизм. Их оружие — длинные куски арматуры, трубы с заточенными концами. Они методично, без тени эмоции на скрытых лицах крушили витрину бывшего магазина электроники. Стекло крошилось с сухим треском, пластик плавился от ударов, будто металл в их руках накалялся докрасна. Один из них, с арматурой, подошел к припаркованной «ладе». Два точных, мощных удара — и крыша сложилась, как бумажная. Он не торопился, не злорадствовал. Просто выполнял работу. Металл его оружия действительно слабо светился тусклым, зловещим багрянцем.

Город дышал, и его дыхание было смертоносным. Из трещины в асфальте прямо перед группой отца Алексия с хрустом вылез толстый, скользкий корень, обвивая ржавый канализационный люк. Он пульсировал, как жила, и на глазах утолщался. Чуть дальше фонарный столб, который еще час назад был цел, теперь покрылся рыжей, пузырящейся ржавчиной по всей высоте и медленно кренился, скрипя. С неба, сквозь клубящийся дым, начал сеять странный, липкий дождь. Капли оставляли на асфальте и стенах ржаво-бурые пятна, похожие на кровь. Андрей почувствовал, как одна капля упала ему на руку — жжение, как от уксусной кислоты.

Хаос начал структурироваться в ужасающие формы. Из парка, откуда разносился запах гнили, высыпала группа. «Сыны леса». Их было человек десять. Кто-то в накидке из грубой, невыделанной шкуры не то овцы, не то собаки, кто-то обмазан глиной и сажей, с вплетенными в волосы перьями и костями. На лбах — выведенные сажей и кровью спирали, переходившие в звериные морды. Оружие — дубины, заостренные колья, боевые топоры. Во главе шла женщина — все звали ее Наследница. Высокая, гибкая, почти нагая, если не считать набедренной повязки из шкуры и ожерелья из когтей и зубов. Ее тело было покрыто сложными узорами из грязи и запекшейся крови, лицо скрывала самодельная клыкастая машкера из бересты, но глаза горели из-под нее дикой, нечеловеческой силой. Женщина несла посох с насаженным черепом волка. Рядом с бандой бежали собаки — не бродяжки, а озверевшие монстры с пеной у рта, и огромная стая ворон сбилась в черное гудящее облако над их головами.

Им навстречу, со стороны завода, двинулись шестеро. Все в остатках синей заводской спецовки, лица скрыты примитивными масками из жести. Движения синхрон-

ные, как у роботов. Вооружены гаечными ключами большого размера, кусками цепей и арматурой. Их вожак — крупный мужчина в сварной каске с прорезями для глаз — держал в руках распылитель с горящим фитилем, а за спиной два газовых баллона — самодельный огнемет. Металл в их руках тоже светился тускло-красным, как раскаленные угли. Они шли строем, не ускоряя шаг, но с неумолимой целеустремленностью.

Столкновение было неизбежным. «Сыны леса» взревели, как звери, и ринулись вперед. Наследница вскинула посох — и стая ворон пикировала на синеробов с металлом в руках, выклевывая глаза, путая движения. Из трещин в асфальте вокруг ног стальных фанатиков взметнулись заросли колючей крапивы и репейника, невероятно быстрорастущие, обжигающие и цепкие. Один из железной шестерки споткнулся, увяз — и на него набросились собаки и лесной брат в шкуре, с занесенным кинжалом.

Но группа металлопоклонников не дрогнула. Их вожак зажал рычаг своего огнемета — струя жидкого пламени ударила в толпу «Сынов леса». Запах паленого мяса и вони смешался с общим смрадом. Задребезжали выстрелы — кто-то из синеробов достал обрез. Металлист с арматурой, на которого набросились, просто встал и с немыслимой силой отшвырнул двух собак и лесного братца, сломав тому руку с сухим хрустом. Жестокость была абсолютной, лишенной даже звериной ярости — просто уничтожение помехи.

Андрей и Алексий оказались в ловушке. Они прятались в арке дома, как раз между двумя сталкивающимися силами. Осколки кирпичей и стекла сыпались вокруг. Вой, визг, вой собак, треск пламени, сухой треск ломаемых костей — все слилось в оглушительную симфонию разрушения. Через арку пронеслась горящая фигура «Сына леса», сбив Алексия с ног, и унеслась в глубь двора к детскому городку, где и упала, оставляя шлейф дыма от чадящих шкур. Андрей подхватил священнослужителя под плечо, оттаскивая дальше в подворотню.

— Надо прорываться! — крикнул Андрей, перекрывая грохот. — Дворами!

Алексий кивнул, глаза его были воспаленными, но воля была не сломлена. Они рванули в глубь узкого прохода между домами. Здесь было чуть тише, но не безопаснее. Стены домов покрывали ползучие побеги плюща, которые двигались, шевелились, пытаясь ухватить за одежду. Где-то рядом грохнуло — то ли обрушилась стена, то ли рванул газ.

Андрей нес в нагрудном кармане куртки то, ради чего они рисковали — фрагмент Копья Перуна. Небольшой, но увесистый обломок древнего металла с выгравированной частью спирали, найденный накануне, во время вылазки на завод с Вадимом, в руинах старой кузни. Он чувствовал его холод, его слабую, тревожную вибрацию, синхронную гулу земли. Они выскочили из прохода на маленькую, захламленную стройматериалами площадку между домами. И тут из-за горы старых плит выскочил юнец из «Сынов леса». Лицо перекошено звериным оскалом, в руках — заточка из ржавой косы. Он бросился на Алексия.

Андрей инстинктивно шагнул вперед, чтобы прикрыть друга. Он толкнул нападающего в грудь. Тот отлетел, ударившись спиной о кучу кирпичей. Но в момент толчка рука юнца дернулась, и острие заточки чиркнуло по нагрудному карману Андрея. Ткань распоролась.

Андрей почувствовал легкость в кармане. «Оскоп![6]» — он упал на землю с глухим стуком, подкатился к ногам Андрея. Тот нагнулся, пальцы уже касались холодного металла.

---

[6] «Оскоп» — так в Ипатьевской летописи упоминается вид копья под 1123 годом. Изначально так называли заостренный кол.

Из-за угла дома вывалился гигантский металлист из синеробов. Его каска была помята, в руке — окровавленная кувалда. Увидев Андрея, нагнувшегося над лежащим обломком, металлист издал хриплый, нечеловеческий звук — не крик, а скрежет металла, и, не раздумывая, мощным пинком, словно отшвыривая мусор, он въехал ногой по фрагменту копья.

Обломок со звоном отлетел в сторону, пролетел несколько метров и... провалился в открытый люк подземного коллектора, темную дыру, зиявшую в углу площадки. Звон металла о бетонные стенки колодца быстро стих внизу.

— Нет! — вырвалось у Андрея. Отчаяние и ярость охватили его. Он бросился к люку.

Но металлист уже занес кувалду. Его глаза, видимые в прорезях маски, светились тем же тускло-красным, что и его оружие. Без тени мысли, без эмоций. Только уничтожение.

Алексий рванул Андрея за руку.

— Андрей! Нет времени! Бежим!

Он силой оттащил друга от люка и от металлиста, который опустил кувалду, но сделал шаг к ним. Андрей, оглушенный потерей, позволил увлечь себя. Они кинулись прочь, в очередной проход, оставив за спиной площадку, где металлист уже схлестнулся с еще одним подоспевшим «Сыном леса», а часть Копья Перуна, их надежда, их ключ, навсегда исчез в подземной тьме, под аккомпанемент ревущего безумия горящего Чанска. Город пожирал сам себя, и только что он отобрал у них один из последних шансов его спасти.

ЖЕРТВА И ГРОМ

Чанск. Центральная площадь. Полдень

Небо, лишенное солнца, было цвета гниющей меди. Над собором Святителя Николая клубились вороны — тысячи каркающих теней, сливавшихся в живое, шевелящееся облако. Их клювы были обращены к золоченым куполам, словно ждали сигнала. Внизу, на площади, толпа замерла. Люди смотрели не на птиц, а на стены. Каменная кладка собора шевелилась. Лики святых на фресках плакали густой, черной смолой. А из-под земли, сквозь трещины в плитке, пробивались щупальца корней — склизкие, как кишки мертвеца.

— ОТДАЙТЕ ГОРОД! — не звук, грохот взрывной волной докатился из леса. Голос Велеса. Он входил в разум, как нож в масло. Женщина рядом с Андреем завыла, ее пальцы искривились в когти, глаза побелели.

— ПЛОТЬ — ГЛИНЕ! КАМЕНЬ — ЗЕМЛЕ!

Рядом отец Алексий, бледный, но недвижимый, сжимал крест.

— Держись, Андрей. Это иллюзия. Он давит на слабых.

— Иллюзия? — Андрей указал на запад.

Там, где стоял Чанский металлургический комбинат, небо рвали молнии. Не вертикальные, а горизонтальные — сизо-белые бичи, хлеставшие из труб в сторону леса. Гром не умолкал ни на секунду. Но между раскатами слышалось другое: скрежет металла, вой сирен аварийных систем, крики. Одна из труб, пораженная сгустком энергии, рухнула, пронзив корпус цеха, как копье. Из разлома хлынул не дым, а плазма — ослепительный поток, испепелявший все на пути. Техногенная месть Перуна.

— Город — поле боя, — прошептал Андрей. — Они стирают его в порошок.

Домик Марии. Окраина. Час спустя

Бабушка сидела на лавке, глядя в окно на эти два ада: багровое зарево над заводом и черную рогатую тучу над лесом. В ее руках — пучок сухих трав: полынь, чертополох, зверобой. И старинная икона Николы Угодника, потемневшая от времени.

— Баб, ты не пойдешь с нами? — Андрей стоял на пороге, сумка с обухом ножа и распечатками летописей за спиной. — Завод — логово Перуна. Нам нужен твой дар.

— Мой дар нужен здесь, внучек, — ее голос был тих, но резал, как сталь. — Вы не пройдете к заводу, покуда Велес не отвлечен. Его сила — в лесу, в болотах. В роще Голодного Камня.

Отец Алексей нахмурился:

— Роща? Это же заповедник. Там капище Велеса было.

— И есть, батюшка. Там Он сильнее всего, — Мария встала. В ее движениях не было старости — лишь ритуальная точность. Она накинула платок, взяли кошель с углями и глиняный кувшин. — Я притяну его взор. Открою вам путь.

— Как?! — Андрей схватил ее руку. — Они убьют тебя!

— Убьют, — согласилась она просто. — Но смерть — ключ. Старый ключ от старого замка, — она высвободила руку, тронула его лоб. — Слушай землю, Андрюша. И не верь Громовержцу. Он не спасет. Он — кара.

Она вышла, не оглядываясь. Во дворе, у старой рябины, висело корыто для птиц. Мария ударила по нему палкой — звонкий, чистый звук разнесся над полями вопреки грохоту. В ответ завыл ветер. Не просто порыв — голодный вой, полный обещаний.

— Она знает, что делает, — сказал отец Алексий, но в его глазах была мука. — Это — жертва. Добровольная.

Андрей смотрел, как ее фигура, маленькая и несгибаемая, растворяется в мареве у кромки леса. В кармане жгло. Клинок напоминал о себе.

Роща Голодного Камня. Сумерки

Запах меди и тлена разлился по роще. Деревья стояли неестественно близко, стволы покрыты шрамами-ликами. В центре поляны лежал камень — исполинский валун, похожий на склоненную бычью голову. У его подножия — лужа засохшей крови. Следы ритуала неоязычников.

Мария развела костер. Не для тепла — угли в кошельке были из печи ее дома, смешаны с солью и ладаном. Она поставила икону на камень, обложила травами. Достала нож — простой, хозяйственный.

— Иду к тебе, Хозяин Нижний, — ее голос, обычно хриплый, звенел в тишине. — Иду по своей воле! Прими дар — плоть и дух!

Она провела лезвием по ладони. Кровь, темная, почти черная, капнула на угли. Шипение. Дым пошел не вверх, а вниз, стелясь по земле, заполняя трещины.

— Век мой прожит! Кровь отдана! Плоть забирай — но отпусти город! — Она начала кружить вокруг камня, босые ноги втаптывали кровь в землю. Травы в ее руках вспыхивали синим пламенем.

Ветер завыл громче. Тени между деревьями сгустились. Появились они: высокие, рогатые, с глазами-углями. Легион Велеса. Они не нападали. Ждали.

Мария упала на колени перед иконой. Теперь она молилась, но слова были странными, древними:

— Господи Вседержителю, силою Креста Твоего сохрани! Перуне-батюшка, громом прикрой! Велес-сосед, прими мене, старую, за своих!

Синкретизм веры ударил, как молния. Воздух затрещал. Камень застонал. Из трещин в нем повалил черный туман, сформировав фигуру. Бычья голова с человечьими глазами, тело из корней и теней. Сам Велес или его отражение.

— Жертва? — голос был шелестом листьев и скрежетом камня. — Старая плоть. Но дух крепок. Принимаю.

Щупальца тумана обвили Марию. Она не сопротивлялась. Смотрела в небо, где сквозь кроны пробивалась багровая заря.

— Бегите, дети, — ее шепот донесся до Андрея, хотя он был за километр, у проходной завода. — Теперь — ваша очередь.

Костлявые пальцы тьмы сомкнулись на ее горле. Тело Марии обмякло. Но в тот же миг земля под камнем взвыла. Корни, обвивавшие валун, почернели, рассыпались в прах. Фигура Велеса дрогнула, стала прозрачной.

— ОБМАН! — Рев разорвал рощу. — ОНА ЗАПЕЧАТАЛА ВРАТА!

Сила Велеса, притянутая к роще, оказалась в ловушке. Жертва Марии стала замком на его силе.

ЧМК — Чанский металлургический комбинат. Энергоблок № 4. Час ночи

Андрей и отец Алексий шли по коридору, похожему на чрево механического титана. Стены дрожали. Под ногами — лужи масла и воды, смешанной с кровью. В свете фонарей тени скакали по стенам — фигуры рабочих, бегущих от чего-то невидимого. Воздух звенел от напряжения.

— Бабушка, — Андрей сжал кулак. Обломок ножа в его рюкзаке горел холодом.

— Она купила нам время, — отец Алексий молитвенно касался креста. — Но Велес не побежден. Только разъярен.

Они спустились в подвал — сердце завода. Царство турбин, некогда кормивших город. Теперь гигантские машины стояли, но не молчали. Они гудели. Низкий, яростный гул, исходящий из самих фундаментов. Стены покрылись инеем. На полу — узор из трещин, сходящихся к центру зала, где когда-то стоял жертвенник капища.

— Здесь, — Андрей указал на круглую платформу из камня цвета обсидиана, вмурованную в бетон. — Место силы.

Они ступили на камень. Мир погас.

Видение (Андрей)

Он стоит на вершине холма. Ниже — не завод, а капище: дубовый идол с серебряными усами и золотой секирой в руке. Гром грохочет, но не с неба — из земли. Небо — сплошная молния. К нему подходит Воин. Не человек — рост под три метра, доспехи из литой меди, глаза — сгустки белого пламени.

— Я — Гром. Я — Порядок. Я — Меч, карающий Хаос, — голос ударил по сознанию. — Ты — кровь стражей этого Места. Потомок Ратибора.

Андрей почувствовал жгучую связь с землей под ногами. Да, его корни здесь. Бабушка знала.

— Велес восстал. Его твари топчут Мою Твердыню! Скверна! — Воин ударил секирой о щит. Звук отозвался болью в висках. — Но ты принес Клинок Раздора. Ты можешь стать Моей Дланью.

Идол ожил. Дубовая рука протянулась к Андрею. В ладони — призрачное копье из молний.

— Возьми. Пронзи Сердце Хаоса. И станешь Князем Нового Порядка. Город будет чист.

В слове «чист» — бездна. Андрей увидел: Чанск, покрытый стеклянной гладью. Ни домов, ни людей. Только идеальные линии, гудящие провода и статуи меди. Порядок. Смертельный порядок.

Видение (Отец Алексий)

Он в храме. Но не в Никольском. В соборе из молний и стали. Алтарь — турбина. На ней вместо Евангелия — секира. В свете витражей, разбитых ураганом, он видит Андрея. Юноша стоит у алтаря, облаченный в медные латы. В руках — копье-молния. Его глаза — белые, без души. За ним — легион таких же воинов-автоматов.

— Вот цена порядка, Жрец, — голос идола эхом отдается в сводах. — Человечество — глина для лепки. Я слеплю Новый Мир. Без слез, без страха. Без вашего Бога.

Отец Алексий падает на колени. Не перед идолом. Перед Распятием, возникшим на стене из трещин.

— Господи, это не Ты! Это гордыня! Демон, прикрывающийся славой Перуна!

ЧАСТЬ III: БЕЗДНА. ПАДЕНИЕ. СХВАТКА В СЕРДЦЕ ТЬМЫ

ГЛАВА 5: ПЕСНЬ ПЯТАЯ. УЗЫ И РАЗРЫВЫ

Квартира Сомовых. Рассвет

Солнце, бледное и безжизненное, безуспешно пыталось пробиться сквозь слой въевшейся в стекло грязи и пепла, осевшего на подоконнике квартиры Сомовых. Воздух внутри был густым и спертым, пахшим старыми страхами, пылью и тлением — не физическим, а душевным. Ольга Семеновна не спала. Она сидела на краю разобранного дивана, в котором когда-то спал ее сын, и смотрела на фотографию в заляпанной рамке. Счастливый, румяный мальчик лет десяти, с разбитой коленкой и сияющими глазами, держал в руках пойманного на речке жука. Кирилл.

Теперь ее мальчик был заперт в соседней комнате. Не просто забаррикадирован — прикован. После того как он в исступлении чуть не выпрыгнул из окна, Николай, его отец, дрожащими от водки и ужаса руками прикрутил к батарее тяжелую цепь, снятую с брошенного в подвале велосипеда. Звук, который издавал Кирилл, когда металл впивался в его запястье, преследовал Ольгу по ночам — не крик боли, а низкое, удовлетворенное рычание, будто плоть была ему лишь временной, досадной оболочкой.

Из-за двери доносилось бормотание. Не человеческая речь, а поток гортанных звуков, щелчков и шипений, словно кто-то перемалывал гравий и кости. Иногда в этом потоке проскальзывали обрывки слов: «...корни... глина... шепчут... голод...» И смех. Пустой, безрадостный, леденящий душу.

Николай сбежал неделю назад. Сказал, что за водкой, и не вернулся. Ольга знала: он не вернется. Ее мир сузился до этих трех комнат, до звуков за дверью и давящей тишины города за окном. Чанск умирал, и ее сын был одним из первых симптомов его агонии.

Внезапно бормотание за дверью прекратилось. Воцарилась звенящая, неестественная тишина. Ольга замерла, прислушиваясь. Сердце заколотилось в груди, как птица, бьющаяся о клетку.

И тогда из-за двери послышался голос. Тонкий, испуганный, до боли знакомый.

— Мам. Мамочка, — прошептал Кирилл. Голос был его собственным, семнадцатилетним, с той самой хрипотцой, что появлялась у него, когда он плакал в детстве. — Мам, мне страшно! Здесь. Здесь кто-то есть. В углу. Он смотрит на меня!

Ольга вскочила, прижав ладони к лицу. Это был он. Ее сын. Не тварь, не одержимый — ее мальчик.

— Кирилл! Я здесь, родной! — крикнула она, бросаясь к двери. — Держись! Мама с тобой!

Но голос за дверью снова изменился. Исказился, стал грубым, множественным, полным древней злобы.

— МАМА? — прорычало нечто. — ТВОЯ ПЛОТЬ — ЭТА КЛЕТКА СЛАБА. ОН ЗДЕСЬ. ВНУТРИ. ОН ПЛАЧЕТ. ЗВУК ЕГО СЛАДОК... СКОРО ОН ЗАТИХНЕТ НАВСЕГДА.

Ольга отшатнулась, ударившись спиной о стену. Отчаяние, холодное и острое, как нож, пронзило ее. Она была беспомощна. Она не могла войти, не могла его спасти. Она могла только слушать, как пожирают душу ее ребенка.

Ее взгляд упал на иконку Казанской Божией Матери, висевшую в углу. Бабушка-соседка подарила ее когда-то «от сглаза». Ольга никогда не была особо верующей. Но сейчас, в этом аду, икона казалась единственным якорем.

Она поползла к ней на коленях.

— Пресвятая Богородица! — прошептала она срывающимся голосом. — Спаси! Спаси моего мальчика! Не знаю, к кому еще идти. Помоги!

Слезы текли по ее лицу, смешиваясь с пылью на полу. Она молилась без церковных слов, просто изливая свою боль, свой ужас, свою безнадежную материнскую любовь. И в этот момент сквозь гул города и бормотание за дверью она услышала тихий, но отчетливый стук во входную дверь.

Подземелья Чанского металлургического комбината. Тот же рассвет

Адский гул завода здесь был не фоном, а физической субстанцией. Он давил на барабанные перепонки, вибрировал в зубах, проникал в кости. Воздух в узком техническом тоннеле был густым и маслянистым, пахшим озоном, перегретым металлом и чем-то еще — сладковатым и тошнотворным, словно горелая плоть.

Андрей и Вадим двигались на ощупь, прижимаясь к липким от конденсата стенам. Мощный фонарь Андрея, их единственный источник света, выхватывал из мрака ржавые трубы, оборванные кабели и причудливые наплывы на бетоне, похожие на застывшие внутренности механического зверя.

После столкновения с техноморфами в административном корпусе они отступили, едва унеся ноги. Схема Сергея привела их в эту систему подземных коммуникаций — артерий завода, по которым, они надеялись, можно было подобраться к «Сердцу» — тому самому месту, где, по легендам и отчетам, был заточен «Камень Грани» и где сейчас пульсировал Эгрегор завода.

— Должны быть близко, — прохрипел Андрей, сверяясь с дрожащей в его руках схемой. Его лицо было покрыто сажей и потом, глаза горели лихорадочным блеском. — По схеме, за этим поворотом должен быть спуск в старый дренажный коллектор. Он ведет прямо под фундамент ДП-3.

Вадим лишь кивнул, сжимая свою монтировку так, что костяшки пальцев побелели. Он был на грани. Каждый скрежет, каждый отдаленный гул заставлял его вздра-

гивать. Вид техноморфов, это сюрреалистическое сплетение плоти и железа, выжег в его сознании рану, которая кровоточила страхом.

— Андрей, — его голос был хриплым шепотом. — А если они. Если эти твари. Они не просто монстры?

Андрей остановился, обернувшись.

— Что ты имеешь в виду?

— Я видел. Того, со сверлом, — Вадим сглотнул. — На его... на его «руке» была татуировка. Якорь. Такие в порту делали лет двадцать назад. И... и лицо, что торчало из шестеренок. Я его узнал. Это Витька-электрик. С пятого цеха. Он полгода назад пропал. Говорили, уволился, уехал.

Ледяная волна прокатилась по спине Андрея. Он сам читал отчеты, видел холодные строчки о «носителях» и «интеграции». Но одно дело — читать, другое — услышать подтверждение от живого свидетеля.

— Операция «Оковы», — прошептал он. — Они не просто создавали монстров. Они использовали людей. Рабочих. В качестве сырья. Для своей системы защиты.

Это было хуже, чем безумие древних богов. Это был рассчитанный, технократический ад. Завод не просто пробудился — он перерабатывал своих создателей, свою плоть и кровь, в послушные механизмы.

Они двинулись дальше, и вскоре тоннель уперся в тяжелую, забетонированную арку со ржавой решеткой. Решетка была частично выломана, за ней зияла черная бездна, откуда тянуло ледяным, затхлым воздухом. Гул здесь был иным — не механическим ревом, а низким, навязчивым гулом, исходящим из самых недр.

— Коллектор, — определил Андрей. — Пошли.

Спуск был опасным — по скользким, проржавевшим скобам, вбитым в бетонную стену. Напарники оказались в круглом тоннеле, по дну которого струилась черная, маслянистая вода. Стены были покрыты странными, пульсирующими грибовидными наростами, испускающими тусклое, фосфоресцирующее неровное свечение, которое отбрасывало жутковатые тени, в мешанине которых мерещились движущиеся силуэты.

Шли недолго. Тоннель расширился, превратившись в обширную подземную каверну. И здесь участники мини-экспедиции увидели ЭТО.

Стены каверны были не бетонными, а словно живыми — сплетением корней, проросших сквозь камень, и металлических балок, вплавленных в эту органическую массу. Корни были черными, блестящими, словно из обсидиана, и пульсировали в такт гулу. Металл ржавел и восстанавливался на глазах, как рана, которая не может зажить. В центре каверны, на невысоком возвышении, стоял тот самый «Камень Грани» — или то, что от него осталось.

Это был не цельный валун, а груда обломков, скрепленных друг с другом титаническим усилием —неведомой по силе сваркой. Красные прожилки на черном камне светились яростным, злым алым светом, но свет этот был неровным, прерывистым, словно сердце, бьющееся в агонии. Вокруг камня, образуя зловещий круг, стояли неподвижные, застывшие в самых разных позах техноморфы. Они не были похожи на тех агрессивных тварей, что атаковали их наверху. Эти казались спящими. Или мертвыми. Их металлические части были покрыты инеем, а остатки плоти были сморщенными и высохшими.

— Печать, — выдохнул Андрей. — Они пытаются ее удержать. Используют остатки энергии Камня, чтобы сдерживать Гнев. Но это — это агония.

Он почувствовал, как осколок Камня в его кармане забился в лихорадке, отвечая на зов своего сердца. Тепло от него обжигало.

Внезапно один из «спящих» техноморфов пошевелился. Медленно, со скрипом, повернулась его голова — вернее, то, что от нее осталось: кусок каски с приваренным к ней осколком челюсти. Мертвые глаза уставились на них. Из грудины, где пульсировал тусклый свет, послышался хриплый, прерывистый звук, похожий на попытку речи.

— У-й-д-и-и, — просипело существо. Голос был электронным, но в нем слышалась бездна страдания. — Не м-о-о-гут д-о-о-лго сд-е-е-р-ж-и-и-вать. Он пр-о-о-сып-а-а-ет-ся.

Андрей понял. Это не монстры. Это стражи. Последние жертвы операции «Оковы», чья воля и плоть были использованы, чтобы сдерживать Гнев, но сам процесс превратил их в кошмарные гибриды. Они не хотели атаковать. Они пытались защитить, предупредить.

— Кто? Кто просыпается? — шагнул вперед Андрей.

— Гн-е-е-в, — простонал техноморф. — Др-е-е-вний. Не-е-е, не. Перун. Не Велес. То, что до. До них. Он голоден. Завод — ключ. Камень — замок. Вы — последние. Спа-а-а-си или унич-т-о-о-жь.

Существо затряслось в конвульсиях, свет в его груди погас, и оно замерло, окончательно превратившись в безжизненную статую из плоти и металла.

Андрей и Вадим стояли в ошеломленном молчании. Картина прояснялась, и она была ужаснее любых мифов. И Перун, и Велес, и завод — все это было лишь симптомами, искаженными эманациями чего-то более древнего и страшного. А «Камень Грани» был не просто печатью, а тюрьмой. И тюрьма эта трещала по швам.

Воздух в дренажном коллекторе был студеным и неподвижным, словно в гробнице. Влажный холод пробирался сквозь куртки Андрея и Вадима, заставляя зубы стучать в унисон с отдаленным, вибрационным гулом. Фосфоресцирующие грибы на стенах бросали на их лица мертвенно-синие отсветы, превращая в маски живых мертвецов, бредущих по коридору в преисподнюю.

Слова техноморфа-стража висели между ними тяжким, невысказанным грузом. «Спаси или уничтожь». И самое страшное — «Вы последние».

— Он сказал: «Завод — ключ. Камень — замок», — нарушил молчание Андрей, его голос гулко отозвался в каменном тоннеле. — Я думал, завод — это и есть угроза. Но что если... Что, если операция «Оковы» была отчаянной попыткой? Не контролировать Гнев, а использовать индустриальную мощь как дополнительный затвор? Как тиски, сдерживающие дверь, которую Камень уже не мог удержать один?

Вадим мрачно хмыкнул, спотыкаясь о скользкий выступ.

— Хороши тиски, которые пожирают своих механиков. Этот «ключ» ломается, и нас с тобой сейчас в щепки превратит.

— Именно! — Андрей остановился, повернувшись к напарнику. Его глаза в свете фонаря горели. — Он ломается! Система нестабильна. Эгрегор завода — это не контролер, это — симптом. Лихорадочный бред системы, которая пытается выполнить свою функцию — сдерживать, но делает это уродливо, перерабатывая для этого все вокруг. Она не служит Гневу, она с ним борется. И проигрывает.

Эта мысль была одновременно и обнадеживающей, и ужасающей. Врагом был не разумный противник, а вышедший из-под контроля механизм сдерживания апокалипсиса. И они шли прямо в его сердце.

Тоннель начал сужаться, стены стали более неровными, словно их пробили в спешке, а не построили. Гул нарастал, превращаясь из фонового рокота в физическое давление. Воздух загустел, им стало трудно дышать. И тогда они увидели свет.

Не тусклое свечение грибов, а пульсирующее, багровое зарево, лившееся из проема в конце тоннеля.

Они вышли на узкую металлическую площадку, висящую над колоссальным подземным пространством. Дух захватило. Они стояли на краю индустриального ада.

Пространство под ними было гигантским карьером, вырытым в самой толще земли под заводом. В центре его, уходя вниз на десятки метров, зияла черная, бездонная расщелина. Из нее и исходил тот самый первичный Гул — звук, от которого стыла кровь и мутился разум. Это был не звук машины, не рев зверя. Это был скрежет самой материи, стонавшей под гнетом того, что было заперто внизу.

Но самое шокирующее было не это. Над самой расщелиной, нависая над бездной, парила конструкция, от которой веяло безумием и титаническим усилием. Это был гибрид собора и ядерного реактора. Мощные стальные фермы, похожие на ребра исполинского зверя, сходились к центру, где в паутине кабелей, трубок и шипящих гидравлических поршней пульсировало «Сердце».

Оно было огромным, метров пяти в диаметре, и состояло из трех частей, насильно сплавленных воедино. Внизу, как основание, лежал крупный осколок Камня Грани — тот самый, что искали. Его красные прожилки пылали яростным алым светом, но свет этот был хаотичным, рвущимся изнутри. К нему была прикована цепями. Нет. Впаяна в него сталью и медными трубками полупрозрачная, мерцающая субстанция — сгущенный Эгрегор завода. В нем, как в камере обскура, мелькали лица, силуэты цехов, клубились тени былой мощи и страданий. А венчало эту кошмарную конструкцию то, что заставило Андрея сглотнуть ком в горле.

В самый центр, в точку максимального напряжения, было вмуровано человеческое тело. Вернее, его мумифицированные останки, облаченные в истлевшие ленты инженерной формы. Руки были раскинуты, словно в распятии, и вплавлены в металлические структуры. Череп был запрокинут, рот открыт в беззвучном крике. Но самое жуткое были глаза. Не кость, не прах. На их месте два крошечных, холодных голубых кристалла, испускавших ровный, бездушный свет, который пронизывал и Эгрегор, и Камень.

— Ворошилов... — прошептал Андрей, вспоминая дневник безумного инженера. — Они не просто использовали его знания. Они использовали его самого. Его волю. Его душу. Как катализатор, как управляющий элемент. Он и есть тот «контур», о котором он писал.

— Господи... — Вадим отшатнулся от края площадки, его лицо было зеленым. — Это и есть «Сердце»? Этот, этот сплавленный кошмар?

Внезапно «Сердце» забилось чаще. Багровый свет Камня вспыхнул ослепительно, Эгрегор заклубился, а голубые «глаза» Ворошилова сверкнули с ослепительной интенсивностью. Гул из бездны усилился, переходя в яростный рев. Из расщелины, словно черное дыхание, стал подниматься густой, маслянистый туман. Он стелился по дну карьера, и где он касался, металл конструкции начинал дымиться и пузыриться, а камень — трескаться с сухим треском.

— Оно просыпается! — закричал Андрей, чтобы перекрыть рев. — Гнев! Система не выдерживает!

По всей гигантской конструкции пробежали разряды багрового электричества. От основного массива откололся кусок раскаленного металла и с оглушительным грохотом рухнул в бездну. Площадка под ними задрожала.

— Что делать?! — в ужасе смотрел на Андрея Вадим. — Уничтожить это? Но если это единственное, что сдерживает?

— Нет! — Андрей лихорадочно оглядывался. Его взгляд упал на пульт управления, встроенный в перила площадки. Он был старым, аналоговым, с рычагами и мигающими лампочками. Чудом он, казалось, еще был работоспособен. — Не уничтожить. Перезагрузить! Отключить Ворошилова! Его воля искажена, она не стабилизирует, она мучает и систему, и Камень! Нужно разорвать эту связь!

— Ты с ума сошел! Мы не инженеры!

— А кто тогда?! — рявкнул Андрей, подбегая к пульту. — Сергей был прав! Мы — последние!

Он стал рыться в памяти, в обрывках знаний из отчетов. Операция «Оковы». «Управляющий контур». «Подавление аномалии силой аномалии». Он увидел главный рычаг с табличкой «АВАРИЙНЫЙ СБРОС. КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ». Но рядом была и другая табличка: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ОТКЛЮЧЕНИЕ КОНТУРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТА „УЗНИК“».

Камень в кармане Андрея пылал огнем. Он чувствовал его боль, его отчаянную борьбу и с Гневом снизу, и с тисками завода. Камень был не замком, а живым существом, которого пытали, заставляя выполнять непосильную работу.

Рев нарастал. Из бездны вместе с туманом начали вырываться щупальцеобразные отростки чистой тьмы. Они касались ферм, и те начинали рассыпаться в ржавую пыль.

— Вадим! — Андрей посмотрел на друга. — Я не могу принять это решение один.

Вадим, бледный, но с внезапно проступившей готовностью к действию в глазах, посмотрел на «Сердце», на мумию Ворошилова, на эту пародию на спасение.

— Жми ресет, — просто сказал он. — Лучше чистая смерть, чем эта, эта мерзость. И потом. Ты же говорил, Камень живой. Может, он сам знает, что делать, если его освободить.

Это была авантюра. Безумие. Но другого выбора не было.

Андрей с силой рванул аварийный рычаг на себя.

Раздался оглушительный, скрежещущий звук, будто рвали стальные нервы гиганта. Голубой свет в глазах Ворошилова погас. Мумия затрепетала и начала быстро чернеть, рассыпаясь в прах. Эгрегор завода взвыл — это был звук облегчения и освобождения. Он заклубился и стал рассеиваться, как дым, уносимый ветром небытия.

А потом взревел Камень. Избавленный от стальных тисков, он вспыхнул таким ослепительно-алым светом, что Андрею и Вадиму пришлось зажмуриться. Свет бил вверх, пронзая туман, ударяя в свод карьера. Гул Гнева из бездны не стих — он стал триумфальным, ликующим.

— Что мы наделали... — прошептал Вадим.

Но Андрей смотрел, не отрываясь. Да, Гнев был свободен. Но Камень, больше не отягощенный чуждой волей, не бежал и не подчинялся. Он... сопротивлялся. Он стал ядром, вокруг которого багровый свет сгущался, формируя купол, барьер, который стал давить на поднимающуюся из бездны тьму. Это была уже не печать и уже не тюрьма. Это был щит. Щит, который держала одна измученная, но несломленная воля.

Бездна ревела, черные щупальца бились о светящийся купол, но не могли его пробить. Камень держался. Свет его был неровным. Он терял силу. Ему нужна была помощь. Подпитка.

— Он не может один! — крикнул Андрей. — Ему нужна энергия! Воля!

Он выхватил из кармана свой осколок Камня. Он был горяч, как раскаленный уголь. Андрей посмотрел на Вадима, потом на бушующую бездну и светящийся щит. И он понял, что делать.

— Держи! — он бросил Вадиму фонарь и, не раздумывая, перелез через перила площадки.

— Андрей! Куда ты?!

— Он не должен быть один! — крикнул Андрей, находя узкую, почти разрушенную лестницу, ведущую вниз, к самому Камню. — Если он — щит, то кто-то должен быть рукой, что его держит!

Это был прыжок в неизвестность. Прыжок веры в то, что древняя сила, которую он так старался изучать и классифицировать, поймет его простой, человеческий порыв. Он бежал вниз, к Свету и Тьме, сжимая в руке свой осколок, чувствуя, как его собственная воля, его Воля, становится частью того сияющего барьера, что отделял Чанск от окончательной погибели. Битва за Сердце Бездны только начиналась, и теперь в ней участвовал не только древний артефакт, но и человек.

Храм Святителя Николая. Утро

Отец Алексий стоял на коленях перед алтарем. Он не молился. Он смотрел на почерневшую от времени икону Спасителя и не видел в ней утешения. Слова владыки, отмахнувшегося от его тревог, звенели в ушах, смешиваясь с криками беженцев во дворе и воспоминанием о том, как на его глазах разорвали Семена.

Его вера, всегда бывшая для него скалой, теперь казалась хрупким стеклом, треснувшим под давлением реального, материального зла. Он видел тварей, видел черные слезы икон, видел, как люди превращаются в зверей или механизмы. Молитва не останавливала сверла техноморфов. Святая вода не растворяла щупальца из глины.

Он чувствовал себя обманщиком. Он призывал людей молиться, верить, а сам сомневался в силе своей молитвы. Что он мог противопоставить силе, способной плавить сталь и оживлять камни? Слова? Обряды? Таинства?

Внезапно дверь в храм скрипнула. На пороге, озаренная тусклым светом из окон, стояла Ольга Сомова. Она была бледна как полотно, ее глаза были огромными, полными слез.

— Батюшка... — ее голос был тихим, но твердым. — Вы, вы говорили, что Бог милостив. Что он спасает страждущих.

Алексий медленно поднялся, опираясь на престол.

— Говорил, Ольга Семеновна.

— Мой сын. Кирилл, — ее голос дрогнул. — Он не монстр. Он там, внутри. Он в ловушке. И он зовет на помощь. Сегодня утром я услышала его. Настоящего.

Она рассказала ему о голосе, о мольбе о помощи, сквозь которую прорвался рык древней силы. Древнего гнева.

Алексий слушал, и его окаменевшее от отчаяния сердце что-то екнуло. Это не была надежда. Это было понимание. Возможно, его миссия не в том, чтобы сражаться с тенью молотом и крестом. А в том, чтобы достучаться до одной-единственной души, запертой в аду. Сражаться не с демоном, а за человека.

— Вы верите, что его еще можно спасти? — спросила Ольга, глядя на него с такой верой, какой он сам в себе уже не находил.

Алексий посмотрел на икону. И впервые за долгие дни он не увидел в ней судью или безмолвного наблюдателя. Он увидел страдание. Страдание Бога, смотрящего на муки своего творения.

— Не знаю, — честно ответил он. — Но если есть хотя бы искра. Мы должны попытаться. Не силой. Не обрядом. Любовью. Его любовью к вам. И моей верой. Какой есть.

Решение было безумным. Идти в логово зверя без оружия, с одной лишь молитвой и материнской любовью. Но это был единственный путь, который не противоречил тому, во что он когда-то верил.

— Пойдемте, — сказал Алексий, снимая с аналоя Евангелие. — К вашему сыну. Пока не поздно.

Квартира Сомовых. Полдень

Они вошли вместе. Ольга — с отвагой, граничащей с безумием. Алексий — с тихой, отчаянной молитвой в сердце.

Комната Кирилла была тюрьмой и склепом одновременно. Воздух густой, тяжелый, пропахший потом, страхом и чем-то диким, лесным. На стенах — выцарапанные ногтями спирали и руны. Кирилл сидел на полу, прислонившись к батарее. Цепь на запястье туго натянута. Он был бос, одежда висела лохмотьями. Его лицо! Постоянно менялось. То это было испуганное лицо юноши с расширенными от ужаса зрачками. То черты грубели, скулы выступали, рот растягивался в оскале, а в глазах загорался желто-зеленый огонек древней силы.

— Кирилл, — тихо позвала Ольга, делая шаг вперед.

Голова юноши дернулась. Дикие глаза уставились на нее.

— ПЛОТЬ. ПРИШЛА, — проревело из его глотки.

— Нет, сынок. Это я. Мама.

— М-А-А-М-А-А, — голосом, полным слез. — Прогони его! Он хочет. Он хочет, чтобы я тебя...

Он застонал, вцепившись пальцами в свои виски. Тело его затряслось в борьбе.

— МОЛЧИ, ЧЕРВЬ! ТЫ — ПИЩА! — снова загремел чужой голос.

Алексий медленно опустился на колени в нескольких шагах от Кирилла, положив Евангелие на пол.

— Кирилл, — сказал он спокойно, но твердо. — Ты не один. Мы здесь. Мы с тобой. ЭТА сила хочет тебя сломать. Но ты сильнее. Ты — человек. Вспомни, кто ты!

— ЧЕЛОВЕК? — зашипело существо. — ЖАЛКАЯ ОБОЛОЧКА! Я — ПАМЯТЬ КАМНЯ! Я — ДЫХАНИЕ ЗЕМЛИ!

— Нет, — возразил Алексий. Его голос не дрожал. — Ты — лишь эхо. Тень. А он — живой. У него есть имя. У него есть мать, которая его любит.

Ольга, плача, подошла ближе и опустилась перед сыном, не боясь его когтей.

— Кирилл, помнишь, как мы на даче, у бабушки? Ты поймал того жука. Большого, золотистого. Ты так боялся его уронить.

Кирилл замер. В его глазах мелькнуло воспоминание. Искаженное болью, но — свое.

— Жук, — прошептал он. — Он, он, он жужжал.

— Да, родной, жужжал. А потом ты его отпустил. Потому что он был живой. И ты пожалел его.

— ОТПУСТ-И-И-И-Л, — эхом отозвалось в нем существо, и в его тоне прозвучало что-то вроде любопытства. — ГЛУП-О-О-О-СТЬ. СЛАБ-О-О-О-СТЬ.

— Это не слабость, — настаивал Алексий. — Это сила. Сила, которую ты не знаешь. Сила, которая может противостоять любому гневу. Даже твоему.

Батюшка начал читать. Не экзорцистские молитвы, не псалмы изгнания. Он читал о любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится...»

Слова, древние и простые, наполнили комнату. Они не жгли, не изгоняли. Они обволакивали. Существо внутри Кирилла рычало, шипело, пыталось заглушить их. Кирилл бился в конвульсиях, цепь звенела, вцепившись в его руку. Но Ольга не отступала. Она гладила его спутанные волосы, говорила с ним о самых простых, самых человечных вещах: о первом дне в школе, об испеченном им пироге, о сломанной ветке яблони...

И случилось невероятное. Слезы! Из глаз Кирилла, в которых пылала ярость древнего духа, потекли слезы. Чистые. Человеческие слезы. Слезы отчаяния и боли.

— Мама! Прости... — выдавил он, его голос был хриплым от борьбы. — Я, я, я так испугался. Там, в карьере. Было так темно. И оно, оно вошло в меня...

— Я знаю, сынок. Я знаю. Я здесь.

Существо внутри него завыло — уже не от ярости, а от бессилия. Оно отступало, не перед силой, а перед чем-то, чего оно не могло понять, переварить, поглотить. Перед любовью матери, которая отказывалась бояться, которая отказывалась видеть в нем монстра, которая видела только своего сына — бессильно все сущее.

Алексий понял. Они не победили. Они лишь отвоевали клочок территории. Битва за душу Кирилла была далека от завершения. Но доказали, что битва эта возможна. Древний Гнев не всесилен. У человечности есть своя тихая, неприметная, но реальная сила. Любовь!

В тот же момент с улицы донесся оглушительный грохот — не взрыв, а словно обрушение чего-то огромного. Завод. Лес. Силы, которым не было дела до одной человеческой души, продолжали свою войну. Но в этой закопченной квартире, среди хаоса и отчаяния, была одержана маленькая, но очень важная победа. Была найдена первая ниточка, которая поможет зашить расползающуюся Грань.

ГЛАВА 6: ПЕСНЬ ШЕСТАЯ. СЕРДЦЕ КАМЕННОГО БОГА

Чанский металлургический комбинат не спал. Он дышал. Свистящим паром из треснутых труб, скрежетом железа на ветру, глухим, непрекращающимся гулом, исходящим из самых его недр — как будто гигантский механизм, заржавевший до основания, все еще пытался провернуть безумные шестерни в последней попытке сработать. Воздух был ядовит: коктейль из ржавчины, гари и чего-то сладковато-гнилостного, что пробивалось сквозь промышленную вонь со стороны болот. Над трубами, сливаясь с низкими, свинцовыми тучами, клубился черно-багровый дым.

Андрей и Алексий стояли у чудовищных, покореженных ворот главного въезда — за ними лежало не предприятие, а Царство Ржавого Грома. Их путь сюда был кошмаром: ускользая от патрулей Нацгвардии, перегородивших все основные дороги, под предлогом «техногенной опасности» они пробирались через задворки промзоны, мимо остовов складов, где тени двигались слишком резко и нечеловечно, где слышался шепот не из этого мира. Теперь они здесь. У порога безумия.

— Готов? — спросил Андрей, голос хриплый от напряжения. В руке он сжимал увесистую монтировку, найденную в развалинах. Осколок Камня Грани прожигал карман, его пульсация сливалась с гулом завода.

Алексий молитвенно сжал нательный крест и фляжку со святой водой. Его лицо в тусклом свете уличного фонаря, мигающего, как в предсмертной агонии, было бледным.

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Идем. Ищи то, что ищешь, Андрей. Господь управит.

Путь в Ржавое Сердце

Перелезть через полуразрушенный забор для изнуренных путников оказалось непросто. Внутри их встретил пейзаж апокалипсиса. Пустынные, заваленные металлоломом и битым бетоном проезды. Зияющие пустотами окна цехов, похожих на черепа исполинских машин. И тишина, нарушаемая лишь вездесущим гулом, скрипами, далекими, неясными ударами. Но тишина эта была обманчива.

Сначала Андрей принял их за груды мусора. Пока одна «куча» не развернулась со скрежетом тормозных колодок. Это было нечто собранное из обломков конвейеров, шестерен, труб и арматуры. Оно двигалось на кривых, самодельных гусеницах из траков, его «голова» — сплющенный газовый баллон с горящей внутри тусклокрасной точкой — повернулась к ним. Раздался шипящий звук, похожий на выброс пара, и из трубы-«пасти» полыхнуло облако едкого, ржавого дыма. Они бросились в сторону, в проем разрушенной стены цеха. Техноморф не преследовал, лишь издал протяжный, металлический стон и пополз дальше, патрулируя территорию.

В одном из переходов между цехами пол был покрыт маслянистой, переливающейся всеми цветами радуги лужей. Запах стоял такой, что слезились глаза и першило в горле. Над лужей висело желтоватое марево. Стальные балки над ней были изъедены до причудливых кружев. Пришлось обходить по шатким, проржавевшим лестницам, каждую секунду ожидая обвала.

В разбитых окнах лабораторного корпуса буйно разрослись странные растения. Лианы, покрытые не листьями, а чем-то похожим на хитиновые чешуйки, тянулись к ним, шипя и выделяя едкую слизь. Из вентиляционной шахты выползли толстые, бледные черви, покрытые каплями той же маслянистой жидкости. Они двигались с неестественной скоростью, оставляя за собой дымящийся след на бетоне. Алексий плеснул на них святой водой. Черви задымились, скрылись в расщелины, как мелкие грызуны, а те, на кого попала Божья благодать, свернулись в обугленные комочки. Растения отпрянули, шипя.

Фанатики Перуна заметили напарников у входа в огромный доменный цех...

Человек пять. Непохожие на бомжей или мародеров. Они были в самодельных нашивках с молниями и стилизованными топорами, выжженных на грубой ткани. Лица ожесточенные, глаза горели фанатичной верой. Один держал в руках факел, сделанный из промасленной ветоши и трубы, другой — увесистую кувалду.

— Стой! — крикнул факельщик, его голос сорвался на визг. — Чужаки! Шпионы Велесовы! Не оскверняйте Святилище Громовержца!

— Мы ищем, — начал было Андрей, но кувалдист перебил:

— Молчи, слуга Тьмы! Перун видит вас! Его Гнев сожжет! Жертву принесем! Завод! За Силу!

Они ринулись вперед, неистовые, несуразные. Атака была слепая, яростная. Андрей отбил кувалду монтировкой, металл звонко стукнул, высекая искры. Алексий бросил им под ноги горсть соли, взятой у бабки Марии, и громко начал зачитывать строки псалма: «Да воскреснет Бог! И расточатся врази его...» Соль, шипя, задымилась при контакте с маслянистым полом. Перуновцы замешкались, охваченные суеверным страхом. Этого хватило, чтобы скрыться — напарники нырнули в темный зев доменного цеха, оставив позади вопли: «Жги их! Перун, прими жертву!»

Царство Ржавого Грома: сердце капища и тайны подземелий

Доменный цех № 3 был наполовину обнесен забором, получался второй бетонный рубеж для идущих к нему. Цех встретил их не просто гулом. Воздух сам вибрировал — тяжелые, низкие волны, бьющие по грудной клетке, заставляющие зубы стучать в унисон. Это был не звук, а физическая боль, впивающаяся в кости. Сердце капища Перуна не клубилось дымом, не било молниями. Гигантское пространство, погруженное в полумрак, тонуло в нем, нарушаемом лишь редкими аварийными лампами, мигающими где-то наверху багровыми отблесками в маслянистых лужах, как кровь в открытой ране. Воздух гудел, как в улье размером с собор. В центре, подобно идолу забытой цивилизации, высилась домна № 3. Не печь — колоссальный саркофаг для древнего зла. Сама домна высилась огромным ржавым цилиндром, уходящим в черноту потолка. Покатые красно-коричневые бока конструкции были испещрены шрамами: следами взрывов, ударов, свежими царапинами, складывающимися в узнаваемые спирали и звериные морды.

У основания домны, на огромной, закопченной плите, они увидели следы недавнего костра: обгоревшие кости не то животных, не то людей, обрывки черной ткани с вышитыми красными рунами, похожими на те, что носили «Сыны Ратибора». Жертвенник у подножия Стального Бога.

Андрей почувствовал, как осколок Камня Грани в кармане стал горячим, его вибрация усилилась, резонируя с гулом домны. Перед глазами мелькнули видения: не плавка стали, а потоки жидкой тьмы, льющейся из жерла; фигуры в рогатых шлемах, бросающие в огонь не руду, а живых людей; лицо инженера Ворошилова, искаженное восторгом безумия, сливающееся с металлом печи. Он схватился за голову.

— Андрей? — Алексий положил руку ему на плечо. От прикосновения видения рассеялись, но остался леденящий холод в груди.

— Здесь все пропитано им. Перуном. Вернее, тем, что им притворяется, — прошептал Андрей. — Он голоден. И зол.

Напарники двинулись дальше, в глубь завода, минуя цеха, где роботы-манипуляторы замерли в неестественных позах, словно застигнутые врасплох во время какого-то безумного ритуала. На входе в ангар висела табличка «Сектор спец. Сплавы и энергетика», в самом корпусе царил хаос. Разбитое оборудование, разбросанные бумаги. Андрей нашел уцелевший журнал регистрации опытов. Большинство записей были залиты чернилами или вырваны, но на одной странице, датированной незадолго до закрытия завода, дрожащей рукой было написано: «Образец черный гранит», в скобках, под основной надписью, стояла приписка «изъят с холма». Страницы журнала пестрели выделенными или подчеркнутыми заголовками: «Резонансные частоты...», «Аномальное энерговыделение при контакте с артефактами группы „В“, керамика с зооморфными спиралями», «Попытка стабилизации импульсом тока высокого напряжения. Неудача». Концовка журнала была не менее пугающей: «Усиление фонового гула. Стены — шевелятся. Личный состав испытывает приступы агрессии, видения. Прекратить опыты! Ворошилов приказал продолжать. Боже, что мы пробуждаем?» Подпись неразборчива.

Подземные хранилища, куда они спустились по шаткой лестнице, оказались лабиринтом залитых водой коридоров. Воздух был спертым, пахло пропитавшей все плесенью и медью. Вода у ног была странно маслянистой и теплой. На стенах — свежие, глубокие царапины, словно от когтей огромного зверя. В одном из тупиков они

нашли сваленные в кучу ящики. На одном — полустертая надпись: «Обр. КГ. Фрагм. Для исслед. ОПАСНО!» Ящик был пуст. Его массивный стальной замок не был взломан — он был расплавлен изнутри, будто от точечного удара адского пламени. Рядом на полу лежал обломок — черный камень с кровавой прожилкой, размером с кулак. Он был горячим и пульсировал в такт гулу завода. Андрей поднял его — второй осколок Камня Грани. В руке он вспыхнул тусклым багровым светом, а в ушах Андрея пронесся стон — смесь боли, ярости и странной надежды. Кто-то забрал основную часть. Но этот кусочек — его выплюнула сама земля? Или Печать пыталась дать им шанс? Кто-то побывал здесь до них. Кирилл? Фанатики?

На выходе из подземелий лабораторного цеха виднелась пластиковая будка. Табличка на ней гласила: «Охрана». Боковая стена будки была проломлена. Андрей интуитивно заглянул в прогал. На полу валялись журналы выдачи ключей, учета входящих и выходящих. Взгляд его споткнулся о знакомую вороненую рукоять с текстолитовой накладкой, попавшей в круг света фонаря. «Не может быть! „Макаров“?» — музейщик наклонился и взялся за увесистый кусок металла, несущего смерть. Обойма была на месте. Отщелкнул магазин, проверяя, есть ли патроны. «Даже не стреляли», — Андрей выглянул в коридор. Отец Алексий вопросительно смотрел на напарника.

— Представляешь? Ствол нашел. Обойма полная.

— Видно, торопились, — священнослужитель пожал плечами, — немудрено в такой ситуации.

— Отец Алексий, ты вот что. Я все понимаю: Вера, Бог, Святая вода и Молитва — спасут без сомнений. Как там в святых текстах: «Душа наша уповает на Господа: Он — помощь наша и защита наша», — Андрей по памяти процитировал Псалтырь. — Но возьми пистолет и нож себе, мне так спокойней будет.

Священнослужитель посмотрел на Андрея долгим взглядом и понял, что спорить не имеет смысла. Молча взял вороненую сталь и засунул за пояс, под рясу с одного бока, а клинок с другого.

Энергоблок № 4. Лик бога-машины

Они вышли к энергоблоку № 4. Энергоблок № 4 был алтарем и преддверием ада одновременно. Гул здесь был не звуком, а физическим насилием, выворачивающим внутренности, заставляющим вибрировать череп. Двери были взломаны. Внутри царил гул трансформаторов, но это был не ровный промышленный звук. Он был живым, пульсирующим, мыслящим. Воздух звенел от статики, искрил синими огоньками на любой металлической поверхности. Огромные турбины и генераторы стояли как застывшие механические божества, оплетенные толстыми кабелями, по которым не тек ток — пульсировал рубиновый свет, как кровь по вздувшимся венам. В центре зала возвышался главный пульт — черная консоль, покрытая мигающими лампочками и экранами, на которых плясали не цифры, а все те же непонятные рунические символы и искаженные звериные лики.

Андрей шагнул вперед, притягиваемый необъяснимой силой. Осколок Камня Грани пылал в кармане. Перед его внутренним взором разверзлась бездна знаний: схемы завода, сливающиеся с руническими письменами и переплетающиеся с картами звездных тоннелей; формулы квантовой физики, перетекающие в шаманские заклинания, обретали плоть, становясь живыми рунами, пляшущими в ритме шаманского же бубна; понимание устройства мира на стыке материи и чистой энергии. Он понимал все: от рождения кварков до последней мысли умирающего в Чанске. Это был

восторг чистого знания, обещание покоя для вечно ищущего ума. Голос, похожий на гул трансформатора, смешанный с раскатами грома, зазвучал внутри его черепа:

«Андрей Соколов. Копатель Мертвых Костей. Ты ищешь „Знание“? Оно здесь. Сила Порядка. Математическая красота Мира, скованного Сталью. Прими ее. Стань Моим Жрецом. Мы упорядочим Хаос. Мы скроем Гнев в нерушимую клетку Разума. Твои мучительные поиски закончатся. Ты будешь ВЕДАТЬ».

Соблазн был чудовищным. Знание! Ключ ко всему! Избавление от кошмара через абсолютный контроль! Конец боли! Контроль над хаосом! Андрей почувствовал, как его воля тает, как разум готов распахнуться навстречу этому бездушному всеведению. Он сделал шаг к пульту управления, покрытому мерцающими непонятными символами. Рука сама потянулась к мерцающему синему тумблеру на пульте. Еще мгновение — и его разум растворился бы в этом ледяном всеведении.

— Нет! — крик священника пробился сквозь гул. — Андрей! — голос Алексия звучал как удар, нет, как сотня ударов, как набат колокола в аду.

Алексий видел иное. Поток информации — истинный лик Перуна. Это был не громовержец с бородой. Это был архетип. Древняя, слепая сила Ярости и Абсолютного Порядка, родившаяся, возможно, еще до звезд. Огромный, бесформенный сгусток чистой энергии Гнева, закованный первобытным разумом в форму воина-громовержца, чтобы он был понятен людям. Но форма треснула. Теперь это была рвущаяся наружу ярость, маскирующаяся под логику и порядок, но стремящаяся лишь к одному — подчинить, сломать, заковать в свои незыблемые законы все вокруг, включая саму жизнь. Лицо Ворошилова, промелькнувшее в видении Андрея, было лишь крошечной, жалкой искрой, поглощенной этим чудовищем.

Алексий вскинул распятие.

— Ты не Бог! Ты — Гнев в маске порядка! Именем Христа я отвергаю тебя!

Луч веры, чистый и яростный, ударил из распятия не в физическую сущность, не в механизмы, а в тот самый архетип, в саму его связь с этим местом. Гул трансформаторов взревел бешеной болью, превратившись в яростный, безумный вой. Багровый свет в шинах и кабелях вспыхнул ослепительно, и одна из турбин сорвалась с фундамента с чудовищным скрежетом, как подстреленный зверь. Иллюзия знания вокруг Андрея рухнула. Он отшатнулся, чувствуя, как ледяные щупальца выдергиваются из его разума, оставляя кровавую пустоту и тошноту. Он упал на колени, задыхаясь, мир качался.

Вызов тьмы: врата в Навь

Из тени за пультом управления от опрокинутой турбины вышел он. Кирилл. Но это был лишь жалкий каркас того парня. Кожа землистого цвета, обтягивающая кости. Одежда висела лохмотьями. Но глаза... Глаза были черными, поглощающими свет, без белка и зрачка, глубокими, как колодцы в Навь. В руке он сжимал глиняную табличку — целую, без трещин, покрытую теперь ядовито светящимися зеленым светом спиралями. От него исходил запах сырой могильной земли, тлена, гниющих корней и дикого леса. И невероятная, первобытная, нечеловеческая, давящая мощь.

— Жалкие букашки, — его голос был множественным, как шелест листьев вперемешку со скрежетом камней и сдвигающихся пластов земли. — Вы ползаете и копошитесь в паутине умирающего бога-машины. Перун слаб. Он боится Голода, трепещет перед Ним, что тот восстает. Я же, — черные глаза вспыхнули внутренним, болотным огнем. — Я Велес. Я — Лес, что душит города. Болота, что поглощают па-

мять. Сама Жизнь, пожирающая саму себя, чтобы родиться вновь. Смерть — мое семя. Ваш порядок — прах. Ваша вера — песок. Хаос — моя стихия.

Он посмотрел на Андрея, и в этом взгляде не было ненависти, лишь холодное любопытство вечности, рассматривающей насекомое, и ненасытный голод вместе с обещанием.

— Ты почти пал, Копатель Костей. Ты чувствуешь зов Низа. Кровь твоих предков течет во тьме под нами. Твоя кровь знает древние тропы. Скоро ты поймешь. Скоро ты примешь.

Потом взгляд черных глаз скользнул по Алексию:

— А ты, Жрец Мертвого Бога! Твоя вера — Бога, забытого даже Его небом. Твоя вера — тростинка над пропастью. Она сломается. И ты упадешь. В Навь. Ко мне. Твоя душа станет семенем для нового древа Хаоса.

Кирилл-Велес поднял руку с табличкой. Знаки на ней засветились тусклым, болотным светом. Он протянул ее вперед, как ключ. И пространство перед ним разорвалось.

Звука не было. Был удар по реальности. Пол под ногами героев вздыбился волной. Стены энергоблока задрожали, с них посыпалась штукатурка. Прямо перед Кириллом, в самом центре зала, бетон начал раскрываться. Бетонный пол не треснул — он растворился, как сахар в кипятке, обнажив не пустоту, а зияющую черноту. Обнажилась черная, маслянисто блестящая поверхность — не земли, не камня. Она пульсировала. От нее тянуло леденящим холодом космоса и смрадом разложения. Это был портал. Врата. В Навь. Веяло космическим холодом абсолютного нуля и смрадом миллиардов гниющих вселенных. Он пульсировал в такт гулу завода и глубинному стону земли, словно живое, ненасытное чрево.

— Вы искали путь к Источнику? — голос Велеса звучал насмешливо и бесконечно устало, как сама вечность. — Вот он. Ступайте. Узрите Истину. Узрите Голод, что ждет! За гранью этого жалкого мига бытия. Или, — он сделал паузу, и в его бездонных глазах промелькнуло что-то чужое, древнее и безумно жаждущее, — останьтесь. И станьте частью пира.

Кирилл-Велес шагнул в черное зияние. Он не утонул и не упал. Он растворился в нем, как капля воды в океане тьмы. Его тело не упало — оно расплылось, как чернила в воде, слилось с абсолютной чернотой. Портал остался открытым. Черное зеркало, мерцающее изнутри тусклыми, нездешними огнями, пульсирующее в такт гулу завода и глубинному биению Гнева под землей. Оно ждало. Оно дышало холодом смерти и безумия.

Андрей и Алексий стояли на краю. Путь в Царство Ржавого Грома привел их к Вратам Вечности и Безумия. Выбор висел в ледяном, отравленном воздухе: шагнуть в неизвестность Нави или остаться — и быть сожранным пробуждающимся Гневом Земли, раздавленным железной пятой искаженного Перуна или растерзанными фанатиками у его алтаря. Гул завода смешивался с тихим, многослойным шепотом, доносящимся из черного тоннеля, сливавшимся в одно, леденящее душу:

«Андре-е-ей. Твоя о-че-р-р-ре-дь».

ГЛАВА 7: ПЕСНЬ СЕДЬМАЯ. КИШКИ МИРА

Дышать в тоннеле было трудно, воздух был не дыханием, а густой вытяжкой разложения. Он лип к коже теплой, мерзкой сальностью, пропитанной ароматом гниющего дуба, окислившейся крови и праха эпох, стертых из памяти. Стенки содрогались ритмично, как гигантские перистальтические волны, сопровождаясь хлюпающим,

чавкающим гулом. Никакого света — лишь призрачное, желто-зеленое свечение самой плоти Нави, отбрасывающее неверные, зловещие тени, которые будто тянулись к лодыжкам. Подошвы скользили по поверхности, напоминающей покрытую слизью живую губку.

ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ

Искушение нулевое: не трон, а лекарство

Тоннель не просто расширился — он растворился. Вместо него возник кабинет директора завода «Перун-стали». Не костяной чертог, а знакомый до боли: полированный стол, схемы на стенах, вид из окна на дымящие трубы — только трубы эти дымили неестественно черным, вязким дымом, словно трубы крематориев концлагеря, питавшиеся человеческой плотью.

Тоннель обрушился позади него не грохотом, а тихим вздохом. Свет факела погас, поглощенный внезапной бархатной тьмой. Не пустотой — плотной, осязаемой мглой, в которой плавали золотистые искры, как пыльца в луче света. Воздух стал тяжелым, сладковатым, с приторным запахом гниения. Андрей замер. Камень Грани в его руке пылал ледяным предупреждением.

Искушение первое: власть — исправление прошлого

Тьма расступилась. Он стоял не под землей, а на площади родного города. Но не руины. Яркое солнце. Смех детей. Зеленые деревья. Люди — живые, улыбающиеся — здоровались с ним. На скамейке сидела Мария. Не призрак, а плотная, реальная. Лицо, которое он чувствовал, но не мог вспомнить, было перед ним. Она вязала, улыбаясь теплу дня. Рядом, оживленно споря о чем-то, стояли Сергей, здоровый, без перекошенной ноги, и отец Алексий, без смертельной усталости в глазах, без дыры в груди. Они манили его присоединиться.

Голос — нежный, убедительный, похожий на шелест листвы: «Смотри, Андрюшенька. Мир цел. Они живы. Тепло. Покой. Это — твое. Всего лишь... отдай Камень. Он здесь не нужен. Он — груз прошлого, которого больше нет. Отдай и останься. Навсегда».

Сердце Андрея сжалось невыносимой болью и тоской. Шаг. Всего шаг — и боль уйдет. Затихнет ледяная тяжесть Камня. Он протянул руку и увидел. Тени под ногами у людей были неправильными. Слишком глубокими, жидкими, тянущимися к нему, как щупальца. А в глазах Марии, когда она посмотрела прямо на него, мелькнуло не тепло, а голод. Голод пустоты, жаждущей заполниться его душой. Иллюзия треснула. Это была не жизнь, а идеальная ловушка забвения, оплаченная отказом от силы и долга. Он рванул руку назад, стиснув Камень до боли. Видение взорвалось золотой пылью.

Искушение второе: погибшие близкие — жертва ложному спасению

Тьма сгустилась. Он бежал по узкому, дрожащему мосту над бездной. Внизу бурлила багровая магма Разлома. Впереди, у самого края пропасти, стоял Алексий. Не мирный, как в видении ранее, а истерзанный. Его ряса была в крови, лицо — маской агонии. За ним в клубках багрового пара маячил контур Сергея, кричащего от нечеловеческой боли. Алексий протягивал к нему окровавленную руку.

Голос, теперь — хриплый, отчаянный, голос самого Алексия из памяти: «Андрей! Скорее! Брось Камень в бездну! Он — ключ! Он запечатает Разлом НАВСЕГДА! Спаси нас! Спаси их всех! Брось его — и мы будем свободны! Это единственный путь!»

Разум человека, ставшего священником, кричал: брось! Спаси их! Жалость разрывала сердце. Вид страданий Алексия и Сергея был невыносим. Он занес было руку с Камнем над бездной. И вспомнил. Вспомнил спокойный взгляд настоящего Алексия перед жертвой. Вспомнил его последние слова: «Держись! Зови Марию! Любовь! Помни ЛЮБОВЬ!» А не «брось Камень!» Это был подлог. Отчаяние, вывернутое против него. Бросок Камня в Разлом не спасет призраков, он отдаст силу Гневу, сделает запечатывание невозможным. Андрей прижал Камень к груди. «Простите», — прошептал он не иллюзиям, а их светлой памяти. Мост рухнул, унося кричащие видения в багровую пустоту.

Искушение третье: ложный путь — легкая победа

Тьма отступила, открыв три тоннеля. Каждый излучал обманчивую надежду.

Левый залит мягким, целебным светом. От него веяло покоем и безопасностью. Голос, теперь ласковый: «Сюда. Путь к поверхности. К солнцу. Оставь бремя. Ты сделал достаточно. Спасение — здесь».

Правый пульсировал ядовито-зеленым светом. В нем виднелся образ Велеса-Кирилла, но не яростный, а договороспособный. Он указывал на темный проход в стене. Голос, теперь гладкий, рациональный: «Запечатать Разлом полностью — утопия. Но можно перенаправить его гнев. На врагов. На тех, кто слабее. Сохранишь ядро города. Сохранишь жизни. Камень даст контроль. Это мудрость, Андрей. Не героизм».

Центральный: тонкая, едва заметная трещина в скале. За ней — только густая, зловещая тьма и нарастающий гул самого Разлома. Никакого света. Никаких обещаний. Только путь в самое пекло. Камень в руке Андрея ныл ледяной болью, направленной именно сюда.

Легкий путь к солнцу? Соблазн сдаться, объявив победу? Или страшный компромисс с тьмой ради частичного спасения? Ложные пути. Они вели не к победе, а к поражению — бегству, предательству или вечному рабству у силы Разлома. Центральная трещина не сулила спасения. Она сулила битву. Последнюю и самую страшную. Но только она вела к истинной цели.

Андрей закрыл глаза. Вспомнил не образы, а суть: тепло рук Марии. Спокойную веру Алексия в него. Жертвенный взгляд Сергея. Их нельзя предать ради легкого пути. Он открыл глаза. Взгляд был твердым. Он шагнул в трещину. В кромешную тьму. Навстречу гулу. Навстречу Разлому. Лабиринт иллюзий остался позади, его шепоты смолкли, растворившись в грохоте настоящего ада, ждущего впереди. Цена ясности была выплачена болью отвергнутых соблазнов. Теперь оставалась только война.

Первая смерть: охотники беззвучия

Они пришли невидимо. Просто пространство начало умирать вокруг них. Звук шагов — хлюпающий, противный — стал резко приглушенным, будто кто-то накрыл мир ватным одеялом. Свет Камня потускнел, его луч словно упирался в невидимую, вязкую стену. Андрей почувствовал, как волосы на затылке встают дыбом — не от страха, а от разрежения. Воздух стал тоньше, высасывая тепло.

«Н-а-а-а-д н-а-а-а-м-и-и-и», — шепот исходил от стен, отражаясь эхом словно внутри глубокого колодца.

Андрей вскинул голову вверх. Там, где должен был быть свод, зияла пустота. Не тьма — а отсутствие всего. Абсолютная, всепоглощающая пропасть, которая медленно сползала вниз, как капля отработанного масла в воде. Там, где она касалась света Камня, луч искривлялся, преломляясь в несуществующем, и на миг историку показалось, что он глядит сквозь разлом — в бесконечную, ледяную пустоту между мирами, где не было ни времени, ни мысли. Пустота тянулась к ним.

«Гори!» — выдохнул Андрей, вкладывая в Камень всю волю. Ледяное сияние взрезало тьму, ударив прямо в сползающую бездну. Раздался звук — не громкий, а низкий, рвущийся, как лопнувшая струна космоса. Охотник Беззвучия отпрянул, оставив после себя висящий в воздухе шрам — мерцающую щель, из которой сочился не воздух, а жуткий холод небытия. Они бросились вперед, проскальзывая под этим шрамом. Музейщик чувствовал, как его щеку обжигает космический мороз, а на мгновение звуки мира и биение собственного сердца пропали — выхваченные зевом бездны.

Вторая смерть: мандрагоры[7] забвения

Едва они оторвались от Охотника, как на них обрушилось роение. Не с воздуха, а выползло из складок самой живой плоти Нави, из щелей под ногами. Существа, похожие на корни мандрагоры, вымоченные в гнеди — извивающиеся, липкие, с десятками мелких, костяных жал вместо окончаний. Они не атаковали тело. Они ввинчивались в биополе, цепляясь к вискам, к основанию черепа, к груди над сердцем.

Боль была физической. Это было выскабливание. Острое, леденящее ощущение стального скребка внутри черепа. Вспышка: Солнечный день на реке, отец учит плавать, вода теплая, смех звенит. Резкая боль — и картина рассыпалась пеплом. Осталась лишь пустая рама воспоминания, холодная и зияющая. Андрей застонал, вырывая одну тварь — она оставила на пальцах липкую слизь и призрачное ощущение утраты. Рядом вскрикнул священник — не от боли, а от ужаса: «Моя песня! Колыбельная мамы! Я, я, я, не помню мотив!» Его голос был полон паники. Мандрагоры жужжали, как крошечные сверла тысяч дрелей, выгрызая кусочки их сущности. Камень Грани пылал, заставляя тварей съеживаться, но не отпугивал полностью. Они отползали, оставляя после себя не раны, а внутренние шрамы — места, где когда-то жило что-то дорогое, а теперь — лишь ветер пустоты и горький привкус окислившейся меди на языке.

Третья смерть: эмбрионы ужаса

Они шли, спотыкаясь, оглушенные тишиной после Охотника и опустошенные мандрагорами. Ноги стали ватными, разум — вязким, как смола. И тогда... Оно пришло. Не существо. Атмосферное явление кошмара.

Воздух загустел до состояния сиропа. Дышать стало невозможно — грудь сдавило невидимыми тисками. Сердце Андрея забилось с такой силой, что боль отдала в зубы, в виски. По спине побежал ледяной пот, а по коже — волна незримых мурашек, которые моментально превратились в отчетливое ощущение тысяч острых лапок, скребущих под одеждой, ползущих по шее, к волосам. Беги! Сейчас! Умрешь! —

[7] Мандрагора (лат. mandragora) — род многолетних травянистых растений семейства пасленовые. Название связано с характерной формой корня, напоминающей человеческую фигуру, что сподвигло народные легенды о магических и лекарственных свойствах растения.

завывал в подсознании первобытный вопль, не оставляя места мысли. Он инстинктивно рванулся вперед, не видя пути, не видя напарника. — только пасть невидимого хищника, дышащую ледяным смрадом в затылок. Зрение помутнело, сузившись до тоннеля чистого, необъяснимого панического бегства. Он налетел на священника, который стоял, прижавшись к стене, его пальцы впились в пульсирующую плоть Нави, глаза закатились, на губах — пена. По его руке, от запястья к локтю, проступали багровые полосы, будто по ней провели невидимой раскаленной проволокой. Эмбрион Ужаса висел в воздухе незримым сгустком, индуцируя себя, любимого, прямо в их нервную систему. Он не кусал — он заражал смертельным испугом, заставляя их тела агонизировать в беспорядочной тревоге. Волна отхлынула так же внезапно, оставив их на коленях, давящихся воздухом, с трясущимися руками и глубоким, унизительным знанием: их разум и тело — всего лишь хрупкие сосуды, которые Навь может разбить одним дуновением.

Оазисы Нави. Карманные ады тоски

Измученные, с душой, исцарапанной тварями Нави, они почти не заметили, как мерзкое дыхание тоннеля смягчилось. Давящая пульсация стен ослабла, сменившись ровным, почти живым гудением. Воздух, хоть и все такой же спрессованный, утратил оттенок гнили, наполнившись покоем. Перед ними расступился не проход, а словно разошлась сама плоть Нави, открыв карман иного пространства.

Оазис первый: капище вечного прощания

Они ступили на мягкую, покрытую мхом землю. Запах хвойного бора и тлеющих лесных трав ударил в ноздри — такой знакомый и такой неуместный здесь аромат... Перед ними стояло старое капище Велеса, точь-в-точь как то, что уничтожили перед строительством металлургического комбината. Резной лик бога в виде очень худого старика с тонкой длинной бородой смотрел не грозно, а с древней, усталой мудростью. У подножия идола лежали дары: горбушка свежего хлеба, горсть свежесобранных ягод, лоскут вырванной собачьей шерсти. Травы на каменном алтаре дымились, рисуя в воздухе причудливые знаки. Тишина. Настоящая, глубокая, без зловещего гула Нави. Алексий невольно вздохнул полной грудью, плечи его расслабились. Историк почувствовал, как ледяной ком страха в груди начал таять. «Отдохнуть. Хотя бы минуту», — шептало изможденное тело. Он сделал шаг к алтарю, рука потянулась к теплому дыму тлеющих трав... И тут Камень Грани на его груди заныл. Тихо, жалобно, как раненый зверь. Андрей замер. Пригляделся к горбушке хлеба. Она была идеальной. Слишком идеальной. Без единой трещинки, без следов выпечки — словно вылеплена из воска. А дым от трав — он не рассеивался. Он висел неподвижными, плотными туманными кольцами, как окаменевший угар. И травинки на алтаре — при внимательном рассмотрении — оказались не растениями, а сплетением тончайших черных волос, медленно тлевших с запахом паленого рога. Лик Велеса дрогнул — в глазах блеснула не мудрость, а голодная тоска плененной души, навеки обреченной воссоздавать то, что утрачено. Оазис сжался вокруг них с глухим стоном, стены капища поплыли, превращаясь в складки серой, мертвой кожи. Они вырвались обратно в пульсирующий тоннель, унося с собой лишь привкус пепла на языке и горечь предательства — предательства миража покоя.

Оазис второй: клетка для Кирилла

Следующий карман втянул их, как воронка. Один миг — липкий полумрак тоннеля, следующий — ослепительная ярость люминесцентных ламп. Они стояли в комнате. Запах старой пыли, дешевого кофе и паяльной кислоты[8]. На столе — знакомый до боли хаос: смятые схемы, макет печатной платы, паяльник. И он. Кирилл. Сидел на краю кровати в растянутом свитере, с растрепанными волосами, щурясь на плату в руках. Живой. Настоящий. Друг. Его пальцы привычным жестом поправили очки.

— Черт возьми, Андрей? Отец Алексий? Как вы... — его голос был точной копией, с той самой хрипотцой от недосыпа. Он улыбнулся — той самой, чуть кривой, застенчивой улыбкой, от которой всегда теплело. — Вылезли из той переделки на заводе? Я тут. Застрял. Кажется, что-то замкнуло, когда щиток падал.

Он потер виски. Тот самый жест. Сердце Андрея сжалось. Вот же он! Целый! Священнослужитель сделал шаг вперед, рука дрогнула, готовая обнять. Искушение было огненным, невыносимым. Спасти его. Вытащить. Сейчас!

Но что-то было не так.

Лампы горели слишком ярко, без мерцания, отбрасывая мертвенно-стальные тени. За окном вместо ночного города клубилась абсолютная, беззвездная мгла. И сам Кирилл — он был слишком живым! Слишком! Идеальной копией. В его глазах, за стеклами очков, не было глубины, той самой одержимости и страха, что они видели перед Погружением. Была лишь плоская, нарисованная тоска. И запах. Запах паяльной кислоты перебивал что-то еще. Слабое, но неумолимое. Запах тления. Как от старой проводки, которая вот-вот вспыхнет.

— Кирюш, — начал Андрей, голос сорвался. — Что это? — Историк указал на стену над кроватью. Там висел постер с космическим кораблем. В углу постера, где должна была быть подпись художника, четко виднелся микроскопический череп, выведенный чернилами, которых там никогда не было.

Лицо Кирилла дрогнуло. Улыбка сползла.

— Не... не смотри туда, — прошипел голос, и в нем уже не было ничего человеческого, только скрежет камней. Комната задергалась. Стены затрещали — на них сначала образовались швы, которые затем разорвались, обнажая под штукатуркой пульсирующую, багровую плоть Нави. «Кирилл» вскочил. Его тело начало расплываться, как пластилин под жарким солнцем на лавочке у подъезда. Черты лица поплыли... сквозь кожу проступили черные жилы....

— ОСТАЛИСЬ БЫ! — заревело что-то из этого месива, протягивая к ним руки, превращающиеся в щупальца. Напарники рванулись к двери, которая теперь стала разверзшейся пастью в стене. Андрей оглянулся. Там, где только что был «Кирилл», корчился сгусток боли и гнева, вплетенный в стены комнаты-ловушки, а постер с кораблем горел синим, холодным пламенем, обнажая спрятанный за ним лик плачущего идола Велеса. Отец Алексий и Андрей вылетели обратно в тоннель, и в ушах историка еще долго стоял не рев, а одинокий стон запертой души, обманутой миражом дома.

Сердце Велеса. Сердцебиение тьмы и цена искры

Тоннель выплюнул их в чрево. Гигантская пещера, стены которой не просто пульсировали — они дышали единым гулким, влажным вздохом, как легкие колосса. Воз-

[8] Паяльная кислота — это специальный химический состав, который используется в качестве флюса при пайке различных металлов. Это не чистое химическое вещество, а смесь, иногда с добавками других активных компонентов.

дух вибрировал от низкого, подкожного гулования, резонирующего в костях. В центре, на пьедестале из спрессованных костей, ржавых арматур и щитов Чанского металлургического комбината, возвышалось изваяние. Не идол. Гнездо. Сплетенное из черных корней, бьющейся жилы, глаз-пузырей и щупалец со ртами-присосками. Оно дышало, и с каждым выдохом из его складок выползали, вытекали, выкатывались сущности. Гибриды хитинового каркаса, стальных шестерен и влажной плоти — ползающие, скользящие, шипящие. Полчище новой, искаженной жизни Велеса для Яви. Город был лишь скорлупой для этого перерождения.

В груди чудовища, за решеткой из ребер, стоял Кирилл. Вернее, его оболочка. Глаза пылали холодным, нечеловеческим сиянием Велеса. Голос, доносящийся из его уст, был наложением знакомого тембра и скрежета тысячелетий:

— Черви. Приползли к Источнику? Наблюдайте. Рождение! Этот труп-город станет колыбелью Истинной Плоти! — щупальце изваяния дернулось, указывая на полчище. — Они. Первые ростки в гниющем навозе вашего мира!

Ритуал отчаяния

Силы таяли. Полчище приближалось, шипя, как перегретый пар. Знаний не хватало. Одно — запечатать связь с Гневом, а не сражаться с богом. Андрей выхватил Камень Грани. Ледяное сияние его казалось жалкой искрой перед гнетущим мраком пещеры.

— Макошь! Дух Камня! — голос историка сорвался, но был полон безумной решимости. Она вонзила ритуальный нож в пульсирующий пол под ногами. Черная жила Нави брызнула. — Прядилица Судьбы! Дай нить Запечатывания! Ключ! Цену знаем! Бери!

Сталкеры схватились за Камень вместе. Лед обжег пальцы. Андрей вонзил свой клинок в плоть Нави, ощущая, как мерзкая энергия впивается в руку.

— Покажи! — проревел он, направляя всю волю, весь страх, всю ярость в холодный артефакт.

Камень взвыл. Не звоном — снежным вихрем, который вырвался из него и впился им в виски. Знание обрушилось: не слова, а вибрации, сплетения силовых линий, точки разрыва между Велесом и Древним Гневом. Руны пылали в сознании. Но вместе с ними пришла Цена. Андрей почувствовал, как вырывают кусок его души — смех матери в солнечный день детства, само ощущение того тепла выдрано с корнем. Осталась пустая, ноющая выемка. Алексий вскрикнул — не от боли, от ужаса: образ его младшей сестры, ее первый шаг рассыпался в прах. Волосы обоих вмиг поседели. Кожа, подернутая инеем истощения, обвисла на скулах. Жизнь утекала, как песок, питая связь с древней силой Макоши, с духом создателя Камня. Они стояли, сгорбившись над артефактом, превращаясь в живые жертвенные свечи...

Бегство сквозь адский мел

Андрея и отца Алексия, полумертвых, поседевших, с пустотою в душах, где когда-то жили драгоценные воспоминания, швыряло ударными волнами. Камень Грани в руках музейщика пылал — Запечатывание работало, ледяные сигилы[9] вгрыза-

[9] Сигил (сигилла) — символ или комбинация нескольких символов или геометрических фигур, обладающий магической силой. Термин происходит от латинского sigillum, что означает «печать». Также он может быть связан с ивритом segulah, который означает «слово, действие или элемент духовного воздействия». Традиционно сигил представляет собой линейную диаграмму, в которой

лись в основание изваяния, порывая связь с бездной Гнева, но битва богов грозила быстрым погребением.

— ВОН! — захрипел Алексий, указывая на единственный еще не рухнувший проход — узкую щель в корчащейся стене, залитую багровым светом рушащегося ада.

Они бросились, спотыкаясь о трещины, давя тварей, уворачиваясь от падающих глыб живой породы и снопов искр. За спиной грохотало, ревело, светилось адским калейдоскопом. Пещера схлопывалась. Изваяние Велеса, пронзенное молнией Перуна и подточенное ритуалом, издало чудовищный предсмертный хрип. Пьедестал рухнул. Гигантские обломки, смесь плоти, камня и рваного металла, погребли под собой сражающихся богов и большую часть их полчищ. Но волна первобытного хаоса — смешанный вой Велеса, рев Перуна и шипение Гнева — вырвалась вслед за ними, как погоня самого апокалипсиса.

Они бежали. Не к спасению, а прочь от гибели. Сквозь дрожащие, плачущие смолой тоннели, теряя последние силы, унося в груди холодное знание, выжженные души и Камень, что стоил им части их самих. Вырваться искрой человечности из кишок умирающего бога во что бы то ни стало!

ЧАСТЬ IV: ЦЕНА ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ

ГЛАВА 8: ПЕСНЬ ВОСЬМАЯ. РАЗЛОМ

Вырвались. Не победа, а бегство. Из огненного чрева — в ледяные объятия умирающего мира.

Андрей и отец Алексий вывалились из трещащего, оседающего тоннеля не на землю, а на груду искореженного металла, вмороженного в грязный лед. Воздух, резкий и промозглый, ударил в легкие, вырвав хриплый кашель. Вместо рева богов — оглушительная тишина, прерываемая лишь скрежетом оседающих конструкций да воем ветра в руинах.

Они лежали на склоне гигантского кратера, образованного обрушениями под заводом. Над ними, как скелет исполинского зверя, высились останки цеха: черные, обгорелые фермы, прогнувшиеся плиты перекрытий, изуродованные станки, заваленные снегом и льдом. Багровое зарево подземного катаклизма еще лизало небо из провала, но его уже затягивало клубами едкого дыма и снежной пыли. Смерть здесь была иной — не яростной, а медленной, леденящей, всепоглощающей.

Андрей попытался подняться, но тело не слушалось. Каждая кость, каждый мускул кричали от боли и невероятной усталости. В руке, судорожно сжатой, все еще пылал холодом Камень Грани. Камень тянул вниз, его тяжесть словно стократно увеличилась. Историк ощущал пустоту внутри себя, как выжженную пустыню, где еще минуту назад цвели сады памяти. Мария... Имя вспыхнуло и погасло, не оставив за собой ни тепла, ни образа, лишь щемящую, невыносимую потерю. Что я отдал? Что именно украли?

Отец Алексий, седой, осунувшийся, с лицом, покрытым сажей и кровью, подполз к нему. Глаза священника были мутными, в них читалась та же опустошенность, за которой слабо отсвечивала воля слабым, но упорным огоньком.

зашифровано непроизносимое имя духа. Знание имени духа дает магу возможность управлять им. Сигилы широко использовались магами, алхимиками и прочими «учеными» средневековья для вызова и управления духом или демоном. Самые известные сигилы представлены в средневековых магических и алхимических книгах, например «Малый Ключ царя Соломона», «Печати 6-й и 7-й Книги Моисея», «Сигилы Черной и Белой магии». Следует помнить, что концепция сигилов не имеет научного обоснования.

— Живы... — прохрипел он, едва шевеля побелевшими губами. — Держись... Надо. Двигаться. Холод. Добьет.

Он попытался встать, опираясь на обломок колонны, но ноги подкосились. Они были не просто ранены — они были истощены. Ритуал, битва, бегство, потеря части души. Они заплатили страшную цену за этот кусок холодного камня.

Андрей уставился в серое, низкое небо. Снежинки, редкие и мокрые, падали ему на лицо, не тая. Он чувствовал, как холод проникает сквозь одежду, сливаясь с ледяной пустотой внутри. Зачем? Мысль была тупой, тяжелой. Зачем вылезли? Чтобы замерзнуть здесь, в этих руинах, с камнем, который...

И тогда он увидел ее.

Не в небе. Не среди руин. Она стояла прямо перед ним, на искореженной балке, возвышавшейся над грудами обломков. Мария.

Но не та Мария, которую он помнил или уже не помнил. Не живая, теплая, с морщинками у глаз от смеха. Это было видение, сотканное из тумана, багрового отблеска подземного пожара и его собственной, неутоленной тоски. Она была почти прозрачной, очертания дрожали, как мираж. На ней было простое платье, какое она носила в деревне, но ветер, не касавшийся снега вокруг, трепал ее седые пряди и подол. Лицо... Лицо было печальным. Бесконечно печальным и бесконечно любящим. И в ее глазах светилось знание. Знание о цене.

Она смотрела прямо на него. Не на изможденное тело, не на Камень в его руке. В самую глубину той пустоты, что была его душой.

Голос прозвучал не в ушах, а внутри, тихий, ясный, как колокольчик, но с невероятной силой, заглушающей скрежет металла и вой ветра. Голос его бабушки.

— Андрюшенька... — прозвучало, и в этом одном слове были вся боль мира и вся его нежность.

Андрей замер. Дыхание прервалось. Он не мог пошевелиться, не мог отвести взгляд. Это был призрак его утраты, воплощенный в зримый образ. Мария... Бабушка...

Видение медленно подняло руку. Не для благословения. Не для приветствия. Тонкий, почти невесомый палец указал сначала на Камень Грани в его замерзающей руке. Камень, ради которого они прошли через ад, который стоил им части души, который был теперь единственной нитью, связывающей их с долгом, с миссией, с призраком надежды на спасение чего-то большего.

Затем палец плавно переместился. Указал на него самого. На его грудь. Туда, где была выжжена пустота. Где не стало драгоценных воспоминаний о ней, о тепле печи, о запахе пирогов, о сказках на ночь, о ее мудрости и безусловной любви. О том, что делало его человеком, а не просто носителем камня и участником апокалиптической битвы.

Голос зазвучал снова, тише, но с пронзительной четкостью, врезаясь в самое сердце опустошенности:

— Выбирай, внучек.

Слова повисли в ледяном воздухе. Не требование. Не укор. Констатация страшного, окончательного выбора, поставленного судьбой на острие ножа.

— Выбирай...

«Камень? Объект силы. Символ борьбы. Возможно, ключ к спасению мира или того, что от него останется. Долг перед отцом Алексием, перед теми, кто, может быть, еще жив, перед самой идеей сопротивления тьме. Но камень холоден. Он — тяжесть. Он — напоминание о потере. Он — часть той пустоты, что внутри...

Или... себя? Тот клочок души, что еще теплился — память о Марии. О любви. О человечности. О том, что было до этого кошмара. Что делало жизнь не просто существованием, а чем-то ценным, ради чего можно было бороться иначе. Вернуть эту частицу — значит вернуть боль утраты ее, но и вернуть себя. Обрести смысл, не в глобальной битве, а в самом факте того, что ты — человек, помнящий тепло бабушкиных рук.

Но можно ли вернуть одно, не отказавшись от другого? Выбор казался абсолютным. Камень или Память. Долг или Любовь. Будущее, если оно у него есть, или Прошлое, которое было всем», — Андрей смотрел на призрачный образ бабушки. Слезы, горячие, неожиданные, выступили на его обмороженных щеках, тут же застывая сосульками. В горле стоял ком. Пустота внутри содрогалась от этой невозможности выбора. Он хотел крикнуть: «Бабушка! Вернись! Верни меня!», но голос не слушался. Он лишь бессознательно сжал Камень в ладони так, что холодный гранит впился в кожу.

Отец Алексий, с трудом поднявший голову, увидел замершего Андрея, его остекленевший взгляд, устремленный в пустоту над обломками, слезы на щеках. Священник не видел видения. Он видел только своего спутника, сраженного непонятным ужасом или откровением посреди ледяных руин мира.

— Андрей! — хрипло позвал он, страх сковал его сильнее холода. — Что? Что с тобой? Кому ты?

Но Андрей его не слышал. Он был там, в пространстве между Камнем и Призраком, на краю самого страшного в своей жизни Разлома. Выбор висел в воздухе, тяжелый, как сама судьба. «Выбирай, внучек...»

Битва за город

Тишина после видения Марии была оглушительнее любого гула. Отец Алексий, превозмогая боль и леденящую пустоту в собственной душе, подполз к нему, встряхнул за плечо.

— Андрей! Очнись! Здесь нельзя... — Его голос сорвался в кашель. Мороз сковывал легкие, а в глазах Андрея он видел нечто хуже холода — бездонную пропасть отчаяния и невысказанного выбора.

Андрей медленно моргнул. Слезы-сосульки на щеках крошились. Призрак бабушки растаял, оставив лишь ледяной ожог в груди и Камень Грани, который он все еще сжимал, как якорь в шторме. «Выбирай...» Эхо звучало в пустоте. Он не выбрал. Он не мог. Но двигаться было надо. Иначе смерть — тихая, ледяная, бессмысленная — настигнет их здесь, среди руин.

Они поднялись, поддерживая друг друга, два живых скелета в обмерзших лохмотьях. Кратер завода остался позади. Перед ними лежал мертвый город. Вернее, то, что от него осталось после удара из космоса и последующего хаоса. Улицы — каньоны среди гор обугленного бетона и перекрученного металла. Снег, смешанный с пеплом и чем-то маслянисто-токсичным, хрустел под ногами. Воздух пах горелым пластиком, разложением и озоном. Вдалеке, там, где раньше был центр, зиял Разлом — не физическая трещина, а искажение самого пространства, мерцающая, пожирающая свет дыра в реальности, окруженная короной багровых, неестественных молний. К нему и вели их последние силы.

Историк и священник шли, спотыкаясь, по главной улице, бывшему проспекту, ставшему коридором смерти. Чувство слежки возникло почти сразу. Шорох за обломками. Мелькнувшая тень в проеме выгоревшего витринного окна. Шепот, боль-

ше похожий на скрежет. Не твари подземелья — люди. Вернее, то, во что превратились люди.

Первая пуля просвистела мимо, ударив в ржавую рекламную тумбу сзади. Резкий, сухой звук выстрела из самодельного оружия разорвал гнетущую тишину мертвого города.

— В укрытие! — хрипло скомандовал Алексий, толкая Андрея за груду плит.

Из руин, как тараканы из щелей, выползли они. Велесовцы. Жалкое подобие былых фанатиков. Их лица были изуродованы не столько оспинами радиации, сколько гримасой слепой ярости и отчаяния. На некоторых еще болтались клочья черных балахонов с вышитыми, но потускневшими символами Падшего. Оружие — обрезы, самопалы, заточенные арматурины. Глаза горели мутным, безумным огнем.

— Осквернители! — завыл один, худой как жердь, с перекошенным ртом. — Вы! Вы убили Его! Забрали Его Силу! — Он тряс обрезом, указывая на Камень в руке Андрея. Его слова подхватили другие, шестеро или семеро, вылезая на улицу. Их вера не умерла с Велесом — она переродилась в бессильную, разрушительную ненависть. Они видели в Камне Грани не ключ, а трофей, похищенный у их мертвого бога. Или просто последнюю цель в мире, лишенном смысла.

— Слушайте! — попытался крикнуть Алексий, прижимаясь к бетону. Его голос был слаб. — Велес пал! Он был Злом! Этот Камень — он нужен, чтобы остановить Разлом! Чтобы спасти хоть что-то!

Ответом был дикий вопль и свист пуль. Свинцовый дождь застучал по бетону, откалывая осколки. Пули рвали воздух рядом. Безумцы не думали о тактике — они просто лезли вперед, стреляя и вопя, движимые последним порывом фанатизма и отчаяния.

Андрей прижался к холодному камню. Пустота внутри содрогалась от адреналина. Страх? Да. Но больше — острая, режущая жалость. Эти люди. Они были, как он. У них тоже что-то отняли. Их бог, их вера, их мир. Они тоже были опустошены, но их пустота заполнилась безумием и ненавистью. «Выбирай, внучек...» — эхом отозвалось в голове. Выбрать что? Убивать этих жалких, потерянных людей? Ради чего? Ради Камня? Ради шанса добраться до Разлома?

Он увидел, как один из наступавших «велесовцев», юноша лет шестнадцати с воспаленными глазами, бесстрашно бежит прямо на них, размахивая ножом, крича что-то нечленораздельное. Андрей инстинктивно поднял Камень. Холодная сила забурлила в нем, отозвавшись на близость Разлома и на агрессию. Он мог. Он чувствовал, как легко было бы выпустить сноп ледяных игл, пронзить этого мальчишку.

Но он увидел в его безумных глазах тот же ужас, ту же потерю, что грызли его самого. И рука с Камнем дрогнула.

Выстрел грянул рядом. Отец Алексий, бледный как смерть, но твердыми руками, стрелял из своего старого «макарова». Бегущий фанатик споткнулся, рухнул на колено, хрипя. Не смертельно — священник целился в ногу.

— Не дай им приблизиться! — крикнул Алексий Андрею. — Не убивай, если можешь! Калечь! Останавливай! Они не в себе!

Это был приказ. И это было спасение от страшного выбора здесь и сейчас. Андрей не должен был решать — убивать или нет. Он должен был остановить. Камень в его руке пылал холодом. Он сосредоточился не на уничтожении, а на преграде. Выбросил руку вперед. Из Камня с шипением вырвалась не игла, а волна леденящего воздуха, ударившая в груду металлолома перед нападающими. Металл скрежетал, покрываясь инеем и коркой льда, создавая скользкий, низкий барьер. Двое фанатиков поскользнулись, упали.

Бой превратился в короткую схватку. Алексий, используя укрытия, методично стрелял по ногам и рукам нападающих, его выстрелы были точны, но лишены убийственной ярости — лишь холодная необходимость. Андрей использовал Камень как инструмент контроля: ледяные щиты, сковывающие ноги вспышками инея, порывы ледяного ветра, сбивающие с ног. Он не убивал. Он обездвиживал, отбрасывал, оглушал. Каждый раз, направляя холодную силу Камня на живого человека, он чувствовал, как пустота внутри сжимается, но не от гнева, а от боли и отвращения к самому себе и к этой бойне.

Один из фанатиков, здоровенный детина с перебинтованной головой, прорвался сквозь ледяной шквал, замахнувшись куском трубы. Андрей едва успел отпрыгнуть, удар пришелся по бетону рядом, осыпав его крошкой. Холод Камня среагировал почти сам — тонкая ледяная игла впилась фанатику в плечо. Он заорал не столько от боли, сколько от ярости, но рука с трубой обвисла.

Последний, старик с безумными глазами, кинулся на Алексия, когда у того заклинило пистолет. Андрей бросился между ними, приняв удар арматурины на предплечье. Боль пронзила, кость хрустнула под ударом. Он вскрикнул, но инстинктивно толкнул Камнем вперед. Ледяной импульс ударил старика в грудь, отшвырнув его назад, на ледяную корку. Тот захрипел, пытаясь подняться, но не смог.

Тишина. Снова тишина. Только хриплое дыхание Андрея и Алексия да стоны раненых и оглушенных фанатиков, разбросанных по заснеженной улице. Дымок от выстрелов висел в морозном воздухе. Кровь Андрея, алая на белом снегу, капала с раздробленного предплечья. Боль была острой, реальной — гвоздь, прибивающий его к этому кошмару.

Отец Алексий подошел, его лицо было серым от усталости. Он молча порвал край своей рясы, пытаясь наложить жгут на руку Андрея.

— Держись... — прошептал он. — Почти, почти у цели. Видишь?

Андрей поднял глаза. Разлом. Он был теперь близко, страшно близко. Мерцающая язва на лике мира, от которой исходило ощущение неминуемого конца. Багровые молнии били в руины вокруг него, оставляя пятна расплавленного камня. Там, у самого края искажения, виднелись какие-то фигуры — темные, неясные. Перуновцы? Те, кто, возможно, все еще пытался совершить свой последний, отчаянный ритуал, чтобы «очистить» мир или просто ускорить конец? Или что-то иное?

Боль в плече, стоны поверженных фанатиков, ледяная тяжесть Камня, жгучая пустота в душе и зловещая близость Разлома — все слилось в один сплошной, невыносимый гул. Они прошли через ад под землей, через разлом в душе, через эту грязную стычку. Теперь их ждал только финал. Последний акт. У Разлома.

— Пошли, — прохрипел Андрей, сжимая зубы от боли и заставляя ноги двигаться вперед, к мерцающему концу всего. Выбор, предложенный Марией, все еще висел в воздухе, нерешенный, но отодвинутый неумолимой поступью судьбы к самому краю бездны.

Дорога к Чертову Горбу

Разлом пылал перед ними, как гниющая звезда, вывернутая наизнанку. Его багровые молнии били нервно, хаотично, рождая в воздухе треск и запах озона, смешанный с вонью распада. Каждый шаг к подножию Чертова Горба — невысокого, но зловещего холма, увенчанного этим мерцающим кошмаром — давался Андрею и отцу Алексию как последнее усилие утопающих.

Почва под ногами была нестабильной, коварной. Не просто разрушенный город — а переваренный катаклизмом. Асфальт трескался и проваливался в зыбучие топи жидкой грязи, бурлящей чем-то токсичным. Воздух над этими ямами дрожал от испарений, вызывая головокружение. Они шли не по дороге, а по руинам дороги, перепрыгивая с одного островка относительно твердой земли на другой, балансируя на перекрученных балках, торчащих из грязи, как кости гиганта.

Андрей почти не чувствовал сломанной руки: адреналин и щемящая пустота внутри притупили боль. Слабость подкашивала ноги. Каждый прыжок через очередной зияющий провал, каждое усилие вытащить ногу из липкой хватки полужидкой грязи отнимали последние силы. Камень Грани в его здоровой руке тянул вниз, словно налитый свинцом, его холод теперь пронизывал насквозь, сливаясь с холодом смерти вокруг: «Выбирай, внучек...» — эхо видения пульсировало в такт боли в висках. Но выбирать сейчас было нечего, кроме как куда поставить ногу, чтобы не утонуть.

— Левее! — хрипел отец Алексий, указывая на более устойчивый на вид обломок плиты. Его дыхание было прерывистым, лицо землистым. Он сам едва держался на ногах, но его глаза, хоть и запавшие, все еще искали путь. — Там, кажется, тверже.

Они двинулись, но земля под Андреем внезапно осела. Он вскрикнул, почувствовав, как липкая жижа засасывает его по колено. Он инстинктивно рванулся, но больная рука не давала оттолкнуться, а грязь тянула с нечеловеческой силой. Алексий бросился к нему, ухватился за воротник куртки, пытаясь вытянуть. Но его собственные ноги скользили по краю провала.

И тогда появились Они.

Сначала — шевеление в грязных лужах, в трещинах. Потом — резкие, отрывистые звуки, похожие на смесь писка и шипения. Из тени обломков, из самой грязи полезли твари. Не гиганты подземелья, а мелкие, размером с кошку или крупную крысу. Их тела были бесформенными сгустками грязи, ила и чего-то темного, жилистого. Морды — лишенные глаз, с разеванными пастями, усеянными мелкими, острыми зубами. Они двигались стремительно, скачками, как земноводные, оставляя за собой слизкие следы. Целая стая. Десятки. Возбужденные близостью Разлома и легкой добычей.

— Андрей! — закричал Алексий, он отчаянно тянул раненого, глядя на приближающуюся волну мерзости. Попытался достать пистолет, но не успел.

Андрей увидел, как первая мразь прыгнула на спину Алексию. Священник вскрикнул от боли и неожиданности, потеряв равновесие. Еще две метнулись к Андрею, вынырнув из грязи прямо перед ним. Он замахнулся Камнем, выпустив слепящую вспышку холода. Твари взвыли, откатились, покрываясь инеем, но не погибли. Их было слишком много. Они лезли со всех сторон, пища, шипя, кусая за ноги, пытаясь вскарабкаться на тела. Камень Грани ревел холодом в его руке, но контролировать его силу в такой панике, с одной рукой, утопая в грязи, было почти невозможно. Он мог лишь отбрасывать их волнами, не убивая, только раздражая. Алексий, сбитый с ног, отбивался от уродцев, висящих на нем, как пиявки.

Отчаяние, холодное и липкое, как грязь, охватило Андрея. Они не дойдут. Утонут здесь, в этой вонючей жиже, растерзанные этими гадами, так и не дотянув до Горба...

В хлюпанье от прыжков мелких монстров, их надрывный, перекрывающий писк и шум борьбы ворвался рокот двигателя, работающего на предельных оборотах. Свет мощных фар, пробивающийся сквозь пелену дыма и испарений, как мечи. Из-за груды обрушившихся бетонных плит, словно чудовищный жук, выполз автобус. Старый, городской, ПАЗ, весь во вмятинах, с разбитыми стеклами, но еще на ходу. Он дви-

гался не по дороге, а прямо по руинам, его колеса с трудом преодолевали хлябь, швыряя фонтаны грязи.

За рулем с лицом, искаженным гримасой ярости и страха, сидел Сергей. Андрей узнал его — один из тех, кто прятался в подвале музея, один из немногих выживших горожан, тихий, запуганный мужчина лет сорока. Как он нашел этот автобус? Как решился?..

— ДЕРЖИТЕСЬ! — проревел Сергей, вдавив газ в пол. Автобус, скрежеща металлом по камню, рванул прямо на скопище тварей у провала.

Мелкие чудовища, ослепленные светом и оглушенные ревом, бросились врассыпную. Колеса автобуса с хрустом давили тех, кто не успел увернуться. Автобус резко затормозил, встав бортом к провалу, в нескольких метрах от Андрея и Алексия. Дверь с пневматическим шипением открылась.

— ЛЕЗЬТЕ! БЫСТРО! — заорал водитель, не выпуская руля. Его глаза бегали, смотря и на героев, и на снова сбивающихся в кучу разъяренных тварей, и на зловещий Горб впереди.

Алексий, отбившись от тварей на себе, первым рванулся к открытой двери. Он схватил Андрея под мышки, и они вырвались из грязевой хватки. Андрей ввалился в проход автобуса, падая на скользкий пол. Алексий прыгнул следом.

— Поехали! — закричал Сергей.

Но было поздно. Несколько самых проворных тварей, разозленных гибелью сородичей, метнулись внутрь вслед за ними. Одна впилась зубами Алексию в ногу, другая прыгнула на спину Андрею. В салоне запахло дикой злобой и гнилью.

— ЧЕРТ! — Сергей рванул автобус с места. Он не поехал к Горбу, а стал описывать безумные круги по небольшому пятачку относительно твердой земли, пытаясь сбросить тварей с корпуса и оглушить тех, что внутри, тряской. Автобус скрежетал, металл стонал. Андрей, катаясь по полу, пытался придавить существо на себе, Алексий бил прицепившуюся к ноге гадину рукояткой пистолета.

Сергей видел происходящее через зеркало заднего вида: как тварь на спине Андрея тянется к его шее, как отец Алексий истекает кровью. Видел багровое сияние Разлома на Горбе — их цель, их последний шанс. И он увидел что-то еще в своих глазах в зеркале — не страх, а волю. Волю того, кому уже нечего терять. Его семья была здесь, под этими руинами. Его мир кончился. Но эти двое... Они несли что-то. Последнюю искру.

— К ЗАДНИМ ДВЕРЯМ! — заорал он так, что перекричал рев мотора. И резко, до упора, вывернул руль. Двери открылись.

Автобус, набравший ход, рванул не к Горбу, а в сторону глубокого, широкого провала, заполненного бурлящей, дымящейся жижей. Он мчался к краю, навстречу гибели.

— СЕРГЕЙ! НЕТ! — успел крикнуть Алексий, поняв его замысел.

Сергей не ответил. Напарники выпрыгнули из автобуса, сбавившего ход.

Водитель смотрел прямо перед собой, на приближающийся край бездны. В последний миг, когда колеса уже срывались в пустоту, рванул на себя рычаг своей двери и вывалился из кабины...

Сергей упал на грязный склон, в метре от обрыва.

Автобус же, с ревущим мотором и пищащими тварями внутри, рухнул в кипящую грязь — оглушительный всплеск, бульканье, и пазик, как огромный камень, начал стремительно погружаться в трясину, увлекая за собой всех тварей, не успевших выпрыгнуть. Грязь сомкнулась над ними с тихим, жутким хлюпаньем.

Наступила тишина, нарушаемая только дыханием Алексия и Андрея, валявшихся на земле у края провала, и стонами Сергея неподалеку. Он был жив, но его нога была неестественно вывернута — перелом, а лицо покрыто ссадинами и грязью.

Андрей подполз к нему. Заглянул в глаза Сергея. В них не было ни страха, ни сожаления. Только усталость и вопрос.

— Дойдете? — прошептал Сергей, выплевывая изо рта зуб.

Андрей не нашел слов. Он кивнул, сжав кулак здоровой руки. Пустота внутри содрогнулась от чего-то нового — не только от боли и потери, но и от невероятной тяжести этого дара. Жертвы. Ради них.

Алексий встал. Он молча оторвал еще один лоскут от рясы и перевязал окровавленную ногу Сергею.

— Крепись, сын мой, — прошептал он. — Помощь твоя — бесценна. Ангел-хранитель, наш...

— Бегите, — простонал Сергей, откинув голову на холодную землю. — Пока путь свободен. К Горбу! Быстрее!

Он был прав. Путь к подножию Чертова Горба был теперь открыт. Ни тварей, ни провалов не было видно на последних сотнях метров. Только изрытая, застывшая в немых муках земля и зловещий холм, увенчанный пульсирующей язвой Разлома. Оттуда теперь доносились не только раскаты «молний», но и приглушенные, ритмичные удары — словно гигантский молот бил по наковальне. Перуновцы. Они уже там. Начинают свой ритуал.

Андрей и Алексий в последний раз взглянули на Сергея. Мужчина махнул им рукой, слабо улыбнувшись через боль. Больше слов не было. Была только цель.

Опираясь друг на друга, истекая кровью, неся в себе ледяную пустоту, жгучую боль и невыносимую тяжесть чужой жертвы, они зашагали. К подножию Чертова Горба. К последней черте. К Разлому. Выбор Марии, отодвинутый, но не отмененный, горел в душе Андрея с новой силой, смешиваясь с грохотом ритуального молота.

Разлом: искушение небытием

Чертов Горб был не холмом, а раной. Гнойником на теле мира. Они поднялись по его склону, спотыкаясь о камни, вывернутые из недр как осколки костей. Воздух вибрировал, гудел низкой, выворачивающей нутро частотой. Багровое сияние Разлома заливало все, превращая их фигуры в дрожащие кровавые тени. Зловещие удары: БУМ. БУМ. БУМ — сотрясали землю, исходя из самой сердцевины искажения.

На небольшом, относительно ровном уступе у самого края Разлома, как раз перед тем местом, где реальность рвалась и перемалывалась в нечто чужеродное, стояли перуновцы. Их было мало — человек семь или восемь. Но какие! Это были живые руины: тела, изможденные до скелетов, обугленные и покрытые струпьями от близости к чистке «молниями». Они стояли вокруг наковальни и по очереди били огромными, выкованными из обломков рельса молотами по куску металла — осколку какого-то древнего механизма. С каждым ударом — БУМ! — по наковальне пробегали синие ядовитые искры, сливаясь с багрянцем Разлома и чуть-чуть, на мгновение, стабилизируя его хаотичные контуры. Их ритуал не был попыткой остановить катастрофу. Он был попыткой направить ее как громоотвод в последний, всеочищающий удар по миру, неисправимо осквернённом.

Андрей и Алексий замерли на краю площадки. Их появление было замечено. Один из перуновцев, старик с выгоревшими глазами-углями, прервал ритм ударов, повернув к ним искаженное ненавистью лицо.

— ОСКВЕРНИТЕЛИ! — закричал он, голос хриплый, как скрежет по камню. — ВЫ ОТНЯЛИ У НАС НАШЕГО БОГА! НЕ ДАДИМ ПОМЕШАТЬ ОЧИЩЕНИЮ!

Он махнул рукой. Двое перунопоклонников, держащие что-то похожее на самодельные копья из арматуры, отделились от круга и пошли навстречу, их шаги были неуверенны, но намерения ясны.

Алексий шагнул вперед, прикрывая Андрея. Его ряса — лохмотья, лицо — маска усталости и боли, но в глазах горела последняя искра воли.

— Остановитесь! — его голос, усиленный отчаянием, перекрыл гул Разлома. — Вы лишь ускоряете конец! Этот Камень, — он указал на артефакт в руке Андрея, — он может запечатать Разлом! Дать миру шанс!

— ШАНС?! — захохотал старик, и смех его был страшнее плача. — Шанс для гнили? Для тварей? Для таких, как вы?! НЕТ! ТОЛЬКО ОЧИЩАЮЩИЙ ОГОНЬ! ТОЛЬКО ПУСТОТА ПОСЛЕ ГРЯЗИ! УБЕЙТЕ ИХ!

Алексий поднял пистолет. Его рука дрожала. Андрей почувствовал, как Камень Грани в его здоровой руке пульсирует холодной яростью, откликаясь на близость Разлома и агрессию. Он мог. Он должен был действовать. Но тело стало свинцом, тянущим вниз, а пустота внутри кричала о бессмысленности. «Выбирай, внучек...» — эхо Марии. Забыть. Как сладко звучало забытье.

И тогда мир перевернулся.

Багровый свет Разлома сгустился, сжался в плотный, пульсирующий шар прямо над площадкой. БУМ! Удар молота одного из перуновцев слился с этим сгустком. И из него, как из чрева, излился Велес.

Не гигантское изваяние из подземелья. Не тень. Сущность. Колоссальная фигура, сплетенная из самой тьмы Разлома, багровых молний и льдистого, мертвенного сияния. Ее очертания были текучими, нестабильными — то сгорбленный старик с клюкой из кости, то гибкий змей, то рогатый исполин. Но лицо! Лицо было узнаваемо. Кирилл. Тот самый юный, что стал сосудом Падшего. Его черты, искаженные бесконечной болью и презрением, плавали в центре темного вихря. Глаза — две бездонные дыры, сияющие холодным, нечеловеческим интеллектом и древней злобой — уставились прямо на Андрея.

Перуновцы в ужасе отпрянули. Их ритуальные удары смолкли. Старик упал на колени, бормоча, его очищающий фанатизм разбился о явление истинного, пусть и поверженного Бога Тьмы. Алексий замер, крестясь дрожащей рукой, лицо его побелело.

— Андрей, — голос Велеса-Кирилла прозвучал не в ушах. Он возник внутри пустоты Андрея. Гладкий, как обледеневший шелк, знакомый и чужой одновременно. В нем не было ярости подземной битвы. Была усталая снисходительность. — Дошел. Маленький герой с маленьким камушком. Принес свою жертву.

Андрей почувствовал, как щупальца голоса вползают в его выжженную душу, щекочут края пустоты. Боль в сломанной руке вспыхнула с новой силой. Усталость навалилась бетонной плитой.

Велес-Кирилл медленно «поплыл» над площадкой, игнорируя перуновцев и Алексия, как букашек. Его темная сущность заслонила багровый свет Разлома, погрузив Андрея в тень.

— Зачем, Андрей? — голос стал ласковым, отцовски-сочувствующим. — Зачем терпеть эту боль? Эти потери? Этот невыносимый груз воспоминаний, которые ты даже не можешь вспомнить? — лицо Кирилла в темном вихре скривилось в гримасе мни-

мого сострадания. — Ты чувствуешь дыру внутри? Ту пустоту, где была твоя бабушка? Где был ты сам? Это — мучительно. И... бессмысленно.

Сущность приблизилась. Андрей чувствовал невыносимый холод, исходящий от нее, холод, который не морозил кожу, а вымораживал душу. Камень Грани в его руке пылал в ответ, но его холод казался детским лепетом перед этой вселенской стужей небытия.

— Я не предлагаю тебе власти, — продолжал голос, проникая в каждую клетку его сознания. — Власть — для жалких фанатиков и честолюбцев. Я предлагаю тебе покой. Забвение. — Велес-Кирилл широко раскинул черные руки-крылья. За ним, в Разломе, багровый хаос на мгновение сменился видением — не пустоты. Абсолютного, беззвездного, безвременного покоя. Ни боли. Ни страха. Ни тоски по утраченному. Ни тяжести Камня. Ни долга. Ни самого себя. Только — тишина. Небытие.

— Посмотри на них! — голос зазвучал резко, указывая на оцепеневших перуновцев и на Алексия. — Они цепляются за свои жалкие иллюзии! За очищение! За спасение! За какого-то там Бога! Все это — боль! Все это — цепь, приковывающая к страданию! — видение покоя в Разломе пульсировало, маня. — Отдай Камень мне, Андрей. Просто разожми пальцы. Отпусти его. И я дам тебе уйти. Не в смерть. В не-жизнь. В отсутствие всей этой мучительной тяжести бытия. Забудь боль. Забудь потерю. Забудь все. — Лицо Кирилла исказилось в пародии на улыбку. — Это и есть истинное милосердие. Конец страданиям твоей такой хрупкой, такой человеческой... души.

Искушение обрушилось на Андрея не волной ярости, а удушающим облаком ледяного безразличия. Оно проникало в пустоту, оставленную памятью о Марии, и предлагало заполнить ее не болью утраты, а ничем. Вечным «ничто». Не нужно было выбирать между Камнем и Памятью. Нужно было отказаться от всего. От боли, от долга, от самого себя. Это было так легко. Просто разжать пальцы...

Камень Грани в его руке вдруг стал невыносимо тяжелым. Холод жег кожу. Андрей посмотрел на Алексия. Священник стоял, сжимая крест и пистолет, его глаза, полные ужаса и мольбы, были устремлены на него. «Держись!» — эхом прозвучал его хриплый голос из прошлого. Андрей вспомнил Сергея, с его переломанной ногой и вопросом «Дойдете?». Вспомнил? Нет, не вспомнил, а почувствовал — призрачный укол в пустоте — тепло рук бабушки, которые он больше не мог вспомнить, но знал, что они были теплыми. Знание без памяти. Боль без образа. Но его боль.

Забвение? Покой? Не-жизнь?

Или... эта невыносимая, режущая, живая боль? Эта тяжесть Камня? Перед погибшими? Перед призраком бабушки, чье лицо он уже забыл?

— ВЫБИРАЙ, ВНУЧЕК! — Эхо видения Марии слилось с мысленным воплем его собственной истерзанной души.

Андрей сжал Камень Грани так, что костяшки пальцев побелели. Он поднял голову, глядя в бездну глаз Велеса-Кирилла. В его собственных глазах, залитых багровым отсветом Разлома, не было спокойствия. Была только ярость отчаяния. Ярость против этого сладкого, ледяного предложения небытия. Ярость против боли, которую ему предлагали стереть. Потому что это была его боль. Последнее, что у него осталось от него самого.

Он открыл рот, чтобы крикнуть — отказ, вперемежку с проклятиями. Но Велес-Кирилл, прочитав ответ в его глазах прежде, чем он прозвучал, взревел. Не голосом, а самим раздираемым пространством Разлома. Ласковость исчезла, обнажив бесконечные древний гнев и презрение.

— ТВАРЬ! ЖАЛКАЯ, БОЛЯЩАЯ ТВАРЬ! ТЫ ВЫБИРАЕШЬ СВОЮ АГОНИЮ?! ТАК ПОЛУЧИ ЖЕ ЕЕ СПОЛНА!

Темная сущность ринулась на Андрея, а багровый хаос Разлома за ее спиной вздыбился, готовый поглотить все.

Ритуал запечатывания: жертва пастыря

Реветь Велес-Кирилл не умел. Мир взрывался. Темная сущность, воплощенная Разломом, обрушилась на Андрея не физическим ударом, а волной абсолютного отрицания. Пространство вокруг него сжалось, заскрежетало, пытаясь разорвать атомы его существа. Багровый свет Разлома стал единственной реальностью, а голос, всепроникающий, вгрызался в сознание:

— ИСЧЕЗНИ! СТАНЬ НИЧТОЖЕСТВОМ!

Андрей вскрикнул, не от боли тела, хотя и она была адской, а от невыносимого давления на саму ткань его «я». Пустота внутри взорвалась болью. Он упал на колени, инстинктивно прикрыв сломанную руку и прижимая к груди Камень Грани. Камень. Он пылал! Не холодом, а исступленным белым светом, пробивающим багровую мглу. Он был якорем. Он был отказом.

— НЕТ! — Это был не крик, а хриплый выдох, вырванный из самой глубины пустоты, заполненной теперь не забвением, а его собственной, выстраданной волей к бытию. Он поднял Камень, как щит, навстречу темной лавине. Белый свет встретил тьму с шипением и треском, как льдины в ледоход, ломающие каменные надолбы. Он не победил, но отразил. На миг. Сущность Велеса-Кирилла отхлынула, заколебавшись, ее очертания поплыли.

Этого мига хватило.

— АНДРЕЙ! К КАМНЮ! РИТУАЛ! СЕЙЧАС!

Голос отца Алексия пробился сквозь гул и рев. Не команда. Призыв. Последний. Андрей, оглушенный, едва держал голову. Священник встал между ним и отступившей на мгновение сущностью Велеса. Он держался прямо, несмотря на искусанную ногу, на изможденье. В его руках был не пистолет, а Нож. Тот самый ритуальный Нож с рунической насечкой, что они нашли в музее. Лезвие мерцало в багровом свете, но не зловеще — с холодной, ясной решимостью.

Андрей понял. Не умом. Душой. Сквозь боль, ужас и пустоту пронзило осознание. То, что отец Алексий говорил в подземелье, его сомнения, его страх потерять паству, его отчаяние перед лицом Божьего молчания. Все это вело сюда. К этому выбору. Не всплеск отчаяния, а вершина пути пастыря, нашедшего последнюю, самую последнюю, самую страшную паству — отдав самого себя ей в жертву.

— Бат-ю-ю-шка! Н-е-е-т! — прошептал Андрей, пытаясь встать, чувствуя, как Камень в его руке пульсирует в унисон с приближающейся к Алексию темной сущностью.

Алексий обернулся. На мгновение. Их взгляды встретились. В глазах пастыря не было страха. Не было сомнений. Была бездонная печаль, но поверх нее — непоколебимый мир и глубокая, тихая вера. Вера не в абстрактного Бога, а в Андрея. В человека перед ним. В его выбор жить и бороться.

Темная сущность Велеса-Кирилла, оправившись, снова ринулась вперед, на этот раз на Алексия, поняв его намерения. Багровые молнии били вокруг, земля трескалась.

— ДЕРЖИ КАМЕНЬ НАД РАЗЛОМОМ! ЗОВИ МАРИЮ! — крикнул Алексий, не отрывая взгляда от надвигающейся гибели. — Марию! Зови Марию! Бабушку твою! Любовь! Помни о ЛЮБОВИ!

Его слова были последним наставлением, последней молитвой, последним актом веры в силу человеческого сердца и против древней тьмы.

Андрей, рыдая, но повинуясь, поднял Камень Грани над головой, шагнул к самому краю Разлома, где багровая бездна пожирала реальность. Белый свет Камня вспыхнул ярче, пробивая тьму, как маяк для потерявшихся в океане шхун. Открыл рот, чтобы произнести имя... но в горле стоял ком. Помнить? Он не мог вспомнить ее лица! Только пустоту!

— МАРИЯ! — Голос Алексия прозвучал не рядом. Он прозвучал внутри Андрея. Сильный, чистый, наполненный той самой верой и любовью, о которой он говорил. — ЛЮБОВЬ ЕЕ! СИЛА ЕЕ! ВСПОМНИ!

И в этот миг, когда темная сущность Велеса-Кирилла уже накрывала Алексия, словно хищная птица, священник совершил последнее движение. Не защитное. Не молитвенное. Точное. Осознанное. Он поднес ритуальный Нож не к врагу, а к своему собственному сердцу.

— ПРИНИМАЮ ЧАШУ СИЮ, — его слова слились с гулоревом Велеса.

Клинок вошел глубоко и верно. Не крик боли, а тихий выдох — как облегчение — вырвался из его груди. Кровь, алая, невероятно яркая на фоне багрового хаоса, хлынула, орошая лезвие Ножа и рукоять, на которой загорелись древние руны синим чистым пламенем.

Тело Алексия не упало. Оно осело на колени, с прямой спиной, голова запрокинута, глаза смотрели не в багровую бездну, не на убийцу, а ввысь, сквозь клубящийся ад, туда, где мерцали забытые звезды. На его лице застыло выражение мира и тихой радости, как у человека, нашедшего наконец ответ на самый мучительный вопрос.

— ...И ВЕРУЮ... — шепотом закончил он, и последнее слово было не скорбью, а торжеством. — ВОСКРЕСЕНИЮ... И ЖИЗНИ... ВЕЧНОЙ... И... В ТЕБЯ. АНДРЕЙ... В ЛЮДЕЙ...

Его тело стало излучать тепло свечи. Тепло человеческой жизни, отданной добровольно. Тепло веры, прошедшей сквозь горнило сомнений. Тепло любви к своему пастырству, к погибшей пастве, к этому миру и к напарнику с Камнем. Это тепло сконцентрировалось вокруг Ножа, вонзенного в собственную грудь. Руны пылали теперь ослепительно-синим, как осколок неба.

Нож перестал быть просто вещью. Он стал ключом, омытым кровью и верой. Синий свет от него устремился к Камню Грани в руке Андрея, как проводник.

— МАРИЯ! — крик вырвался из уст Андрея. Не от памяти, она была все так же пуста, а от чувства. От тепла, что шло от Алексия, от эха его веры, от исступленного желания ЖИТЬ. Он кричал имя не как воспоминание, а как символ. Символ всего потерянного, всего святого, всего человеческого, что нужно спасти. — ЛЮБОВЬ! ПОМОГИ!

И поднял руку с сияющим камнем...

Белый свет Камня Грани встретил синий луч Ножа Алексия. Они слились в ослепительную нить чистого серебра — нить жертвенной веры и человеческой воли. И эта нить, как стрела, как божественная игла, устремилась в самое сердце багровой язвы Разлома, туда, где ревел в гневе Велес-Кирилл, внезапно почувствовавший не силу богов, а силу Человека, отдавшего себя.

Началось Запечатывание. Не гром и молнии, а тихий, нарастающий гул ритмичной гармонии, вступающий в схватку с диссонансом хаоса. Сигилы, знакомые по подземелью, но теперь в тысячу раз мощнее и чище, начали проявляться на краях Разлома, сплетаясь из серебристо-синего света жертвы Алексия и воли Андрея.

Смерть бога и рождение шрамов

Золотая нить — сплав жертвенной веры Алексия и обращенной в волю боли Андрея — вонзилась в багровое чрево Разлома. И Разлом взревел в агонии.

Не звук. Разрыв ткани бытия. Разлом, эта язва реальности, сжался в чудовищном спазме. Багровые молнии, бившие хаотично секунду назад, скрутились в судорожные клубки, шипя и колясь, как разбитое стекло. Гул хаоса не стих — он взметнулся до невыносимого визга, в котором слились голоса: рев поверженных богов, скрежет ломающихся городов, вопли погибающих душ. И Гнев. Чистый, первобытный, вселенский. Древний Гнев, пробужденный в своей сердцевине.

Из клубка багрового хаоса вырвалась фигура Велеса-Кирилла. Но не сущность тьмы и молний. Теперь это был монстр агонии. Его форма потеряла связь с человеческим обликом. Клубок рвущихся сухожилий из теней, глаза из кипящей лавы, костяные шипы, пронзающие багровую плоть хаоса. Он был воплощенным отрицанием запечатывания, последним воплем умирающего бога. Его голос, скрежещущий, как нож по кости, прорезал визг вселенной:

— НЕ-Е-ЕТ! МОЕ ЦАРСТВО! МОЯ БОЛЬ! ТЫ! БУКАШКА! С КАМУШКОМ! НЕ ОТНИМЕШЬ! МОЙ ГНЕВ!

«Моя боль». Он назвал Гнев болью. Не властью. Не триумфом. Болью. И в этом слове, вырванном из глубины существа, мелькнул не Велес, а Кирилл. Чья гордыня и отчаяние приковали его к Падшему. Мгновение — и багровая ярость поглотила проблеск.

Чудовищная сущность ринулась не на Андрея. Она ринулась на нить. На золотую линию, связывающую Камень с умирающим Разломом. Когтистые щупальца тьмы, сотканные из концентрированного Гнева, обрушились на луч света, пытаясь разорвать его, поглотить.

— ДЕРЖИСЬ! — Мысль, не голос. Эхо Алексия? Его последняя воля? Или крик души самого Андрея? — ЕЕ ИМЯ! СУТЬ ЕЕ! ЛЮБОВЬ!

Андрей стоял на краю. Камень Грани жег его ладонь, сливаясь с болью сломанной руки, с болью пустоты. Он чувствовал, как чудовищная тяжесть Гнева давит на нить, рвет его собственное нутро. Еще миг — и его разорвет. Разлом вырвется, поглотив жертву Алексия впустую.

Имя. Суть. Мария. Не память — значение. Дом. Покой. Сила. Любовь.

— МАРИЯ! — крик Андрея был хриплым. — ЛЮБОВЬ!

Золотая нить вспыхнула ослепительнее Солнца. Цвет спелой ржи. Цвет бабушкиного платка. Цвет жизни, отвергающей небытие. И этим светом она ударила по багровым щупальцам Гнева.

Там, где золото касалось тьмы, плоть Велеса-Кирилла не горела — она рассыпалась. Песочный замок под лучом истины. Раздался вопль. Нечеловеческой боли... смешанный с облегчением.

— КИ... РИ... ЛЛ... — пронеслось в этом вопле. Не голос Велеса. Человеческий. Срывающийся. Полный невероятной муки... и освобождения. На миг в центре распада, проступило лицо. Лицо Кирилла. Искаженное агонией, но узнаваемое. И в глазах — не злоба. Благодарность. И прощение. Не Андрею. Самому себе. Миру.

Потом его не стало. Последний выдох Древнего Гнева, отвергнутого теплом человеческой любви и жертвы.

Схлопывание

Разлом не закрылся. Он схлопнулся. Как гигантская пасть, сомкнутая божественной силой. С глухим, вселенским ХЛОПКОМ, заглушившим на миг весь гул. Багровая язва реальности сжалась в точку небытия и исчезла. На ее месте осталась лишь гладкая, темная впадина в Чертовом Горбе. Не сияющая, не ледяная. Абсолютно черная, инертная, как шрам. Запечатано.

Удар.

Земля под Чертовым Горбом вздыбилась. Не землетрясение — приливная волна камня и энергии. Андрея отшвырнуло, как щепку. Он пролетел метры, ударился о камни, чувствуя, как трещат ребра, а мир погружается в немое белое сияние и оглушительный рев. Кратер завода, мертвый город, далекие холмы — все содрогнулось. Новые пропасти разверзлись, старые руины сложились, как карточные домики. Шрамы мира углубились, стали монументальны.

Вслед за волной земли пришла вторая. Она прошла сквозь все. Сквозь землю, сквозь камни, сквозь тела живых и мертвых. Тихая. Ледяная. Чистая. Как первый вдох после удушья. Эта волна выжигала скверну. Она пронеслась по земле:

Там, где булькала ядовитая грязь — чистые, прозрачные льдины.

Твари в руинах взвыли и рассыпались в прах инеем.

Оставшиеся и велесовцы, и перуновцы упали, корчась. Будто из них вытягивали ядовитые корни безумия, оставляя только пустоту и боль воспоминаний. Их боги умерли окончательно.

Воздух прояснился. Запах гнили и меди сменился холодной, стерильной свежестью пустоты после бури. Не мертвой — а Пустотой чистого листа. Ужасающей и освобождающей. Мир был изранен, но яд был выжжен дотла. Остались только шрамы и бескрайнее, ледяное небо.

Тишина.

Андрей лежал на спине. Дышать — больно. Он сжимал в здоровой руке Камень Грани. Камень был обычным. Серый, холодный гранит. Просто камень. Ни тепла. Ни силы, ни леденящей пустоты.

Он повернул голову. Тело отца Алексия лежало неподалеку. Нож торчал из его груди. Лицо. Лицо было спокойным. Умиротворенным. Мир и вера, с которыми он ушел, казалось, отпечатались на его чертах навеки.

Андрей закрыл глаза. Слез не было. Была тишина. Глухая, всепоглощающая тишина опустошенного мира. Его мира. И в этой тишине, в пустоте души, где раньше горела боль от потери, в памяти теперь ожили чувства. Тепла, неоплатного долга огромной, невыносимой потери. И под всем этим — тихое, неистребимое желание: жить. Помнить не образами, а сутью. Нести эти шрамы в душе, как и мир несет шрамы на теле.

Он открыл глаза. Над ним было чистое, ледяное, бездонное небо. Первое чистое небо за долгие недели. В нем не было ответов. Только пустота, ожидающая наполнения. И первый, робкий снег, начинавший падать на израненную, выжженную, бесконечно хрупкую и бесконечно дорогую теперь землю.

ЧАСТЬ V: ПЕПЕЛ (ВЫЖИВАНИЕ, ОТГОЛОСКИ, НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ)

ГЛАВА 9: ПЕСНЬ ДЕВЯТАЯ. ТИШИНА ПОСЛЕ ГРОМА

Пепел и первые шаги

Тишина после локального апокалипсиса была оглушающей. Не мертвой — напряженной. Как струна, готовая лопнуть. Воздух, холодный и режуще-чистый, обжигал легкие. Андрей лежал на спине, впитывая в себя эту новую, странную реальность. Боль была фоном — сломанные ребра, рука, сотни мелких ран. Но она казалась далекой, приглушенной всепоглощающей пустотой — и в мире, и в нем самом.

Он поднялся. Каждое движение давалось мучительно. В здоровой руке он все еще сжимал Камень Грани. Теперь — просто тяжелый, холодный булыжник. Сила ушла с последним вздохом Велеса. Он положил его на землю. Не с презрением. С облегчением и тяжелой благодарностью. Орудие выполнило свою задачу.

Он пошел. Не зная куда. Прочь от черного шрама Разлома на Чертовом Горбе. Вниз, по израненному склону, к руинам, которые теперь были чистыми. Ядовитые испарения исчезли. Грязь застыла, превратившись в ломкий, серый лед. В воздухе были только морозная стерильность и далекий дым.

Они появились. Сначала — тени в проемах рухнувших стен. Потом — силуэты, выходящие на то, что раньше было улицей. Люди. Горожане. Те, кто пережил хаос богов, безумие культов, ядовитый распад. Их было мало. Очень мало. Десять? Двадцать? Они были оборваны, изможены до крайности, лица словно выточенные из известняка и невероятной усталости. Глаза... Пустые, как у Андрея, но в них не было безумия. Был шок. Глубокий, всепоглощающий. Немое понимание масштаба потерь. Потерянных близких. Потерянного мира. Потерянного будущего.

Они увидели Андрея. Шаткую, окровавленную фигуру, несущую тело священника с торчащим из груди ножом. Это зрелище не вызвало криков ужаса. Лишь тихий выдох. Шаг сжатия. Глаза застыли на безжизненном лице Алексия. Они знали его. Пастыря, который пытался помочь, прятал, кормил словом и хлебом, пока мог. И вот он. Мертвый.

Андрей остановился посреди того, что когда-то было площадью. Он не знал, что делать. Куда нести? Зачем? Мир кончился. Ритуал завершен. Долг выполнен. Остались только невыносимая тяжесть тела и глухая пустота.

И тогда из группы выживших вышла женщина. Лет сорока, лицо покрыто сажей и следами слез по саже, старая куртка накинута на плечи. Она подошла медленно, осторожно, как к раненому зверю. Ее глаза были прикованы к лицу Алексия. В них не было страха. Были тихая скорбь и решимость.

— Положи его... — голос женщины был едва слышным, но прозвучал громко в тишине. — Положи его. Здесь. Мы. Мы позаботимся.

Она указала на относительно ровное место, у подножия груды плит, где не было явных провалов. Андрей посмотрел на нее, не понимая. «Позаботимся? О чем? О теле? Зачем?»

— Нужно. Похоронить, — добавила женщина, словно читая его мысли. Ее голос дрогнул на слове «похоронить». Это было слово из старого мира. Слово из ритуала, уважения, человечности. Оно прозвучало здесь, среди абсолютной мерзости за-

пустения, как первый колокольный звон. — Наши. Наши тоже. — она махнула рукой в сторону развалин. — Там. Под завалами. Их нужно. Найти. Похоронить. Всех.

Ее слова подействовали как сигнал. Не громкий, а тихий, но неотвратимый.

Мужчина средних лет с перевязанной головой молча подошел к груде обломков ближайшего дома и начал медленно, с трудом оттаскивать кусок бетона. Двое подростков, худых как тени, потянулись к другой куче, их движения неуверенны, но целеустремленны. Пожилая пара, держась друг за друга, направилась к полуразрушенной аптеке в поисках бинтов. Женщина с ребенком, завернутым в грязное одеяло, села на камень и заплакала тихо, безнадежно, но ее слезы были человеческими, а не последствиями истерики безумия.

Не по приказу. Не по плану. Героически в своей простоте. Это был первый, робкий, инстинктивный акт восстановления общественного порядка. Не извне, а изнутри. Из потребности похоронить своих. Отдать последний долг. Убрать смерть с глаз. Начать очищать не от скверны (ее уже не было), а от следов кошмара. Это был акт отчаянной надежды, что жизнь в каком-то виде должна продолжаться. Даже здесь. Даже сейчас.

Андрей осторожно, как драгоценность, опустил тело отца Алексия на указанное женщиной место. Он поправил воротник рясы, смахнул несуществующую пыль со лба священника. Его движения были медленными, почти ритуальными. Женщина молча наблюдала.

— Он. Он спас, — попытался сказать Андрей, но голос предательски сорвался в хрип. «Спас? Что? Мир? Город? Их?» Это было слишком непостижимо для этого места, для этих людей, роющихся в руинах в поисках тел своих детей.

Женщина кивнула. Ее взгляд скользнул на Нож, все еще торчащий в груди Алексия, потом поднялся на лицо Андрея. В ее глазах не было вопроса. Было понимание. Смутное, невербализуемое, но глубокое. Понимание, что этот священник и этот обросший, грязный мужчина сделали что-то запредельное для человеческого разума. И что цена была невообразимой. Разуму человеческому...

— Мы позаботимся, — голос женщины был тих, но тверд. — Иди. Посмотри на свою руку. Найди того, кто сможет перевязать. Если найдутся бинты.

Андрей не двинулся с места. Он смотрел на лицо священника, на его странную, умиротворенную улыбку. Он смотрел на людей, медленно, мучительно начинающих рыть — не могилы еще, а просто расчищать место среди руин. Он слышал тихий плач женщины и ребенка. Он чувствовал морозную чистоту воздуха и видел, как первая белая крупа, похожая на мелкие шарики пенопласта, падала в сером свете опустошенного неба, ложась на черные камни, на седые волосы Алексия, на плечи женщины подле него, укрывая саваном израненную землю.

Начало. Не радостное. Не победное. Тяжелое. Пронизанное горем, шоком, неподъемной утратой. Но — начало. Первая, мирная попытка горожан быть людьми посреди пепла. Андрей стоял посреди этого начала, неся в себе шрам Разлома, тяжесть жертвы Алексия и стылую пустоту, где когда-то жили воспоминания о Марии. Но в этой пустоте теперь затеплилось что-то новое. Не память. Ответственность. За этот выжженный мир. За этих людей, начинающих копать могилы. За улыбку на лице ушедшего пастыря. И первое дыхание грядущего, что обращается к сердцу повелением: жить. Помнить. Строить. На пепле.

Андрей медленно опустился на колени над телом Алексия, не в силах идти дальше, и просто положил свою здоровую руку на священника. Снежинки таяли на ее обожженной коже. Вокруг, в гробовой тишине нового мира, звучали только

тихие рыдания, скрежет камня по камню и глухие удары лома о мерзлую землю — музыка апокалипсиса, переходящая в симфонию выживания.

Похороны Света. Несколько дней спустя после Запечатывания

Холод впивался в кости. Серое, низкое небо придавило руины свинцовой плитой. Чистый воздух теперь пах снегом и пылью мертвого камня. На небольшом, относительно расчищенном пятачке у подножия того, что когда-то было школой, собрались они. Выжившие. Горстка. Меньше тридцати душ. Все, кого смогли найти. Оборванные тени в грязной, не спасающей от холода одежде. Лица — прорезанные морщинами от горя, усталости, шока.

Посреди пятачка высились две могилы. Неглубокие, вырытые невероятным трудом в промерзшей земле ломами и отчаянием. Два грубо сколоченных православных креста.

Под первым лежала широкая, плоская плита, кусок гранита из облицовки стены рухнувшего здания. На ней лежал Нож. Тот самый ритуальный Нож. Его рукоять была тщательно очищена от крови, древние руны тускло поблескивали в сером свете. Это был не памятник убийству. Это был памятник Жертве. На плите углем выведено одно слово: «ОТЕЦ». Имя и не нужно. Все знали, кто лежит под ней. Все помнили его лицо. Отец Алексий.

Рядом вторая могила. Над ней не было плиты. Только большой, гладкий камень — обломок фундамента. На камне лежал выцветший, но чистый платок в мелкий синий горошек. Платок, найденный Евгенией в развалинах дома, где жила старушка Мария. Тела не нашли. Не было надежды найти. Этот платок — символ. Символ всех потерянных. Символ Марии. На камне углем было выведено: «ВЛАДА». И снова — имя не требовалось. Это была могила Памяти. Памяти, которую унесли боги, но суть которой осталась.

Между могилами, лицом к жалкой горстке выживших, стоял Андрей. Сломанная рука в самодельной шине, ребра стянуты тканью. Он стоял ссутулившись, будто тяжесть невидимого Камня Грани, теперь лежавшего у него за пазухой как талисман-напоминание, все еще давила к земле. Лицо было бледным, осунувшимся, с глубоко впавшими глазницами. Но в этих глазах, устремленных поверх голов собравшихся, в руины за их спинами, горел неугасимый уголек. Уголек боли и долга.

Тишина была абсолютной. Ветер стих. Только снежинки кружили в морозном воздухе, ложась на плечи, на плиту, на клинок, на платок.

Андрей закашлялся. Звук был резким, рвущим тишину. Он попытался выпрямиться, поморщился от боли в ребрах. Голос, когда он заговорил, был тихим, хриплым, срывающимся на первых словах. Не оратор. Раненый зверь, заставляющий себя говорить главное:

— Они, — он кивнул на могилы, не глядя на них прямо. — Он. И Она. Они. Не герои старого мира. Не те, кого славили в книгах...

Он сделал паузу. Губы дрожали.

— Он верил. Даже тогда, когда Бог молчал. — Андрей посмотрел на плиту с Ножом. — Верил в нас. В людей. До конца. И отдал себя. Чтобы... Чтобы у нас появился шанс. Чтобы эта, — он махнул больной рукой в сторону руин, всего мертвого мира, — чтобы эта земля стала нашей. А не их, — он кивнул на Чертов Горб.

Стал слышен падающий снег. Снежинка упала Андрею на небритую щеку и не таяла.

— Она, — голос Андрея дрогнул, стал еще тише, сорвался в шепот, посмотрел на камень с платком. — Я-я-я... не помню ее лица. — Признание прозвучало как удар хлыстом по его собственной душе. В толпе кто-то тихо ахнул. — Боги... украли ее образ. Но... — он сжал кулак здоровой руки, превозмогая боль, — не смогли украсть тепло. Не смогли украсть силу. Силу ее Любви. К людям! Ко мне! К этому месту! К жизни!

Он поднял голову, глядя на людей перед ним, на их изможденные лица. В глазах которых стояли слезы.

— Они. Отняли у нас все. Боги. Война. Хаос. — Его голос окреп, стал резче, в нем появилась сталь. Не гневная, а твердая. — Дома. Прошлое. Лица любимых. Будущее. Каким мы его знали.

Он сделал шаг к могилам.

— Но они не отняли у нас ЭТО. — Он ткнул пальцем (здоровой руки) в грудь себе, потом медленно провел пальцем по воздуху, указывая на каждого в толпе. — Нашу волю. Копать мерзлую землю, чтобы похоронить своих. Делить последнюю краюху хлеба. Перевязывать раны своим. Держаться друг друга. Когда кажется, что нет сил. Когда больно дышать.

Он посмотрел на Евгению, стоявшую в первом ряду, на ее руки, покрытые ссадинами. Потом на подростков, что таскали камни для могил. На стариков, сколотивших кресты.

— Вот она, — голос Андрея снова сорвался, но он продолжил сбивчиво, страстно: — Вот она! Наша победа. Не в том, что боги мертвы. А в том, что мы есть. Что мы здесь. Что мы копаем. Плачем. Помогаем. Помним суть. Не образы, а тепло. Силу. Любовь. Вот что они не смогли отнять! Вот наш шанс. — Он снова посмотрел на могилы. — Их дар нам.

Он замолчал. Выдохнул облако пара в морозный воздух. Сказанного было мало. Говорил он плохо, коряво. Но сказал главное. Не о славе. Не о мести. О стойкости. О малом. О человеческом.

Тишина повисла снова, но теперь она была иной. Не гнетущей. Насыщенной. Гулким эхом его слов в сердцах слушающих.

Потом Евгения шагнула вперед. Она подошла к могиле Марии, к камню с платком. Она сняла с руки грубую вязаную варежку, драгоценность теперь, и положила ее рядом с платком. Просто. Без слов.

За ней двинулся мужчина с перевязанной головой. Он подошел к плите Алексия, вынул из кармана гладкий, отполированный водой камешек с берега мертвой теперь речки и положил его у основания плиты, рядом с Ножом.

Следом подросток... Потом старуха... После еще... И еще... Люди подходили по одному или по двое. Кладя к могилам то, что они считали ценным: еще камешек необычного цвета, кусочек стекла с интересным рисунком, мягкую игрушку-талисман в виде тигренка, найденного в пепле, тщательно сложенный чистый носовой платок... Молча... Только тихое шарканье ног, поскрипывание снега, прерывистое дыхание. Это был не ритуал скорби. Это был первый ритуал общности. Ритуал признания долга. Долга перед павшими. Долга друг перед другом. Долга перед шансом, купленным такой страшной, такой высокой ценой.

Андрей наблюдал. Боль в ребрах и руке была острой. Душа, в которой не было Марии, ныла. Но эта пустота стала заполняться теплом людской памяти. Теплом от признания. Признания того, что его слова — корявые, сбивчивые — дошли до чужих сердец. Что крупица надежды, брошенная им в мерзлую землю, не погибла, а проросла ростком жизни, жизни с большой буквы!

Когда последний положил свой скромный дар — кусочек чистого металла к плите Алексия, Евгения вышла вперед и обратилась к толпе. Голос ее, обычно тихий, прозвучал удивительно четко:

— Расходимся! Работы — непочатый край. Кто на завал у пекарни?! Кто на сбор дров?! Кто с детьми?!

Люди зашевелились. С вынужденной покорностью необходимости. Но пошли. Медленно, группами, обсуждая уже не смерть, а кто что будет делать. Где копать... Где искать... Кто будет смотреть за слабыми.

Андрей остался один у могил. Снег валил гуще, укутывая плиту, камень с платком и лежащие рядом скромные дары в белый, чистый ковер. Он подошел к могиле Марии, дотронулся до платка. Холодная ткань. Ничего не вспыхнуло в душе. Только знание: здесь лежит Любовь. Повернулся к плите Алексия, положил ладонь на холодный камень рядом с Ножом.

Выпрямился. Взглянул на хрустальное, снежное небо. Посмотрел на уходящих чанцев, растворяющихся в белой пелене между руин. Его город. Его люди. Его долг. Его шрам.

Повернулся и пошел за ними. Не героем. Одним из них. С камнем памяти за пазухой, с болью в теле и пустотой в душе, которую предстояло заполнять не прошлым, а будущим. Еще одним шагом. Еще одной расчищенной грудой камней. Еще одной найденной банкой консервов. Начало было положено. Здесь. У двух могил...

Эпилог. Тихий звон

Чанск лежал в руинах тишины. Не той гнетущей, звенящей от напряжения тишины, что была перед бурей, а тишиной истощения, выжженной пустоты. Дым над комбинатом давно рассеялся, обнажив скелеты корпусов — черные, искореженные, как кости павшего дракона. Город был изранен: трещины в асфальте, заколоченные окна, пустыри, где раньше стояли дома, смытые или провалившиеся в подземные пустоты. Физические раны были видны всем. Гораздо страшнее были раны невидимые. Взгляды людей, вышедших из подвалов и убежищ, были пустыми, остекленевшими, как у рыб, выброшенных на берег. Шепотки на рынке сменились молчанием. Смех детей больше не звучал. Город выжил, но душа его была вывернута наизнанку, опустошена до дна. Он дышал с трудом, как старик после тяжелой болезни, и каждый вдох отдавался болью.

Андрей шел по знакомой дороге на кладбище. Он казался старше своих лет. В плечах — тяжесть не столько физическая, сколько та, что гнула позвоночник изнутри. Седина резче проступила у висков, морщины у глаз стали глубже, прорезанные не годами, а мудростью. Знанием того, что скрывается за тонкой пленкой реальности. Он больше не чувствовал отчетливых «голосов» земли или гула завода-идола. Но он знал — и это было не в мыслях, а в плоти. Боги не умерли. Велес, Хозяин Нижнего, дремал в сырой темноте болот и корнях вековых сосен, его гнев остыл, но не угас. Перун, Каменный Громовержец, затаился в остывшем металле, в ржавых арматурах разрушенного капища-завода — его мощь была сломлена, но не уничтожена. Они спали. Беспокойным, тяжелым сном поверженных титанов. А Грань... Грань между их миром и миром людей была тонка, как паутина после дождя. Вечно тонка. Хрупка. Вечно хрупка.

Андрей остановился у двух крестов над холмиками земли. Бабушка Мария. Хранительница старых путей, знавшая язык земли и шепот корней до последнего вздоха. Рядом — отец Алексий. Проводник Веры, ставший щитом и печатью...

Андрей не стал говорить вслух. Что мог он сказать, чего они не знали? Стоял, и тишина кладбища была красноречивее любых слов. Ветер шевелил его поредевшие волосы, неся запах гари с завода и прелой листвы с болот. Две стороны одной медали. Две бездны, между которыми продолжал балансировать город.

Из кармана потрепанной куртки достал его. Камень. На ладони. Тяжело. Как целый мир. На одной стороне восьмиконечный православный крест — едва различим, словно тень. На другой — солярный знак — колесо с шестью спицами, стерлось почти до гладкости. Символы противоборствующих сил, слившихся в единое. Теперь — просто камень. Напоминание.

Андрей пошел к окраине, туда, где мертвая зона Чанского металлургического комбината упиралась в темную стену начинающегося леса. Граница. Место вечного противостояния, вечного напряжения. Там, на самой кромке, где асфальт трескался и уступал место корням, а ржавые трубы торчали, как клыки, в сторону вековых деревьев, лежал старый, обомшелый валун. Пограничный камень. Не рукотворный, а природный, вросший в землю.

Он подошел, посмотрел на завод-руины, затем в глубь мрачного леса. Ветер усилился, завывая в пустых оконных проемах цехов и шелестя верхушками деревьев. Андрей опустился на колено перед валуном. Неторопливо, почти ритуально положил камень на плоскую вершину. Пусть лежит здесь. На страже. Напоминание о цене равновесия. О хрупкости всего.

Он встал, отряхнул колени. И в этот момент ветер донес до него звук. Слабый. Резкий. Растворившийся в воздухе. Незнакомый — его нельзя было определить точно. То ли это был последний, умирающий скрежет мертвых труб завода — эхо мощи Перуна. То ли рев невидимого зверя из чащи — зов Велеса. То ли... еле слышный, серебряный звон. Как будто от колокола разрушенной Никольской церкви, чудом уцелевшего под обломками. Колокол отозвался на ветер, и звон его, тонкий и чистый, смешался с гулом и ревом, подхваченный воздушным потоком.

Древняя глина земли, хранящая ярость забытых богов, и звон веры, пробивающийся сквозь прах и разруху. Первозданная дикость корней и хрупкая красота духа. Языческая мощь земли и христианская надежда на спасение. Противостояние... И... неразрывная связь. Вечное напряжение. На самой Грани.

Андрей замер, вслушиваясь. Звук растаял, унесенный ветром. Осталась лишь тишина выжженного мира. Надолго ли восстановлен баланс? На годы? На десятилетия? Или это лишь короткая передышка, затишье перед новой, еще более страшной бурей, когда спящие боги вновь потянутся друг к другу или к легкой добыче — людям? Ответа не было. Было только тяжелое, как камень на граничном валуне, знание. И ответственность.

Он не был героем из легенд. Не был князем Ратибором с громовым копьем. Не был святым. Он был Андреем. Копателем мертвых костей. Хранителем живых тайн. Стражем Грани в мире, который едва не рухнул в бездну. И этот мир, хрупкий и выстраданный, нужно было беречь. Каждый день. Каждую минуту.

Андрей повернулся спиной к пограничному камню, к спящим богам, к смешавшимся звукам из прошлого и перекрестился. Он медленно пошел вниз, к молчащим улицам Чанска. Навстречу тишине после апокалипсиса. Навстречу жизни, которая вопреки всему должна продолжаться. Он нес в себе груз памяти оставленного камня и звенящей тишины, зная, что тени под землей и в ржавом железе лишь ждут своего часа. И что его дежурство только началось.

Мария ЗНОБИЩЕВА

БЕЗВРЕМЕННИК

Нева как тетива. Темнее nevermore,
В ней отраженья крыл,
похожие на стрелы.
Летит к моим ногам кленовое письмо —
сургучное пятно на спинке обгорелой.
Письмо летит сказать,
что скоро ничего
нигде и никому
не принесет спасенья.
...Но если это так, кто выдумал его —
сиреневый цветок,
безвременник осенний?
Кто от него отвел мятежное крыло?
Кто в заговор вступил
с его укрывшей веткой?
Кто влил ему в уста лампадное тепло
и стебли осиял серебряной подсветкой?
С утра трава бела, земля больным-больна,
ей проколола грудь отравленная спица.
А если эта боль и есть моя страна,
то именно теперь — как можно отступиться?

* * *

Есть в мире дни, и есть еще места,
где красота течет, не убывая,
когда под нежной ветошью листа
дрожит емшан, как жилка голубая,
и мотыльки слетают на огни,
как на ночную службу одноверцы...
Представь, Господь, что мы с Тобой одни,
И разреши Твое услышать сердце.

Мария Игоревна Знобищева — поэт, прозаик. Член Союза писателей России. Кандидат филологических наук. Автор восьми книг. Лауреат Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова, дипломант Международного Волошинского фестиваля. Лауреат V Всероссийского литературного конкурса «Преображение России» им. С. Н. Сергеева-Ценского. В настоящее время является модератором семинаров для молодых литераторов «Слово за слово» при Центральной детской библиотеке им. Н. К. Крупской г. Тамбова, руководителем детской поэтической студии «Ступени» при Центральной детской библиотеке им. С. Я. Маршака.

Пока глаза от нежности светлы,
не дай поникнуть розам простодушным —
оставь нас в капле солнечной смолы
с крылом шмеля и пузырьком воздушным.
Раздвинув сумрак скорченных ветвей,
взгляни с небес и помани нас раем,
пока в янтарной комнате Твоей
с лучом последним в салочки играем.

ВСЕГДА

Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бой...
А что же тогда? Неотступная страшная сеча.
Зачем этим стаям их гулкий весенний разбой,
Полет вразнобой и пронзительный крик человечий?
Зачем эта нежность? Зачем этот воздух кудряв?
Зачем так тепло у лучистого тела березы?
Зачем просыпаются в люльках лепечущих трав
Пролески, и бабочки, и голубые стрекозы?
Зачем во все небо закатный румянец стыда?
Не знавшее грязи, чего оно может стыдиться?
Какую дремучую тайну скрывает вода,
Дающая жизнь даже слизням, червям и мокрицам?
Зачем улыбаются дети не мимо тебя,
А в самое сердце, в сплетение радуг и молний,
Туда, где крылатый архангел порхает, трубя,
И блещут и плещутся синие древние волны?
И дом на песке, и пленительный терем из льда
Растают, рассыплются, мороком времени маясь...
Я только хотела сказать, что ты будешь всегда.
Ты будешь всегда — помнишь, помнишь, душа? понимаешь?..

ПОВОД

Уехать в лес (придумать повод —
по грибы),
бродить по долу:
не по долгу, по любви,
Где ливень веток
в теплом воздухе лесном
целует свет
ветхозаветный
перед сном.
Ох, эти поводы —
студеная вода:
ночные проводы,
тугие провода,
червем источенный
сквозного сердца плод —
овраг, обочина,
окраинный оплот.
Идешь покорно
у судьбы на поводу:
топор по корню брать,
по норову — узду.
Рябиной к дубу льнешь,
и берегом — к реке,
и держишь душу
на
коротком поводке.

ЗОЛОТОШВЕЙКА

Кудри — под темный плат,
Очи — на вечный плач.
Делай — что повелят,
Перлы да перстни прячь.

Вот тебе три холста —
Золотом ткать цветы.
Если молчат уста,
То говорят персты.

Тки золотым руном
Все, что в тебе болит,
Ибо нет ни в одном
Требнике сих молитв.

Перышки и круги
Вытки в узор иной:
Тки жениха шаги,
Тки поцелуй ночной.

Тки для него судьбу:
Пасху и Рождество,
И завиток на лбу
Первенца своего...

И припадая ниц —
После — под образа!
...Старых-то мастериц
Слепнут, поди, глаза...

СОН О ПЛЕМЕНИ

И мы одно. Мы рядом у костра.
Нам прямо в очи ночь глядит по-рысьи.
К затылку мне заботливо сестра
Прохладные прикладывает листья.

Вот Матерь Лун. Я вижу наяву,
Как у нее подрагивают веки.
...И брат с улыбкой правит тетиву,
И дед в огонь подбрасывает ветки.

То дикий кот крадется вдоль реки?
Или сычи во тьму роняют возглас?..
Могучий страж глядит из-под руки
За край зари, и дымом пахнет воздух.

ПЕСЕНКА

Когда я стану очень старой,
Я буду жить на чердаке
С совой, собакой и гитарой,
Как одуванчик — налегке.
Я раздарю своим знакомым,
Что им придется по душе,
И стану вовсе невесомой,
С руки сдуваемой уже.
Потом друзей моих отпустим —
Лететь к ручью или к лучу...
И никакой не надо грусти,
Когда я тоже — полечу.

Наталия БАРАНОВА

РАССКАЗЫ

Деревенская проза после Распутина и Астафьева, Белова и Шукшина иссякла и, казалось, ушла с ними вместе. И не потому, что не стало великих летописцев и плакальщиков мучительного построения колхозной деревни и ее перестроечного разорения. Дело в том, что последняя тема «деревенщиков» — невозможность природному крестьянину прижиться и освоиться в городе — изжилась. Все вольные и невольные переселенцы либо примерли, либо смирились с неизбежным. Все матеры давно стали китежами и атлантидами — только не легендированными могучими перьями, а вторично потонувшими — теперь в воде забвения.

Так продолжалось примерно полтора десятилетия. Новые литераторы за немногими исключениями конструировали лего-романы или переключились на оплакивание уже райцентров, вымирающих куда быстрее матер. Но, как всегда в России, подспудно все эти годы безрезультатного переусложнения литературы шел процесс, которому умные и загодя выучившие американский английский социологи и критики дали название «дауншифтинг». Дословно это переводится как переключение автомобиля на пониженную передачу. То есть люди, выросшие в городах и даже сделавшие какую-никакую карьеру, стали не то чтобы массово, но достаточно заметно покупать по дешевке брошенные сельские дома и вторично обживать их. Рано или поздно это явление должно было обрести своих Беловых и Распутиных.

Пока, конечно, идет стадия «рано». И рассказы, точнее, миниатюры Наталии Барановой, как те первые ласточки, еще не делают весны постдеревенской прозы, но обаятельно предвещают это «утро года».

Н. Баранова — моя землячка. И ее тамбовские «секретики» для меня открыты как на ладони.. Например, из-под деревни Кулебяково, которая не раз фигурирует в рассказах, вылезает село Кулеватово Сосновского района. Это бывшее имение Спасское славного рода Давыдовых. Узнавание тем более безошибочное благодаря упоминанию реки Челновой. Один из Давыдовых, высокий судейский чин, в свой срок консультировал Л. Н. Толстого в период написания романа «Воскресение». И таких штрихов у Барановой множество.

Чисто «городские» рассказы в подборке тоже присутствуют — ироничные и бесхитростные. Среди весьма «хитростной» современной прозы эти крупинки,

---

Наталия Ивановна Баранова родилась и живет в Тамбове. Окончила Московский государственный институт культуры. По образованию библиотекарь-библиограф. Публиковалась в журналах «Москва», «Подъем», «Берега», «Сура», «Север», «Гостиный дворъ», «Александръ», «Охотничьи просторы», «Охота и охотхозяйство», «Петровский мост», «Молодая гвардия», «Тамбовский альманах», «Литературный Тамбов», «Радуга над Цной», «Хромой Пегас». В мае 2021 года вышла первая книга «Злокачественная форма одиночества». В октябре 2023 года — вторая книга коротких рассказов «Жизнь прекрасна». Член Союза писателей России. Главный редактор литературно-художественного альманаха «Хромой Пегас».

быть может, насытят читателя подлинной Россией, никуда не девшейся, но нажившей в страданиях целомудренную сокровенность.

В добрый путь, землячка!

Марина КУДИМОВА

ДВА ДНЯ

Новость о многомиллиардных убытках почты проскочила незаметно и никого не встревожила. Чтобы отсрочить банкротство, начальство решило, что копейка рубль бережет, и начало оптимизацию с увольнения почтальонов. Это не помогло, решили закрыть почтовые отделения в деревнях и селах. Письма писать — это теперь ни к чему: есть же всякие гаджеты и мессенджеры. Любая бабка сможет настукать пару слов детям, а те ей открыточку с днем рождения пришлют или смайлик.

В стране еще никто толком не осознал случившееся, а пенсионеры и две собаки в Кулебякове на своей жизни и шкуре первыми почувствовали перемены.

После того как в деревне был закрыт сельский клуб, опять же — оптимизация — культурный и информационный центр переместился на почту. А когда закрыли почту, всякий досуг с посиделками закончился. Теперь новости узнать негде. Бывало, дед Мишка придет, обо всех деревенских проказах расскажет, а больше всех историй приносила Валька Козлова. Мимо той ничего не проскочит. Да шут бы с ними, с новостями. Где теперь пенсию получать? Раньше к каждому седьмому числу готовились, ждали почтальонку Марь Семенну. Соблюдался целый ритуал: деньги дважды пересчитают, в ведомости распишутся, потом за стол посадят, чаем-плюшками угостят, всех обсудят. А теперь, что? Вместо Марь Семенны какой-то Греф на карточку пенсию «кидает». Деньги вроде есть, но на ночь не пересчитаешь и в чулок не положишь, внучку на мороженое не выдашь. Да и молочница Маруська наличку просит.

Ну, бабушки как-нибудь о себе сами позаботятся, а вот собакам без людей смерть, хотя и с людьми тоже смерть.

Две собаки Муська и Буська долгие годы жили при почте. Откуда пришли и кто их на улицу выбросил, про то история умалчивает. Но здесь они прижились: Марь Семенна их кормила, а собаки исправно несли службу — гавкали.

И вот после принятого решения почтового начальства в далекой Москве Марь Семенна лишилась работы, а собаки дома. Марь Семенна быстро пристроилась — начала внуков нянчить, а собакам пришлось скитаться по деревне. Она бы их к себе взяла, да некуда — место было занято Шариком, который чужих не жаловал. И пошли собаки от двора к двору, сидели у ворот, ждали, когда хлеба вынесут. Народ в деревне строгий, но сердобольный. Во двор не пригласят, но миску щей всегда предложат. Муська и Буська сразу прочувствовали, где вкуснее встречают — у деда Мишки. Во двор их не пускал, но лапша на курином бульоне на обед была. Так и прижились у него перед домом в дровах, которые он для бани заготовил, да во двор перенести сил не было. Собаки жили мирно и сытно. Дед Мишка их кормил, а они гавкали — дрова сторожили.

И тут судьба сделала в их жизни еще один поворот: дед Мишка попал в больницу. А когда через месяц вышел — собак нет. Походил по деревне, поспрашивал, но никто не знал, куда и когда они делись. Оно и понятно: у каждого своих забот полон рот, некогда за бездомными собаками следить. Но в деревне строго работает

закон: «Все тайное становится явным». Пошел слух, что это Петрович собак «пристроил» — мешали ему. Ночами приходили к его Мухтару в гости, а тот гостей не любил, брехал, спать хозяину не давал.

Дед Мишка скандалить из-за собак не стал, но все ждал случая поговорить с Петровичем. И вот случай представился. Встретились они в магазине.

— Жив, дед? А мы уж думали, что ты того... — дружелюбно поприветствовал Петрович.

— Не, мне еще рано. Дел много осталось, да и собак надо пристроить в добрые руки. Вроде как я ответственный за них.

— За собак не беспокойся, их пристроили, — рассмеялся Петрович.

Дед Мишка аж потемнел лицом:

— Не тобой жизнь дадена и не тобой будет отобрана! — Дед поднял указательный палец вверх. — Минус одна чужая жизнь — минус день из твоей жизни, — сказал он тихо, делая паузы между словами.

— А как же куры и кролики? — ехидно подковырнул Петрович, прикинувшись, что не понимает, про какие это жизни дед говорит и на кого пальцем указывает.

— Так то от необходимости. Человек потому и выжил, что хорошим охотником был. Теперь-то охотиться не надо, а кушать привычка осталась. Вот и охотится каждый у себя в сарае.

— А вот скажи мне, как ты узнаешь, что у тебя минус произошел? Жил-жил и помер, когда тебе отмерено. Как узнать, что минус два дня за этих собак?

— Говорят же, что перед смертью не надышишься, всегда несколько дней не хватает. И вот когда помирать время придет, хоть в восемьдесят, хоть в девяносто, так ты знай, что два дня у тебя отобрали. Тут главное что? Чтоб ты сам про себя знал, а уж Господь подсчитает. А за собак он строже спрашивает, чем за людей.

— Так вот почему ты бездомных собак прикармливаешь, лишних два дня урвать стараешься? — веселился Петрович.

— Не, в обратную сторону божий закон не работает. Он может только отобрать в наказание, а поощряем мы себя сами: таблетками, диетами и зарядкой.

— То-то я смотрю, ты дрова с утра до вечера колешь. Это у тебя зарядка такая? Пожить подольше хочешь?

— А кто не хочет? Но дрова— это другое: хобби. Вон Семенна пятого внука пестует — хобби у нее такое, я дрова колю, ты собак травишь. У каждого свое.

Дед Мишка взял покупки и вышел из магазина. Душа еще тянула, но уже легче стало. Так всегда, когда выговоришь свою беду. Но беда с собаками еще долго не отпускала.

Недели через две в гости пришла Семеновна. Она по старой привычке все еще захаживала к нему, хотя пенсии уже давно не разносила.

— Слышал, дед, новость? Петровичу кто-то собачонку подкинул, так он ее на цепь посадил и кормит.

— Два дня отрабатывает, — усмехнулся дед Мишка.

СВЕТ В ДОМЕ НАПРОТИВ

По обоим берегам реки раскинулись два села — Кулебяково и Пески. Хотя нет. Пески на село не тянуло, даже в свои самые расцветные годы — это была деревня. А Кулебяково — дворов на триста, растянулось на четыре километра на левом берегу.

Все здесь было: и свет, и газ, а по центральной улице, которая была одна, асфальт пролег аж до самой трассы на областной центр. Пескам повезло меньше, если не сказать, что совсем не повезло. Они расположились на правом, самом живописном берегу реки, но что толку от этой живопи́си, если добраться до магазина-цивилизации можно двумя путями, и оба непреодолимой силы: через реку или в объезд лесом — кругаля ни один десяток километров. Летом еще туда-сюда, а вот ранней осенью и с началом зимы — пока река не замерзнет окончательно, — ждать приходилось несколько недель, чтобы сходить за хлебом. На эти несколько недель запасались провизией заранее. Домов здесь было немного — штук двадцать, а жителей осталось сильно меньше — трое. Молодежь подросла и уехала в поисках цивилизации: кто побойчее и расторопнее — в областной центр, многие смогли добраться и до Москвы. А остальные не преодолели притяжения малой родины и осели на левом берегу в Кулебякове. Из удобств, которыми пользовались во всем мире, в Песках был только свет. Остальные: дрова в лесу, туалет в саду, огород соток на сорок сразу за садом. Земли вокруг много — бери, сколько хочешь. Но никто ее брать не хотел. Как говорил дед Семен: «В Гражданскую за нее с кровью пластались — глотку друг другу рвали, а теперь только собаки бегают, серють. Никому не нужна землица, политая кровью».

Сначала деревня состарилась, а потом померла. И остались на живописном правом берегу только Митрич с Полканом, Семен с Нюрой и коровой Ласточкой.

В этот год зима не спешила — уже и декабрь к концу, а ни снегов больших, ни сильных морозов не было. Река никак не могла замерзнуть до пешеходного состояния. Если смотреть на деревню издалека, то казалось, что она вымерла. Но нет, два крайних дома дымили печными трубами.

— Ну что, Нюра, какое будет наше решение? Здесь будем зиму зимовать или к зятю на постой переберемся? — Семен в стареньких подшитых валенках сидел на скамеечке возле печки и подкидывал березовые чурочки в огонь. С утра на кухне прохладно, он подзадержался с растопкой печи. Хозяином в доме был Семен, но последнее слово всегда оставалось за Нюрой. Так сложилось за долгие годы — жена не перечила, а муж был с ней согласен.

— Да что ты все об одном и том же. Решили уже — река встанет, переберемся к дочери в Кулебяково. Давно ведь звала. Дом большой, всем места хватит. А там, глядишь, понравится, и останемся жить насовсем. И опять же, с печкой не возиться. Газ в доме. Хочешь, сделай газку погромче, хочешь — потише. Все в твоей власти. И магазин рядом — хлебушек свежий два раза в неделю, а не как сейчас — раз в месяц купим, сначала свежий, а потом сухари жуем.

— Магазин — это хорошо... — мечтательно улыбаясь, протянул Семен, соображая о чем-то своем. Жена строго посмотрела, и он осекся. Они поняли друг друга с полувзгляда. Давно живут, и ни одна потаенная мысль не может проскочить незамеченной.

Нюра только что подоила корову и разливала молоко по банкам — процеживала через марлю. Молока было много: вдвоем пить — не выпить. Летом дачники помогали — у ворот очередь стояла после каждой дойки, а как осень — масло и творог в деревню возили: сначала на лодке через реку, потом полем километров пять до Кулебякова. А зимой хоть криком кричи — молоко девать некуда. Кругом снега́, и по полю с банками много не набегаешь.

— А с коровой-то что делать будем? Ее куда? — Семен чуть продвинул кочергой прогоревшие дрова в печи и засунул еще один полешек.

— И корове место найдется. Полный двор сараев. А сена еще от дочкиной Буренки осталось. Хорошая корова была, да молодежь сейчас не приучена скотину дер-

жать. Жаль, продали. Так что до весны прокормим. И ей хорошо, а нам еще лучше. Молоко продавать будем, маслице. Все покупатели на месте, не надо через реку возить, сами на дом придут.

В сенцах стукнуло, заскрипели половицы, потом раздалось чертыханье — кто-то в темноте пытался найти ручку на двери.

— Вы чего без света сидите? Чуть лоб не расшиб в темноте. — В комнату вошел Митрич, пошаркал о половичок валенками, прошел к столу. — Гостей не ждете?

— Гостей не ждем, а соседям завсегда рады. — Нюра налила парного молока в кружку и протянула Митричу. — Ты нынче на речке был? Чего там со льдом, замерзла?

— Ровно половина. Еще недельки две морозов, и можете отправляться в странствие в поисках счастья на земле в виде газа, света и магазина через дорогу. Не передумали?

— Вот сидим, думаем, но не передумали, — сказал Семен.

— А чего так долго думали? Надо было еще по теплу отплывать. Корову к лодке привязал, пять минут, и все чады и домочадцы на том берегу. А теперь что? Тащи ее через все поле по морозу, пока добредете, она либо сиськи отморозит, либо чихать начнет.

— Хватит балагурить, — сердито сказала Нюра, — тебе легко рассуждать, сидя на пороге дома. А ты вот попробуй бросить все да и податься незнамо куда.... Тут ведь каждый гвоздь, каждая доска своими руками прибитая, каждый уголок родной...

— Чего ты, мать, причитаешь. Как это незнамо куда? К детям переезжаем... тьфу, переплываем. Поживем, пообвыкнем, и там все доски родными станут.

— Детям мешать — последнее дело. Старики, сколько могут, должны жить отдельно. — Митрич пил молоко и в шутку морщился. — Хорошее молоко, жирное, душистое, но много не выпьешь, это тебе не водка, — сказал он и протянул кружку Нюре, как бы прося налить еще.

— А зачем мешать? Дом большой, на два входа — ни они нам, ни мы им мешать не будем. Дом строили для двух детей, но дочка с зятем тут остались, а сынок в Москву подался. Там, видать, соль солонее да сахар слаще. Вот его половина и пустует, нас ждет. — Нюра наполнила кружку Митричу и понесла банки с молоком в сенцы. С началом зимы там было прохладно, и она отключала холодильник. Небольшая, но все ж таки экономия.

— Так, расклад я понял. Отходную когда собирать будете? На Руси так повелось: в дальнюю дорогу надо провожать с песнями и плясками, иначе дорога не будет скатертью и прирастание к новому месту вызовет трудности. Гармонь не обещаю, но спеть могу, вы только стол накройте да чарочку на посошок налейте.

— Знаю я твою чарочку, потом неделю будете провожаться, а то и две, пока не закончится все, что горит. — Нюра сердито гремела ведром, обмывая его от молока.

— Анна Васильна, ты чего серчаешь, я ж пошутил...

— Тут шути не шути, но обычай блюди! — радостно поддержал Семен.

— Без обычаев справимся. — Нюра строго посмотрела на него. — Нам бы только реку перейти, а там зять на машине встретит — снегу мало, проехать по полю можно, без отходной доберемся.

Через две недели, как и обещал Митрич, река окончательно встала. Подождав для верности еще неделю, чтобы лед мог выдержать шествие из трех человек, санок с узлами и коровы, Нюра с Семеном двинулись на новое место жительства в поисках цивилизации: света, газа и свежего хлеба. Процессия растянулась. Первым бе-

жал Полкан, затем мужики тянули санки, замыкала шествие Нюра с Ласточкой. Зять уже ждал на левом берегу. Вещи и Нюру погрузили в машину и тронулись, а Семен с коровой пошел следом.

Полкан долго бежал за ними, громко лая, стараясь с собачьими почестями проводить Ласточку.

— Молодец, Полкан, достойно проводил подружку. — Митрич ласково потрепал собаку, когда она вернулась. — Жаль, остались мы без молока... ты и я... Но вот помяни мое слово, не задержатся они там, а уж магазин через дорогу — это совсем пагубное дело... никакой пенсии и никакого здоровья не хватит. Ну, ты меня понимаешь?

Полкан опустил хвост, наверное, понял...

Домой пошли не сразу — сначала побрели вниз по реке до того места, где все лето лагерем стояли рыбаки, побродили между брошенных домиков-шалашей, сделанных на скорую руку. И тут были запустение и тоска. До лета, когда здесь все оживет и можно будет приплыть к мужикам в гости, пообщаться, еще далеко. Собака и Митрич оттягивали возвращение в дом, где их никто не ждал. Странное дело, их давно уже никто не ждал, но такого острого чувства одиночества не было. Они всегда знали, что по соседству есть люди, к которым можно прийти, поговорить, и тебе не откажут ни в хлебе, ни в соли, ни в стопочке, ни в разговоре за «жизнь». Митрич не задумывался, как выглядит одиночество, но теперь понял: это когда смотришь в окно, а из трубы дома Семена и Нюры дым не идет, и не единого огонька вокруг. Войдя в комнату, он первым делом задернул занавески, чтобы не видеть черные провалы окон в соседнем доме.

Начались короткие зимние дни, которые тянулись бесконечно. Каждый новый день был похож на предыдущий. Выручали рыбалка и разговоры с Полканом. И всегда беседы начинались одинаково:

— Спорим, Полкан, что Анна Васильна там долго не выдержит? Женщины, они, конечно, выносливее мужчин, но слабее. Нервами. Если тебе интересно мое мнение, то она первой не вытерпит магазина через дорогу. Или ты думаешь, у Семена здоровья не хватит пользоваться благами цивилизации? Чего молчишь и смотришь? Мигни хоть...

Полкан молчал и только стучал хвостом по полу.

* * *

Но все когда-нибудь заканчивается. Закончилась, как никогда, долгая зима. А весной всегда легче: дни становились длиннее, лес в конце огорода зазеленел, птицы весело гомонили в саду. Старый Полкан частенько отсутствовал дома: бегал по округе, гонял зайцев, радовался теплу. На майские праздники зацвела черемуха, а потом и сады в пустующей деревне оделись в белый, пахучий наряд.

Митрич любил это время года. Красоту рассветов на реке не закрывали листья, и дурманящий запах цветущих деревьев плыл над рекой вместе с туманами. Он просыпался еще засветло и шел на рыбалку, но не так уж и нужна рыба... Ему хотелось видеть, как зарождается новый день: поют птицы, и громче всех соловьи; молочный туман разливается по реке и по мере того, как поднимается солнце, окрашивается в оранжевый цвет. Он родился, вырос и прожил жизнь на этой реке, но каждый раз удивлялся красоте раннего утра, как будто видел это впервые.

Сегодня река встретила его особенно сильным туманом.

— Ты посмотри, Полкаша, туман, как молоко — даже поплавка не увидим. — Митрич вставил весла в уключины, оттолкнулся веслом от берега. Собака запрыг-

нула в лодку и приготовилась к длительному ожиданию. Ей было не привыкать — так начиналось каждое утро.

— Нет, собакен, сегодня мы не поплывем на наше прикормленное место — далековато, чую, сил не хватит грести потом против течения. А если рыбы не будет, то ничего страшного — ты ее не ешь, а я ее с детства объелся. Раньше Нюра выручала, ей отдавал. Она для Семена жарила, а тот все шутил... мол, уже в темноте от фосфора светится. А помнишь, мы в прошлом году наловили рыбы, а она вся с икрой, так Нюра меня ругала и два дня не разговаривала. А для меня гнев Нюры страшнее всякого рыбнадзора.

Собака, которая не успела устроиться на дне лодки, начала беспокоиться. Она привстала и зарычала. Сквозь туман еле заметно просматривался противоположный берег, где проступало большое темное пятно. Митрич еще ничего не понял, а Полкан уже радостно заливался лаем. На берегу стояла корова Ласточка, потом из тумана появились Семен и Нюра.

— ЭЙ, эй, сосед! Ты сегодня чего-то припозднился! Мы уж все жданки съели, пока тебя дождались! — Семен в приветствии махал фуражкой.

— Привет беженцам от цивилизации! — закричал Митрич и, быстро развернув лодку, погреб к противоположному берегу. — Это не мы припозднились, а вы раненько объявились. У нас с Полкашей все строго по расписанию, и в нем гостей не предусмотрено. Мы вас через месяц ждали, когда вода теплее будет. Ласточка ж корова, а не морж.

— Давай греби уже, мы замерзли, дожидаючись тебя! — кричала Нюра.

— Вот если б ты меня спросил, что такое счастье, — Митрич наклонился, обращаясь к Полкану, — так я б ответил: это когда тебя ждут на том берегу в тумане друзья. — Ну, теперь, брат, заживем... у тебя на ужин молоко появится, у Нюры рыба, а у нас с Семеном будет с кем поговорить. Ты не обижайся. И ты хороший собеседник — никогда не перечишь, всегда внимательно выслушаешь, но уж больно мало-разговорчивый и без своего мнения, с которым не поспоришь.

В последнем рывке лодка уткнулась в берег. Первым выскочил Полкан, кинулся приветствовать друзей. Он гавкал, Ласточка мычала, Семен кричал что-то приветственное, Нюра смеялась. И эти звуки разносились далеко по реке. Вещей было мало — только два узелка в руках у Нюры — и корова.

Митрич не скрывал радости от встречи.

— Я ж предупреждал, — сказал он, — что без проводов не приживетесь на новом месте. — Он сидел на веслах и ждал, пока все погрузятся: собака встала на нос лодки впередсмотрящей, корову привязали к сиденью. Так караваном и поплыли. Ласточке было холодновато, но она не сопротивлялась, молча плыла следом за лодкой.

— Поздно нам уже приживаться, надо продолжать жить, — Нюра восторженно смотрела на оранжевый туман, который разливался по реке. — Сколько живу, а такой красоты не видела...

— Такую красоту видят только рыбаки да влюбленные, ну, еще рыбнадзор. — Митрич с усилием греб. Его старенькая плоскодонка не привыкла к такому грузу.

— Ты это... заканчивай с рыбалкой... приходи пить молоко. И Полкана не забудь. Нынче у всех праздник — вы нас дождались, а мы домой вернулись.

— Как же! Заканчивай! Теперь-то самая рыбалка и начнется. Вы там, поди, истосковались без рыбы. Осетров не обещаю, а карасиков к столу привезу.

Они причалили к берегу, Митрич помог Нюре выбраться из лодки:

— А где ж весь скарб? Или решили назад вернуться?

— Какой назад?! Назад больше ни ногой! Зять на днях привезет. Выходной будет, он и привезет. А мы не могли ждать, так домой захотелось, хоть криком кричи, — сказала Нюра.

— Так это вы кричали? Я каждое утро слышал крики с той стороны! — рассмеялся Митрич.

— Тебе бы все смеяться, а тут не до смеха, — ответил Семен. — Купишь бутылочку, а поделиться не с кем... так и употребишь в одно лицо. То есть в одну печень... вот она и не выдержала, — сказал Семен.

— Кто? Печень?

— Да нет же... Нюра. Но последней каплей стал счет за газ. Всю зиму почтальонка квитанции в почтовый ящик кидала. Мы тех квитанций и в глаза не видели — дочь с зятем перехватывали. А в последний раз Нюра ее возле ворот встретила. Так сказать, из рук в руки... извольте платить по счетам... И тут открылась тайна нашего финансового благополучия в размере трех тысяч за газ, тыща за свет, ну и, сам понимаешь... почти каждый день свежий хлеб и песни для души.

— Каждый день до песен? Представляю, Нюра, как тебе трудно было — у него ж ни слуха, ни голоса, — посочувствовал Митрич.

— Тут не смеяться надо, а плакать! — враз осерчала Нюра.

— Ну, ладно, ладно, не серчай. Все уже позади. Почтальонка сюда не доплывет, а петь с Семеном мы будем раз в неделю по выходным и нечасто по праздникам, — пообещал Митрич. — Идите домой, обживайтесь на своем родном новом месте, а мы с Полканом поплывем, рыбы наловим к ужину. И Ласточку предупредите: сегодня за встречу пьем только молоко, пусть побольше даст.

Нюра с Семеном и Ласточкой пошли через поле к дому, а Митрич с Полканом поплыли на прикормленное место за обещанными карасями.

* * *

После ужина, когда караси в сметане были съедены и вечернее молоко Ласточки выпито, прощаясь, Митрич сказал:

— Простите меня, дурака, это я напророчил, что не будет вам счастья на новом месте.

— А все наше счастье здесь, — ответила Нюра. — Но пока счастье выглядит как будни, не поймешь, что оно было счастье.

— Мы тоже скучали. Правда, Полкан?

Полкан, который лежал у двери, поднял голову и высунул язык — то ли от жары, то ли в радостном приветствии, а может, дразнился.

— Будем считать, что правда, — сказала Нюра.

Вернувшись домой, Митрич прошел к окну и отдернул занавески.

— Иди сюда, Полкаша, глянь. Помнишь, я тебе утром сказал, что счастье — это когда на том берегу в тумане ждут друзья. Оно, конечно, хорошо... Но лучше, когда в доме напротив горит свет.

ВЕДРО

О таких, как Василиса, раньше говорили: сто лет в обед будет. Сто не сто, но много... А что делать? Живой в могилу не ляжешь. Жить долго хорошо, но ни к чему. Из родных одна внучка осталась, и та в деревню пятый год глаз не кажет. Осталь-

ные давно померли, только ее Господь никак не приберет. На всю деревню три древних реликта. Да и деревни, почитай, нет. На дальнем конце улицы Манька свой век дотягивает. Вместе в школу ходили, потом на заработки в большой город ездили, но не прижились там... вот и доживают в деревне, которой нет. Третий — дед Тимофей. Один жених на двоих, как он сам смеется, ходит навещать — Маньку по четным, Василису по нечетным дням. То лампочку вкрутит, то воды натаскает, а иной раз просто так, поболтать. Заодно и столуется у них. Самому-то лень готовить. Мужики — они такие: будут сидеть на сухомятке, но щей себе не сварят.

Василиса посмотрела в отрывной календарик, что висел на стенке, — число было шестнадцатое, Тимофея можно не ждать, придется самой лезть в погреб, картошка закончилась. Она надела телогрейку, сапоги — обувь на все случаи жизни, — повязала платок и вышла во двор. Коротко гавкнула собака. Это Мохнатка показала, что сторожит никому не нужный сарай.

— Ты чего это, Мохнатка? Не признала хозяйку? — Василиса погладила собаку и открыла дверь в сарай. Света здесь не было. А кому светить? Когда-то жили большой семьей, чего только не бегало по двору и не мычало в сарае: корова, кролики, куры, гуси. В колхозном стаде овечки ходили. Теперь нет ни семьи, ни живности, ни сил держать хозяйство. Ей одной много ли надо? Мешок картошки, ну огурчиков соленых, капусты квашеной. К разносолам за всю жизнь не привыкла, а теперь и подавно не укусить. Не по зубам и не по деньгам.

Василиса шагнула в сарай, посветила себе фонариком и, не глядя под ноги, пошла в темноту, к люку в погреб. За долгие годы, что жила одна, она научилась экономить силы и рассчитывать каждое движение, когда доставала из погреба картошку, соленья. Чуть зазеваешься, и останешься в погребе. Жди, когда Тимофей придет или Манька-подружка хватится. Сначала она привязывала толстую веревку к ручке двери, потом спускалась в погреб, тянула за собой веревку, на конце которой болталось ведро. Затем набирала картошку в ведро, вылезала из погреба и тянула веревку наверх. Сегодня она проделала это ловко, но захотела еще баночку с грибами достать, да и огурчиков не мешало бы... Второй раз спустилась вниз, наполнила ведро банками, вылезла и потянула веревку. Тут-то ведро, которое служило ей десятки лет, оплошало — не выдержало нагрузки, дно вывалилось. Банки рухнули вниз в погреб, хорошо, хоть Василиса удержалась. Она пнула ведро и расплакалась от бессилия.

— Господи! За что ты меня наказываешь, — причитала она. — Все нормальные люди давно уже с тобой разговаривают, отчет дают, а я все по погребам скачу.

Мохнатка подошла к ней и облизала мокрое от слез лицо, пожалела.

Она поплакала, вроде легче стало. У женщин всегда так — боль и обида слезами исходит. Решила, что на сегодня приключений хватит.

— Вот придет завтра Тимофей и натаскает банок из погреба, — сказала Василиса собаке. — И тебе будку подправит. Крыша давно течет. Хватит под порогом скитаться, если собственный дом есть.

У нее от одиночества появилась новая привычка. Она теперь со всеми разговаривала: с мышами, которые грызут что ни попадя; с «ходиками» — эти вечно отстают; сама с собой, если что-то вспоминалось, а рассказать некому. Иной раз и кошке приходилось выслушивать хозяйку. Всегда в доме жили только коты, с ними проблем меньше, но со временем Василиса поняла, что кошки лучше слушают. Вот и сейчас пришла домой, сварила картошку, но в тишине невкусно кушать. Она посадила перед собой кошку, налила молока в мисочку и начала жаловаться: на одиночество, на старость, на ревматизм — последнее время совсем одолел. Вспомнила о ведре, которое подвело.

— Думала, этому ведру сноса не будет. Видать, у всего есть предел, что у человека, что у железяки. Жила, росла, старилась, а оно все при мне было. Помню, мать корову подоит, а часть молока надо в колхоз сдавать. Детей-то нас пятеро, чем кормить, если молока не будет. Голодно жили, только молоком и спасались. Вот и разбавляли его водой, чтобы себе побольше осталось. Несла, бывалыча, в ведре разбавленное молоко, тряслась как осиновый лист. Вдруг поймают, срам-то какой! Они ж там мерили жирность и на бумажке писали, чье молоко какой жирности. Бумажка потом на стене в правлении висела. Вот однажды мать разбавила молоко, я отнесла в колхоз, а на бумажке потом написали, что молоко у Коржовых жирное. Домой неслась, от радости ног под собой не чуяла, ведром махала, а домой прибежала, кричу матери: «Лей еще воды, наше молоко самое жирное». Вот так вот и жили...

Кошка пила молоко, наверное, внимательно слушала, но по ней было не видно.

Василиса продолжала:

— А потом еще помню. С мужем Ванечкой, еще когда женихались, встречались у колодца. Конспирация такая. Отец детей в строгости держал, гулять вечерами не пускал, а днем некогда, вот и придумали, что встречаться будем у колодца. Собираюсь за водой, а мать и говорит: «Что это ты, Васька, так часто за водой бегаешь. Эту еще не испили». А как только Ванечка сватов прислал, так я о воде и забыла, теперь это была братова обязанность. — Василиса рассмеялась, вспомнила, как брат Андрей бегал за ней с коромыслом, кричал, что не мужеское это дело — за водой ходить. О чем с девками у колодца разговаривать? — В деревне ведро — наиглавнейшая ценность: и корову подоить, и воды испить, а состарится, так картошку копали, опять же, ведрами ссыпали в мешок и считали, сколько ведер накопали. Больше или меньше, чем в прошлом го́де. Мешки-то у всех разные, а ведра одинаковые. Вот и мерились с соседями, у кого урожай лучше. А если уж совсем никуда негожее становилось, так не выбрасывали. Спросишь почему? А жаль было. Никогда не знаешь, как и что в хозяйстве пригодится. Вот и сегодня, думаешь, я его выбросила? Так нет, на колышек, на ограду повесила. Пущай висит, авось пригодится. Опять же, жаль, столько всего с ним было. Помню, в войну наши быстро отступали, мы и опомниться не успели, как враги уже по деревне шли. Кто пешком, а кто на лошадях. Мадьяры — нация такая. Мы о таких и не слыхали. Это тебе не немцы. Те все больше на мотоциклетках. А лошадей-то поить надо. Вот один мадьяр заскочил во двор, схватил ведро, что сушилось на ограде, и побежал по улице. Мать так и ахнула, где теперь ведро взять — разруха кругом. А вечером пошла к колодцу, а там ведра со всего села валяются. Мать свое-то и взяла — приметное было: бок чуток вмятый.

Кошка закончила с молоком и сидела, гостей намывала.

— Чего это ты, Мура? Гостей нынче не будет, не старайся, не наш день.

Только проговорила, как стукнула дверь, в темных сенцах зашебуршало, и на пороге появился Тимофей.

— Привет, Вася. Знаю, знаю, не твой день — Манькин, но у тебя щи вкуснее, да и дело есть.

— За щами завтра приходи. Сегодня картошка в «мундире».

— А с чем картошка?

— С языком. Остальное на дне погреба. Я тут маленько «управилась». Не стала тебя ждать до завтра, сама в погреб полезла. Ведро с банками тянула, а дно не выдержало, вывалилось. Огурцов не жалко, а вот ведро теперь только выбросить, да больно жаль. Как память.

— Зачем выбрасывать? Для моего дела как раз сгодится. Сейчас его приспособим, еще послужит.

— Что за дело?

— Ты ж знаешь, я праздники люблю. Каждый день листаю календарик. Сегодня глядь, а там твои именины. Вот принес яблоньку — росточек тоненький. Давай посадим возле дома, а чтобы ненароком не сломила, наденем на него ведро, пусть охраняет. Урожая, может, и не дождемся, но деревце будет расти и мир радовать.

Яблоньку сажали с радостью. Потом долго сидели на порожке, смотрели на новую жизнь, и каждый думал о своем.

Василиса: «Приедет внучка, а яблонька ее встретит. Если весной — то цветами, если летом — красными яблочками. Это как привет от меня. Она догадается».

Тимофей: «Может, к Маньке пойти? Щи — они везде щи...»

Он поднялся:

— Так ты меня завтра жди. Прямо с утра. Дел много: в погребе порядок навести, дверь в сарай перекосило, подправлю. И щи... по расписанию.

Он засмеялся и пошел со двора, а Васька осталась сидеть на крылечке. Рядом примостилась Мохнатка, на коленях мурлыкала Мура. Всякая животинка любит ласку. У нее как раз две руки: левой гладила собаку, а правой почесывала за ушком у кошки.

— Ну что, родненькие... Не зря говорят: есть жизнь после смерти, что у человека, что у железяки. Будем жить, ждать весны... и Тимофея.

СУДЬБА НА КОНЧИКЕ ХВОСТА

— Кис-кис, кис-кис. — Хозяйка была настойчива в своих призывах.

И почему люди такие бестолковые? Зачем кыскать полчаса, если он первые две минуты не вышел? На сегодняшний вечер у Барсика были другие планы.

Кот сидел под диваном, боясь пошевелить хвостом, чтобы хозяйка не обнаружила его и не потащила купаться с шампунем «Смерть кота», а потом чесать и шептать человеческие глупости о пупсике... Сколько раз мяукал ей, что вечером у котов должно быть больше личного пространства. Столько дел за день накопится, что к утру не разгрести.

Сегодняшнее событие круто изменит не только его жизнь. Мурка согласилась поужинать. В завершение вечера, на десерт, он решил сделать ей предложение, познакомить с хозяйкой и показать корзинку под столом, где они будут жить.

Отужинать решили скромно — в кафе недалеко от дома Мурки. Это был ее выбор, Барсик не сопротивлялся.

Мура принарядилась, надела ошейник. Он был под цвет шубки, и блохи не беспокоили.

Прекрасный летний вечер благоухал запахами из кухни, на веранде летнего кафе людей было немного.

— Ты когда-нибудь бывала в таких местах? — спросил Барсик, пропуская Мурку впереди себя.

Чуть помедлив, скромно опустив глаза, Мура муркнула:

— Нет, — и уверенно прошла к дальнему столику.

— Тогда запомни несколько основных правил: о ноги не тереться, на стол с лапами не лезть, громко еду не просить, и лучше будет, если ты сядешь около ярких

красивых туфелек. У черных ботинок не садись. Мало ли что у них на уме, могут и пнуть. Да, еще... Вид имей жалостливый, но не жалкий, таким чаще предлагают угощение. От хлеба не отказывайся, иначе подумают, что не голодная, и ничего не дадут, только погладят. А это ни к чему — погладить могу и я. — Барсик делился богатым опытом.

Заняли места, каждый под своим стулом. В ожидании гостей мило поговорили.

Не прошло и пяти минут, как в кафе вошла парочка. Женщина огляделась и решительно направилась к дальнему столику. Выбор меню занял у них не много времени, и то, что они заказали, Барсику понравилось. Ужин обещал быть отменным: заливное из языков, севрюга в собственном соку, оссобуко из телятины.

— Последнее блюдо звучит не очень понятно, но, думаю, стоит попробовать, — сказал Барсик. Он посчитал, что вечер начинается удачно.

Но все испортили черные ботинки. Нет, не Мурка! А именно черные ботинки, которые решили до подачи севрюги сделать своей подруге предложение пожить вместе. К предложению прилагалась красная коробочка с кольцом.

Женщина сильно обрадовалась, взяла из коробочки сияющий подарок...

В это время, забыв все приличия и наставления Барсика, Мура начала приставать к черным ботинкам: громко мяукать, тереться о ноги, оставляя часть своей прекрасной шубки на брюках. Ботинкам это не понравилось, они сначала тихонько отодвигали кошку, потом, не выдержав, пнули.

А дальше все произошло неожиданно и одновременно.

Черные ботинки наступили Мурке на лапку, которую она неосмотрительно подсунула.

Кошка заорала, как резаная.

Барсик, защищая подругу, вцепился в ногу чуть повыше ботинка.

Мужчина закричал, как ободранный.

Женщина выронила кольцо из рук, не успев надеть на палец.

В этой суматохе никто не заметил, как из-под стола вышла, прихрамывая, красивая кошка в ярком ошейнике, сопровождаемая котом с грустно опущенным хвостом.

— Дорогая, — сетовал Барсик, — мы остались без ужина. Я же просил тебя не тереться о черные ботинки. Это никогда не приводит ни к чему хорошему. Всегда только скандал.

Мурка хромала, молчала и улыбалась в усы.

«Ну, как понять этих женщин? Чему тут можно улыбаться, когда не успели съесть ни одного кусочка рыбки, а дома нет ничего, кроме кошачьих сухарей», — думал Барсик.

— Я рассчитывал не так закончить ужин, — сказал Барсик, — но ничего страшного, я думаю, что моя хозяйка будет тебе рада. Пошли, я накормлю тебя «Вискасом».

— Прости, дорогой, я сегодня очень устала, чтобы вынести еще знакомство и с твоей хозяйкой. Слишком много событий за один вечер. — Мурка направилась к своему дому. — Не провожай меня. Здесь недалеко, я хочу пройтись, подышать воздухом.

Барсик поплелся по улице, а Мурка, уже не прихрамывая, побежала домой.

На крыльце стояла хозяйка.

— Мура, Муркаааа! — Она звала кошку. — Чего ты так долго? Я волновалась. — Она пропустила кошку в дом, провела ее на кухню и налила в мисочку молока. — Сколько раз говорить: не подставляй лапы, только самый кончик хвоста! Этого

достаточно, чтобы понять, подойдет ли он нам. Мужчина, который поднял ногу на кошку, следующий раз с легкостью поднимет руку на женщину.

Так закончились смотрины пятого претендента на хозяина Муры.

НАСЛЕДСТВО БАБЫ ЗИНЫ

Жить в деревне — это искусство. Здесь чужаки редко когда принимаются с распростертыми объятиями. Если у тебя фамилия звучит странно или молишься не справа налево, а слева направо, то прижиться в деревне трудно. С этим проблем не было, и мы решили купить домик в деревушке Кулебяково, что в пятидесяти километрах от города. Когда-то здесь было имение барина Давыдова, чья усадьба — величественное здание в два этажа с мощными колоннами — стояла на высоком берегу реки Челновой. Красота этого места, где сливались две реки Челновая и Цна, удивляла первозданной нетронутостью. Рассветы над слиянием потрясали красками и туманами. В деревне было много брошенных домов, которые стояли с заколоченными окнами: хозяева уехали в города за другой жизнью, многие продавались, но мы выбрали дом Зинаиды Николаевны. Честно сказать, это был не дом, а домишко, построенный в середине прошлого века: маленький, с красивыми резными наличниками на окнах и сиренью в палисаднике. Домик стоял как бы на полуострове: вдоль всей улицы, внизу через дорогу протекала Челновая, а в огороде струился маленький ручей, когда-то бывший речкой, — Гнилая Тягла. Эту часть улицы, всего в десять домов, еще со времен переделки собственности называли Горлохватовкой. Когда сто лет назад крестьяне делили земли своего барина, то хватали друг друга за горло.

Баба Зина заломила за него цену, как за небольшой дом-особняк. Витька, мой муж, торговаться не умел, только и сказал:

— Бабуль, да за такую сумму можно на соседней улице хоромы купить...

— Иииииии, сынок... я ж тебе не усадьбу продаю, а соседей.

Ничего не поняв, но поверив в мудрость бабы Зины — ее возраст говорил о наличии таковой, — ударили по рукам и уже через неделю поняли, как нам повезло с покупкой домика с соседями в нагрузку.

Справа жил дед Степан — веселый, разговорчивый. Он приходил каждое утро, садился у дома на лавочке и ждал, когда мы выйдем. В деревне деда давно никто не слушал, а потребность в общении у него была большая. Так мы узнали о всех жителях деревни: кто на ком женился, кто когда родился. Но не информированность деда была главной ценностью, а то, что у него всегда все было: нужна лопата — пожалуйста; клещи — нате вам; проволочку — прикрутить нужную вещь в хозяйстве — сколько угодно. Мы как городские жители были не готовы к жизни в деревне, так что дед оказался кладом.

Второй клад жил слева — Антонина. Она-то и была нашим главным приобретением.

Через неделю мы окончательно переехали и почувствовали вкус деревенской жизни. Вместе с нами вкус почувствовал Грэй. Наша собака была умной, голубоглазой и любопытной. Ее любопытство привело во двор Антонины, где на вольных хлебах жили две курицы и петух. Таких чудес наш пес отродясь не нюхал в городе. Даже не все люди догадываются, что от собак бегать нельзя, а уж куры и подавно,

поэтому, увидев голубоглазую собаку, они испугались и побежали прятаться под крыльцо дома. Грэй знал: когда бегут, надо ловить.

Скандал на улице начался неожиданно. Мы сидели в гостях у Антонины, которая по случаю нашего переезда приготовила пирог, запивали козьем молоком и слушали истории из жизни теперь уже родной деревни. Вдруг истошно закричала курица.

— Снеслась! — воскликнул мой муж — небольшой знаток деревенской жизни с курами.

— Ой, батюшки, беда! — Антонина сразу поняла, что случилось неладное. Она быстро выскочила из-за стола и побежала во двор.

Оказалось, что любопытство Грэя зашло слишком далеко: он захотел не только понюхать, но и надкусить.

Куры под крыльцом орали, петух, не зная, чем помочь, бегал кругами по двору, истошно голосил. Суматоху дополняли крики Антонины. Она махала руками и топала ногами на собаку, боясь подойти поближе: вдруг укусит? Грэй не обращал на нее внимания, пытался достать кур. На крики подоспел дед Степан и взял в свои руки процесс спасения — ругался строгим голосом, но и его Грэй не слушал, продолжая вгрызаться в добычу под крыльцом. Пришлось подключиться нам: Грэя тянули за лапы, он отбрыкивался и рычал — требовал продолжения банкета. Через некоторое время битва была окончена: куры проиграли, петух остался вдовцом.

Из-под крыльца, улыбаясь в усы, вылез довольный Грэй. Ругаться было поздно, дело сделано.

Антонина молча ушла в дом, а дед Степан, задумчиво глядя на Грэя, сказал:

— У нас в деревне строго... куры погибли — собаку долой.

— Как это долой?! — Витька не сразу понял трагичность момента.

— А так, проснулся утром, а она мертвая... один—один... ничья. В деревне оно как? Набедокурил — тут же тебе быстренько следствие, суд и приговор приведен в исполнение. Жалобы по инстанциям писать не принято, осудят.

— Строго у вас тут.

— Строго, но справедливо. Да вы не бои́тесь, Антанида у нас такая — ей хоть дом подпали, она ж поджигателя и пожалеет. Сегодня у Тоньки самый черный день в жизни. У нее ведь как заведено? Ни одна живая душа трагически не погибает. Живут столько, сколько Господь отмерил. В прошлом году курица померла, думали от болезни, а вскрытие показало — от старости и ожирения. А месяц назад Антанида козу Анфису в добрые руки отдала. Измучилась она с ней, уж больно бодливая да строптивая... Другая бы терпеть не стала, прирезала, а Тонька не может лишить жизни — не она дала, не ей забирать. Вчера козу вернули назад, сгальная оказалась. Антонине оно, конечно, морока, но вы теперь всегда будете с молоком.

Вечером на семейном совете, куда был приглашен и Грэй, мы решили, что жить в деревне придется долго, и чтобы не потерять репутацию, собаку и соседку, надо срочно покупать кур и везти с поклоном Антонине. Авось простит.

— Гулять так гулять, — сказал Витька. — Берем десять штук, самых красивых, и петуха в придачу. После сегодняшней битвы вдовец не выживет. Грэй свидетелей не оставляет...

В окно постучали, это был дед Степан:

— Соседи! Вы там че затихли, испугались ответственности за содеянное? Выходите, Антонида на лапшу зовет в знак примирения. Заодно и поминки справим. Лапша, чтоб вы знали, из петуха очень душистая да наваристая.

Права была мудрая Зинаида Николаевна: домик оказался дорогим приобретением. И самым ценным в покупке были соседи.

Поздно вечером на лавочке сидели Степан и Антонина. Они смотрели на светящиеся окна дома новых жильцов, и каждый думал об одном и том же: «Дай Бог здоровья Зинаиде, хороших соседей оставила нам в наследство».

КАК МАУГЛИ И СИЛЬФИДА УТОМИЛИ НИКИТКУ

В маленьком селе Ковылкино не было культуры. Не сказать, чтобы совсем... летними теплыми вечерами на скамейке возле своего дома дед Матвей играл на гармошке, а баба Паша красивым голосом подпевала. Послушать импровизированные концерты собирались все соседи. И это все: ни тебе оперы, ни балета, ни спектаклей заезжих артистов. Заезжать было некуда: сельский клуб закрыли на ремонт лет десять назад и забыли открыть. Основную культуру в массы нес телевизор. Телевизор — это окно в большой мир, распахнутое двадцать четыре часа в сутки. Смотри, что хочешь: папа хотел футбол, мама — сериал про Марию, дедушка — фильмы о милиции. На Никитку ширины окна не хватало. Но однажды по телевизору показали цирк, и это оказалось потрясением для мальчика. На следующий день кошка Маруська, против своей воли стала наездницей, а дворовый пес Мухтар — резвым скакуном на арене цирка во дворе дома.

Через неделю Маруська перепрыгивала со шкафа на шкаф, а Мухтар приносил обувь со всей деревни.

— Глянь-ка, мать, какие способности у нашего сына, — сказал отец, разглядывая дырявую калошу, которую нашел утром на крыльце. — Подрастет, будет девок дрессировать.

— Тебе бы только посмеяться, а ведь сын растет и ничего, кроме деревни, не видел, а где-то большая жизнь... искусство с цирками и театрами. В Москве вон эскалатор есть... Катаются себе целыми днями... счастливые.

— А у нас мотоцикл в сарае, вот починю, и будем кататься...

— Да ну тебя, я ж серьезно....

— Если на серьезе, то на зимних каникулах свозим Никитку в Москву, пусть посмотрит на культурную жизнь, авось научится отличать оперу от балета.

— Тебе бы все шутки...

К поездке в Москву готовились заранее — это вам не в соседний городок съездить. Можно было и в областной центр, что в ста километрах от деревни, но там тоже не было цирка, а уж балета тем более.

Родственники в Москве удивились звонку и просьбе родственников из деревни, но когда им сказали, что те едут одним днем и ночевать не будут, то сильно обрадовались и пообещали купить билеты в цирк, в Кукольный и Большой театры. Москва — дело дорогое, поэтому нечего долго рассусоливать, надо успеть за день то, чего москвичи не могут позволить себе за несколько лет.

До Москвы добирались больше суток. Первым по списку шел Кукольный театр и спектакль «Маугли». Умаявшиеся с дороги родители к концу представления прекрасно выспались. Никита держался до двух третей второго отделения, но и его сморили приключения мальчика Маугли.

Следующим по списку культурных достопримечательностей столицы шел цирк. Слоны, тигры и верблюды, которых Никитка видел только по телевизору, потрясли

мальчика. Тигры прыгали через горящее кольцо, ходили по канату, выполняли все команды дрессировщика агрессивно и как бы нехотя. Огромные, неповоротливые слоны вставали на задние ноги и, хоботом обхватив красивую, всю в блестках дрессировщицу, поднимали высоко вверх. Наверно, ей было страшно, но она улыбалась.

— Господи! Что вытворяют, — причитала мать, — я бы ни за какие деньги не согласилась...

— А тебе бы никто и не предложил, у тебя таких ног нет, — неудачно пошутил отец.

Обидеться мама не успела — на арену выскочили лошади: длинноногие, в гриве не было репьев, и шкура лоснилась под прожекторами. Это вам не Орлик деда Тимофея! Вокруг них бегали мужчины, которые на полном скаку запрыгивали на лошадь, делали сальто и спрыгивали. А один, особо шустрый, пролез под брюхом лошади, ловко вскочил на спину и стоя промчался мимо Никиты аж два раза.

«Вот бы мне так!» — подумал Никитка.

— Глянь-ка, мать, на сына. Лошади ему понравились больше, чем слоны. Да и то... где в деревне взять слонов? Боюсь, Тимофееву Орлику предстоит много работы.

Потом были собачки, клоуны, акробаты и фокусники. К концу представления Никитка определился с главной целью в жизни: когда вырастет, работать будет в цирке. Если не получится дрессировщиком, то уж клоуном обязательно, на худой конец акробатом — делать «мостик» и «коробочку» он уже умеет.

Когда вышли из цирка, отец сказал:

— Ну что, сын, гулять так гулять... Пошли посмотрим, как цари жили — в Кремль.

Два часа ушло на Царь-колокол с Царь-пушкой, корону царя и брошки царицы. Последние силы покинули Никитку на балете «Сильфида». Он успел только спросить: «Это спектакль для глухонемых?» И уснул.

Искусство в большом количестве утомляет: будь ты мальчик из деревни Ковылкино или дядька, перелетевший океан для встречи с прекрасным, который спал в соседнем ряду.

Никитка возвращался домой, нагруженный впечатлениями по самую макушку.

— Нет, — решил он, — балериной я не буду — нужна партнерша, а где ее в Ковылкине взять? И артистом за ширмочкой не хочу, меня же там никто не увидит. Остается цирк. У бабы Нюры коза есть, у деда Тимофея лошадка Орлик. Это, конечно, не тигры, но работать можно.

К дому подъезжали уже ночью. Деревня спала и не подозревала, какая судьба ожидала деревенскую скотинку.

ПЛЕВОК В ВЕЧНОСТЬ

По утрам особенно хорошо размышляется на философские темы. Сегодня проснулась и думала мысль, затертую человечеством до дыр: в чем смысл жизни? Уверена, что он универсален для всех — оставить след в истории: в виде родившихся детей, построенных домов и посаженных садов. Дом строила в соавторстве с мужем — подносила кирпичи, ребенка родила самостоятельно, сад на даче вырастила, но он вымерз. Буду считать, что и дерево посадила. Но все это не вечно... Дома разрушаются, люди умирают, сады вырубают. Поэтому со смыслом жизни — оставить след — повезет только тем, кто сможет войти в историю: музыкой, литературой, открытия-

ми в астрономии, физике и химии, в общем, где-нибудь наследить. Все предпосылки войти в Историю у меня есть. Я написала рассказ. Конечно, не на скрижалях, но рукописи, как известно, не горят. Ознакомила родственников — удивились невесть откуда взявшемуся таланту, нехотя одобрили. Прочитала подругам — те были в восторге, некоторые, особенно чувствительные, плакали. Затем пошли таксисты, продавцы в магазине, благодарные слушатели по совместной поездке в городском транспорте. Опробовав на простом народе, решила, что пора выходить на профессионалов, способных оценить мое творчество, претендующее на вечность. Те оказались вежливыми людьми, не ругали и не критиковали, одобрили жидкими аплодисментами, но я взбодрилась. Чем больше я читала рассказ всем, кто попадался под руку, тем больше надо мной разгорались лучи славы. А они, как известно, ослепляют. Я настолько ослепла, что забыла слова великого Чехова, который постоянно повторял, что его будут читать только семь лет. Даже он не претендовал на вечность. Меня, я рассчитывала, будут читать в веках дети, внуки и правнуки до седьмого колена. Спросите, почему седьмого. Просто люблю цифру семь.

Ушат воды на меня вылила мама — самый близкий человек. И лучи славы, не успев разгореться, чуть не погасли.

Моя мама удивительная женщина. Она прожила долгую жизнь: успела наголодаться в войну, трудно пожить в послевоенное время, тяжело поработать в юности на торфоразработках и честно потрудиться, множество раз получая награды за свой труд. В шкафу на дальней полочке лежали награды правительства: ордена и медали, почетные грамоты, но она всегда оставалась скромным человеком. Однажды по телевизору смотрели похороны одного из великих, на то время, правителей страны. Торжественная процессия растянулась на много километров. Вслед за гробом шел оркестр и дудел похоронный марш, несли ордена на подушечках. Мама внимательно смотрела, а потом приказным тоном сказала:

— Если когда-нибудь помру, чтобы не вздумали вслед за мной нести ордена!

— Почему, мама? Ты честным трудом заработала эти награды. Пусть народ, в лице соседей, увидит их. Внуки лишний раз погордятся.

И услышала удивительный ответ:

— Стыдно.

Что в этом стыдного, объяснить не смогла.

Так о чем это я? Отвлеклась. Да! Рассказ. Мои усилия по продвижению в вечность — маленький шажок в виде печатного слова в газете — публикации рассказа — увенчались успехом. Я бежала домой с газетами, прижатыми к груди, и не чуяла под собой ног от счастья. Вот она, настоящая слава! Теперь весь город узнает про меня. Да что там город, скоро весь мир будет читать мои рассказы! Это я, конечно, хватанула лишку. В городе мой рассказ достанется не всем, я скупила почти весь тираж нашей небольшой газетки. Родственники и друзья будут рады разделить мою славу, а потом употребят газетку по назначению — завернут в нее колбасу или на ней разделают селедку. В России газета всегда была продуктом многоразового использования: и с указами партии ознакомиться, и на стену под обои приклеить, и коту в лоток положить, и на футболе скамейку застелить.

Прибежала домой, и сразу к маме. Только мама глубже всех оценит победу дочери! Она мыла посуду на кухне, но когда я вошла, вытерла руки и повернулась ко мне.

— Что это ты сияешь, как новый пятиалтынный? — спросила мама. — Одно из двух: или клад нашла, или жениха.

— Не говори глупости, — сказала я, — снаряд не падает два раза в одну воронку: клад был прошлым летом, женихи каждые полгода не находятся. На этот раз все намного круче! Мой рассказ напечатали в газете!

Мама всю жизнь работала, читать было некогда, поэтому к печатному слову относилась без трепета.

— И зачем тебе это? — Она опять повернулась к раковине и продолжила мыть посуду, как будто ничего необычного не произошло и все вокруг только и делали, что печатались в газетах.

— Ну, как бы тебе объяснить, — сказала я. — После тебя в наследство мне достанется квартира, а я своим детям оставлю в наследство рассказы.

— Глупость какая, — сказала моя прагматичная мама.

И это был ушат воды, который погасил сияние славы. Но чуть только подсохнув, я достала большой конверт, засунула туда газетку с рассказом и крупными буквами подписала: «Наследство. Помру, понесете вслед за мной. Других орденов нет».

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ

Вовка вытряхивал заварку из чайника и замер под раковиной, где стояло ведро с отходами, наверное, соображал, правильно ли он видит то, что видит. Он разогнулся: в руках была любимая тарелка тещи.

— С нашей мамой беда, — сказал муж, разглядывая совершенно целую, без единой трещинки тарелку.

Нашей маме, а если точнее, моей — девяносто три года. Беды можно ждать каждый день, но вчера еще ничего не предвещало. Она полна сил: зимой чистила снег, весной посадила огород, а вчера окучила картошку.

Муж поставил тарелку в раковину и сказал:

— Первый признак деменции — наличие любимой тарелки в помойном ведре.

— Давай не будем спешить с выводами и навешивать ярлыки, — сказала я, — деменция не начинается с бухты-барахты даже в девяносто лет. Спорим, что этому найдется здравое логическое объяснение?

— Ну, если логическое, то я пас... спорить не буду, женскую логику не переспоришь. Даже девяностолетнюю...

К завтраку вышла мама, как всегда, улыбчивая, в беленьком платочке и чистом фартуке. Деменции ни в одном глазу.

В девяносто лет о здоровье надо спрашивать аккуратно и еще аккуратнее о тарелке в мусорке, чтобы не обидеть. Обидчивость — жирная черта старости. Я начала заход издалека:

— Доброе утро, мама. Как спалось? Кошмаров не было? Гляжу, ты на ночь покушала? — я положила кашу в тарелку и поставила перед ней на стол. Тарелка была та самая... любимая, из помойки.

— Ты ее помыла? — спросила мама.

— Помыла, а что она делала в мусорном ведре?

— Пряталась. — сказала мама, помешивая горячую кашу. — Не смотри на меня так скорбно, как будто я умираю. Вчера не было сил помыть тарелку, а утром Вова проснется, выйдет на кухню завтракать, а в раковине немытая посуда лежит.

Я повернулась к мужу:

— Ну, что я говорила? Все логично! Это не деменция, а культ личности и нарушение одной из заповедей: не сотвори себе кумира. И в таком цейтноте я живу последние сорок лет. Первый кирпичик в фундамент постамента для тебя мама заложила еще в утро свадьбы.

«Люся, — сказала она, — на свадьбе веди себя прилично. Никаких друзей! Ты должна хвостиком ходить за мужем. Теперь ты мужнина жена».

— Вот так с тех пор и хожу... хвостиком... вокруг постамента.

— И чем это плохо? Ты бы хотела, как у соседей? Каждый день через стенку транслируют скандалы зятя с тещей. И всегда новая тема для дебатов.

— А помнишь, рыбья косточка у меня в горле? Я тогда чуть не оттопырилась, пришлось в больницу ехать, трубку глотать. Ты примчался, когда уже все закончилось, и не знаешь, с чего началось.

— Ты хочешь сказать, что я виноват, и встал костью у тебя поперек горла?!

Мы еще не ссорились, но голос мужа был на полтона выше обычного.

— Не ты лично, но твой культ личности. Он складывался из любой самой малой мелочи. Например, полы надо мыть в пятницу и никак не в субботу. Спросишь почему? А чтобы не отвлекаться на домашние дела, когда у мужа выходной и жена должна свое личное время всецело посвятить ему, то есть тебе. Так учила меня мама.

— Мамы плохому не учат! — муж старался перевести все в шутку, но меня уже понесло...

— А кость в горле — это не просто кость, а еще один штрих к возвеличиванию личности. Я пожарила рыбу к ужину, но не дождалась тебя и начала отщипывать вкусные кусочки от каждой рыбки. Ты ж знаешь, я зажарки люблю. И тут мама... толк меня под руку словами: «Люся, ешь все подряд, не ковыряй. Вове не понравится некрасивая, расковырянная рыба». Ну, я и начала... все подряд. Результат — кость в горле. Это был ужас! Я закрылась в ванной, пыталась сама вытащить косточку, запихивала в рот пальцы до полруки, но она уходила дальше и дальше... Мама бегала за дверью, стучала, сначала требовала открыть, потом стала умолять вызвать врача... Так продолжалось долго: я измучилась, вытаскивая кость из горла в ванной, а мама измучилась от чувства вины в коридоре. Я ей потом сказала: «Что ты носишься с Вовой как с писаной торбой?» Знаешь, что она ответила? «Он чужой, и ему стыдно лишний раз залезть в холодильник».

— Дорогая, не завидуй, что мне так повезло с тещей.

— Правильно, сынок, в наше время редко кому везет не только с тещей, но и с зятем. — Мама доела кашу, положила тарелку в раковину и пошла к двери. — Вы тут завтракайте, а я пойду проверю жуков на картошке, а заодно присмотрю место в огороде под памятник золотой теще от любимого зятя.

Она вышла, но дверь за собой закрыла неплотно.

За сорок лет претензий накопилось много, и я продолжила:

— Каждое утро начинается с вопроса: «Что ты будешь готовить на ужин Вове?» А вечер заканчивается опять же вопросом: «Есть ли у Вовы на завтра чистая рубашка?» Иногда мне надо приложить усилия и вспомнить, что я у нее дочь, а ты не ее сын. — сказала я с раздражением.

— Так вот почему у меня всегда есть чистая рубашка и ужин вовремя!

— Да, без прямых указаний мамы ты бы остался голодным.

Чем выше поднимались голоса, тем чаще мама мелькала в коридоре. Наконец она не выдержала натиска на своего кумира, приоткрыла дверь и строгим голосом сказала:

— Люся, не спорь. Вова всегда прав.

— Люся, слушайся маму, она всегда права и любит нас одинаково. — Муж чмокнул меня в макушку и примирительно обнял, тем самым заканчивая спор о том, кого больше любят в этом доме.

— Хорошо, уговорили. Я согласна прожить еще тридцать лет — больше не выдержу — при культе твоей личности. Но иногда, чтобы народ не роптал, кумир должен слезать с пьедестала. Дорогой, вынеси, пожалуйста, мусор...

ВОСЬМОЙ ГРЕХ

— Завтра помру, обмывать меня не надо, я уж и чистое надела, — сказала Евдокия Петровна.

Галка, накрывающая стол к чаю, аж присела на стул от неожиданности. Она пришла проведать тетку, принесла продукты, конфеты, собиралась провести приятный вечер. Навещая Евдокию Петровну каждую неделю, иногда и два раза забегая, Галина видела, как одиноко и трудно та жила, старалась поддержать. Самой Галине тоже несладко жилось. Осталась после развода с двумя детьми, работать пришлось на двух работах, иначе на зарплату медсестры не прожить. Своих родителей она не помнила: маленькая была, когда они умерли, тетка осталась единственным родным человеком, и всегда хотелось порадовать ее. Обычно радости были нехитрыми: колбаса, сыр, хлеб и обязательно любимые конфеты «Ласточка». Конфетам баба Дуся особенно радовалась. Прятала в чемодан, что лежал под кроватью, в котором хранила все самое ценное, а потом, когда Галка уже с детьми приходила к ней в гости, угощала, радуясь, что может побаловать их.

И вот теперь чай пили молча, не возвращались к теме завтрашней теткиной смерти, но на душе у Галины было неспокойно.

— Так ты попомни: обмывать меня не надо, чистая я, — перед уходом напомнила тетка.

Весь следующий день, чем бы ни занималась Галина, она вспоминала слова Евдокии Петровны — они тревожили. Ну как можно знать, помрешь ты или нет?! Тетка была еще сильная, сама справлялась по дому, весной посадила огород. Ни одного пустого клочка земли не оставила, урожай ждала хороший. Огород был подспорьем к ее пенсии. Она с конца лета и всю осень продавала овощи и фрукты у поездов на станции. Правда, последнее время ей все труднее стало носить ведра, но она ухитрялась за день несколько раз сбегать с авоськой яблок или груш к поезду. Какая-никакая, а копейка собиралась за лето. И с чего это ей помирать? Давление последнее время скакало, но Галка перед уходом проверила, таблетки еще есть.

Галина делала уколы, ставила капельницы, а сама все больше и больше волновалась. К вечеру нервы совсем разошлись, так она себя накрутила. И решила пойти проведать тетку. На звонки и стук в дверь никто не откликнулся, но у нее был ключ — тетка когда-то дала на всякий случай. Вот и пришел... этот «всякий случай». Открыв дверь, Галя позвала тетку — та не откликнулась. В спальне... Она лежала в спальне на кровати в своем любимом платье, мирно сложив руки на груди. Галка растерянно смотрела на нее — она первый раз видела смерть родного человека так близко. За спиной хлопнула дверь — это была соседка, которая вошла, увидев, что входная дверь неплотно закрыта. Видя растерянность Галины, поняла, что та не знает, с чего начать, распорядилась:

— Первым делом надо обмыть покойницу, одеть в чистое. Ты посмотри, где-то должен лежать узелок, бабушки — они ведь заранее готовятся. У моего деда вон на чердаке и гроб годы стоял.

Галя потянула чемодан из-под кровати с богатством тетки, щелкнули замки, и она увидела все, что было нажито за долгую жизнь. Галке стало страшно. Такое богатство уже никому не нужно, осталось вынести его на помойку. И тут она вспомнила вчерашний настойчивый наказ тетки — не обмывать ее.

— Нет. Ничего не надо, — захлопнув чемодан, сказала Галина. — Евдокия Петровна вчера предупредила, что сегодня помрет и обмывать не надо, она все уже сделала и чистое надела.

— Сама предупредила? — соседка смотрела на Галину, как на сумасшедшую. — Отродясь такого не слышала, чтобы за день приготовиться к смерти. Ну, да ладно. Но обмыть все равно придется... это не оттого, что она грязная — обычай такой, и не нам его нарушать.

Они стали раздевать Евдокию Петровну. И вдруг на теле у нее под одеждой оказался пояс с кармашками. Деньги. Это были деньги, которые она всю жизнь откладывала на черный день.

— А говорят, в гробу карманов нет, — растерянно сказала соседка.

Галка плакала, жалея не себя, а тетку, которая прожила жизнь кое-как и померла, наверное, в муках, боясь расстаться с богатством, которое копила всю жизнь в ожидании «черного дня», не заметив, как все светлые дни пролетели мимо.

Петр МУРАТОВ

ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ...

Рассказы

Петр Муратов всегда пишет о невыдуманном. В наше время так много пишущих уходит в вымышленные миры с чародеями и эльфами, что порой очень радует умение фиксировать реальность — вчерашнюю и сегодняшнюю — и живых людей. Которые пусть и не хрестоматийные герои, но тоже не теряются и не сдаются, да и с лютым сибирским морозом на «ты». Такое авторское умение есть, к счастью, у Петра Муратова.

Михаил ХЛЕБНИКОВ

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. МЕСТЬ ОТВЕРГНУТОГО УХАЖЕРА

На четвертом курсе, оказавшись под влиянием любовных событий, стремительно развивавшихся у моих друзей, и, в особенности, женитьбы единственного одногруппника (все остальные в группе были девчонки), я задался вполне закономерным вопросом: сам-то почему один до сих пор? Выбор студенток на биофаке более чем, опять же, старший курс — самое время! Помню, идешь, бывало, вечерком по общаге — и всюду в укромных уголках в полутьме — на лесенках, по подоконникам, на гладильных столах в коридорах — парочки, парочки... И горячий шепот...

Вот я и решил «проскринировать» на предмет «подходит — не подходит» всех девчонок, что меня окружали. Дескать, выберу, начну ухаживать, а там, глядишь, и чувства придут. Напряженная мыслительно-аналитическая работа вскоре привела к закономерному результату: подходящая кандидатура была найдена.

Потенциальная дама сердца училась в моей группе: невысокого роста, приятных форм, подчеркнутых изящной талией, обаятельная блондинка, излучающая искренность и радушие. Правильное, округлой формы лицо, обрамленное немного вьющимися светло-русыми волосами, украшали искрящиеся светлые глаза и очаровательная улыбка.

Однако первые знаки симпатии с моей стороны у «объекта» энтузиазма не вызвали. Ничего, успокаивал я себя, так и должно быть. Ты, дружок, Ален Делон, что ли? Так глянь на себя в зеркало. Хотя... Не Аполлон, но все же... Вода камень точит. А посе-

---

Петр Юрьевич Муратов родился в 1962 году в Казани. Окончил биологический факультет Казанского университета. Кандидат биологических наук. Ныне замдиректора компании «Экологическая техника» (Новосибирск). Лауреат премий журнала «Сибирские огни», всероссийского конкурса «Иду на грозу» (популяризация науки), конкурса «Лебеди над Челнами» (Набережные Челны). В 2019 году награжден Почетной грамотой Союза российских писателей за помощь в развитии литературного процесса в Республике Татарстан. В творческом активе — публикации в литературных журналах и сборниках, три изданные книги.

му, извините, барышня-с, продолжим «работать» с вами дальше. Для начала вам необходимо привыкнуть к тому, что я буду рядом! А там сориентируемся по ходу! Смелость города берет! Вперед!

Жила девушка от университета неблизко. Почему бы мне не проявить заботу и не начать регулярные провожания? Тем более — зима. Рано темнеет. Она отказывается от сопровождений? Не беда, главное — казаться интересным, неординарным, это точно не может быть неприятным, а уж язык-то у меня подвешен! Да и покуражиться, поломаться для порядка девчонкам — медом не корми. И настойчивость в ухаживаниях всегда ценится. Как правило, даже решительно сказанное «нет!» таковым на самом деле не является. Знаем мы вас!..

Стоял морозный вечер, когда мне вновь захотелось проводить свою пассию. Я тогда серьезно занимался горным и лыжным туризмом, совмещая регулярные тренировки с методом перманентной холодовой закалки: расхаживал даже в морозы в легком плащике, фетровом «пирожке», без подштанников и перчаток. Но в тот день приморозило крепко. Обычно я согревался быстрой ходьбой. Но с Дамой сердца не разбежишься. Одна радость: она наконец-то взяла меня под руку — хоть чуточку теплее.

При приближении к своему дому красавица резко выдернула руку, объяснив: «Моя мама считает, что под руку может ходить только замужняя женщина...» Что ж, маме — респект.

— Все, мы пришли! — твердо сказала очаровательная одногруппница.

— Вижу, заходи. — Я открыл дверь подъезда, пропуская ее вперед.

— А ты куда?

— К тебе: холодно, однако, чайку там...

— Размечтался! Иди домой!

— Пойду, пойду, не переживай, — ответил я, заходя следом в подъезд.

Через два этажа предложение покинуть помещение прозвучало вновь с заметным негодованием и твердостью в голосе.

— Пожалуйста-пожалуйста, спокойной ночи. Но подъезд — место общего пользования, и мне хочется погреться, — ответил я, усаживаясь на теплый от батареи подоконник.

Хлопнула входная дверь квартиры, за которой скрылась неприступная Дама сердца.

Прикрыв глаза, я блаженно ощущал, как живительное тепло через пятую точку и ноги растекается по всему продрогшему телу. С упоением представлял, как объект обожания снимает с хорошеньких полненьких ножек (мы еще познакомимся с ними поближе!) зимние сапожки, надевает мягкие домашние тапочки, как по прихожей распространяется легкий запах душистых волос... Однако почти материально осязаемые видения надеваемого домашнего халатика прервал звук хлопнувшей двери подъезда.

Чужаки всегда вызывают подозрение, поэтому я внутренне собрался, втайне мечтая, чтобы вошедший жил на первом этаже. Но шаги упорно приближались — неспешно поднималась уставшая женщина. Увидев меня, она не стала скрывать недовольный взгляд, мол, сидят тут всякие! И вдруг я заметил, что выражение ее лица чуть заметно изменилось, стало озадаченным. Женщина замедлила шаг. Тут меня осенило: да это же, наверное, мама моей красавицы! Она, видимо, узнала меня по фотографиям, ведь ребят в группе дочери было раз, два и обчелся. И точно! Женщина позвонила в неприступную квартиру.

«Мамуля!» — выдохнул знакомый сладенький голосок. Звук вновь захлопнувшейся двери гулко разнесся по подъезду..

Я, проявляя нехитрые способности телепата, предугадал, почти услышав, какой сейчас состоится диалог. «Как дела, доча?» — «Все нормально, мамуля!» — «Слушай, а что там за парень сидит на подоконнике? Что-то в нем знакомое есть». — «Да это Петька, мой одногруппник, я тебе про него рассказывала». — «И почему он там сидит?» — «Меня провожал, замерз. Греется, наверное». — «И ты его не пригласила, не предложила чаю?!» — «Пол топтать!» (ну, или что-то в этом роде).

Конечно, предполагаемый диалог пронесся в голове мгновенно, намного быстрее, чем он мог прозвучать в самом деле. И я не сомневался, каков будет жесткий вердикт все понимающей, знающей жизнь мамы: «Ну-ка, быстро иди и пригласи его в дом!» Ну, может быть, чуть помягче — непринципиально. Главное то, что она — мать взрослой, на выданье дочери-старшекурсницы — прекрасно знает, что молодость скоротечна, как сибирское лето. Что только в это «безбашенное» время кажется, что жизнь бесконечна и все еще впереди. И что прекрасный Принц будет непременно под алыми парусами или на худой конец на белом коне.

И тут я понял, как можно отомстить неблагодарной Даме сердца: нужно немедленно уйти! Уйти, хотя еще толком не согрелся. Уйти, оставив ей легкий дымок осознания вины. Тем более общеизвестно, что иногда чувства у женщин возникают из жалости или сострадания. Да будет по сему! В-в-вот тебе!!! И я, тихонько спустившись и придержав за собой дверь, шагнул в снежную морозную мглу...

* * *

Спустя много лет, на юбилейной встрече выпускников, мы с ней, весело смеясь, вспоминали тот случай. Незадолго до этого, так и не обзаведясь ребеночком, Несостоявшаяся Судьба вторично развелась. Курила, как паровоз. Подчеркнуто демонстрировала ехидно-язвительное отношение к нам, мужикам. Однако, чуть посерьезнев и глубоко вздохнув, сказала: «Да, Петька, именно так тогда и прозвучало почти слово в слово, да еще несколько лет мама с укором попрекала меня этим на полном серьезе. Наверное, зря я тогда тебя отвергла...» Стоит упомянуть, что в конце пятого курса на дне рождения Дамы сердца мне удалось-таки познакомиться с ее родителями, и я маме понравился, но...

Теперь мне, отцу, не так давно выдавшему замуж уже собственную дочь, стал понятен далеко не праздный интерес к любому парню, которого я видел рядом со своей дочкой.

Любовь — это печь, а истопников в идеале должно быть двое. Иногда истопник только один, но тогда ему приходится работать за двоих, если второй с печи слезать не желает. Тогда первый, как правило, быстро устает. Да и «печь» бывает разной конструкции: с «заслонкой» и без заслонки, с «лежанкой» и без нее. «Печь» может быть украшена изразцами, а может, и нет — все очень индивидуально у каждой пары «истопников». Но это внешне. А бывают «печи» с неисправностями конструкции: плохая тяга, кривой дымоход или с поддувалом что-то не то. «Топишь-топишь», а все неладно — чадит и не греет.

А если и «топить» со временем становится лень? Да и зима сделала свое дело: либо закалка, либо провожания. Ведь из-за призрачной надежды на приход чувств у Дамы сердца простужаться было неохота.

Что тогда было потом? Потом, как и положено, нахлынула весна, и пришли-таки ко мне светлые чувства, но, увы, уже не к ней. Но это, как говорится, совсем другая история...

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. КЛАДБИЩЕ, ТЕРМОСТАТ И РЕМЕНЬ

Светлой памяти друга и компаньона посвящаю

Дело было в уже далекие «лихие 90-е» на заре моей бурной предпринимательской деятельности. Дела на НПО «Вектор», где мы с моим другом Евгением Коноваловым увлеченно трудились научными сотрудниками, шли все хуже и хуже — финансирование научных тем неуклонно снижалось, зарплаты задерживались, ученый люд потихоньку расползался: кто сваливал «за бугор», кто подавался в бизнес. Впрочем, схожая картина наблюдалась по всей стране. А у нас обоих по двое маленьких детей — критическая ситуация заставляла активно шевелиться.

Я благодарен Евгению, что в качестве компаньона он выбрал меня. У него имелись интересная тема и небольшой опыт предпринимательства: в летнем отпуске он успел поторговать шинами, правда, на родине, в Омске, вместе со своим другом детства.

Основная идея коммерции начала 90-х, как правило, была нехитрой: взяли товар оптом в одном месте, развезли и сдали с накруткой в других местах. Мы выбрали книготорговлю, и дела пошли. Вкалывали на совесть, друг другу полностью доверяли — вскоре количество развозимых по области книг выросло до объема кузова грузовика. Сперва нанимали машину, потом решили водить сами: жаль было денег на наем авто. Отучились на категорию «С», купили с рук подержанный ГАЗ-33061 с будкой. За его техническим состоянием за небольшую плату следил знакомый автомеханик Володя.

«Японцев» тогда еще не ввозили, поэтому наш «газон» казался верхом совершенства отечественной автоинженерной мысли. Ну, или почти верхом. Это сейчас он вспоминается мною некой переходной стадией между телегой и автомобилем, но тогда особо выбирать было не из чего. Вождение «газона», особенно груженного, имело свои нюансы: отсутствие гидроусилителя руля требовало немалых усилий, скорость переключалась в два такта, да еще с перегазовкой. Но больше всего напрягало несовершенство системы охлаждения двигателя: нужно было постоянно следить за датчиком температуры. На панели водителя имелась ручка управления заслонкой для регулирования температуры движка. ЗН и ОО — эту аббревиатуру я не забуду никогда. ЗН — ЗАКРЫТЬ заслонку, потянув ручку НА себя, если температура понижалась, и ОО — ОТКРЫТЬ, отжав ОТ себя, если повышалась.

Летом и осенью температура особо не беспокоила. Но когда пожаловала наша сибирская зима... Каково было завести грузовик после ночи на тридцатиградусном морозе?! Тосолом мы не пользовались, ездили на воде. Сливали ее на ночь из радиатора, тщательно продув ртом резиновые патрубки. Аккумулятор снимали и уносили домой в тепло. Ранним утром начиналось «оживление» грузовика. Женя забирался под движок с паяльной лампой отогревать масло в картере, а я проливал горячей водой радиатор, носясь туда-сюда с ведрами. Однажды горячую воду отключили, пришлось кипятильником греть ее в ведрах. И не было для нас слаще звуков набиравшего обороты движка. А уж когда он, прогреваясь, ревел на полных оборотах, мы торжествовали: ура, запустили! Но и с «раскочегаренным» двигателем машина иногда не сразу могла двинуться с места: застывал задний мост.

Тем не менее мы с Женей любили свой «газон»-кормилец. К тому же, как говорится в пословице, «взялся за гуж — не говори, что не дюж». Но мы были моло-

дыми, здоровыми, а потому выдюживали, справляясь со всеми невзгодами. «Приказано выжить!»

В тот день приморозило крепко, но ехать надо: наши покупатели-мелкооптовики ждали товар. Обычно мы успевали обернуться за сутки, самый последний из посещаемых нами коммерсантов жил в пригородном Сокуре, поэтому договорились с ним, чтобы он принимал товар на обратном пути в любое время суток, спасибо ему за это.

Итак, едем обратно. Стемнело, завьюжило. Ага, вон и нужный поворот с трассы! Слава богу, уже почти финиш: сейчас сдадим товар и скорей домой! Но за окном замелькали кресты — кладбище. Вот незадача, свернули раньше. Проехали вперед в поисках места, где можно развернуться, но заметаемая снегом кладбищенская дорога закончилась — развернуться негде. «Давай задним ходом!» — за рулем тогда был Женя. Попятились назад, и тут машина съехала с наезженной колеи... «Газон» перекосило: правые задние колеса провалились в снег на обочине, левые зависли над дорогой. Да чтоб тебя!

Я вылез из кабины — «картина маслом». Вьюга. Мороз. Ночь. Степь. Кладбище. Луна. Вокруг — ни души... И, до кучи, «газон» враскоряку. Первым желанием было поднять морду к ночному светилу и по-волчьи завыть. Но «Москва слезам не верит». Сибирь — тоже. Пошел на трассу в надежде тормознуть какой-нибудь грузовик и попросить вытащить нас, горемычных. Однако никто не останавливался. Почему? Правильно: вьюга, мороз, ночь, степь, непонятный поворот, на дворе «лихие 90-е»... Кто я такой, чего мне тут нужно, что там у меня за пазухой? Прости, дорогой, но лучше перестраховаться и проехать мимо. Что ж, понимаю...

Замерз, ждать у моря погоды и «кораблей» становилось бессмысленно. Назад к «газону» — хоть отогреюсь в кабине. Женя тем временем грустно вздохнул: «Бензинчика-то совсем немного осталось...» Так, стоп! Не раскисать, действовать!

Первым делом сняли с одного из ящиков деревянную крышку, положили ее на снег и стали поднимать домкратом правую сторону заднего моста. Вскоре машина выправилась, левые колеса встали на колею — можно попробовать тронуться, авось пойдет. Взревел мотор, правые колеса, расшвыривая снег, вхолостую закрутились в сугробе, под левыми махом образовался лед — машина ни с места. Да едрид твою! Нужно что-то сунуть под колеса. У нас в кузове валялись какие-то тряпки, но их мгновенно провернуло колесами — не годится!

Что же делать? Что делать?! Бензин скоро закончится — придется сливать воду из радиатора, чтоб спасти движок. Замерзнуть, скорее всего, не замерзнем, есть что жечь, чем обогреться, однако перспектива холодной ночевки на кладбище ну никак не радовала. И машину не бросишь: внутри товар, хотя ждущий нас коммерсант и вовсе вылетел из головы. И потом, с утра, если доживем, все равно нужно будет заливать радиатор и как-то выбираться с кладбища. А если до этого успеет прибыть похоронная процессия? Она же не сможет нас объехать! Добавлю, что мобильников, как и службы СПАС, в те времена еще не существовало. Оставалось только уповать на высшие силы.

А в это самое время на небесной тверди за нами внимательно наблюдали Создатель и Люцифер. Белое и черное. Милость и наказание. Рай и ад. Но они всегда вместе, во все времена, и, похоже, относятся друг к другу с уважением. Недаром еще Михаил Булгаков подметил, что дьявол, принявший в свое время облик Воланда, заботливо отнесся и к Нему, и к певцу Его.

— Надо помочь рабам моим. Посуди сам: стараются, из кожи вон лезут, семьи кормят, — вздохнул Создатель.

— Помогай, я не возражаю, — пожал плечами дьявол.

Кто-то будто бы повернул мою голову влево, угасающим сознанием я отметил: метрах в двадцати от нас чернела мерзлой землей свежая могила. Тут же вытряхнули из двух ящиков книги и, проваливаясь в снегу, поползли с ними к могиле. Сдвинув венки в сторону, сгребли половину земли с печального холмика: «Прости, усопший, нас, грешных!» С ограды соседней могилки сняли железную калитку.

Насыпали землицы, сунули калитку под левые колеса, еще и дорожку сзади грузовика посыпать хватило. «Ну, давай, родимый, вывози!» «Газон» затрясся всем «телом», но, почувствовав надежное сцепление с дорогой, стал потихоньку задним ходом пятиться назад к трассе. «Женечка, дорогой! Только не съедь с колеи еще раз, только не съедь!» А трасса, приветливо подмигивающая нам огоньками редких проезжающих машин, все ближе. Ура! Мы на обочине! Еще и к нашему сокурскому коммерсанту успеем. Теперь пойду, надену спасительную калитку обратно на оградку могилы. Ну, вперед!

* * *

— Я все понимаю, — воскликнул Люцифер, — но так поступать, согласись, Создатель, не по-божески! Да, у застрявших рабов твоих, возможно, почти не было другого выхода, но все же... Извини, теперь моя очередь наказать их! Моя-а-а-а!

Создатель лишь глубоко вздохнул.

Мы тем временем отъехали от того злополучного кладбищенского поворота.

— Слышь, Петруччо, что-то температура зашкалила и не падает, — озабоченно молвил Женя.

— А заслонка открыта?

— Открыта. Так и движок стукануть может...

Остановились. Черт побери, из огня да в полымя. Вышли, открыли капот — ремень целый.

— Слушай, Женя, — говорю. — Володя как-то рассказывал про подлянку, которую может выкинуть термостат.

— Точно! Скорее всего, его перехватило, воду гоняет по малому кругу, а движок не остужается.

— Так давай вынем его к чертовой матери! Посвети мне.

Надо сказать, пока мучились на кладбище, слово «черт» вообще на ум не приходило.

Сняли термостат, температура медленно, но верно поползла вниз — слава тебе, Господи!

К чести дождавшегося нас коммерсанта, выражать недовольство он не стал: сразу понял, что что-то случилось. Еще и покормил. Сдали товар, пересчитали бабки и... «Домо-о-о-ой! Домой!»

Заправившись в Сокуре, отъехали километров пятнадцать. Черт возьми, опять температура стала расти! Остановились, глянули — порвался ремень! Ну, блин... Аж слезы выступили — до дому-то всего ничего. А запасного ремня нет...

— Люцифер, это уже слишком! — Создатель даже прикрикнул на него.

— Не-не, в самый раз! А ты шепни им что-нибудь — ты ж у нас не только Создатель, но и Спаситель! — усмехнулся дьявол.

Мы тем временем вновь пытались кого-то остановить на трассе и вновь с тем же нулевым результатом. И тут у меня в голове словно просветлело.

— Жень! Я помню километрах в двух отсюда вроде военная часть стоит со звездами на воротах!

— Точно! Как-нибудь доползем дотуда...

Добравшись, я отправился на КПП: наверняка в части имеется автопарк. И хотя «Красной» наша армия быть уже перестала, но «рабоче-крестьянской» всяко-разно осталась, а потому не может не помочь «детям семьи трудовой»!

Дежурный КПП внимательно выслушал — мой видок не мог не вызывать сострадание. Куда-то позвонил. «Сейчас, — говорит, — офицеры уйдут, наш прапор что-нибудь придумает». Говорю я, мол, готов заплатить — деньги есть. «Да ладно, не надо...»

Через полчаса пришел прапор. В руке у него был ремень.

— «Газонов», братан, у нас в части нет, но ремень от компрессора зилка подойдет.

— Точно подойдет? — Я глянул на него с недоверием.

— Слышь, земеля, я третий десяток пашу прапорщиком в автобате! Обижаешь!

— Извини, земляк! — Мне стало неудобно.

Денег он не взял. Ремень подошел. Мы тронулись домой.

— Так, Люцифер! Я больше не позволю! Хорош! — Спаситель был в гневе.

— Конечно-конечно... — тот с дьявольской улыбочкой приподнял руки. — Хватит с них. На сегодня.

Дома, маяча в окне, ждала взволнованная жена. Взглянув на спящих детей, я поужинал и пошел в ванную.

В следующем году, по мере дальнейшего развития бизнеса, мы купили новый ГАЗ-3307, сразу же сняв термостат. В поездки без запасного ремня больше не отправлялись. Чуть позже наняли двух профессиональных водил: финансовые возможности сделать это, слава богу, уже позволяли.

Но на всю жизнь я запомнил: ремень от компрессора зилка к ГАЗу подойдет.

Наталья ЛОСЕВА

ФУРГОН С ХЛЕБОМ

Рассказ

Начало мая выдалось дождливым, с яркими вспышками молний, с грозовыми раскатами. И только к вечеру воскресенья дождь приутих. Пашка выглянул в окно. Проспект Буденного был украшен красными флагами ко Дню Победы. Это был не просто очередной День Победы, это был ее первый юбилей — четверть века без войны!

Пашка не стал ждать разрешения от бабушки, нацепил пальто и вязаную шапку, сунул ноги в резиновые сапоги и быстро выскочил на улицу. Никого из сверстников не было видно. Он немного покрутился во дворе, измерил огромную лужу, хоть мама и бабушка запрещали это делать. У второго подъезда было очень глубоко. «Точно, здесь дядя Гриша из соседней квартиры утопит свой уазик», — подумал Пашка и повернул к дому.

Из соседнего подъезда показался Колька Смирнов. Во дворе его прозывали — «контуженный». Может, из-за отца-фронтовика, а может, из-за нрава: легко мог в гневе перевернуть мусорное ведро. Николай был старше Пашки на два года, уже ходил в седьмой класс, в спортивную секцию и даже мог допоздна гулять — и никто его за это не ругал.

Колька прогулялся до конца дома, посмотрел, заглянул на бульвар, на обратном пути подошел к Пашке.

— Ну, что стоим, скучаем?

Пашка ничего не ответил и выразительно задрал и без того курносый нос. Ему — сыну главного инженера химического завода — не пристало общаться с такими расхлябанными мальчишками. Кольку это не смутило:

— Сегодня никого не жди. Все по щелям забились. Хочешь, сходим в одно место? Я давно надумал туда попасть.

— Куда? — спросил Пашка, не уверенный, надо ему это или нет.

— Здесь недалеко, за бульваром.

— И что мы там забыли?..

— Что-что... — последнее задело Кольку. — А «душегубку» посмотреть не хочешь?

Наталья Лосева родилась в Тихорецке Краснодарского края. Окончила Ростовский-на-Дону машиностроительный институт и Тверской госуниверситет. Работает в ТвГУ, кандидат филологических наук, доцент. Пишет стихи, прозу, литературную критику. Член Союза писателей России с 2001 года, автор 9 книг. Публиковалась в «Литературной газете», «Литературной России», «Нашем современнике», «Юности», «Слове», «Дне литературы», «Московском вестнике», «Русском слове» (Молдавия), «Индийском вестнике», «Подъеме», «Дону», «Родной Ладоге» и других изданиях. Лауреат и дипломант литературных конкурсов («Золотое перо», «Звезда полей», «Наше культурное наследие», «Академия. Детская литература» и других). Дважды лауреат Губернаторской премии. Некоторые произведения переведены на болгарский, финский, эстонский, сербский языки.

— Чего? — Пашка уже внимательно смотрел на парня большими глазами, опушенными длинными девчачьими ресницами.

— Во дворе тридцать шестого дома стоит. Железная, большая, «Душегубкой» называется. Со времен войны осталась. Фрицы на ней по городу ездили.

— Со времен войны?! — поразился Пашка. — Вот это да!

— На ней было написано «ХЛЕБ». Людей заманивали туда вывеской — будто раздача хлеба. Вот люди и спешили туда с голодухи. А там не хлеб, а газ!

Пашка представил, как люди в надежде на кусок хлеба набивались в машину, а по дороге начинал прибывать газ. Они кричали, бились в дверь, но им никто не открывал.

— Врешь!!! — не выдержал страшной картины Пашка.

— Ничего я не вру! Нам историк рассказывал. Там убивали стариков, детдомовцев. А особенно много фрицы передушили людей из больниц. Такую «легкую» смерть получили около семи тысяч человек.

Какое-то время стояла тишина. Мальчишек все не было. Возле первого подъезда появились две подруги-фронтовички: баба Тоня и баба Поля.

Колька махнул рукой:

— Да ладно. Малóй ты еще, не понимаешь... Тебе, наверно, и со двора-то нельзя, — парень зло сплюнул сквозь зубы.

Сказанное задело Пашку. Как это он не понимает? Очень даже понимает. Мальчику было запрещено далеко отлучаться. Родители и бабушка очень его оберегали, как зеницу ока. Но ему страсть как захотелось увидеть «машину смерти». В нем что-то взбунтовалось, и он выпалил:

— А вот и нет! Я с тобой.

Ребята пересекли бульвар, вошли во двор дома номер тридцать шесть, на первом этаже которого находился магазин под названием «Бакалея». Весь он светился изнутри от стеклянных коробочек, отражающих лучи электрических ламп. Как будто в этих коробочках были не макароны, крупа, мука или соль, а улей золотых искорок. Вот за этим сверкающим магазином — посредине большого двора — стоял серый одноэтажный домик, огороженный высоким кирпичным забором с металлическими козырьками на столбах, этакий двор поменьше, как в матрешке. На одном из столбов висела вывеска с длинным-предлинным названием: «Областная санитарно-эпидемиологическая станция».

Пашка долго, по слогам читал сложное слово.

— Коль, а что это означает «санитарно-эпидемио...» — Пашка запнулся на середине.

— Темный ты! — хлопнул его по плечу Колька.

— Это про туберкулез, что ли?

Пашка вспомнил дядю Сему, который сидел на лавочке у подъезда, все время курил и кашлял. Говорили, что у него туберкулез. Что-то давно его не видно.

— Нет, эпидемия — это когда много... — Колька развел ручищи в разные стороны.

— Чего?!

— Ну, больных от этой эпидемии. То есть от инфекции.

Пашка понимающе хмыкнул.

Ребята обошли забор. Колька посмотрел по сторонам — никого.

— Ну вот что, я тебя подсажу, а потом ты мне поможешь.

Пашка не был готов брать такие высоты, немного оробел. За забором послышалось ржание.

— Вот это нас Ветерок встречает.

Мальчик оживился. В городе все реже стали встречаться лошади. Но на бульваре он не раз видел, как груженное мешками животное тяжело трусило по дороге и сворачивало в арку одного из домов напротив. Он никогда близко не подходил к лошадям. Только представлял, как угощает Ветерка сушками, которые бабушка дает ему на прогулку и которыми набит его правый карман, а конь довольно фыркает и тычется горячими губами в ладонь. Этот образ придал ему уверенности.

Николай легко подсадил невысокого Пашку, тот уцепился за край забора, пальцы заскользили по мокрым кирпичам, он чуть было не сорвался, но Колька его снова подтолкнул. Пашка ухватился за столб, подтянулся, перекинул одну ногу и, сидя на заборе верхом, протянул руку Кольке.

Ветерок снова заржал, в наружном дворе залаяла собака. Мальчишки скорее прыгнули внутрь, угодили в огромную лужу. Брызги фонтаном окатили одежду.

— С приземлением! — произнес Колька и сильно пожал руку соседу, у того аж косточки захрустели. — С боевым крещением!

От этаких слов Пашка немного приободрился.

Лай собаки приближался, послышался чей-то хриплый голос.

— Это сторож — дед Тимофей. Надо прятаться! — Колька потащил Пашку в сторону сарая, который находился неподалеку и, к счастью, был не заперт.

В сарае лежали какие-то мешки, а в углу — вот это встреча! — стоял сам Ветерок. В темноте его глаза, казалось, полыхали огнем. Увидев ребят, он еще громче заржал и предательски затопал копытами. Рядом было сено, и мальчишки, недолго думая, нырнули в него.

Скрипнули ворота сарая, раздался голос сторожа:

— Ну вот, Каштан, а ты разлаялся. Никого нет.

Было слышно, как дед Тимофей идет по проходу — к ним. Сердце у Пашки екнуло. От страха он закрыл глаза, замер. Словно набат, раздавались неровные шаги старика: один шаг мягкий, второй — звонкий, металлический. Мальчик не раз видел ветеранов с металлическими «ногами». Особенно их было много в День Победы.

Сторож подошел совсем близко — так, что даже его хриплое дыхание слышалось. Он погладил коня, и Ветерок ответно радостно заржал.

— Ну, хороший, голубчик ты мой! Смотри, что я тебе принес. На, бери. — Ветерок захрустел сухарями и довольно зафыркал. — Вот и день прошел... Пора отдыхать. Ты тут без меня не скучай, утром увидимся. Ну, пока!

Дед Тимофей похлопал коня. Шаги сторожа начали удаляться. Затем раздался скрип ворот и следом — щелканье затвора. Пашка хотел уже закричать, даже высунул голову из сена.

— Ничего, выберемся, — утихомирил его Колька.

Когда шаги деда Тимофея стихли, ребята вылезли из сена. Вся одежда в устюгах, но Пашку это мало волновало. Надо как-то выбираться из этой клетки. Мальчик посмотрел на лошадь, и волнение прошло, а сердце наполнилось радостью. Пашка подошел к Ветерку. Грива старого коня была посеребрена белыми нитями, а глаза — с пятнами. И все равно это был добрый старый Ветерок, многое повидавший на своем веку. Мальчик протянул ему сушки и почувствовал горячее дыхание на ладони — было щекотно от прикосновения его губ.

— Ветерок тоже ветеран, — заметил Колька, — до Берлина дошел.

— Правда?! Откуда знаешь?

— От бати. Говорил, что Ветерок с дедом Тимофеем вместе воевали. Это его боевой конь. А потом Ветерка сюда отправили. Поэтому дед Тимофей и устроился здесь сторожем, чтобы быть рядом с ним.

— Вот так дружба! — поразился Пашка. — На всю жизнь!

— На всю оставшуюся...

Колька был из многодетной семьи. Старшая сестра уже давно работала продавцом, брат служил на Дальнем Востоке, а младшая училась в параллельном с Пашкой пятом классе. Отец — дядя Гена — вернулся с фронта после ранения. Колька, как и отец, казался контуженным: ходил в постоянно расстегнутом пальто, без шапки, переругивался со старухами на лавках. Волевые скулы парня и шрам на переносице дополняли картину. Все портили детские веснушки.

Ветерок хрумкал сушки, и нежность к лошади переполняла сердце Пашки. Волновало только, как они будут выбираться из сарая.

— Ничего, не бойся, сейчас что-нибудь придумаем, — успокоил его сосед, будто не раз бывал в подобных передрягах. И от этого Пашке стало спокойно — с Колькой не пропадешь!

Закрытыми ворота держала доска с наружной стороны, установленная в металлические скобы. Но между створками ворот находился зазор...

— Сейчас. Нужна палка.

Пашка огляделся — чем бы приподнять и скинуть доску, но ничего подходящего не было. В противоположном от Ветерка углу, возле деревянной стены громоздились чуть ли не до крыши сарая мешки.

— А что в мешках? — поинтересовался Пашка.

— Отрава.

— Зачем?

— Как зачем? Чтобы травить мышей и разных грызунов. От них вся эта зараза идет. Помнишь, к нам во двор приходили, спрашивали, есть ли мыши. Мамка моя взяла.

Пашка не припоминал, чтобы у них в квартире бабушка или мама раскладывали отраву.

— У вас есть мыши?! — удивился мальчик.

— Нет, так. На всякий случай. В подвале травили, и чтобы к нам не пришли. Чего болтаешь? Ищи! — грубо оборвал разговор Колька. — А то уже темнеет.

Вдруг Пашка увидел рядом с мешками отходящую от стены сарая доску.

— Вон, смотри, — указал он Кольке. — Ее можно как-то вытащить?

Задняя стена сарая была отсыревшей от дождей и выходила на забор. Колька тронул доску, и она отвалилась от поперечной перекладины. Ударил по второй — и металлические зубья-гвозди выскочили из державшей их опоры.

— Ну вот и лаз готов. Давай попробуй. Пролезем?

Пашка протиснулся в образовавшуюся дыру. Капли дождя с крыши сарая упали за воротник. Мальчик от неожиданности вздрогнул.

— Ну что ты застыл как вкопанный? Выход есть?

До забора было меньше полуметра. С одной стороны виднелся просвет. Пашка пошел туда. Колька тоже без труда вылез из сарая и последовал за ним.

В этом внутреннем дворе ребята осмотрелись. На противоположной от сарая стороне стоял большой, поржавевший металлический фургон. Сквозь ржавчину виднелись отдельные части слова «ХЛЕБ».

— Вот она, «машина смерти»! И вывеску какую придумали — «ХЛЕБ». Фашисты! Настоящие фашисты! — не выдержал Колька. — Люди пухли от голода и ничего не соображали, а им только это и надо. Эх!.. — мальчик сжал кулаки.

В поисках входа ребята обошли «душегубку». Дверь находилась со стороны забора и была приоткрытой, как будто приглашала незнакомцев. Изнутри дверь по все-

му контуру была обита обветшавшей резиной. Вместо ручки — большой винт. Мальчишки заглянули — внутри фургона было темно. Колька отодвинул Пашку, стоявшего в некотором оцепенении, и первым смело шагнул вовнутрь.

— Осторожно, ступеньки! — крикнул он Пашке, которому ничего не оставалось, как последовать за соседом.

На одной из ступенек мальчик заметил пятна, напоминающие капли крови, споткнулся и чуть не упал. Ему стало по-настоящему страшно. Вот тут умирали ни в чем не повинные люди. В груди нарастала озлобленность против врагов, пришедших на его землю.

В «душегубке» было холодно, мрачно и тоскливо. Воздух был какой-то протухший. Тусклый свет проникал только через небольшое окошко к водителю и в приоткрытую дверь. По обеим стенам фургона — лавки. Колька достал из кармана фонарик и осветил фургон.

— А эти ступеньки? Зачем они? Там что, двойное дно? — поинтересовался Пашка.

— Зачем-зачем? Людей скидывать прямо туда, — Колька показал вниз.

Пашка осмотрел пол и увидел участок, огражденный решеткой.

— Да нет же! Отсюда поступал газ. И скорее всего... — мальчик на мгновение задумался, — скорее всего, это была углекислота.

Колька невольно хмыкнул:

— Гм, углекислота... Умный нашелся! И что, она там вырабатывается? — он стукнул по полу ногой.

— Нет. То есть да. Углекислота — это те же выхлопные газы. Отработанный газ идет в помещение, вот отсюда.

— И ты думаешь, этого достаточно, чтобы отравить всех? Сколько здесь поместится: двадцать, тридцать человек?

Вдруг во дворе послышались голоса и бодрый лай собаки. Колька машинально выключил фонарь.

— Что это? — различил некоторые слова Пашка. — Дед Тимофей на немецком заговорил?

— Да помолчи ты! — оборвал его Колька. — Ты какой язык изучаешь?

— Немецкий.

— Переведи.

— Я не все понимаю. А ты какой учишь?

— И я немецкий.

— Ты ж на два года старше меня. Должен знать.

— Должен, должен... Да иди ты...

Говорившие быстро приближались. Это оказался не хромоногий дед Тимофей, еле волочивший ногу, а двое крепких мужчин, одетых в немецкую форму. На голове у них были каски, а в руках — автоматы.

— Мы куда это попали? Мне страшно... — испуганно посмотрел на соседа Пашка.

— Да не скули ты. Лучше переведи.

Пашка не все мог понять, только отдельные слова:

— Хайнс... смена... ночь... спать.

Когда говорившие вплотную подошли к машине, мальчишки с испуга залезли под лавки. Один из немцев обогнул машину и подошел к двери. Сердце, казалось, ушло в пятки. Дверь «душегубки» скрипнула, и стало совсем темно. Раздался скрип закручиваемого винта. Затем фашист обошел машину, сел в кабину, включил свет. Фургон через окошко осветился, и можно было увидеть дрожащие спины ребят.

После некоторого шуршания бумагами свет выключили, а дверь в кабину закрыли. Однако немцы не спешили уходить. Они о чем-то говорили, из чего Пашка только и понял: «Утро... Еловайская».

Когда шаги стихли, ребята вылезли из-под лавок. Пашка попробовал открыть дверь, но она не поддавалась.

Дверь не открылась и под напором Кольки.

— Ну все, мы здесь, пожалуй, надолго.

— Что это такое! — плачущим голосом заныл Пашка. — Куда мы попали? Получается, это не «душегубка», а машина времени? Какой это год?

— Если б я знал... Наверное, сорок первый или сорок второй. В это время наш город находился в оккупации.

— Это все из-за тебя! — толкнул Пашка товарища по несчастью.

Николай понимал его и никак не отреагировал. Он и сам хотел плакать, кричать, звать на помощь, но он был старше — и сдерживался, хотя с трудом.

Пашка вспомнил своих родных... Крупные слезы потекли по щекам.

— Там мама, папа, бабушка... Они, наверно, с ног сбились. А я тут...

Говорили же: не ходи с незнакомыми людьми!.. А Колька разве знакомый? Так, сосед. Тем более контуженный. На самом деле никакой не контуженный.

— Зачем мы сюда только потащились? — не унимался Пашка.

— Зачем-зачем... — рассердился Колька. — А зачем молодогвардейцы погибли? Зачем Марат Казей себя подорвал? Ему было только четырнадцать лет. Мне скоро столько...

— Так то война. А мы в мирное время живем.

— В мирное... Кто-то погибал за этот мир. Жизнью своей платил.

Колька замолчал и уставился куда-то в темноту. Было слышно, как муха, попавшая в бункер, бьется в окно.

— Ладно, гляди, что я нашел! Вон там, под лавкой, валялся, — Колька протянул кошелек.

На широкой ладони металлической дужкой блестел потрепанный кошелек. Пашка грязной ладонью вытер слезы. Он не знал, что делать с этой вещицей, попавшей из другого, военного, времени. Мальчик боялся к ней даже прикасаться.

— Убери!!! — вскрикнул он. — А вдруг он взорвется?

Пашка сел на лавку, ухватился за нее руками, плечи его дрожали.

— И чего это он должен взорваться? Маленький такой кошелечек. Придумаешь тоже, — пытался успокоить его Колька.

— А что с ним делать? Мы его даже в музей не можем сдать. Ты бы лучше подумал, как мы отсюда выбираться будем.

— А я и думаю. Вдруг в этом кошельке что-то есть? Вдруг там какое-то важное для нас послание? Надо посмотреть.

Колька высыпал на лавку содержимое кошелька — несколько монет и одну купюру.

— Очень важное! — с насмешкой заметил Пашка.

Колька начал прощупывать каждый сантиметр кошелька. Внутри, на подкладке, шов расходился, и что-то под ней шуршало. Колька извлек из кармана складной ножик.

— Да ты хорошо подготовился! И фонарик, и нож прихватил, — отметил Пашка.

— А я всегда с собой ношу. Вдруг че, — по-взрослому ответил Колька, поддел подкладку и вытащил небольшой клочок бумаги.

Головы ребят склонились над ним, как будто от написанного зависела их жизнь. Бумага была темной, помятой с еле различимыми буквами.

— «Мы в се-ров-ской тюр-ме. В сре-ду нас каз-нят. Ю. О.», — Колька с трудом прочитал по слогам стертые от времени буквы, выведенные химическим карандашом.

В фургоне повисла тишина. Где-то в отдалении грозно залаяла собака. Кто-то в далеком 1941-м или 1942 году ждет смерти, которая вот-вот наступит. И от них теперь зависит жизнь тех людей.

— Надо спасать, — однозначно заключил Колька.

— Их, может, давно казнили. Ты о себе подумай!

— О себе?! Нет, Паш, не получится. Выхода нам другого нет. Пока мы их не спасем, пока не взорвем эту «машину смерти» — дороги домой не будет! — жестко сказал Николай. — Ведь не зря же мы сюда попали.

— Тебе хорошо говорить. А меня там ищут... — слезы потекли по щекам мальчика.

— Слезы не помогут. Лучше давай подумаем, как нам быть. Здесь подпись «Ю. О.». Кто это может быть?

— Кто, кто... Я откуда знаю?!.

— Пашка, ну ты же у нас отличник. Все должен знать!.

— Да иди ты... — отмахнулся мальчик.

Колька сел на лавочку, положил записку в кошелек.

— Значит, никогда мы отсюда не выйдем. Или выйдем с другими... на кладбище...

Сказанное повлияло на Пашку, он перестал хлюпать носом.

— Дай сюда, — мальчик взял у Кольки записку. — «Ю. О.», что это — имя и фамилия? Юрий... Нет, не знаю, не помню. А смотри, здесь слово «тюрьма» написано без мягкого знака.

— И что? Надо с мягким? — Колька встал с лавки, внимательно посмотрел в записку.

— Конечно. Вот это да... умник какой-то нашелся.

— Может быть, не умник, а ребенок? Точнее, такой, как мы. Подросток.

— Это что, как «Молодая гвардия»? Как «Юные мстители»?

— Точно!.. Может, это как «Ю. М.» — «Юные мстители»? И первая буква подходит.

Пашка оживился:

— Вспомнил! Папа рассказывал, у нас была молодежная организация, Они повесили красный флаг над гестапо, а их расстреляли.

— Так, так, хорошо. Если это молодежная организация, то «Ю» — это юные, а что такое «О»? Оборона? Отпор? Юные оборонщики? Отпорщики? Нет, что-то не получается.

— А... может, освободители? — после недолгого молчания предположил Пашка. — «Ю. О.» — это «Юные освободители»?

— Гм, может быть, очень даже может быть. Но кто бы это ни был: взрослые, дети — они просят о помощи. Скоро, в среду, их не будет. Осталось всего три дня! Нам нельзя оставаться в стороне от всего, что происходит. И пока мы их не освободим, нам отсюда не выбраться. Так что, Пашка, держись! Сейчас наш выход.

— А потом мы попадем домой? — настороженно произнес Пашка.

— Будем надеяться.

— Как это «будем»?

— А так это, Паш, — Колька хлопнул соседа по плечу. — Если будем, значит... будем.

Пашка плохо понял сказанное и тяжело вздохнул.

— Надо выбираться отсюда и действовать, — наполнился уверенностью Колька и расправил плечи. — У нас впереди только три дня!

На дворе стало темно. Подходящее время для побега. Единственный выход из «душегубки» — через небольшое окошко в двойной перегородке между кабиной и грузовым отсеком, а там — и во двор. Стекло к водителю было закреплено с помощью резинового канта, плотно прилегающего к окну. Колька с помощью ножика поддел кант, но он сидел плотно. Пришлось прорезать резину. Изрядно потрудившись, ребята извлекли стекло. Но во второй перегородке со стороны водителя также имелось второе окошко, и работа с ним была намного сложнее. Колька даже порезал палец.

— Вот и первая кровь, — заключил мальчик. — Что за война без этого...

Пашка вспомнил, что бабушка обычно, когда он собирался на прогулку, клала в карман пальто платок. На всякий случай.

— А у меня вот что есть! — мальчик достал платок и перевязал Кольке рану.

— Ты — настоящий товарищ, — сосед хлопнул Пашку по плечу. Одобрение Николая было почему-то приятно.

Наконец оба стекла были вынуты, Колька попытался пролезть, но никак не получалось. Он старался и так, и эдак, но все было бесполезно.

— Эх, было бы чуть-чуть побольше... — тяжело вздохнул мальчик.

— Может быть, попробуем через решетку? — Пашка показал на пол. Но решетка была накрепко приварена. — Попали как кур в ощип... Связался я тут с тобой. Что теперь будет? Завтра нас с другими на кладбище свезут? — Пашка не на шутку запаниковал.

Колька снова заглянул в окошко к водителю, и его острый взгляд различил под сиденьем монтировку.

— Да помолчи ты. Ты поменьше, наверное, пролезешь. Смотри! Надо взять вон ту железяку — видишь, внизу лежит? — и мы попробуем разогнуть листы перегородки. Они не такие и толстые. Думаю, получится.

Пока Пашка с трудом перелезал в кабину водителя, он случайно задел руль. Раздался непродолжительный сигнал, и тут же вдали послышался лай собаки. Лай стал приближаться. Уже были слышны тяжелые шаги часового, луч фонаря забегал по стеклу машины. Пашка свернулся в комочек и забился под сиденье пассажира. Фонарь с каждым шагом немца все ярче и ярче освещал кабину. Лай становился все громче и громче. Пашка почувствовал, что в груди начал бить молот и сердце вот-вот выпрыгнет наружу.

Луч фонаря прошелся по сиденьям, по потолку кабины. Часовой что-то говорил там, на улице, возможно, собаке, а Пашке казалось, что прямо ему в ухо. От страха мальчик позабыл все немецкие слова. Потом стало темно и тихо. Это фашист взял передышку, затягиваясь сигаретой.

Когда немец ушел, из окошка выглянул Колька.

— Ну что, ты уснул там?

Пашка спешно выкатился из темного уголка. Он все еще не верил, что опасность миновала. Мальчик распрямился, казалось, каждая косточка издает хруст.

— Давай... некогда, — поторапливал его Колька, выводя из ступора страха, в котором пребывал сосед.

Пашка подал монтировку, и мальчишки начали изо всех сил сгибать металлические листы. Через некоторое время им это с большим трудом удалось. Колька просунул голову, затем протиснул плечи — окошко было узким, но высоким и напоминало бойницу. Когда Колька перебирался в кабину водителя, Пашка стоял на подстраховке, охраняя руль.

— Ура! — радостно заверещали ребята. — Полдела сделано!

Но радоваться было рано, нужно спешить. Ребята огляделись и не узнали двор. Перед ними стоял не кирпичный забор санэпидемстанции, через который они недавно перелезали, а натянутая металлическая сетка.

— Что же это? А где все наше?

— Че ты как маленький? Нет ничего нашего и не будет, пока не сделаем то, что должны! Бежать надо через это окно! — оценил ситуацию Колька. — Сначала вон за то дерево, а там через забор.

— И как перелезать?

— Я тебя подсажу, ты ухватишься за опору, подтянешься и — на свободе. А я как-нибудь.

Прежде чем покинуть машину, Колька предусмотрительно заглянул в бардачок. Там находились яблоко и какие-то бумаги. Недолго думая, он положил бумаги за пазуху, а яблоко протянул Пашке.

— На, бери, малец, заслужил!

Пашку вновь покоробило это обращение — будто к маменькиному сыночку, но он не стал спорить и принял яблоко. Колька был молодец! За это время Пашка не раз убедился в его смелости и находчивости, а теперь вот — и доброте.

Колька опустил стекло кабины, и мальчишки вылезли из нее. Острый ветер весны повеял им в лицо. Как давно они не были на свежем воздухе! Казалось, прошла целая вечность в заточении — в этой «душегубке», хранящей тлетворный запах. Целая вечность, разделяющая их, мирных детей, с теми, кто сполна хлебнул военного лихолетья.

Луна дремала на подушке облаков, звезды сыпались в ладони. Хотелось любоваться этой красотой, которую они снова обрели. Но не до того было сейчас.

Неподалеку раздался звук подъезжающей машины. Фары осветили местность. Мальчишки живо пригнулись, хотя луч света и не касался их. Машина остановилась у ворот и посигналила. Надо было как можно быстрее уходить, скоро сюда могут прийти. Ребята, не помня себя, перемахнули через забор и спрятались в придорожных кустах. Из-за веток с пробивающимися листиками они могли видеть, как во двор въехала легковая немецкая машина и остановилась рядом с фургоном. Из машины вышел крепкий офицер в немецкой форме, в высоких хромовых сапогах, с портупеей на поясе. Он о чем-то говорил с часовым, посмеиваясь и поглядывая на «душегубку». Было отчетливо слышно только многократное «Гут... Гут...», а также «Утро... Еловайская...». О чем говорят немцы, что это за Еловайская — было непонятно. У них рядом с городом не было такого населенного пункта.

Пашка с Колькой поспешили скорее покинуть это место. Куда идти, ребята не знали. Они находились на холме, а внизу горели огоньки домов. Но спускаться вниз мальчишки не хотели. По всей видимости, этот населенный пункт был занят немцами. И они направились по дороге, уходящей в лес.

Пройдя немного, ребята остановились — надо было отдохнуть. Вдоль дороги проходил овраг. Они спустились. На дне оврага блестела вода. Дожди последних дней давали о себе знать. Колька прильнул к воде. Пашка с удивлением посмотрел на него. В другое время он бы и не посмел думать о том, чтобы пить из лужи, но жажда так одолела мальчика, что и он тоже начал с жадностью зачерпывать ладонями воду и пить. «Хорошо, что мама и бабушка не видят, — подумал он, — а то бы устроили мне...» При воспоминании о родных слезы подступили к глазам, но Пашка сдержался.

Мальчишки утолили жажду, и яблоко пошло из рук в руки. Ребята наперебой начали обмениваться впечатлениями, которые удерживались до срока:

— Я так испугался, когда немец стал подходить. Ну, думаю, Пашка пропал. Как же я тете Симе в глаза смотреть буду?

— А я чуть от страха не помер. До сих пор все косточки болят.

— А у меня шея. Кажется, я вывернул ее.

— А я думаю: вдруг откроет, и что делать? У меня только монтировка.

— Ха-ха-ха... Представляю, как Пашка на немца с монтировкой. Вот это потеха была бы...

Ребята засмеялись, но Колька вовремя одернул — расслабляться нельзя.

— У меня, кажется, план есть. Надо искать кого-нибудь из партизан. Где есть немцы, должны быть и партизаны. Мне отец говорил. Одним нам не справиться. Ну, все, нечего рассиживаться. Спешить надо. Нас ждут.

Через некоторое время мальчишки увидели впереди охранную будку, послышалась немецкая речь. Чтобы избежать встречи, им пришлось сделать большой крюк по лесу. В лесу еще местами лежал снег, в низинах стояла вода. Было холодно и сыро, и Колька наконец-то застегнул пальто и поднял воротник. Ноги из-за дыр в ботинках промокли, мальчик дрожал, но брать шарф у Пашки наотрез отказался.

Когда небо стало светлеть, ребята вышли к какой-то деревушке. Они изрядно проголодались и устали. Решено было попроситься на постой. Колька осторожно постучал в ближайший дом. Долго никто не открывал, но потом появилась крепкая на вид женщина.

— Вы откуда будете? — приоткрывая дверь, спросила она.

— Из Верхневолжска, бабушка. Пустите погреться.

Женщина осмотрела их и строго сказала:

— Места у меня нет, но до утра можете сночевать.

Она дала каждому по куску грубого хлеба и уложила ребят на русскую печку, укрыв старым одеялом. Ребята сразу же согрелись, сон склеил глаза.

Пашке снился черно-белый сон: будто он бьется о стены «душегубки», но не может выйти наружу. Он летал по замкнутому пространству, как на крыльях, но не мог найти выхода. Одна мысль не давала покоя: «Как же там дома без меня?» А на улице из репродуктора мамин голос кричал: «Паша, я здесь, я здесь. Иди сюда!»

Пашка проснулся весь в поту, на дворе было совсем светло. Колька уже сидел за столом и пил с хозяйкой чай. «Везде успеет!» — подумал про себя мальчик и поспешил вниз.

— Степанида Алексеевна, — по имени-отчеству обратился Колька, — а где же нам армию или партизан отыскать? У нас для них важные сведения.

— Армия — она, сынок, далече. За Серовом. А партизаны были здесь, хаживали. А теперича как немцы стали наступать — ищи-свищи.

— Может, все-таки кто-то знает? Нам они очень, очень нужны.

Колька положил на стол документы, которые взял из бардачка машины. Пашка пододвинул их к себе. Среди бумаг виднелась и карта. Ребята накинулись на нее.

— Ух ты! Вот наш Верхневолжск, — указал Пашка. — На немецком так и звучит, как и на русском. А ваша деревня как называется?

— Сосновка.

— Вот она, — прочитал по-немецки Пашка. — Подождите, здесь между Верхневолжском и Кудринской была Артамоновка. Я это точно знаю. У меня бабушка оттуда.

— А как кличут бабушку?

— Веремеева Вера.

— Знаю, живали здесь Веремеевы, в другом конце деревни. Дак они давно отсель уехали. И дочь Вера у них была, помню. А Артамоновки здесь никогда и не было.

— Вспомнил, мне бабушка говорила, что эту деревню переименовали в честь Героя Советского Союза. Он был родом отсюда. А фамилия у него как раз Артамонов.

— Артамонов? — оживилась хозяйка. — Есть у нас такой. А ты откуда знаешь?

— Знаю, потому что... — неловко ответил Пашка. Не объяснишь ведь, что они из того года, который празднует двадцать пять лет мирной жизни.

— Смотри, смотри, что я нашел! — перебил его Колька, уводя разговор в другую сторону. — Вот красным отмечено.

— Это Ело-вай-ская, — прочитал по-немецки Пашка. — Помнишь, немцы говорили что-то о ней: «Еловайская, Еловайская...» А что там может быть?

— Не знаю. А вы, Степанида Алексеевна, знаете, что в Еловайской?

— А что вам надо? Деревня как деревня. Одна улица. Меньше нашей. Была я как-то там.

Пашка пододвинул брошюру.

— Это что? Gas-wa-gen... — по слогам прочитал мальчик. — Это значит: gas — газовый, wagen — вагон. То есть газовый вагон. Вот что значит «душегубка». Гады! А это что? An-wei-sung — такое слово мы пока еще не проходили. А вы? — обратился Пашка к Кольке.

Колька пролистал брошюру.

— Так здесь и знать не надо. Это документы к этому, как ты говоришь, газовому вагону. Как надо в нем людей убивать...

— Теперь в машинах убивают? — всплеснула руками Степанида Алексеевна.

— Да, «машина смерти» появилась. «Душегубка» называется. Людей туда напихивают и душат.

— Выхлопными газами, углекислотой... — добавил Пашка.

— На ней еще большими буквами «ХЛЕБ» написано.

— Во как, придут люди на хлеб-то! Знают, фашисты проклятые...

— Поэтому и нужно нам к партизанам. Самим не справиться.

— Вот беда-то какая! Да где ж я вам партизан возьму? Нынче ни одного мужика во всей деревне не осталось.

После чаепития ребята начали собираться в дорогу. С картой им было это делать сподручнее. Ориентир — город Серов, а там и наши близко.

Когда Пашка вышел во двор, который располагался за избой, то услышал протяжные стоны. Кто бы это мог быть? Стоны доносились из чулана.

Там точно находился человек, которому было очень плохо! И о котором Степанида Алексеевна почему-то не говорила. Может быть, это и есть партизан? Пашке удалось знаками выманить Кольку из избы. Лестница, по которой они спустились в чулан, предательски скрипела, но стоны неизвестного не утихали. Каждая клеточка трепетала от страха и неизвестности. А вдруг это не партизан, а немец, которого хозяйка из-за страха держит у себя? Но все же сердце подсказывало, что это наш, русский.

В чулане было темно, холодно и сыро. В углу, на сене, кто-то лежал. Подойдя ближе, ребята увидели молодого мужчину с темным обгоревшим лицом, укрытого тулупом. На голове у него виднелась повязка с пятнами запекшейся крови. Он лежал с закрытыми глазами и, казалось, без сознания. Ребята переглянулись.

— И что будем делать? — в растерянности спросил Колька.

Раненый, услышав голоса, вздрогнул, приподнялся, и из-под тулупа показался автомат, который он держал наизготове.

— Кто здесь?! — испуганно спросил он, щуря глаза.

Красные, воспаленные глаза ворочались на лице, как угли. Казалось, он не видит ребят. Речь, поначалу сбивчивая во время разговора, становилась более связной.

Ребята рассказали о себе, откуда они и зачем им надо к партизанам. Мужчина не все понял из сказанного, но оживился, когда Колька протянул ему записку из кошелька, которую бережно хранил.

Федор, как потом выяснилось, его звали, прочитав, даже вскрикнул.

— Как?! Так и знал. Говорил я им: «Не высовывайтесь. Без вас разберутся». А теперь... — он отдал записку. — Детский сад...

Ребята переглянулись.

— «Юные освободители»? — осторожно переспросил Колька.

— Что-то вроде того.

Было видно, как Федор переживает. Потом раненый собрался с силами и вновь заговорил:

— Значит, кто-то в серовской тюрьме из наших есть, раз передали. Тогда почему в «душегубке» нашли? Или перехватили нашего? Сегодня какой день?

— Уже понедельник.

— Времени совсем нет. Надо действовать. Серов — крупный железнодорожный узел и большой стратегический объект. Его не так-то просто взять.

Федор приподнялся, и лицо исказила гримаса боли. Из-под тулупа была видна разрезанная штанина, а под ней голень, перемотанная тряпками с пятнами крови.

— Мы готовы! — отрапортовал Колька. — Скажите, что надо делать?

— Это надо отнести... — Федор показал на записку.

— Мы можем сами отнести. Скажите куда.

— Без меня вы не найдете. Придется и мне с вами. Только дойду ли... Если что, поможете. Сегодня, когда стемнеет, будем выдвигаться. Раньше не получится: Степаниду можем подвести.

Ребята так были увлечены разговором, что и не заметили, как подошла хозяйка. В руках у нее был таз с теплой водой.

— Вот вчера пошла на реку. Смотрю, лежит. Это сосед мой, Федя. У него дома никого нет. Так я его к себе взяла.

Держать раненого у себя дома было опасно, поэтому Федор и находился не в доме, а в чулане. Мальчишки помогли обработать раны на ноге и голове, наложить новую повязку.

Они в нетерпении ждали вечера, когда можно будет отправиться в дорогу. Куда приведет их Федор, ребята не знали, но надеялись, что в партизанский отряд.

До вечера у мальчишек было время, чтобы повнимательнее ознакомиться с документами, которые они прихватили из «машины смерти». Пашка начал переводить текст инструкции. Он не все слова знал, но все же смог что-то разобрать. Колька с интересом учился у него немецкому и пробовал некоторые слова переводить сам. Особый интерес у мальчишек вызвали чертежи, на которых было видно строение машины.

— Вот видишь, по этой трубе воздух идет внутрь. А должно вот сюда выходить, на улицу, — показывал Пашка по схеме.

— Да вижу, вижу.

— Убивать — на это много ли ума надо... — вздыхала Степанида Алексеевна.

— А смотри, что я нашел! — вскрикнул Пашка. — В Gaswagen помещается не двадцать—тридцать человек, как мы думали, а тридцать—пятьдесят! Вот написано «30—50 Menschen».

— Ничего себе! В такую маленькую машинку? Как же надо ее утрамбовать?! Да там и без газа задохнешься. Гады!..

— Фашисты — они и есть фашисты... — покачала головой Степанида.

Хозяйка вместе с ребятами пыталась разобраться в бумагах. Ей все было интересно, и на каждое слово отзывалась ее восприимчивая душа. Она относилась к гостям с теплом — ее внуки были далеко, в эвакуации, а сын воевал на фронте. Степанида Алексеевна для ребят выкладывала на стол все, что у нее было съестного. Ей нравилось наблюдать за мальчишками, когда они с жадностью уплетают, чем она угощает. Грубые черты ее смягчались, и лицо освещалось внутренним светом. Она жалела детей, на долю которых выпало военное лихолетье, и особенно выделяла Кольку. Хозяйка дала ему мужнин свитер, шапку и стельки из валенок.

— Не ходи, как оголец, — говорила она. — А то и до победы не дойдешь.

На прощание Степанида Алексеевна дала хлеба, вареной картошки, перекрестила на дорожку.

— Миленькие, — провожая, сквозь слезы говорила она. — Вы уж там... Вы уж... — трясла указательным пальцем она и совсем тихо добавила: — Береги вас Бог! Оставайтесь живы.

Дорога была трудной. Круглолицая луна заглядывала в вырубленную просеку, и, казалось, идти не так темно. А когда она — ночная спутница — пряталась за деревьями, то ребята фонариком освещали путь.

Наставления Степаниды оказали влияние на Кольку, и он шел в застегнутом на все пуговицы пальто с шапкой на голове. Утеплившись, мальчик готов был бежать, но торопиться было нельзя: Федору было тяжело, он еле передвигался, но не показывал виду, что больно. Сначала он опирался на сделанную из палки клюку, а потом, когда занемог, его поддерживал Колька. Ребята удивлялись его мужеству, как он мог в таком тяжелом состоянии отправиться в дорогу.

Вероятно, чтобы отвлечься от боли, Федор довольно много рассказывал о себе. Два года назад он окончил летное училище, и руководство отправило его на границу недалеко от Бреста. Там он женился, и на свет появился малыш. В первые дни войны его самолет был сбит. Федор еще какое-то время летел в горящей машине, пытаясь ее посадить. Но все же пришлось выпрыгивать. При катапультировании он травмировал ногу. С тяжелым переломом и ожогами попал в госпиталь. После госпиталя его демобилизовали. А куда идти? Его дом находился в оккупации. Где жена, маленький ребенок — неизвестно. Вот и подался на родину, в Сосновку. Мать умерла. Война докатилась и до родных мест. Оставаться дома нельзя, да и сидеть без дела не может. И Федор признался, что пошел в партизанский отряд, куда они сейчас и направляются. При выполнении задания был ранен, потерял сознание. Очнулся уже у Степаниды.

Видно, Федору стало совсем плохо, и перед подъемом на пригорок они остановились. Попили из ручья воды, съели по вареной картошке в шелухе, по-братски разделили корку хлеба.

— Вот земля у нас большая, а таких, как Степанида, попробуй найди... — многозначительно сказал Федор, смакуя хлеб.

Нежные чувства благодарности к хозяйке, за короткое время ставшей близкой, родной, переполняли ребят. Если бы не она, неизвестно, что было бы с ними, с Федором.

— Это вам, — протянул в конце трапезы остатки еды партизан. — Вы идите. Здесь недалеко осталось. За пригорком будет кладбище, а за ним километра три прямо по дороге... — тяжело добавил партизан.

На лбу Федора выступила испарина. Тряпка, обмотавшая ногу, была черной от крови. Как он преодолел такое расстояние, оставалось загадкой.

— Никуда мы не пойдем! — быстро отреагировал Колька. — А как же вы?

— Как-нибудь дойду. А вам торопиться надо. Времени в обрез. Пароль «Завтра будет солнечная погода». Проситесь к командиру. Скажите, от Федора Артамонова.

Ребята застыли, открыв рот. Неужели это тот самый Артамонов? Герой Советского Союза? Он тоже был из Сосновки. Когда же он умер? А может быть, и не умер? Вот он, живой.

— Ну, что стоите? — прервал их размышления партизан. — Выполняйте команду! Там люди... А за меня не беспокойтесь.

— Хорошо, хорошо, — быстро среагировали ребята. — Мы уже уходим. Ждите подкрепления, — напоследок бросили они.

Да, мальчишкам надо было торопиться, чтобы помочь Федору и юным освободителям, заточенным в Серове.

Небо светлело и дышало покоем. Даже не верилось, что где-то идет война и рвутся снаряды.

Поднявшись на лысый пригорок, ребята услышали приближающийся рев самолетов.

— Наши? — спросил Пашка, глядя на Кольку.

— «Мессершмитты». Быстрее в лес!

Ребята помчались что есть силы с пригорка. Красные, налитые кровью огоньки неумолимо приближались.

— А что, они сейчас бомбить начнут? — задыхаясь на бегу, испуганно спросил Пашка.

— Зачем? Это разведка. Летят на огни.

Мальчишки нырнули в чащу леса. Прижавшись к сосне, они сквозь крону наблюдали за вражескими самолетами с крестами на боку. Пролетев низко над землей, так, что макушки деревьев начали качаться, немецкая разведка исчезла вдали.

За пригорком началось кладбище. Оно располагалось с двух сторон от дороги. Ребятам было страшно. Шум ветра переходил в скрип. Казалось, что кресты со всего кладбища выстроились по обе стороны дороги, а сзади, грохоча открываемыми крышками, идет строй гробов. Мальчишки, держась за руки, припустили изо всех сил. Пашка в этот момент был очень рад, что рядом есть такой надежный и верный товарищ, как Колька. Он уже не казался грубым, «контуженным», ему он был готов простить даже это попадание на войну. Лишь бы кто-то вот так держал его руку в своей и подбадривал, говоря: «Ну, ты что, дурачок, не бойся! Здесь никого нет».

Преодолев кладбище, ребята еще долго шли. Попадавшиеся на пути березы источали молочно-белый свет на фоне темного леса, и было не так страшно. Когда ребята совсем выбились из сил, впереди из-за деревьев показались фигуры.

— Стой, кто идет? — темный силуэт пожилого человека отделился от дерева и направился к мальчишкам.

— Завтра будет солнечная погода, — громко хором произнесли Пашка и Колька.

— Т-с-с-с, — преподнес палец к губам усатый седоволосый мужчина. — Здесь и деревья слышат. Откуда будете?

— Из Верхневолжска. Дяденька, нам к командиру надо. Срочно! — затараторил Колька.

— У нас важное донесение! — серьезно добавил Пашка.

— Так уж и важное, — хмыкнул часовой и подмигнул своему товарищу — худому, долговязому парню с перевязанной рукой. — Малец, а уже важное... А кто вас прислал?

— Федор Артамонов.

— Федя? Так он жив? Вот так дела... А мы уж думали... Ладно, идите. Вот Константин Петрович вас доведет, — усмехнулся усатый.

Константин Петрович был совсем молодой — на несколько лет старше Кольки. Он пыхтел папироской, и огонек освещал его лучезарные глаза. Юный партизан рано повзрослел. Война оборвала его детство. Он тщательно проверил карманы мальцов одной здоровой рукой и скомандовал:

— Идите впереди, я сзади. Прямо по дороге! — Константин Петрович наставил на ребят винтовку.

Пашку и Кольку такая охрана немного забавляла. По дороге они перемигивались и хихикали. Пройдя немного, свернули в глубь леса, а затем вышли на поляну. На поляне тлели угли потушенного костра. Должно быть, его тушили, когда услышали рев самолетов. В конце поляны стояли двое, к которым и подошли. Юный Константин Петрович вытянулся по струнке и отдал честь раненой рукой коренастому мужчине в офицерской форме.

— Товарищ командир, разрешите доложить! На контрольном пункте со стороны Сосновки задержаны двое. Говорят, от Федора Артамонова с важным донесением.

— От Феди? Вот так да! Заходите, — и командир партизанского отряда Матвей Петрович указал на землянку, откуда маленьким светлячком горел огонек.

Землянка была низкая и тесная. В сооруженном наспех помещении стояли только стол из грубо отесанных досок и лавки с двух сторон. На накатах бревен висел портрет товарища Сталина. Командир указал на лавку, ребята сели.

— А мы его совсем потеряли. Федя — наш герой! Он огонь на себя взял, когда ребята отступали. Наши после операции ездили на то место, но его так и не нашли. Уже думали, что в плен угодил.

— Его соседка, Степанида, утром нашла и к себе притащила. А сейчас он у ручья. По дороге совсем плохо стало.

— Так он у ручья? Семен! — крикнул он кому-то, кто, скорее всего, охранял вход в землянку, которая была штабом партизанского отряда. — Скажи Кузьмичу, пусть запряжет гнедого. Федор у ручья. А вы с чем пожаловали? — обратился он к ребятам.

Мальчишки разложили на столе бумаги и начали наперебой рассказывать о «душегубке», о побеге, о Сосновке, о Еловайской.

— Но в другое время я не верю. Зубы мне не заговаривайте, — оборвал ребят Матвей Петрович. — А про «душегубку» слышал. Бумаги — это интересно!

Увидев документы на немецком языке, Матвей Петрович позвал переводчика Прохора Ивановича. Пока тот шел, в землянку заглянула маленькая, с круглым лицом и ямочками на щеках женщина, тетя Оля. Она очень походила на повариху.

— Какие у нас гости! А я вижу, мальцы пожаловали. Дай, думаю, чаем напою. Еще теплый. Проголодались небось в дороге?

Тетя Оля погладила по голове Пашку, от ее рук исходил запах дома. Мальчик так расчувствовался, что слезы чуть не потекли из глаз.

— Можно и тушенки дать для таких гостей, — заметил командир, и сошедшиеся на переносице брови разлетелись в разные стороны.

Чай получился ароматный, с запахом леса. А тушенка вообще имела какой-то неповторимый, особенный вкус. После дома ребята впервые славно поели. Кажется, вечность прошла, как они покинули родные стены.

Замерзшие мальчишки после вкусного чая быстро насытились, согрелись и к приходу Прохора Ивановича немного разомлели. С трудом дошедший на костыле переводчик подтвердил, что документы касаются технического паспорта Gaswagen — «машины смерти». Карты дали много нового о положении немецких войск, об их оснащении.

— Вот кресты, вот звезды — здесь все понятно, а что означает красный квадрат? — не унимался въедливый командир, который никак не мог пропустить эту немецкую метку. — Что там находится?

— Пелевино, Сухарево, Еловайская... — пытался разгадать загадку Прохор Иванович.

— Вот Еловайская! — выстрелил Пашка, который, услышав знакомое название, взбодрился. Сон сняло как рукой. — Я помню, водитель что-то говорил: «Еловайская, Еловайская...»

— Так, а что там рядом с Еловайской? — Матвей Петрович вопросительно посмотрел на местного жителя Прохора Ивановича.

— Болото, — ответил он. — Я знаю ту местность. У меня теща там жила. С одной стороны — болото непроходимое, с другой — торфоразработки. Торф снимали. Что-то вроде карьеров. А рядом с ними — дорога.

— Вот в чем дело! — командир откинулся назад. — Теперь понятно, почему у водителя отмечено это место. Людей душили, а потом в карьеры сбрасывали. Вот что значит красный треугольник. Это могильный курган. И сколько в машине, ты говоришь, помещалось человек? — командир обратился к Кольке, но с ответом опередил его Пашка. Он протянул технический паспорт:

— Вот, здесь написано «30—50 Menschen», — выпалил по-немецки мальчик и перевел по-русски: — Тридцать—пятьдесят человек.

— Да ты, оказывается, немецкий знаешь?! — удивился Прохор Иванович. — Смена растет!

— Каждый день по тридцать—пятьдесят человек, и ни одной пули, — вздохнул Матвей Петрович. — Какая экономия! И сколько они уже используют эту «машину смерти»?

— По некоторым данным, вторую неделю.

— Значит, уже человек четыреста! Полтыщи!

Командир партизанского отряда встал и начал нервно ходить по землянке, заложив руки за спину. Казалось, он сейчас в гневе разнесет это лесное жилище, которое стало слишком тесным для переполнявших его эмоций.

— А мы здесь чем занимаемся?.. Не все же умерли! Некоторые могли отойти. Редко, но и такое бывает. Даже если один из сотни выживет, уже большая победа. Наша победа!

— А мы в «душегубке» вот еще что нашли, — взбодрившийся Колька достал кошелек и положил его на стол. — Это мы под лавкой обнаружили.

Матвей Петрович удивленно посмотрел на мальчугана.

— Там записка. Вот, — и Колька извлек из кошелька белый клочок бумаги.

Командир развернул записку и долго переговаривался с Прохором Ивановичем.

— Что ж вы молчали? М-да, печально. Очень печально, — и голос Матвея Петровича дрогнул.

— Эх, ребята, ребята. Юнцы совсем...

Колька с Пашкой понимающе переглянулись.

— Кто бы это мог передать? И главное — через кого? Кто из наших в Серове?

— Лиза в администрации. Сестра Костика.

— С ней можно как-то связаться?

— Надо узнать.

— Самим нам это дело не осилить. Силы не те. Надо срочно радиограмму в центр дать.

Разошлись уже утром. Чувствовалось пробуждение весны, пробуждение жизни. Солнце играло на стволах сосен, небо голубело недостижимой высотой. Птицы беззаботно щебетали на кронах деревьев, устроив птичий базар. Снега в лесу почти не было, но было сыро, пахло талой водой и мхом. Природа как будто сжалилась над выброшенными из домов людьми и подарила им тепло после продолжительной зимы.

У костра уже суетились люди. Возле поляны стояла только одна палатка с красным крестом, других не было видно, но люди все прибывали и прибывали, и откуда — оставалось загадкой. Здесь были и старики, и малые дети — все, кто не пришелся по душе новому режиму. Облик у всех жалкий: потрепанная одежда, иногда прожженная костром, на лицах — болезненная серость.

Вдруг на поляну со стороны дороги выехала лошадь, запряженная в телегу.

— Ветерок! — невольно вырвалось у Пашки.

Колька схватил его за руку и шепнул на ухо:

— Ты что забыл, где находишься?

Лошадь через всю поляну проследовала к палатке с красным крестом. Видно было, что она долго и быстро бежала. Остановившись, животное продолжало хватать воздух разгоряченным ртом. Извозчик, пожилой Кузьмич, в распахнутом пальто, с трудом сошел с козел. Телегу обступили люди, вид у всех был удрученный. Никто не решался тронуть лежащего. Ребята наперегонки побежали к собравшимся, начали проталкиваться сквозь строй. На телеге — с закрытыми глазами, бездыханный — лежал Федор.

Пашка испугался, спрятался за Колю и, как молитву, повторял:

— Федя, не умирай! Только не умирай!..

— Вот, еле поднял. Лежал без сознания у ручья, — как бы оправдываясь, говорил Кузьмич.

К телеге твердой походкой подошла женщина в белом халате и косынке с крестом. На почти бескровном, мраморном лице — черные брови-стрелы. Казалось, она и улыбаться не умеет. Она строго посмотрела на лежавшего, пощупала пульс.

— Срочно в операционную! — скомандовала она. — Когда его ранили?

— Третий день уж пошел! — ответил Кузьмич.

— Как он еще жив?!

Принесли носилки. Двое человек аккуратно переложили на них Федора и понесли. Мальчишки шли рядом. Вдруг возле медчасти партизан открыл глаза. Мутный взор, казалось, различил ребят. Колька положил руку в его раскрытую ладонь.

— Спасибо, ребята. Все будет хо-ро-шо, — только и вымолвил Федор, и глаза его закрылись.

Слезы побежали по щекам мальчишек. Последнее они должны были говорить ему. И здесь Федор Артамонов думал не о себе, а о других, как облегчить страдания ребят.

Колька и Пашка сели возле палатки с красным крестом и решили не уходить, пока не прооперируют Федора. Бревно, на котором они притулились, было холодное, но мальчишки не чувствовали этого. Казалось, прошло несколько дней, пока из палатки не вышла рыжеволосая медсестра. Мальчишки обступили ее.

— Как Федор? Будет жить?

— Готовим к операции. У него большая кровопотеря. Пульс еле прослушивается. Еще немного, и было бы поздно...

— А можно у нас кровь взять?! — чуть ли не хором спросили ребята.

— Нам для Феди ничего не жалко, — добавил Колька.

Медсестра внимательно посмотрела на мальчишек и по-матерински приобняла.

— Хорошие вы мои! Откуда пожаловали? — и, не дожидаясь ответа, добавила: — Кровь — это дело взрослых.

К ребятам подошла тетя Оля. Взошедшее солнце играло в ее глазах. Бессонная ночь не принесла ей усталости. Казалось, ей нипочем никакие трудности.

— Ах, вот вы где! А я вас ищу. Чего стоите? Спать пора. Глаза вон, вижу, закрываются.

— Нет! Мы не пойдем. Мы будем Федора ждать, — проявил свою решимость Колька.

— А за Федора не беспокойтесь. Он попал к Лидии Николаевне. А у нее золотые руки. Так что будет жить наш Федя. Будет!

Усталость брала верх, и ребята послушно пошли за тетей Олей в глубь леса. Здесь, как грибы, начали появляться землянки, которые со стороны непросто было рассмотреть. Теперь стало ясно, откуда шли партизаны. Укрытые ветками, мхом, защитным материалом, они были хорошо замаскированы. В одной из них на зеленом лапнике с наброшенной на него рогожей ребята и уснули. Было немного непривычно спать на такой кровати, но только ребята легли, сон овладел ими.

Сколько они спали, не знают. Проснулись от ржания лошади. Кольке казалось, как будто над его головой склонилась лошадиная морда.

— Вставай! — дернул Колька Пашку. — Федю уже, наверное, прооперировали.

Ребята вышли на поверхность земли. Солнышко пригревало, давало надежду на лучшее. Все занимались своими делами: одни готовили дрова, укрепляли землянки, другие чистили оружие или форму, третьи помогали на кухне, в медсанчасти. Без дела только сидел мальчуган возле палатки с красным крестом и, наставив зеркальце на солнце, пускал зайчики. Рыжеволосой девчонке, напомнившей огневолосую медсестру, солнечные искорки попадали в глаза. Она за палаткой разбирала перевязочный материал, и это отвлекало ее от дела. Девчушка фыркала и строила виновнику смешные рожицы. Спрашивать про Федора у мальчишки, бьющего баклуши, ребята не хотели. За этот короткий срок они по-другому начали относиться ко времени и оценивать свое участие в общем деле. Поэтому подошли к девчонке.

— Слушай, — обратились они к ней, — ты, случайно, не знаешь, Федора Артамонова прооперировали?

— Федора? — юная партизанка удивленно посмотрела на незнакомцев. — Прооперировали.

— И что??? И как??? — накинулись на нее Колька и Пашка.

— Нормально. Хотя... — девчонка застыла в задумчивости, а потом уже твердо выпалила: — Будем надеяться!

В это время подошел пускатель солнечных зайчиков. Он казался немного старше Кольки. Между ними тут же завязалась перепалка. Колька оправдал свою клич-

ку «контуженный» и ударил мальчугана, а тот в свою очередь его. На помощь товарищу пришел Пашка со своими тощими кулачками. Подбежавший Кузьмич хотел утихомирить дерущихся и начал растаскивать ребят. Во время потасовки Колька нечаянно попал локтем Пашке в глаз.

— Ой! — закричал мальчик от неожиданного больного удара.

— Да что ж это такое?! Что вы себе позволяете? — возмущался матерый партизан.

— Мы хотели спросить за Федора. А этот... — кипел разгорячившийся Колька.

— А что я? Нашелся шустрый.

Местный был тоже не из тихонь, остановить порыв гнева непросто. Он не мог простить новичку, что пропустил от того удар и теперь ему приходится плеваться кровью.

— Так, всем молчать! — скомандовал Кузьмич. — Дела нет? Вон ведра, берите и — на реку. Вода всегда пригодится.

— Так мы и не отказываемся, — подтвердил Колька. — А этот расселся, как... как...

— Чего? Сейчас получишь мне...

— Ладно, тяжело в учении, легко в бою. Наш парень! Забористый! — Кузьмич с уважением потрепал Кольку за плечо.

— Так у меня батька воевал танкистом на Т-34.

Мальчишки взяли ведра и пошли на реку. Бегущая в глубь леса тропинка привела их на крутой берег реки. Здесь, на пригорке, солнце припекало и земля была сухой, первая молодая травка уже показала свои зеленые усики. Река в этом месте делала резкий поворот. Вода на излучине пенилась, и белые гребешки волн обрамляли кручу, на которой они стояли.

Отсюда с возвышенности открывался красивый вид на противоположный берег реки. На нем раскинулось большое поле. Солнце высушило его после зимы, и желтая сухая трава напоминала об урожае хлеба. Поле простиралось почти до горизонта и обрамлялось вдали зубчиками леса. Был такой простор, что хотелось летать, как стрижи, которые наперегонки порхали над гладью воды. Даже не верилось, что где-то льется кровь и гибнут люди.

Колька не смог сдержать восторга перед захватывающими дух далями. После быстрой ходьбы и подъема на пригорок ему стало жарко, и он расстегнул пальто.

— Красота-то какая! Неужели эту красоту фриц у нас заберет?

— Ни в жисть! Не видать им и хвоста собачьего, — выпалил подошедший пускатель солнечных зайчиков по имени Виктор и сплюнул сквозь зубы.

— И когда только война закончится?!

— А то ты не знаешь? 9 мая 1945 года, — выпалил Пашка.

Витек удивленно посмотрел на новичка.

— А ты откуда знаешь?

— Так это во всех учебниках написано, — продолжал Пашка, на время забывшийся от распахнувшихся перед ним красотами, где он находится.

— Это что, через три года? Да нам столько здесь не протянуть!

Колька, почувствовав, что может разразиться очередная гроза, пришел на помощь товарищу:

— Пашка у нас звездочет. Он по звездам учебники читает.

Витек довольно гоготнул:

— Гм, теперь мы тебя Звездочетом звать будем.

За шиворот Кольке что-то капнуло. Он оглянулся и увидел березу. Ветка березы была надломленной, и с нее капал сок.

— Ух, ты! — обрадовался мальчик. — Можно и сок попить.

Раньше каждую весну он вместе с отцом ходил в лес за соком, но в последнее время у папки стали обостряться боли после ранений, и они вот уже два года обходились без сока.

— А давайте ведерко поставим. Пока ходим за водой, глядишь, и накапает. Для Федора.

Колька подставил под березу ведро, проверил попадание сока и вместе с ребятами спустился с пригорка к реке.

На реке Пашка стал прикладывать на ладошке холодную воду к глазу. «Как бы фингала не было. Мама увидит, расстроится», — переживал Пашка, а Колька не без смеха подзадоривал:

— Теперь ты у нас настоящий боец! Настоящий мужчина!

— Настоящий Звездочет. Считал, считал звезды да и грохнулся со стула, — не успокаивался Витек.

Мальчишки подружились с Виктором, так что остановить их говорливую речь было сложно. Во время третьего рейса за водой Колька решил спросить у местного напарника:

— Слушай, Витек, а ты не мог бы узнать... ну, у своей знакомой девчонки, куда положили Федора Артамонова и можно ли его навестить?

Пашка, у которого к этому времени глаз стал покрываться опухшим веком, с удивлением посмотрел на находчивого товарища. «Ну и проныра этот Колька Смирнов! Везде лазейку найдет», — подумал он.

— А что узнавать? Здесь он, — и Виктор, который находился в отряде уже два месяца, показал на палатку с красным крестом. — В одной части операционная, а в другой — палата.

Колька сбегал за ведром, в котором уже с полкружки накапало живительной влаги.

— Вот, — протянул он Витьку, — а это можно как-то ему передать?

Мальчик важно поднял вверх пятерню, и без слов можно было понять, что с этим заданием он справится.

Колька с Пашкой подошли к медчасти. Как они правильно догадались, в палате были маленькие окошки, а в операционной — большие. Мальчишки, оглядываясь по сторонам, на цыпочках подкрались и заглянули в палату. В небольшом помещении стояло три кровати. На одной лежал пожилой мужчина и кашлял, на второй — девочка лет пяти, а на третьей, той, что в глубине, — мужчина с перебинтованной головой, в котором с трудом угадывался Федор. Бинт как нельзя лучше подчеркивал контраст с темным цветом его обгоревшего лица.

Мальчишки тихо окликнули Федора, но он не отзывался. Громче звать было опасно: могли выйти медики и прогнать. И тут опять нашелся смекалистый Колька. Он попросил у Витька зеркальце, и золотистые, теплые струи солнца наполнили палатку.

Находясь в забытьи, сначала Федор не реагировал на гуляющие солнечные пятна, но потом стал мотать головой, как бы отгоняя назойливые видения, и, наконец, открыл глаза. Взор его был туманным, но мальчишки так обрадовались, что чуть не закричали.

— Федор, ты как? — тихо спросили они.

В глазах раненого бойца засветился живительный огонек. Было видно, что он узнал ребят и очень обрадовался встрече. Чтобы сдержать напор эмоций мальчишек, мужчина поднял указательный палец и приложил к губам: «Тихо!»

— Ты там держись! — потряс Колька в воздухе кулаком.

— Не сдавайся!!! — добавил Пашка. — Мы тебе знаешь что? Мы тебе сок передадим, — и Колька поднял ведро с соком. — Ты у нас еще бегать будешь.

Федор слегка улыбнулся и махнул рукой в знак согласия, прежде чем волна слабости опять накрыла его.

Ребята от медчасти шли довольные: они видели Федора, он жив и обязательно выберется! С таким доктором, как Лидия Николаевна, да еще с лекарством от самой природы смерть ему не страшна. Федор еще покажет фрицам, еще отомстит им за порушенные города, за слезы и кровь ни в чем не повинных людей! Он обязательно отыщет свою семью и вновь будет счастлив!

На поляне ребят встретила тетя Оля.

— Ну, где вы пропадаете? Вас к командиру вызывают.

— Вот это да! К самому командиру? — не сдержал удивления Витек, и глаза его округлились. — Звездочет, ты там не промахнись с прогнозом! — бросил он напоследок Пашке.

В штабе за столом сидели два человека, которых ребята еще не видели: один — важный офицер в очках, а другой — в гражданской форме. Офицер внимательно посмотрел на Пашку и, увидев синяк под глазом, сказал:

— Что, уже и боевое крещение принял? Свой товарищ.

Пашка в смущении потупил глаза.

— Давайте выкладывайте, что знаете.

Мальчишки показали записку и рассказали о том, что знают: где находится стоянка «душегубки», сколько они шли, что видели по дороге, про Серов, Еловайскую. Некоторые моменты приходилось повторять.

— Значит, так! Сегодня же езжайте в Еловайскую! — в приказном тоне сказал офицер. — Машина во что бы то ни стало должна быть уничтожена.

Матвей Петрович обратился ко второму — Алексею Степанчикову, руководителю разведгруппы:

— Алексей, возьмете троих человек и поедете в Еловайскую. На сборы пятнадцать минут. Посмотрите, может, кто еще жив. С собой возьмете.

— А как же ребята? — не выдержал Пашка. — Их завтра казнят.

— Не волнуйтесь. Без вас разберутся, — одернул мальчика начальник партизанского отряда.

— А вы, — новенький офицер строго посмотрел на ребят из-под очков, — можете быть свободны.

Ребята вышли из землянки вслед за Степанчиковым, они были обеспокоены «Юными освободителями».

— Дядя Леша, — не мог успокоиться Колька, — а как же ребята? Они ждут!

— Их надо спасать! — строго посмотрел на Алексея Степанчикова Пашка и рассерженно топнул ногой.

Рано полысевший начальник разведгруппы улыбнулся, и вокруг глаз обозначились лучики морщин.

— Да не переживайте! Ребят не бросят. Слово даю. Партизанское.

Сказанное внушало доверие, но Колька с Пашкой были неспокойны. Сердце подсказывало: выход домой через фургон. А если его взорвут, как они вернутся домой? Они должны быть с ними, со Степанчиковым, они не могут пропустить такое важное дело. Только как об этом сказать?

— Дядя Леша, пожалуйста, можно нам с вами? — Колька не отставал от Степанчикова, который уже отправился по свои делам. — У моего друга папка на фронте погиб. Мне надо за него фрицам отомстить.

Начальник разведгруппы остановился, внимательно посмотрел на мальчугана.

— Ишь ты какой! А автомат в руках можешь держать?

Колька потупил глаза.

— А нет, значит, нет. Сидите. Придет и ваш черед, — партизан погладил Кольку по голове и поспешил к грузовику.

После разговора с водителем он направился в лес.

— Чует мое сердце, в этой машине поедут, — сказал Колька.

— И что?

— Надо ехать с ними. Ну-ка пойдем, — и сосед потащил Пашку за собой.

Ребята обошли грузовик и стали с противоположной стороны от водителя. Колька осмотрелся. На поляне было много людей, но каждый занят своим делом. Никто не обратил внимания, как мальчик подтянулся на руках и осмотрел кузов. В конце кузова валялись какие-то ящики. Колька быстро залез в машину и сверху подал руку Пашке. Ребята спрятались под ящиками. Сквозь щели в деревянном ограждении грузовика они могли видеть, как к машине вместе со Степанчиковым подошли еще два человека: уже знакомый им Константин Петрович и неизвестный коренастый, как потом выяснилось, по имени Жорик. Они легко залезли в кузов и заняли места возле кабины водителя.

Начальник разведотряда сел в кабину и скомандовал: «Поехали!» Грузовик тронулся, оставляя за собой поляну со ставшими за короткое время близкими ее обитателями.

Холодный ветер пронизывал насквозь. Колька добрым словом вспомнил Степаниду: шапка и свитер ему сейчас служили добрую службу. Грузовик долго ехал, петляя по лесным дорогам и подпрыгивая на ухабах. Потом остановился. Невдалеке послышалась вражеская речь. Говоривший приближался. У ребят все упало внутри, казалось, нечем дышать. Из кабины послышался голос Степанчикова, он говорил по-немецки.

— Едем с задания, — успел перевести Пашка.

Немец какое-то время молчал, по всей видимости, проверяя документы.

— В добрый путь! — наконец ответил проверяющий.

Машина тронулась. Дыхание к ребятам вернулось.

Ехали еще какое-то время. Кроны деревьев закончились, и распахнулось бездонное небо — это машина выехала на равнину.

Когда грузовик остановился, Степанчиков крикнул: «Вылезай!» Партизаны выпрыгнули и пошли за своим командиром. Территория торфоразработок была разбита на квадраты: один выше, другой ниже. Вдали виднелось какое-то возвышение. Партизаны направились туда.

Мальчишки долго решали: идти за партизанами или нет, но потом отважились следовать за старшими — будь что будет. Торф пружинил под их ногами, было страшно идти, но ребят это не останавливало.

Подойдя к возвышению, партизаны увидели, что оно состояло из переплетенных тел. Дети, взрослые, старики — все вперемешку вырастали из низины большой горой и возвышались над землею как памятник жестокости и бесчеловечности фашистов.

Кто-то из пострадавших, по всей видимости, смог прийти в себя и хотел выбраться из котлована. Один мужчина уже почти поднялся наверх, но силы остави-

ли его. Женщина тоже пыталась выбраться, но только сумела немного отползти от сваленных в кучу тел. Поодаль лежали ребенок с матерью, которая прикрывала свое дитя от этого злого мира.

Над котлованом склонил свои ветки багульник. Он был невольным свидетелем последних минут тех, кто все же уцелел. В отдалении кроны деревьев качали макушками, распевая колыбельную песню всем уснувшим. Партизаны сняли головные уборы и застыли в суровом молчании. Они заметили шедших за ними мальчишек, но ругать их ни у кого не хватило сил.

Неподалеку от кучи Алексей Степанчиков заметил девушку, под расстегнутым пальто виднелась белая кофта. Девушка показалась ему знакомой. Он сделал знак Жорику, и они спустились на дно торфоразработок. Это оказалась Лиза, сестра Константина Петровича. Было видно, как мужчины трясут ее, бьют по щекам, но девушка не реагирует. Тогда начальник разведотряда взял ее на руки и донес до края котлована. Вместе с напарником они вытащили девушку на поверхность земли.

Юный Константин Петрович, наблюдавший за этой сценой, ушел подальше от того места. Вернулся весь в слезах и бросился к сестре.

— Лиза... Лиза... — плакал паренек. — Я обязательно им отомщу! Ты меня слышишь? Обязательно...

Вместе с Константином Петровичем плакали Пашка и Колька. И даже командир отряда, куривший в отдалении, не скрывал слез. Как Лиза-подпольщица оказалась в фургоне, для всех осталось загадкой.

Девушку положили в машину, накрыли брезентом. Там, где недавно ехали ребята, лежала молодая подпольщица, жизнь которой так рано оборвалась. Лиза знала «Юных освободителей», была одним из членов этой организации.

Время шло к вечеру, а «душегубки» все не было. Когда стало темнеть, вдали послышался рев машины, загорелись кровавые фары. Машина свернула с дороги на торфоразработки.

Партизаны легли на землю и замерли. Мальчишки по приказу командира группы спрятались на дне соседней делянки. Фургон остановился рядом с грудой тел. На фоне темного кузова светлела вывеска «ХЛЕБ». Из кабины вышли двое немцев, они закурили и беспечно стали о чем-то разговаривать. Мальчишки узнали голос водителя, это его они видели той ночью. Его звали Хайнц.

Один из фашистов открутил тяжелый винт и открыл дверь, из «машины смерти» начали вываливаться люди, которые стояли рядом. Обреченные бились в дверь, пытаясь освободиться. Теперь они навсегда обрели свободу!

Хайнц и водитель начали разбирать тела и вытряхивать содержимое карманов. Водитель сорвал с женщины золотую цепочку и, радостно гогоча, положил в свой карман. Но вдруг раздался хриплый кашель, по всей видимости, кто-то остался жив. Хайнц достал пистолет и хотел пристрелить счастливчика, но в это время Константин Петрович открыл огонь. Бежавший на немцев партизан был срезан ответной очередью.

Мальчишки закрыли уши, чтобы не слышать выстрелы, но это не уменьшало страха, который они испытывали. Пашка и Колька лежали рядом, ощущая тепло друг друга, и это как-то успокаивало их. Когда стихло, ребята вышли из карьера.

Поодаль от «душегубки» лежал убитый Хайнц, рядом — раненый Константин Петрович и связанный немец. Здесь же и мужчина, из-за которого началась перестрелка. Глаза его были закрыты, пульс еле прощупывался, но организм боролся за жизнь. Ему сделали искусственное дыхание, дали воды, его стало рвать.

— Это хорошо, — сказал Жорик и побил пострадавшего по спине. — Организм очищается. Может выжить.

Остальных людей Алексей Степанчиков вместе с Жориком и водителем вытаскивали из фургона и клали по другую сторону от входа.

Но вот на небе ярко загорелась сигнальная ракета. Яркий фитилек стремительно двигался по небу, прожигая темноту, и казалось, еще немного, и ничего не останется от нависшего над людьми черного полога. Колька и Пашка, затаив дыхание, следили за быстрым бегом ракеты. Но вот прочертив полнеба, ракета потухла. Мальчишки с грустью переглянулись.

— Сейчас начнется! С праздничком вас, фашистские гады!!! — радостно потер руки начальник разведгруппы. — Это на Серов наши пошли. Дай бог, ребят освободят.

— Ура!!! — закричали, прыгая, мальчишки.

— Пора и нам «фейерверк» устраивать, — Жорик показал на «душегубку» и подмигнул.

— Посмотрите, — обратился Алексей Степанчиков к ребятам, — там никого не осталось?

Колька и Пашка вошли в фургон. Окно к водителю заварено листами железа. Это, без сомнения, была та самая «душегубка», которая переместила их более чем на четверть века назад. Ребята осмотрели машину — фургон был пуст, они заглянули под лавки, там никого не было. Мальчишки собрались выходить и увидели в просвет двери расположенную рядом отштукатуренную стену санэпидемстанции. Рядом с машиной никого не было.

— Ну вот мы и дома! — радостно закричал Пашка.

— А я что говорил: выход будет через «душегубку», — как-то немного грустно сказал Колька и присел на лавку.

Где-то раздался грохот.

— Это что, наши на Серов пошли? — спросил Пашка.

— Пошли. Давай, и нам пора. — Колька встал, наполненный уверенностью. — Мы уже все, кажется, сделали. Сейчас «душегубку» взрывать будут.

Ребята поспешно вышли из фургона. Они легко перемахнули через забор. Домой шли молча, и каждый думал о своем. Моросил дождь, но они его не замечали. Капли струйками стекали по лицу, очищая от всего, что было недавно, а мальчишки не хотели с этим расставаться.

Когда переходили бульвар, раздался сильный грохот. Ребята оглянулись.

— А это «машину смерти» взорвали. Так им и надо! — заключил Колька, и полы его расстегнутого пальто взвились на ветру как призывное знамя победы. Всклокоченные волосы шевелил весенний ветер.

— Теперь мы точно все сделали, — поддержал товарища Пашка.

Мальчишки свернули во двор. Первым на пути был подъезд Кольки. Пашке не хотелось расставаться, за это время он обрел настоящего друга. Колька не образцовый отличник, не прилизанный пай-мальчик, из-за него теперь у Пашки фингал под глазом, но он верный друг, который придет в трудную минуту, всегда поможет, отдаст последнее. А это — самое главное!

— Ну, давай, — первым протянул распахнутую ладонь Пашка и по-взрослому пожал Колькину грязную руку. — Будь здоров! А ты знаешь, я рад, что так получилось. Теперь я знаю, у меня есть настоящий друг, — неожиданно вырвалось признание у мальчика.

Колька не отпускал руку Пашки.

— И я тоже.

Молчание затянулось. Первым нашелся Колька:

— Теперь мы и немецкий будем вместе учить.

— И математику с химией тоже, — добавил Пашка.

Колька скрылся за дверью подъезда, на прощание лукаво подмигнув. А Пашка оставался ждать, пока друг не поднимется по лестничным пролетам до своего пятого этажа.

Дома Пашку встретили мама с бабушкой. Вид у них был очень озабоченный. Они с недоумением оглядывали пришедшего.

— Где ты был? Почему такой грязный? Откуда у тебя синяк? С кем ты дрался? — наперебой забрасывали его вопросами бабушка и мама.

— Бабушка, — оборвал Пашка непрекращающийся поток вопросов родных, — а Федя Артамонов жив или умер?

— Федя? А почему ты спрашиваешь? Говорили, что он погиб. При отступлении партизан взял огонь на себя.

— Так говорили, или погиб?

Бабушка задумалась.

— Я точно не помню. Это было так давно...

«Как хорошо, что мы зашли в „душегубку“. Федю спасли», — подумал довольный Пашка.

— А «Юных освободителей» казнили?

— Да, их расстреляли.

Тут вмешался папа:

— Их хотели расстрелять, но было наступление, и о них забыли.

«Вот и ребят мы спасли...» — радостно потер руки мальчик.

Папа подошел, обнял сына и сказал:

— Синяки украшают мужчин! — а потом добавил: — А мы хотели на салют идти. Сегодня юбилей Победы. А тебя все нет и нет...

Пашка выглянул в окно. На темном небосклоне загорелись красные огоньки. Их было много, вылетающих словно из сердцевины цветка. И каждый «лепесток» был похож на ту сигнальную ракету, которая дала старт наступлению на Серов, спасению «Юных освободителей». Эту ракету Пашка уже не забудет никогда.

Айгуль АХМЕТОВА

УРАЛЬСКАЯ «ВОЛХОНКА»

Рампа есть линия огня.
А. А. Блок

Один уважаемый человек из культурной столицы нашей Родины обескуражил меня то ли всерьез, то ли в шутку заданным вопросом: а на что там у вас, в Екатеринбурге, смотреть? Я обомлела — не от бесцеремонности вопроса (хотя не было бы лишним) и не потому, что готова была выпалить длинную очередь из объектов наследия, памятников, природных заповедников и прочих достопримечательностей, а, скорее, наоборот — что можно противопоставить не Эрмитажу даже, не Дворцовой площади и Миллионной улице, а, скажем, одному дому на Каменноостровском проспекте, где жили историк и педагог Сергей Федорович Платонов, физик Петр Леонидович Капица, поэт Н. А. Заболоцкий и пр., пр.? Дому с двором-курдонером, с колоннами и балюстрадами, с любопытством вперяющего в ошеломленного прохожего десятки глаз со скульптур кариатид и масок, выглядывающих даже из-под полукруглых балконов, зажатому в серебрящихся щупальцах водосточных труб. Да что там! — не сравниться даже с историей этого дома: «С конца XIX века территорию, на которой сегодня расположено здание, занимал увеселительный сад „Монплезир-Тиволи“, позже на этом месте был открыт аквариум „Золотая рыбка“». Можно ли тягаться хоть и с исчезнувшим (или — тем более с исчезнувшим) «Монплезир-Тиволи»? Что и говорить, «оборонкой» мы, конечно, славимся, но чего соревноваться в ценностях духовных, когда ими надлежит делиться? В конце концов, как бы его ни называли: «провинциальный городок», «город бесов», «Е-бург», «Капибаровск» — в бездушности и скупости наш город уличить нельзя. Возможно, опрометчиво, а все же вытрясет он из одного кармана изумруды, золото и душу — там уж выбирайте, кому что по нраву. Никаких сверхусилий прилагать не придется, нет нужды быть Гарри Галлером или сумасшедшим, чтобы набрести на обиталище души — вот вам адрес: Екатеринбург, ул. Малышева, 21/1, театр «Волхонка». Ишь что удумали! — какая еще «Волхонка» на Урале, что за претенциозность, замашки на столицу?! Никаких замашек, одна лишь дань собственной истории: театр стоит у узенького переулка, некогда соединявшего Покровский проспект с Главным и носившего название Волхонковский.

Театр на тридцать восемь мест, расположившийся на первом этаже жилого здания — Дома специалистов Госпромурала (Уралоблсовнархоза), ведет свою непростую, порой трагическую историю с 1986 года. Точности ради стоит отметить: обретение театром помещения случилось лишь в 1992 году, ценой ему, к сожалению, стал не один пот, но и кровь (да и их соединение не всегда оказывалось надежным: были времена, когда труппа мыкалась по разным площадкам). Здесь же, в этом доме,

Айгуль Разитовна Ахметова родилась в Воркуте (Республика Коми). Высшее экономическое образование получила в Уральском федеральном университете. Публиковалась в «Новом журнале» (2023), в журналах «Нева», «Урал». Живет в Екатеринбурге.

кстати, теперь находится Музей конструктивизма «Ячейка F». Впрочем, и само здание представляет строгий образец конструктивизма: геометричность, прямолинейность, ни единой завитушки, намека ни на многозначность, ни хотя бы двусмысленность — никакого шанса для разброда и шатания. Разве что время, кое-где облупив краску с фасада здания, привнесло свои топографические узоры. Конторки, конторки, черно-белые клерки, бумага и оттиски синей печати — вот какое содержимое мерещится в стенах насупившегося параллелепипеда. Хорошая маскировка для лаза в потусторонность. Но хватит топтаться у входа — ныряем!

Попадаем в «кротовую нору»: черные стены, зеркала, красные розы, винтовая лестница, раритетные телефоны и большие, слегка истершиеся чемоданы, флер только что прошелестевшей платьями блоковской незнакомки — вот каково нутро конструктивизма. Бесплотным теням (а они не могут не скользить по стенам, если вспомнить о трагической судьбе, постигшей бывших художественных руководителей театра, но обойдем эти истории стороной) не выжить без живых лиц и бьющихся сердец: нас встречают люди «Т». Они нам приветливо улыбаются на входе, серьезно смотрят на нас с плакатов и будоражат воображение раздающимися из зала приглушенными голосами. Скоро, скоро будут обитые красной материей кресла, две колонны, вновь черные стены и сцена на расстоянии вытянутой руки от зрительного зала.

«Большой зал развращает актера. Когда необходимо „пробить“ расстояние в 600 мест, то актер неизбежно начинает форсировать, педалировать свои эмоции, изображать чувства. <...> А в малом помещении ничего форсировать не надо. <...> [Зритель] по глазам, по малейшим движениям лица, по движениям бровей и губ получает подробнейшую информацию о герое»[1].

Здесь вы не найдете двух похожих спектаклей. Текущий репертуар театра представлен широким диапазоном жанров — это и комедии: уморительный «Ужин дураков» (режиссер Евгений Белоногов), изящный «Французский уик-энд» (режиссер Георгий Добровицкий, он же в главной роли), постепенно раскаляющиеся «Жернова» (режиссер и автор пьесы Александр Сергеев), «Старший сын» (режиссер Наталья Шарафетдинова) с большой площадью соприкосновения лирики с иронией, и драма: пронзительная «Варшавская мелодия» (режиссер Наталья Шарафетдинова), дребезжащие «Три рассказа про любовь» (режиссер Максим Кальсин), лирическая «Зеленая скамейка» (режиссер Александр Сергеев), и даже психологический триллер «Человек-подушка» (режиссер Алексей Янковский).

Компактность, маневренность, невероятная отдача актеров, их умение проникать в придуманные миры, органично в них облачаться, не пятная и не искажая, позволяют театру быть гибким и пластичным, поддающимся формованию режиссерами с разными творческими методами, с неповторимой оптикой и несовпадающими целями.

Но можно ли так жить — жить, без конца предоставляя «в аренду» собственное пространство, воздух под чужие смыслы, жить в «коммунальном» театре? Татьяне Москвиной принадлежат слова: «Не системы и методы рождают творчество, а личный магнетизм. Заражение, если угодно, бациллами творчества». Но когда точка притяжения не одна, когда нет раз и навсегда установившегося устава, когда «бациллы» слишком разнообразны, бойки и жизнеспособны, не ослабевают ли, не расшатываются ли собственные сваи? Нет, — отвечу не колеблясь. На сцене «Волхонки» нет ничего чужого, насаженного, неорганического. Все, что привносится, актерами

[1] Интервью Владимира Валла (директор и художественный руководитель театра с 1991-го по 2003 год) // Газета «Волхонка: крупный план». 1999. № 1.

«присваивается» в самом лучшем смысле этого слова и встраивается в собственную театральную архитектуру.

В «Волхонке» нет спектаклей, в которых, забыв о зрителе, выпихнув его из центра своего мироздания, с надменностью и презрением стали бы ему скармливать неудобоваримую, но модную (коммерчески успешную), якобы возвышенную, запутанную, псевдофилософскую историю — нет, не для того актер придвигался вплотную к залу, не для того сидел в соседнем со своим зрителем кресле, не для того одаривал его яблоком (да-да, бывало и такое). А для чего? Чего он хочет, что им движет? С какой целью он становится мануальным терапевтом души, чего ради бережно расправляет ей, скукожившейся, складки (или крылья?), зачем смешит и вызывает грусть? А с какой целью зритель идет в театр? Неужто только чтоб развлечь себя историей, пощекотать нервишки недостающими в жизни страстями? Четкий ответ на этот вопрос уже звучал из уст Алексея Янковского: «Человек приходит в театр для того, чтобы посмотреть на другого человека таким, как его создал Бог, а не таким, каким его сделал социум. Вопрос лишь в том, что мы понимаем под человеческим — „сборище комплексов или принадлежность к бесконечности“?»

Нужен ли театр? — а спросите: нужна ли душа? Этот атавистический придаток, который мы по какой-то не то причине, не то случайности до сих пор носим в себе.

А. Блок в своем письме о театре писал: «Театр должен воспитывать волю». Волю к чему? К власти? — едва ли. К страсти? — возможно. К смыслу? — наверняка. И к жизни — хочется верить.

Театр призван — но не каждый справляется с этой задачей — стимулировать душу на труд, потуги — тогда, когда самостоятельно мы не справляемся: вялы, инерционны, боимся чувствовать на всю амплитуду, на разрыв. Но не стоит предъявлять к театру и слишком большой спрос: оплодотворение души — не его дело.

В наращивании панциря из материальных благ, в обращении друг друга в набор выполняемых функций, в автоматы, беспрерывно выполняющие чью-то волю, наши сердца теряют чувствительность, стягиваются царапающей и отталкивающей коростой. Мы, зрители, надеваем маски и, сосредоточенные на себе, думаем только о том, чтобы их не потерять. Другие нас интересуют лишь в качестве носителей мнения о нас, источника выгод или потенциальных создателей угроз. Мы все друг для друга посторонние, актеры, фигляры, которые разучились сопереживать. Мы опротивели сами себе. Впрочем, стоит ли так обобщать, не стоит ли вместо «мы» употреблять «я», раз уж предполагается, что каждый вглядывается лишь в свое отражение? Резонно, тем более что и в театре зритель одинок. Он хоть и наблюдает все то же, что и еще тридцать семь человек, а все же восприятие у него не включено в общее. Ему приходится рассчитывать только на свои чувства и мысли. Актеры на сцене в этом смысле занимают более сильную позицию: они обитают в одном мире. Вернее, так: в множественных осколках общего мира они включены в некое единое событийное пространство, забиты в укромный уголок реальности, которая, как подметил Алексей Янковский (и, надо полагать, не он один), выбирает нас сама.

«Волхонка» — театр, приверженный традициям, но не чужд он и экспериментов. Наверно, одна из самых неординарных постановок театра — «Человек-подушка». Это спектакль, мистическим образом перекидывающийся в зал и даже просачивающийся за пределы театрального помещения. Спектакль не поднимает вопросы — они лезут из него скелетами, торчат и лязгают костями, на которые больно, нестер-

пимо смотреть — нелегко принять неживую часть самих себя. Зачастую смыслы в спектаклях обнажаются постепенно, деликатно, раскрываются, как бутон, лепесток за лепестком, слой за слоем, но не таков «Человек-подушка»: скорее, смысл в нем эксгумируется на глазах ошеломленного зрителя.

Писателя Катуряна (Александр Сергеев), автора более четырехсот рассказов (из которых опубликован был лишь один), допрашивают в полицейском участке. В соседней камере находится старший брат Катуряна Михал (Павел Пепелев), взрослый человек с интеллектом ребенка. Допрос ведут детективы Тупольски (Георгий Добровицкий) и Ариэль (Радмир Габдрахманов). Состав преступления выясняется по ходу пьесы. Избегая риска (он ничтожен и без того) раскрыть сюжет, обратимся к нескольким источающим атмосферу фрагментам.

> Отец <...> плохо обращался со своей дочкой, и однажды девочка взяла несколько яблок и вырезала из них человечков. С маленькими пальчиками, маленькими глазками и маленькими ножками. Она подарила их отцу, попросив об одном одолжении: ни в коем случае не есть этих человечков. Девочка попросила папу оставить человечков на память о том времени, когда его дочка была маленькой. И эта свинья, ее отец, чтобы ей насолить, начал их пожирать. И тут же умер в страшных мучениях, потому что в каждого яблочного человечка девочка засунула острое бритвенное лезвие![2]

Заблуждение думать, что детям нужно до чего-то дорасти. Разве что до притворства. Но до него не дорастают, а опускаются. А все же впечатления ребяческих лет дадут богатые всходы. Мы будем эксплуатировать их, а они — нас.

Детектив Тупольски заявляет Катуряну: «Униженные, оскорбленные дети — вот ваша любимая тема».

Эта тема должна быть любимой у каждого человека с сердцем, дабы хотя бы не множить количество униженных и оскорбленных. Но со зрителем что-то происходит: одни начинают ерзать, другие — озираться, третьи — отвлекаться на первых и вторых. Я была в числе тех, кто отвлекался, и не могла точно определить реакцию примерно двух третей зала, но чувствовала нарастающее напряжение, сопоставимое с тем, что бывает в классной комнате, когда проходят сложный урок. Но урок вызывает скуку, а здесь ее нет, ее замещают недоумение, раздражение, отторжение, состояние, близкое к ментальной тошноте. Дурной сон, от которого хочется поскорее очнуться.

Густая темная энергия не вмещается в маленькое помещение, напирает и переливается через край. Представьте себе: на сцене вещают: «Однажды одна маленькая девочка, невероятно счастливая, не поверила Человеку-подушке, когда он сказал ей, что жизнь жестока, а ее жизнь будет в будущем особенно невыносимой», и в это время черная стена оживает и обнаруживает маленькую неприметную дверцу, ведущую на улицу, во двор; в эту дверцу просовывается детская головка и начинает выкрикивать что-то бессмысленное прямо в зрительный зал, потом возникает другой ребенок, он же откровенно смеется и улюлюкает; дети пихают друг друга, оспаривая друг у друга право сыграть свою роль. Действие продолжается, а дети все никак не угомонятся. Проходит минут десять, не меньше. Контекст не утрачивается, но атмосфера как будто размешивается, наэлектризованные сгустки процеживаются, дробятся и пунктируются. Нет, смех ничего не нарушил. Смех вон-

[2] М. Мак-Донах. Человек-подушка.

зился в раздувшийся шар атмосферы. Упругость шара уберегла его — он не сжался и не лопнул. А может, этот шар был подушкой...

КАТУРЯН. Однажды... жил-был человек, который не был похож на всех остальных. Он был почти вдвое выше, чем обычные люди... Его руки были как подушки, его ноги были как подушки, его тело было как подушка, его пальцы были как маленькие подушечки, и даже голова была как подушка, большая круглая подушка.

МИХАЛ. Подушка, похожая на шар.

КАТУРЯН. Это одно и то же.

МИХАЛ. Но я люблю, когда «подушка, похожая на шар».

ТУПОЛЬСКИ. Нам очень нравится пытать писателей. <...> Когда мы судим писателя, в этом есть какой-то... знак судьбы[3].

Истязать детей, пытать писателей, заодно, быть может, потерзать и зрителя — к чему все это? К тому, чтобы задаться вопросом: к чему все это? И множеством других вопросов. Какова природа и цена таланта, созидания (или разрушения?), если бывает врожденный вывих души, почему он не может быть приобретенным, вызванным, какова мера ответственности творца, стоит ли что-нибудь жизни, страданий, детской слезинки? Проклятые вопросы, на которые дано множество ответов. Проклятые вопросы в пляске на костях. Зритель обомлеет, впадет в транс, оцепенеет, на некоторое время он, ощутив мозоли в натруженной душе, даже забудет об аплодисментах.

Но а мы почти забыли об актерах — в том их заслуга: им удалось поверить в выдумку, познать ту плоскость, «в которой бурлит подводное течение нашего чувства и развивается жизнь человеческого духа роли, где хранятся неистощимые запасы опыта, воспоминаний о пережитых чувствованиях»[4]. Татьяна Москвина отмечала: «Автор волен создавать какую угодно жизнь — нужны ему золотые поля, симпатичные женщины в нарядных платьях, здоровые дети, лоснящиеся от сытости коты, спелая малина, смешные словечки и ситуации — пусть берет и доказывает, что это прожито сердцем, что это не „вообще“ поля, женщины, дети, коты, а его поля, женщины, дети, коты, заветные и возлюбленные»[5]. Зрителю остается завороженно наблюдать, не разлагая разворачивающееся перед ним действо на составляющие: речь, интонацию, голос, вздох, взгляд, едва уловимое изменение выражения лица, наклон головы, движение руки, пластику — все-все элементы «духовной и физической природы человека»[6]. Образы, выступающие за пределы сцены, а не актеры перед зрителем, «истина страстей, правдоподобие чувствований в предлагаемых обстоятельствах»[7]. Все живой нитью из душевной кудели вьется, накручивается на телесное веретено. Так и выходит, что в искусстве больше безыскусности, чем в наших пластмассовых буднях.

«Человек-подушка», пожалуй, будет оценен по достоинству не каждым зрителем. Тем, кому не по вкусу истории «в весьма модных сегодня мрачных тонах», придутся по душе более традиционные постановки, выбирая которые не слишком-то следует ориентироваться на жанр: в каждой комедии есть чем растрогаться, в каждой драме — есть чему улыбнуться.

---

[3] М. Мак-Донах. Человек-подушка.

[4] Константин Станиславский. Искусство представления.

[5] Татьяна Москвина. Проделки доктора арт-хауса. Заметки рассерженного зрителя.

[6] Константин Станиславский. Искусство представления.

[7] А. С. Пушкин.

Вот, например, «Ужин дураков» — комедия? Комедия! Яркая, искрометная. Пьеса Франсиса Вебера, постановка режиссера Евгения Белоногова. Можно без опаски навлечь скуку или вызвать конфронтацию рекомендовать другу, сослуживцу, даже малознакомому человеку: конфликт универсален, язык — доступен, герои — ярки, сюжет — динамичен. Роль главного героя — издателя Пьера Брошана, время от времени развеивающего скуку устроением ужинов с «дураками», блистательно исполняет Георгий Добровицкий. Действительно, отчего бы и не поиздеваться над человеком со скуки? Да разве ж то человек, то — дурак! Смеяться над дураком — дело безобиднейшее, не правда ли? Дурак — существо простейшее, нечувствительное, ему неведомо, что такое боль, унижение и страдание. Вот если б сделать рокировку: поменять местами дурака и насмешника...

В тот самый день, когда должна была случиться встреча с «дураком мирового класса» Франсуа Пиньоном, Пьера разбивает радикулит. В придачу Пьера — это выяснится чуть погодя — оставляет жена Кристина. Не лучший вечер для забав с дураком, но коли он сам лезет под руку... Франсуа является к Пьеру домой и, застав в плачевном положении своего истязателя, всячески пытается облегчить его страдания и угодить. Правда, каждая попытка благодеяния оборачивается курьезом: достанет пары-тройки доверенных дураку звонков, чтобы запутать и связать потуже нити судьбы.

Все то, что лишь наклевывалось, протекало вяло, подспудно, вдруг катализируется включением «дурака». Незадачливость оказывается заразной: она касается каждого, кто вовлекается в историю. Франсуа Пиньону под силу за несколько часов даже пошатнуть материальное положение. Как это ни странно, не свое.

Да, с такой способностью Франсуа Пиньону никакие «дураки» не нужны, а к тому же у него есть страстное увлечение (оно-то и выдает в нем чудака с первых минут знакомства) — он делает макеты из спичек: Танкарвилльский мост, Эйфелева башня, буровая вышка, даже мост Инвалидов — все в его руках. Кажется, Франсуа не расстается с этими моделями — совершенно случайно их снимки оказываются при нем.

Франсуа, от которого тоже ушла жена, искренне сочувствует своему незадачливому издевателю.

> ФРАНСУА. Я знаю эти таблетки, будьте осторожны, они очень сильные. *(Пьер берет упаковку, Франсуа направляется к бару.)* Однажды вечером я чуть было не выпил всю пачку. Прошло уже около трех недель, как она ушла, я получил утром открытку, которую, наверняка, выбрал он, потому что на ней было изображено море с дурацким серфингом... Она мне написала: «Я уверена, что тебе не скучно с твоими спичками. Я, во всяком случае, счастлива». Я чуть было не выпил все таблетки.

Горчит, горчит чуть ли не каждая фраза. Теория о толстокожести чудака терпит крах, не правда ли?... Или находит очередное подтверждение в следующих строках?

> ФРАНСУА. Меня спас мост Инвалидов. Я был в процессе работы: я не мог остановиться на середине моста.

Что сдерживать улыбку, когда Франсуа вдруг восклицает: «Мне иногда кажется, что вы меня принимаете за дурака!»

Мало ли кто кого за кого принимает! — важнее, кто на самом деле останется в дураках: радикулит, ускользающая жена, приставучая любовница, преданный (в смыс-

ле — преданный Пьером друг), но милый Франсуа Пиньон найдет, чем еще приправить вечер Пьера, можно не сомневаться. Дурак бесхитростно оставит в дураках.

Неудивительно, что преданный когда-то друг от всей души будет смеяться над Пьером:

> ЛЕБЛАН. *(Трясется от смеха.)* Извини... но я как представлю тебя, с твоим радикулитом, семейными переживаниями в руках этого... о, Боже!..
>
> ПЬЕР. Прекрати!.. пожалуйста.
>
> ЛЕБЛАН. *(Вновь серьезен.)* Когда Кристина мне сказала по телефону, что уходит от тебя, я не злорадствовал, но теперь, видя тебя таким беспомощным, с твоим единственным поверенным — дураком, которого ты отобрал со всей своей желчью, я умираю от смеха! *(Снова хохочет...)*

И зрительный зал хохочет. До слез и сквозь слезы. Ведь каждый из нас — дурак. В руках бесчисленных Пьеров, Франсуа, в руках друг друга и у Случая — вездесущего главного режиссера. А вот отмахнись-ка от него, когда Франсуа Пиньона играет Павел Пепеляев, он же Михал в «Человеке-подушке», а Пьера Брошана — Георгий Добровицкий, он же Тупольски в упомянутом триллере. Хочешь не хочешь, а мелькнет невольно мысль: вот и отомстил Михал за себя и брата. Осталось прозвучать залпу аплодисментов, опустеть сцене, прошелестеть одеждам. Но никуда не денутся тридцать восемь красных кресел — в очередной раз свежих лунок из-под выдернутых душ.

К 130-летию Евгения Шварца

Елена ВОСКОБОЕВА

«ПОТЕРЯННОЕ» И «ОБРЕТЕННОЕ» ВРЕМЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Е. Л. ШВАРЦА

Тема «потерянного времени» сопровождает все творчество Евгения Львовича Шварца: она начинает звучать в самых ранних его произведениях (детских рассказах) и глубоко раскрывается в текстах 1940-х годов, когда исторический контекст обогащает значение метафоры.

Впервые эта тема прозвучала в пьесе «Пустяки», написанной для театра марионеток и поставленной в 1932 году начинающим режиссером Е. С. Деммени. По его воспоминаниям, «Евгений Львович охотно откликнулся на наше предложение написать пьесу для кукол, и вскоре появилась его первая пьеса для кукольного театра „Пустяки“»[1]. В этом же году в журнале «Чиж» начали печататься рисунки А. А. Успенского с теми же действующими лицами: инженером Масловым, неугомонным и озорным Петькой Доценко, прогульщиком Куликовым и, конечно же, гусем Барбосом. Повесть «Приключения Петьки Доценко и гуся Барбоса» публиковалась с анонимными подписями, но сюжетная и образная связь этих двух произведений очевидна, что впоследствии позволило снять вопрос об авторстве подписей[2].

Идейно-художественный замысел Е. Л. Шварца развивался в двух жанровых формах, и заметим, что это не единственный случай разработки интересного сюжета в разных направлениях — через десять лет драматург вновь реализует одну из своих ключевых тем в «Сказке о потерянном времени», написанной в жанре пьесы для кукольного театра и повести.

Елена Владимировна Воскобоева — кандидат филологических наук, литературовед, специалист в области литературы XX века, научный редактор, издатель. Автор книги «История издательства „Картонный домик“» (2020). Автор многочисленных публикаций по творчеству М. А. Булгакова, Е. Л. Шварца, истории русского авангарда и др. Редактор-составитель сборников произведений Е. Л. Шварца («Стихотворения», 2016; «Стихотворения. Раешники», 2018; «„Ленинград стал фронтом...“. Произведения 1941—1945 гг.», 2019; «Кукольная мастерская: пьесы для кукольного театра», 2025 и др.) и его полного собрания сочинений в 10 томах.

---

[1] Деммени Е. С. О Шварце Е. Л.: Воспоминания о Евгении Шварце / Сост., вступ. ст., подг. текстов и прим. Е. М. Биневича. СПб.: ООО ИД «Петрополис», 2014. С. 169.

[2] Подробнее об этом см.: Биневич Е. М. Евгений Шварц: Хроника жизни. СПб.: ИД «Петрополис», 2008. С. 219.

В «Пустяках» история о беззаботном мальчике Петьке Доценко, для которого все дела оказывались «пустяками», а на самом деле имели для окружающих страшные последствия, имеет сказочную основу. Именно в это время Шварц аккуратно подходит к жанру, который в его творчестве преодолеет все условные границы и развернется до крупных эпических масштабов, — к сказке. Изначально он берет за основу известные сказочные сюжеты, наполняя их современными деталями и авторскими фабульными ходами (например, так родились пьесы-сказки «Тень», «Красная Шапочка» и «Снежная королева», киносценарии к фильмам «Золушка» и «Дон Кихот»), а позже выдуманный, выстраданный, пережитый и прожитый биографический, исторический сюжет станет фундаментом целостного художественного произведения, помещенного в формальные сказочные рамки (вспомним «крамольную», по выражению самого́ автора, пьесу-сказку «Дракон», семейные «закатные» пьесы «Обыкновенное чудо» и «Повесть о молодых супругах»).

Сюжет, рассказывающий о герое, живущем вольно и беспечно, недобросовестно относящемся к своим делам, встречается во многих фольклорных произведениях. Важно отметить, что в пьесе «Пустяки» (как и в повести) таких персонажей-лодырей и прогульщиков двое: мальчик Петька и взрослый рабочий Куликов, отсутствие которого на заводе задерживает выпуск тракторов. Шварц показывает, что даже во взрослом мире есть люди, которые несерьезно относятся к своей работе. Такой пример помогает Доценко понять, что любая работа важна и нужна обществу, все приносят пользу друг другу и слаженная деятельность никогда не обернется «пустяком»:

> КОЛЯ. Две тысячи минут. А сколько это будет часов — знаешь?
> ПЕТЬКА. Ну?
> КОЛЬКА. Тридцать три часа! День, ночь и еще день — вот сколько времени пропало за две минуты. А ты говоришь, пустяки.
> МАСЛОВ. В нашем деле нет пустяков[3].

Несмотря на очевидные тонкие сценические ходы и удачные образные находки, Шварц не считал этот спектакль творческой удачей: «У меня в театре Деммени шло несколько пьес. В начале тридцатых годов — „Пустяки“. Тут я впервые испытал, что такое режиссер и все его могущество. <…> Он сокращал, переставлял и выбрасывал все, что надо было куклам. И пьеса, что для меня главное мучение, оказалась рассказанной грязно, с зияющими дырками. <…> Состоялась обычная кукольная премьера, поставленная полууумело и заработавшая полууспех»[4]. Пьеса, впервые поставленная в 1932 году, дальнейшей сценической истории не имела, но спустя несколько лет, вдохновленный успехом постановок пьес для драматического театра (зрители восхищались «Тенью» в Театре комедии, с удовольствием обсуждали острую социально-философскую сатиру «Ундервуд»), Шварц вернулся к созданию пьес для кукольного театра.

Кукольная пьеса «Сказка о потерянном времени»[5] была написана специально для Театра марионеток Е. С. Деммени в 1940 году, но премьера состоялась лишь

---

[3] Шварц Е. Л. Пустяки: Собр. соч.: В 10 т. Т. 1. Произведения 1910-х — начала 1930-х годов / Сост., подг. текстов и ком. Е. В. Воскобоевой, Е. И. Исаевой. СПб.: ООО ИД «Петрополис», 2024. С. 185.

[4] Шварц Е. Л. Телефонная книжка. М.: Искусство, 1997. С. 113—114.

[5] Пьеса впервые опубликована в сб.: Евг. Шварц. Кукольный город: Пьесы для театра кукол. М.; Л.: Искусство, 1959. С. 129—161. Инсценировка сказки в обработке П. Радолина была опубликована в журнале «Затейник» в 1948 году (№ 2. С. 36—44) с рисунками Л. Смехова.

в 1947 году[6], а за семь лет до этого пьеса была озвучена на радио[7] и вызвала настолько восторженные отклики, что Шварц написал повесть «Сказка о потерянном времени»[8]. Во время Великой Отечественной войны прозаический текст подвергся доработке. Известно, что 17 февраля 1943 года Е. Л. Шварц, находясь в эвакуации в Кирове, участвовал во встрече детских писателей вместе с Г. Н. Гре́бневым и Е. И. Чарушиным, художником Н. М. Быльевым-Протопоповым с местными школьниками в Большом зале Кировской библиотеки им. А. И. Герцена (ул. Герцена, 50) и читал повесть «Потерянное время». За основу этого произведения Евгений Львович взял первоначальный вариант сказки, изменил систему образов (например, убрал Кукушку, помогающую Пете найти детей-стариков и вернуть свое детство), сделал школьников старше и поменял некоторые детали (например, время года, название газеты, которую читала Маруся Морозова, и пр.). В измененном виде с повестью читатели познакомились уже в 1945 году.

Наконец в сентябре 1947 года Е. С. Деммени поставил такую долгожданную для Театра кукол пьесу: «Наступил 1947 год. <...> Театр взял на себя обязательство досрочно, к ноябрьским праздникам, выпустить все три премьеры сезона: „Проказницы Виндзора“ У. Шекспира, „Сказку о потерянном времени“ Е. Шварца и пьесу С. Маршака „Умные вещи“»[9]. Режиссером выступил Ю. Позняков, скульптором — Ю. Пикалов. По воспоминаниям Е. С. Деммени, «сказка <...> поставила <...> ряд интересных задач по воплощению в куклах персонажей, меняющих на ходу пьесы свой внешний облик»[10]. Постановка имела положительные отзывы у зрителей и в прессе, спектакль получился действительно интересный.

Несомненно, «Сказка о потерянном времени» явилась для Шварца особенным произведением. Мотив потерянного времени и боязни потратить его на пустые дела и разговоры присутствует практически в каждом произведении Евгения Львовича, и философское представление о времени в 1940-х годах заменяется онтологическим: если сказочные дети смогли вернуть свое детство, то реальные этого сделать уже не могут, их детство унесла война.

В кукольной пьесе есть персонаж, которого нет в повести, — это Кукушка, отсчитывающая время детей, она будто является резонером, носителем авторского сознания, воплощением авторской мудрости. Она помогает Пете Зубову и его друзьям найти злых волшебников и вернуть прежний облик:

---

[6] Режиссером спетктакля выступил Ю. Позняков, скульптором — Ю. Пикалов. Постановка имела положительные отзывы у зрителей и в прессе, спектакль действительно получился интересный.

[7] В 1954 году Всесоюзным радио СССР по тексту повести был поставлен радиоспектакль: инсценировка А. Г. Карановича (Каранова), постановка Н. В. Литвинова, режиссер записи — А. Г. Каранович, композитор — Ю. С. Никольский, звуковое оформление Ю. П. Савельева, И. Носкова, И. А. Андрюшенаса. Роли озвучили: ведущий (рассказчик) — Н. В. Литвинов; Петя — Н. А. Шефер, А. Л. Кубацкий, И. А. Потоцкая; мама — Л. С. Маратова; кукушка — Г. А. Иванова; старушка — Н. И. Серебрянникова; тетя Наташа / 1-я старушка — А. А. Ильина; 2-я старушка — М. Г. Лаврова (Чельцова-Лаврова); волшебница / мальчик — М. П. Корабельникова; волшебница / девочка — Г. Г. Новожилова; волшебник — Е. Г. Князева; мальчик на буфере — Л. Г. Пирогов.

[8] Вп.: Костер. 1940. № 7—8. С. 4—7. Рис. Н. Н. Петровой. Переработанный авторский вариант вп.: Мурзилка. 1945. № 5—6. С. 6—9 (ил. А. И. Порет).

[9] Деммени Е. С. Страницы из жизни театра // Е. С. Деммени. Призвание — кукольник. Сборник / Сост. Н. В. Охочинский. Л.: Искусство, 1986. С. 103.

[10] Там же. С. 105.

КУКУШКА.

Петя, Петя, поскорей,
Ку-ку! Ку-ку!
Разыщи двоих детей,
Ку-ку! Ку-ку!
Разыщи еще двоих,
Ку-ку! Ку-ку!
Двух товарищей твоих,
Ку-ку! Ку-ку![11]

В сказке-повести такого помощника нет: герои сами должны понять, что нужно сделать. Потерянное время — это и потерянное поколение, дети войны, заблудившиеся во времени и пытающиеся найти себя и других. Образ потерянного поколения звучит также во многих стихотворениях Шварца тех лет:

Ровесники окаменели,
И как не каменеть, когда
Живого места нет на теле,
Надежд на отдых нет следа.

(«Я прожил жизнь свою неправо...»,
24 апреля 1945 года)[12]

Или:

И нет домов. Там призраки сидят,
Где мы, старик, с тобой сидели,
И укоризненно на нас они глядят
За то, что мы с тобою уцелели.

(«Ты десять лет назад шутил, что я старик...»,
11 августа 1945 года)[13]

Пьеса пользовалась потрясающим успехом: ее с удовольствием ставили в театрах, экранизировали (режиссер А. Л. Птушко, 1964), снимали по ней мультфильмы (режиссер К. Г. Малянтович, 1978).

В Московском Центральном театре кукол С. В. Образцова «Сказка о потерянном времени» прошла 154 раза, ее премьера состоялась уже после смерти Е. Л. Шварца — 6 ноября 1958 года (режиссеры — Б. И. Аблынин и Н. П. Гжельский, художники — В. В. Андриевич и Б. А. Маркевич, композитор — Н. П. Александрова). Во всех своих постановках Образцов обращался прежде всего к человеческим чувствам, поэтому он «так органично, естественно и с кажущейся легкостью проходил мимо советских идеологических установок, не создавал заидеологизированных спектаклей к юбилеям революции (к 50-летию и 60-летию Октябрьской революции на сцене его театра шли спектакли-сказки: „Мальчиш-Кибальчиш“ А. Гайдара и „Три толстяка“ Ю. Олеши, а „Сказку о потерянном времени“ <...> посвятил юбилею советской власти)»[14].

---

[11] Шварц Е. Л. Сказка о потерянном времени // Е. Л. Шварц. Кукольный город. Указ. изд. С. 148—149.

[12] Шварц Е. Л. Стихотворения. Раешники / Сост., вступ. ст., ком. Е. В. Воскобоевой. СПб.: ИД «Петрополис», 2018. С. 218.

[13] Там же. С. 219.

[14] Голдовский Б. П. Сергей Образцов: документальный роман. М.: Молодая гвардия, 2017. С. 220 (Серия «Жизнь замечательных людей»).

Пьеса не была социальным заказом, но была очень вовремя написана. Заглавная тема — потерянное время. Как не потерять время? Как использовать его во всей полноте? С одной стороны, для малышей пьеса имела дидактическую цель: нужно больше учиться и заниматься делом, не тратить время зря. С другой, время — одна из важных философских категорий. Оно исчислимо и неизмеримо. Шварц пишет текст как для детей, так и для взрослых, которые понимают ценность времени. Не случайно в стихотворении «Страшный суд» (1946—1947) появится образ циферблата без стрелок как символа остановки и потери времени:

Ад зиял слева,
С колючей проволокой
Вокруг ржавых огородов,
С будками, где на стенах
Белели кости и черепа,
И слова: “Не трогать, смертельно!” —
С лужами,
Со стенами без крыш,
С оконными рамами без стекол,
С машинами без колес,
С уличными часами без стрелок,
Ибо времени не было[15].

Для описания ада в этом стихотворении используются отрицательные образы: стены без крыш, оконные рамы без стекол, машины без колес, уличные часы без стрелок. Четырехкратно повторяемый предлог «без» усиливает напряжение, фиксирует состояние отсутствия и потери. В этом случае примечательно изображение часов без стрелок: как известно, для поэтики Шварца образ часов и времени в целом был важен, и потеря времени означала потерю жизненных сил, судьбы. «Ибо времени не было», поэтому и неважно, в каком возрасте сейчас находятся герои, — время стерло их человеческие границы.

Примечательно, что с категорией времени у Шварца всегда связано представление о старости — она является отсчетом всего в его бытийственном и художественном мире. Старость — это предел человеческого существования, после старости — только смерть. И здесь мы сталкиваемся с удивительным феноменом. С одной стороны, Шварц старается избегать лексемы «старый» и, особенно, его словоформы «старик / старуха», поскольку в контексте эти слова приобретают негативное значение: «Хорошо бы написать сказку следующего содержания — краткая история обезьян. Это неправда, что люди происходят от обезьян. На самом деле обезьяны были когда-то людьми, такими же, как и мы. И достигли они высоких ступеней развития. Как мы. Но вот у них началась война. Затяжная. Сто пятьдесят лет продолжалась она. Все молодые были перебиты. Но обезьянья нация цеплялась за жизнь. Рожать стали старики и старухи. От этого даже самые молодые обезьяны так похожи на старичков и лица у них в морщинах от рождения. Потомки стариков, старух и трусов скрывались в лесах, цепляясь за жизнь, жадно хватая все, что съедобно — отчего и ноги у них научились хватать, цепляться, зажимать»[16]. Даже такая уменьшительно-ласкательная форма, как «старичок», зачастую приобретает отрицательный характер: «Остановился я в марте 41-го года в гостинице „Москва“. Уснул после обеда

[15] Шварц Е. Л. Стихотворения. Раешники. Указ. изд. С. 224.
[16] Запись от 4 ноября 1942 г. // Архив Е. Л. Шварца. РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 27.

и вижу тяжелый сон. Комната, набитая дьяволами. Особенно противен крошечный слабый старичок, пытающийся укусить меня в колено. Я отталкиваю его. Он бежит в угол. Становится выше»[17].

В художественных текстах Шварца этих стариков и старух практически нет. «Сказка о потерянном времени» и несколько стихотворений — чуть ли не единственные исключения из художественного многообразного наследия.

С другой стороны, в дневниках сталинабадского периода описываются приятные и солидные старички: «Многие из них, особенно высокие старики в халатах и чалмах, производят впечатление солидное и благородное. О чем они говорят не спеша и солидно, когда сидят на своих ковриках и пьют чай или ждут покупателей?»[18]; «На рынке Катя погладила ослика, на котором сидел старик в чалме. Старик добродушно засмеялся. И я вдруг страшно обрадовался, что старик понял нас, а мы его. Все как у людей, несмотря на горы, чалму, язык»[19]. И здесь старость для Шварца — это не только возраст, но и мудрость. Так, понятие старости в творчестве Шварца (дневниках и художественных текстах) связано с категорией времени и является одной из важнейших онтологических категорий, определяющих его поэтику.

В середине 1940-х годов Шварц пишет одноактную пьесу «Волшебные очки», написанную для детского театра: в ней волшебник все время обращается к зрителям, которыми оказываются дети — дошкольники или младшие школьники. У волшебника есть очки, сквозь которые он видит всю правду, и эту правду ему помогает видеть его маленькая непослушная дочь Маруся:

> ВОЛШЕБНИК. А раз молодчина, так давай скорее работать. Вон сколько времени напрасно потратили. <...> Итак, мы начинаем. Сейчас, товарищи, я храбро спущусь прямо к вам в зал. А Маруся останется тут на эстраде. Она станет к нам спиной и тем не менее будет угадывать все: и к кому я подошел, и возле какого ряда я стою, и какие мысли ваши я читаю, без всяких фокусов, только с помощью моих волшебных очков[20].

Маруся благодаря подсказкам отца угадывает ребят и называет особенности их поведения: кто-то не выполняет обещания, данные матери, кто-то вертится перед зеркалом, наконец, в четырнадцатом ряду обнаруживается мальчик, который опоздал в школу, потому что строил гримасы своему отражению в окне магазина:

> ВОЛШЕБНИК. Объясни ты мне танцем, почему он вчера опоздал в школу? <...> Ага, понятно. Это значит, вышел этот мальчик из дому. Идет не спеша. Так. И вдруг увидел он окно магазинное. Недавно вымытое. Насухо вытертое. Блестит оно как зеркало. И увидел мальчик в окне самого себя как в зеркале. Понятно. Пляшет он перед этим окном. Сам себе кланяется. Гримасы строит. Кассиршу увидел. И вдруг запрыгал от радости. Придумал, как на своем лице изобразить кассу. <...> И тут увидел мальчик часы в магазине. Испугался все-таки, когда понял, который час... Заспешил... И вдруг заметил: лежит возле ворот папиросная коробка. И давай мальчик с этой коробкой играть в футбол. Сам нападает. Сам защищает. Сам судит. Забил гол и дальше побрел. А теперь он пробует, сколько

[17] Запись от 23 апреля 1942 г. // Архив Е. Л. Шварца. РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 49. Л. 19—20.

[18] Запись от 26 января 1944 г. // Архив Е. Л. Шварца. РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 44.

[19] Запись от 31 января 1944 г. // Архив Е. Л. Шварца. РГАЛИ. Ф. 2215. Оп. 1. Ед. хр. 48. Л. 45.

[20] Шварц Е. Л. Волшебные очки: Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. Произведения 1940-х годов / Сост., подг. текстов и ком. Е. В. Воскобоевой, Е. И. Исаевой. СПб.: ООО ИД «Петрополис», 2025. С. 322.

может пройти с закрытыми глазами. Пришел в школу, а там тихо-тихо! Так тихо и так жутко, как всегда бывает, когда опаздываешь. И отправили мальчика домой[21].

Здесь Шварц обратился к журнальной версии повести «Сказка о потерянном времени», именно там Петя Зубов строил гримасы и играл в футбол (правда, жестянкой из-под килек):

> Увидел он большое магазинное окно. А в оконном стекле, как в зеркале, увидел Петя Зубов себя. Стал Петя перед окном. Поклонился сам себе. Показал себе язык. Свернул рот на сторону. Поднял левую бровь. Поднял правую. Потом прищурился. Потом вытаращил глаза вовсю. Так он стоял и строил рожи <...>
>
> Побежал Петя Зубов дальше и увидел жестянку из-под килек. Закричал Петя Зубов и налетел на жестянку, как на футбольный мяч. И погнал жестянку в ворота. Сам по воротам бьет, сам и защищает. И до тех пор гонял он эту жестянку, пока не выбежал из дворницкой дворник с метлой[22].

Подсказки, которые Е. Л. Шварц оставляет внимательному читателю, распределены по многим его произведениям: они написаны в разное время, отличны по жанру, разнообразны по мотивно-образной системе, но объединяет их тематическая нить — понятие о времени. Сюжет «потерянного времени» организует структуру произведения и носит дидактический характер: дети понимают простые истины о жизни в мирное и, особенно, в военное время.

Как видим, тема потерянного времени в произведениях Е. Л. Шварца — одна из ключевых.

[21] Там же. С. 324.

[22] Цит. по: Шварц Е. Л. Сказка о потерянном времени: Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. Указ. изд. С. 571.



Рецензии

МЕЖ СИЗИФОМ И СТАЛИНЫМ

Макс Шапиро. Голубой единорог и другие истории / Сост. и пред. В. Калмыковой. М., 2025.

Я сразу возьму быка за рога. Я считаю главной задачей художественной литературы не отражение реальности, а ее эстетическое преображение. Преображение скучного и страшного в увлекательное и красивое, гадкого в смешное, ординарного в значительное. И первый вопрос, который я задаю при встрече с новым автором: ставит ли он себе эти задачи? Как он с ними справляется — уже второй вопрос.

«Художественную прозу, — сообщает Вера Калмыкова, — Макс Шапиро писал с 20 лет, а появился на литературном горизонте России недавно, в 2023 г. И уже в 2024-м стал лауреатом премии конкурса „Антоновка“ за рассказ „Голубой единорог“. Дорогого стоит признание беспристрастных мастеров, членов жюри, отдавших предпочтение неизвестному автору».

Это обнадеживает. Что ж, с Божьей помощью доберемся и до единорога. Но начнем с начала.

«Шкаф». Предмет не особо романтический, его преображать и преображать. И как же с этим справляется автор?

«Дерево растет, как река течет. Плоть кленовой доски похожа на застывшее время: чудесное кружево прожилок и узелков светится сквозь золотую лаковую кожу, словно замерзший в лучах солнца водопад». Здесь есть что похвалить или даже восхититься. Рост дерева действительно похож на течение реки, только задом наперед: притоки вливаются в главное течение, а ветви «выливаются» из главного ствола. То, что древесина названа плотью доски, тоже хорошо, деликатное оживление неживого. А вот чем эта плоть похожа на застывшее время, не могу представить, тем более что время всего лишь показания часов.

Впрочем, автор не обязан с этим считаться, если подобные слова для него что-то означают, если он действительно что-то подобное ощущает: «дерево хранит тайну неизменности: достаточно положить ладони на его гладкую теплую поверхность, чтобы почувствовать, как сквозь невидимые поры сочится вечность». Тайна неизменности, сочится вечность... Как говорил Станиславский о Гордоне Крэге, сам я, батенька, тонкий художник, но такой тонины!..

А вот желание мальчишки забраться на любой привлекательный предмет мне более чем понятно. Особенно если с него «стекает причудливый деревянный узор». Стекает — это хорошо. А когда шкаф опрокидывается на юного альпиниста, едва его не изувечив, — такие уроки знакомы многим пацанам, пытавшимся овладеть недоступными дивами: «Где-то далеко под потолком находятся невидимые полки, с которых родители достают удивительные предметы: матрешку, индийского слона, круглый будильник, очки, иногда тяжелые плотные книги». Умение видеть в обыденном необыкновенное дано детям и писателям, — Макс Шапиро этим умением обладает.

«После неудачного восхождения я начал относиться к шкафу с осторожностью, избегая фамильярностей. Внизу, у самых его корней, стояла густая тишина, куда по-

грузиться мог лишь я один. Мечтать над иллюстрациями из огромных фолиантов, которые я с трудом снимал с нижней полки, бережно опускал на пол, и они вдруг распахивались, словно крылья сказочных птиц, прямо на оливковом паркете. Разгадывать черные иероглифы букв, плывущих по белому полотну бумаги в строгом, но загадочном порядке. Класть ладонь на переплетение древесных сосудов, мерцающих сквозь золотой глянец, и медленно скользить по кленовой реке, пытаясь найти выход из лабиринта прожилок. У подножия шкафа рождались безмятежные сны детства, надежно хранимого дремлющим в дереве древним покоем».

Избегая фамильярностей, у самых его корней распахивались, словно крылья сказочных птиц, переплетение древесных сосудов, кленовая река, выход из лабиринта прожилок — вот это и есть преображение обыденности в красоту и загадочность без покушений на то, что лично мне представляется мнимым глубокомыслием.

«Читать запоем я начал, когда дорос до четвертого яруса. Тишина наполнилась гулом истории: греческие галеры таранили тяжелые персидские суда, дикая конница Ганнибала накатывалась на железные римские легионы, звенела сталь мушкетерской шпаги, лязгали рыцарские доспехи, отважный Дежнев пробирался сквозь ледяные торосы, в океан погружался бесстрашный Кусто. Над лакированным морем бушевали тайфуны, летели, склонившись над волнами, легкие парусники, поднимались утесы континентов, из глубины светили глаза батискафов, вулканы извергали бумажное пламя. За каждым переплетом открывался новый космос. Узенькая полка, словно библейский алеф, вмещала тысячи миров, собирая все отражения вселенной в одну точку».

Это тоже симптомы художественного дара — запойное чтение, в котором прочитанное становится увлекательнее увиденного во плоти.

«Очень скоро я обнаружил, что шкаф вовсе не велик, а наоборот, весьма мал, и, несмотря на варварское запихивание, уже не вмещает все, что я собирал по квартирам родственников, выменивал у приятелей и покупал на личные сбережения из „рублей-на-завтрак“. Шкаф кряхтел под тяжестью моей непомерно распухшей коллекции. Куда ему было до огромных стеллажей магазина „Букинист“ или хотя бы районной библиотеки. Глядя на угрожающие книжные насыпи, родители дипломатично предлагали купить новый. Какое кощунство! Где же еще читать, как не на паркетном полу: вытянув ноги, упершись спиной в деревянную боковину, как в Великую Китайскую стену, отгородившись от суетливого времени пирамидой томов».

Я так подробно разбираю этот скромный, казалось бы, сюжет именно потому, что более захватывающие события отвлекают от писательского мастерства, от мастерства возвышения и преображения. Заслуга писателя тем больше, чем меньше он обязан материалу, и в данном случае все наше внимание и восхищение мы дарим автору, а не изображаемому им предмету, который в реальности, скорее всего, не привлек бы нашего внимания. Автор, как и всякий подлинный художник, дает нам урок: поэзия рассыпана всюду, только сумей вглядеться.

«Ручеек стал рекой, река — океаном. Детские грезы сложились в величественный храм, чудесно вместивший всю мою невеликую жизнь: страх катастрофы, мамины слезы, маленькие победы — первая буква, первый слог, первая страница... и неожиданно распахнувшийся безграничный мир, насквозь пропитанный теплом еще не узнанного мною Творца».

Это настоящая проза, ибо прозы без поэзии не бывает.

«Незакатное солнце пронизывало узкие витражи, играя всеми оттенками цвета на кленовом алтаре. Рядом с египетскими иероглифами мерцали прозрачные фрески Помпеи, пышные коринфские колонны уносили ввысь готические своды, под огромным куполом горели начертанные Богом письмена. Тысячи голосов, пробива-

ясь через столетия, через непроницаемую толщу пространств, сливаясь, словно лучи в фокусе колоссальной линзы, пели гимн человеческому слову».

И воспетому этим словом миру, который лишь в слове обретает высшую значительность и красоту. Это высшая красота, ибо она бесплотна.

Но из-за неумолимых житейских обстоятельств возникла необходимость избавиться от шкафа.

«Волшебство воплощенной мечты рождалось только у основания моего старенького скрипучего шкафа. Избавиться от него?.. Никогда!»

Хотя предметы в отличие от образов подвержены дряхлению.

«Сколько вмятин, порезов, ожогов и язв открылось на его потускневшей старческой коже. Как нетвердо стоял он на шатких подагрических ножках, жалобно всхлипывая при каждом шаге двухметрового хозяина. Швы разошлись, полки безнадежно покосились, на задней стенке темнели разрывы трещин. Шкаф отслужил, — даже я понимал, что изменить его печальную судьбу, увы, невозможно. Однако у меня не поднималась рука от него избавиться. У основания, у корней, там, где рождался родник времени и скрипел кривой ободранный паркет, по-прежнему пели колокола грез, хранимые блаженной тишиной детства.

Сжечь! Быстрая, благородная смерть — куда более милосердная, чем мучительное гниение на свалке».

Благородная смерть — это ли не возвышение заурядного предмета!

Но тут же явилась и надежда на спасение — герой-повествователь увидел на Лиговке вывеску «Реставрация мебели»: реставрация звучала обнадеживающе.

«Первым меня приветствовал книжный шкаф из красного дерева. О, это был настоящий аристократ, одетый в изысканный плащ из тончайшего лака, сквозь который светилась тугая волнистая плоть. Не в силах бороться с искушением, я опустил руки на мерцающую поверхность и вновь, как много лет назад, поплыл вдоль лабиринта прожилок, беззаботно радуясь, словно младенец погремушке.

— Кубинское махагони, — раздался густой голос, и чья-то широкая ладонь легла рядом с моей.

Я обернулся. Напротив стоял седой, пахнущий стружкой гном в робе и придирчиво осматривал свое детище.

— Дерево королей. Растет по пять сантиметров в год. Четыреста лет должно пройти, прежде чем его можно использовать. Зато материал идеальный: плотный, ровный, без внутренних полостей, не деформируется ни от жары, ни от влаги. Мебель хранится столетиями».

Гном тоже оказался поэтом и согласился отреставрировать старика за четверть цены: «Пусть живет».

Одушевление неодушевленного — один из важнейших приемов эстетического преображения, и в разобранном выше рассказе его автор сумел воспользоваться этим приемом превосходно.

Следующий рассказ «Дырка в мире» посвящен прелестной девушке Наде, ощущающей себя самым красивым октябрьским букетом среди золотой петербургской осени. По пути в грузинский ресторан, где она собиралась праздновать свой день рождения, купаясь в славословиях и вкусностях, «ей встретился огромный золотой кленовый лист. Она наклонилась поднять и замерла — в лицо ударил острый гнилостный запах. Нет, лучше не трогать. Что еще там обнаружится — вдруг лист закрывает дырку в мире? Пусть уж лежит, где лежит».

Затем поступает еще один тревожный сигнал: «Плотоядные дверцы метро двигались слишком быстро, заглатывая каждую секунду по человеку, а что за ними —

плавный спуск вниз на матовом эскалаторе или обрыв, куда зашедшие сразу падают и летят до самого дна петербургского брюха? Нет уж, трамвай куда безопаснее».

В трамвае праздничное настроение вроде бы вернулось, она «стала глядеть, как крутится за окном осенний калейдоскоп и, квартал за кварталом, кланяются ей галантные деревья».

Но и тревога ее не покидала: «Жирная рогатая тень трамвая бежала вслед, поэтому на каждой остановке Надя внимательно следила за ржавыми створками дверей, чтобы успеть убежать, если тень полезет в вагон. Но тень не пряталась, а значит, была не так и опасна. Пугало скрытое, что таилось за красной листвой, следило за Надей из-под козырьков питерских балконов. Бесшумно, незаметно следовало за трамваем, выжидая момент, когда ей придется сойти, и тогда...»

Кажется, это уже не игра. И ужас среди празднества действительно ее настигает.

«Вдруг резко хлопнуло дверью. Остро запахло палой листвой. В пустом зале стало сумеречно. Она подняла голову, чтобы вернуть меню. Напротив сидел мертвый отчим.

— Налей водки, — прохрипел он.

Надя оцепенела.

— Ну, — с угрозой повторил отчим, — наливай.

Он подвинулся ближе, в черных неживых глазах заплескалось вожделение. Небритый подбородок опустился, на краю открытых губ застыла капля слюны, широкие, в пучках волос кисти рук поползли к беспомощной девочке.

— Не бойся, детка, — отчим загоготал. — Я добрый.

Надя попытался отпрянуть, но за спиной, где минуту назад ходили люди, выстроило стену. Тогда она вскочила и, сжав маленькие ручки в кулачки, пронзительно закричала.

Никогда Надя не вопила так отчаянно. Страх, стыд и боль, спрессованные на дне души, достигли наконец критической массы и, воспламенившись от страшного давления, начали лопаться и взрываться, раскаляя крик до термобарических температур.

Зеленое лицо отчима раскололось, покрылось трещинами и осыпалось, обнажив клубящуюся пустоту, которую выжигал Надин крик. Черная жирная капля плюхнулась на пол и, как лужица ртути, быстро укатилась на улицу».

Бедняжку приводит в чувство добрый шеф-повар дядя Вано пением грузинской колыбельной, праздник с грехом пополам возобновляется, но хороший рассказ представляется мне несколько испорченным патологической, мне кажется, реакцией героини. Спору нет, пережитый ужас может нами овладеть среди любого веселья, но мы при этом не вопим и не теряем сознания. Даже нахлынувшую мрачность, если мы не истерики, стараемся скрыть от окружающих. А если героиня не в силах себя контролировать, то ею заниматься должны психиатры, а не писатели.

Хотя почему бы ею не могли заняться и те и другие? Только потому, что в душевной болезни есть ужас, боль, но нет трагедии — высокого смысла, борьбы человеческого духа с неодолимыми обстоятельствами, — это победа бессмысленной материи над человеческой душой. Не знаю, удалось ли хоть кому-то эстетическое преображение настоящего безумия, о котором можно прочесть в истории болезни. Гоголь в «Записках сумасшедшего» устраивает неправдоподобный фейерверк восхитительных нелепостей, Гаршин в «Красном цветке» заставляет больного бороться с воплощением мирового зла — и то и другое возвышение над медицинской симптоматикой. Возвышение, которого я не заметил в «Дырке в мире». Хотя во всем остальном рассказ хорош. Но пытаться усиливать и без того сильное — значит ослаблять его, превращать драму в мелодраму.

Зато к «Двум рублям» придраться решительно невозможно. Это сказка-притча в духе Андерсена о двухрублевой монете, в начале пути мечтавшей о высокой фи-

нансовой миссии и после всевозможных мытарств превратившейся в погнутого и исцарапанного ветерана, участливо по-стариковски кивающего мечтам новоотчеканеных юнцов.

Очень хороша, и величавым слогом, и глубоким смыслом, притча о Сизифе, полюбившем свой камень и пережившем покаравших его богов. Эта штучка будет посильнее, чем «Миф о Сизифе» Альбера Камю. Обязательно прочтите.

Притчи Максу Шапиро вообще удаются. «Галатея» тоже очень хороша.

Увенчанный же «Антоновкой» «Голубой единорог» — блистательный и грустный гротеск, история двух нью-йоркских эмигрантов. «Первый юркий, тощий, как глиста на диете, неутомимый, ему чекушку водки, что кефирчика глотнуть. Второй высокий, грузный, пролет лестничный с трудом одолеет. Один картины пишет, лодки из дерева точит, ручищи у него, что клещи, — хошь топор туда вставь, хошь зубило, — все к месту, все умеют: и вырубить, и вытесать, и фаску снять. Другой карандаш не всегда удержит, а если удержит, то тетрадь испишет, восхваляя подвиги русских кадетов в эмиграции. Первый рода черного, крестьянского, а что ни напялит, ватник или фрак, — ну аристократ, вылитый граф, все сидит как с иголочки, бабы к нему липнут, не отбиться. Другой — из благородных, но уж больно потрепанный: пиджак мешком висит, штаны мятые, борода нечесаная, к тому же однолюб — в жены взял девицу Шаховскую, а та его прогнала».

Пересказать «Единорога» невозможно, настолько он перенасыщен роскошными подробностями и событиями, его нужно непременно прочесть.

«Кукла дяди Изи» могла бы быть заподозрена в мелодраматизме: все персонажи обрисованы ярко, но упрощенно, однако все спасает добрая ирония, это своего рода милый и трогательный кукольный театр. Но смерть девочки, которую родители должны добровольно отсоединить от реанимационного аппарата, настолько мучительна для читателя, что у него снова может возникнуть протест: да не мелодрама ли это все ж таки?!

Мелодрама, напоминаю, отличается от трагедии тем, что не несет никакого возвышающего смысла. Но смысл, однако, возникает. Несчастная мать, Вера, в отчаянии разбивает Надю — любимую куклу, сначала свою, потом умершей дочери, а пожилой биолог дядя Изя за большие деньги ухитряется ее восстановить и держит это в секрете.

Пока Вера снова не оказывается беременной. И только тогда старик достал Надю из коробки.

«— Узнаешь? — спросил он, показывая куклу Вере.

Та заплакала, протянула руки, но дядя Изя отпрянул.

— Не будешь ее больше обижать?

Вера замотала головой.

— Будешь о ней заботиться?

Вера закивала.

— И регулярно менять ей трусики?

— Да, да! Ну дай же мне мою Надю! — крикнула она сквозь слезы.

Дядя Изя отдал ей куклу. Вера прижала Надю к груди.

— Мама, — сказала Надя чисто и громко, как много лет назад. — Мама».

Даже при третьем прочтении подступают слезы, но их вызывает не столько сострадание, сколько красота.

Как и положено в искусстве — не столько сострадать, сколько восхищаться.

Но «Бюстик», к сожалению, восхищения у меня не вызвал. Хотя как притча задуман очень интересно. Да и главный герой-художник в принципе хорош.

«Я рисовал людей сызмальства. Я, собственно, и подался к тетке в Питер из с-кой дыры, чтобы писать профессионально. В Репинское поступать не пытался, конкурс в Рериховское провалил дважды — хрена лысого попадешь, если даже в задрипанное Рериховское принимают только мажоров и только по блату. В шестом году угодил на срочку, а когда вернулся, пошел в университет транспорта на мостовика».

Но внутренний монолог повествователя слишком уж монотонен интонационно — вечная раздраженная сосредоточенность на своей кондовости.

«Меня мое бессилие до колик бесило. Я — тяжеловес, порхать не умею, легкость виртуоза нарабатывал набросок за наброском — прям старатель на приисках».

Впрочем, и приглянувшаяся ему девушка, от которой обмирает все метро (тоже преувеличение), не скрывает, что она ему не ровня, она «девица из профессорской семьи, дядя — и вовсе академик. Не примут они зятя из С., будь он хоть трижды самородок». Мой опыт и этого не подтверждает. Я и сам приехал в Ленинград из провинциальной дыры и был принят в академической среде совершенно на равных — там везде принимали по уму, это в мещанской среде ценят столичное происхождение.

В «Бюстике» очень уж многое через край, даже в «Репе», в Академии художеств.

«Преподавал там историю искусств один ублюдок, охочий до студенток. По-хорошему, следовало бы его посадить, да иди попробуй. Ректорский протеже — фиг тронешь. Вот кто-то ему яйца и отбил и нос заодно погнул. Внешность это не сильно испортило — он говнюком и с прямым смотрелся».

Как хотите, не верю. Он пугает, а мне не страшно. Слишком уж хорошо знакома мне эта среда. Уж если хочешь рисовать раскаленный мир, нужно переносить его туда, где мало кто бывал, — хоть куда-нибудь на Кавказ, что ли, вслед за Лермонтовым и Марлинским.

Хотя сама идея хороша: мрачный неотесанный герой и его аристократическая возлюбленная пытаются создать в одном лице портрет Сталина-тирана и Сталина-созидателя и победителя. Но изображение главного героя этаким благородным дикарем, для которого являются откровениями общие места сталинистской пропаганды, — пардон, снова не верю.

Мне кажется, автору вредит стремление скрестить патетический символизм с жестким реализмом, стремление, едва не погубившее первоклассный талант Леонида Андреева. А там, где автор уходит в чистый символизм или в иронический гротеск, получается или хорошо, или блистательно.

О заключительном же «триптихе» «Гроздья ветра» рассуждать не смею. Не хватает утонченности, чтобы оценить хотя бы вступительный пассаж.

«Закрыв глаза, видишь другую вселенную — различия между светом и тенью исчезают, пространство набухает неопределенностью, стороны света сплетаются в кольцо, время густеет, становится вязким, как расплавленное стекло, остывает, замирает, и тогда из сумерек памяти, из марева еще не родившихся мыслей и непрожитых чувств, из-под темных корней небытия всплывает покрытое маками — неощутимое, невесомое, неодолимое, как тяготение, — поле, на котором манящий аромат цветов неотделим от гибельного дурмана».

Да пошлют вечные пряхи Максу Шапиро более изысканных читателей, а мы, сиволапые, воспитанные на Толстом и Метерлинке, будем его любить за его реалистическую и символистскую прозу. А то, что нам покажется вычурным и заумным, мы будем пропускать.

Александр МЕЛИХОВ

К 800-летию со дня кончины Франциска Ассизского

Архимандрит Августин (НИКИТИН)

СВЯТОЙ ФРАНЦИСК АССИЗСКИЙ И РОССИЯ

Часть 5

Нельзя не упомянуть о переводе «Песни брату Солнцу», выполненном П. Д. Сахаровым.

Петр Дмитриевич Сахаров (1957—2023) — советский и российский ученый-востоковед, литургист, журналист, христианский публицист, переводчик. Кандидат филологических наук. Перевел на русский язык многие католические богослужебные тексты, включая некоторые литургические песнопения, а также ряд трудов христианских авторов (среди них книги Бернхарда Геринга, Поля Бошана, Ж.-М. Люстиже, Энтони Де Мелло). Участвовал в подготовке изданий на русском языке некоторых документов Учительства Католической Церкви (например, Катехизис Католической Церкви) и богослужебных книг римского обряда. Он был одним из редакторов и авторов Католической энциклопедии[1].

Слово Петру Дмитриевичу Сахарову.

Лет десять назад (или чуть меньше) я сделал свой перевод Песни брату Солнцу. Прежде я никогда не собирался его переводить, но как-то раз на Форуме русских католиков (ФоРК — был такой когда-то в интернете) меня спросили, какой из имеющихся переводов лучше. В то время было уже немало русских переводов и переложений Песни брату Солнцу, в т. ч. выполненных весьма известными людьми (напр., Маргарита Алигер, Сергей Сергеевич Аверинцев и др.). Я внима-

---

Архимандрит Августин (в миру — Дмитрий Евгениевич Никитин) родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. В 1973 году принял монашеский постриг с именем Августин. Пострижен в монашество митрополитом Никодимом в Благовещенской церкви его резиденции в Серебряном Бору в Москве. В 1974 году рукоположен во иеродиакона и иеромонаха. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, преподаватель, доцент Санкт-Петербургской духовной академии. Автор около 1000 статей и более 30 книг, в основном на тему связей РПЦ со странами Востока и Запада. Публиковался в журналах «Нева», «Байкал», «Символ» (Париж), «Русское возрождение» (Нью-Йорк—Москва—Париж), «Вокруг света», «Новый мир», «Русская мысль» (Париж), «Новая Европа» (Милан—Москва) и других. Действительный член Российского географического общества, участвовал во многих паломнических экспедициях, посетил более 100 стран мира. Лауреат премии журнала «Нева» (2003).

[1] https://piotr-sakharov.livejournal.com/133289.html. Дата посещения: 10.09.2024.

тельно посмотрел все, которые были мне доступны, и понял, что не стану рекомендовать ни один из них: одни переводы обнаруживали много несоответствий оригиналу, в других что-то досочинялось, и в большинстве своем они игнорировали поэтические особенности оригинала. Убедившись в этом, я решил попробовать сделать свой собственный перевод, постаравшись, с одной стороны, сохранить почти дословное соответствие оригиналу, а с другой — передать его ритмизованной прозой, наподобие той, которую мы слышим в подлиннике.

Песнь написана на умбрийском диалекте староитальянского. Однако известен латинский перевод, возможно, современный оригиналу, если не принадлежащий самому автору. Я опирался в первую очередь на умбрийский текст, однако с оглядкой на латинский в нескольких местах. Кстати, встречающееся зачастую утверждение, что Песнь брату Солнцу самый ранний поэтический текст на итальянском языке, не соответствует действительности. Известно некоторое количество поэтических творений на староитальянском, созданных в XII в., т. е. определенно ранее Песни. Но, так или иначе, этот гимн был сочинен, бесспорно, на заре итальянской поэзии[2].

Вот текст этого перевода:

Св. Франциск Ассизский

Песнь брату Солнцу, или Хвалы творений
Всевышний, Всемогущий благой Владыка
Тебе — хвалы, и слава, и честь, и всякое благодаренье.
Тебе одному, о Всевышний, они подобают,
и ни один человек именовать Тебя не достоин.

Славься, мой Господи, со всем Твоим твореньем,
особенно с господином братом Солнцем,
который являет день и которым Ты нас озаряешь.
И сам он красив и, лучась великим сияньем,
собой знаменует Тебя, о Всевышний[3].

Тема «Солнца» в отечественной поэзии

А теперь следует проследить дальнейшую судьбу «Гимна Солнцу» св. Франциска и определить его место в русской поэзии.

«Гимн Солнцу» св. Франциска питал творчество многих отечественных авторов. Так, в поэтическом наследии К. Д. Бальмонта имеется одноименное произведение, по объему напоминающее небольшую поэму. Вот начальные строки бальмонтовского «Гимна Солнцу»:

Жизни податель,
Светлый создатель,
Солнце, тебя я пою!
Пусть хоть несчастной
Сделай, но страстной,

[2] https://sib-catholic.ru/sv-frantsisk-assizskiy-pesn-o-brate-solntse-ili-hvalyi-tvoreniy. Дата посещения: 10.09.2024.

[3] Сахаров Петр. «Песнь брату Солнцу» св. Франциска Ассизского // https://piotr-sakharov.livejournal.com/133289.html. Дата посещения: 10.09.2024.

Жаркой и властной
Душу мою![4]

Влияние св. Франциска на Бальмонта вполне очевидно. Обращаясь к солнцу, он упоминает о «бедняке из Ассизи», вдохновившего поэта на такие строки:

Люблю в тебе, что ты, согрев Франциска,
Воспевшего тебя, как я пою,
Ласкаешь тем же светом василиска,
Лелеешь нежных птичек и змею[5].

Вчитываясь в поэму Бальмонта, можно отыскать в ее тексте и пантеистические, и языческие мотивы. Но завершая произведение, поэт подводит итог своим размышлениям в христианском духе:

Жизни податель,
Бог и Создатель,
Страшный сжигающий — Свет!
Рад я — на пире
Звуком быть в лире, —
Лучшего в мире
Счастия нет![6]

Первые сборники стихов, опубликованные Бальмонтом с 1898-го по 1903 год (например, сборник «Будем как солнце», 1903), быстро выдвинули Бальмонта в ряды первых представителей раннего символизма. Но ни ссылка на св. Франциска, ни христианская концовка поэмы не смогли вывести К. Д. Бальмонта из-под критики собратьев по поэтическому цеху. Так, Зинаида Николаевна Гиппиус (1869—1945) «одернула» Константина Дмитриевича в своем стихотворении, демонстративно названном «*Не* будем как солнце» (январь 1911 года).

Во славе, в пышности своей, оно,
Державное Величество природы,
Средь голубых пустынь — всегда одно;

Влекутся соблазненные народы
И каждому завидуют лучу.
Безумные! Во власти нет свободы,

Я солнечной пустыни не хочу, —
В ней рабье одиночество таится, —
А ты — свою посмей зажечь свечу,

Посмей роптать, но в ропоте молиться,
Огонь земной свечи хранить, нести,
И, покоряя, — вольно покориться[7].

---

[4] Бальмонт К. Д. Избранное. М., 1990. С. 189.
[5] Там же. С. 194.
[6] Там же. С. 196.
[7] Гиппиус З. Стихи. Дневник 1911—1921 гг. Берлин, 1922. С. 11—12 (стихотворение «Не будем как солнце». Январь 1911 г., Канн).

В последнем четверостишии З. Н. Гиппиус выводит Бальмонта на «дорогу к храму»:

Умей быть верным верному пути,
Умей склоняться у святых подножий,
Свободно жизнь свободную пройти,
И слушать... И услышать голос Божий[8].

Константин Дмитриевич, по-видимому, учел дружескую критику поэтессы, о чем свидетельствуют строки его коротенького стихотворения под названием «Для чего?»:

Для чего нам Солнце засветилось сегодня?
Для радости зрения лика Господня.
Для чего же оно горело вчера?
Для радости зрения лика Господня.
А завтра зачем? — Чтоб воскликнуть:
Пора!
Будем в радости зрения лика Господня[9].

К духовному наследию св. Франциска обращался выдающийся русский поэт — Александр Александрович Блок (1880—1921). Одна из его рецензий, посвященная книге К. Д. Бальмонта, называется «Молитва Франциска Ассизского». «Непременная память обо всех тварях чиста и трогательна, как молитва Франциска Ассизского»[10], — отмечал А. А. Блок в своей рецензии.

Блок тесно общался и с Бальмонтом, и с Владимиром Соловьевым. По словам Модеста Гофмана, «порывания, стремления осязать Мировую Душу — у Соловьева и у Блока почти совпадают. Владимир Соловьев начал свою творческую деятельность с ожидания воплощения на земле теократии, Богочеловечества»[11].

Одно из стихотворений Блока — по мотивам Апокалипсиса — написано под влиянием идей Соловьева. Оно в то же время явно перекликается с бальмонтовскими строками. Но в отличие от Бальмонта Блок без какого-либо «огнепоклонничества» воспевает Христа — «Солнце Завета»:

Верю в Солнце Завета,
Вижу зори вдали.
Жду вселенского света
От весенней земли.
.....
Непостижимого света
Задрожали струи.
Верю в Солнце Завета,
Вижу очи Твои[12].

---

[8] Там же. С. 12.

[9] Бальмонт К. Стихотворение «Для чего?» // Сборник «Колос». Шавиль (Франция), 1928. С. 39.

[10] Блок А. А. Рецензия на книгу К. Д. Бальмонта «Фейные сказки» (М., 1905) // Собр. соч.. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 619.

[11] Гофман М. Поэты символизма. СПб., 1908. С. 301.

[12] Блок А. А. Собр. соч. Т. I. М.; Л., 1960. С. 170.

Это стихотворение было написано 22 февраля 1902 года. А в следующем, 1903 году увидел свет сборник Бальмонта «Будем как солнце. Книга символов» (М., 1903). Книга открывается стихотворениями: «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» и «Будем как солнце!».

«Солнечная» тема стала весьма популярной среди символистов с легкой руки Н. М. Минского. Он был одним из первых в России, кто откликнулся на пробуждавшееся в интеллигентских кругах религиозное сознание. Он один из первых высказал мысль, что «в противоположность многим, называющим наше время веком отрицания и безбожия, я, наоборот, чувствую, что мы живем накануне величайшего духовного празднества, на котором присутствовать дано только избранным поколениям. Люди и книги наших дней окружены атмосферой чего-то утонченно-религиозного»[13]. Будучи предшественником символистов, он дал им «программную установку»:

Я — солнце, вечернее солнце,
К земле преклоненное,
Я — всеоправдание, всеосвящение,
Я — света и тени согласье,
Над бездной скрепленное,
Я — жертва небес и я — жертва прощения[14].

Для символистов было характерно обращение к небу; их стихотворения пронизаны сопричастностью к космосу. Метафоричность, присущая их творчеству, нередко приводила поэтов к пантеизму. И Блок чувствовал ту трудноуловимую грань, которую было опасно переступать. Так, свою «Философскую поэму» он предваряет эпиграфом из Нового Завета: «Ты еси Петр, и на сем камени созижду Церковь Мою» (Еванг. от Матфея, XVI, 18). И только после слов Спасителя следуют строки самого поэта:

Здесь на земле единоцельны
И дух, и плоть путем одним.
Бегут, в стремленьи нераздельны
И Бог — одно начало им.

Он сотворил одно общенье,
И к нам донесся звездный слух
Что в вечном жизненном теченьи
И с духом плоть, и с плотью дух[15].

Казалось бы, цитаты из Евангелия вполне достаточно для того, чтобы быть «правильно понятым». Но Блок желает засвидетельствовать свою воцерковленность, и в качестве второго эпиграфа к своей поэме он приводит слова из католической мессы: «Introibo ad altare Dei. Ad Deum, qui laetificat juventutem meam» («Войду в алтарь Бога. К Богу, Который веселит юность мою») (лат.)[16].

---

[13] Цит. по: Попов Анатолий. Очерк о Минском. В книге: Гофман М. Поэты символизма. СПб., 1908. С. 228.

[14] Там же. С. 223.

[15] Указ. соч. Т. I. М.; Л., 1960. С. 461—462. 9 декабря 1900 г.

[16] Там же. С. 461.

Contents

Prose and Poetry

Evgeny Chigrin. Poems • 3
Svetlana Petrova. Rondo. *Short Story* • 6
Dmitry Darin. Animal. Fusilli. Sign. *Short Stories* • 24
Alexander Melikhov. Bed and Machine. *Short Story* • 33
Natalya Rosenberg. The Little Donkey of Hope. *Poems. Preceded by V. Shokhina* • 38
Maria Konyukova. Ode to Life. *Short Story* • 42

Non-Capital Russia

Ilya Vasiliev. Poems. *Preceded by V. Faibisovich* • 65
Alexey Kurenev. Chansk. *Novel. Preceded by E. Popov* • 70
Maria Znobishcheva. Poems • 174
Natalia Baranova. Two Days. Light in the House Across the Street. A Bucket. Fate on the Tip of the Tail. Granny Zina's Inheritance. How Mowgli and La Sylphide Tired Nikita. A Spit on Eternity. The Cult of Personality. The Eighth Sin. *Short Stories. Prev. by M. Kudimova* • 177
Pyotr Muratov. Once Upon a Winter... Story One. The Revenge of a Rejected Suitor. Story Two. A Cemetery, a Thermostat, and a Belt. *Short Stories. Prev. by M. Khlebnikov* • 198

Universe of Childhood

Natalya Loseva. The Bread Wagon. *Short Story* • 205

Favorite Corners of Russia

Aigul Akhmetova. The Ural „Volkhonka" • 230

Criticism and Essays

On the 130th Anniversary of Evgeny Schwartz. **Elena Voskoboeva.** „Lost" and „Regained" Time in the Works of E. L. Schwartz • 237

Petersburg Bookman

Reviews. *Alexander Melikhov.* Between Sisyphus and Stalin • 244

Pilgrim

On the 800th Anniversary of the Death of Francis of Assisi. **Archimandrite Augustine (Nikitin).** Saint Francis of Assisi and Russia. *Part 5* • 250

Издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Журнал «Нева»
Адрес редакции: Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 18
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, а/я 9
Телефоны: (812) 314-72-50, 312-49-23
E-mail: nevaredaction@mail.ru, officeneva@mail.ru

Рукописи принимаются только в электронном формате
по адресу nevaredaction@mail.ru

Сайт «Невы»: neva-journal.ru
По вопросам, связанным с интернет-сайтом, обращайтесь
по адресу web@neva-journal.ru

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ осуществляет АО «Почта России», подписной индекс П1743.

Свежий номер журнала в Санкт-Петербурге можно приобрести в магазинах прессы у станций метрополитена.

По вопросам, связанным с оптовой и мелкооптовой продажей, приобретением отдельных номеров журнала за последние годы, обращайтесь:

в Санкт-Петербурге — в редакцию журнала «Нева» (наб. р. Мойки, 18, тел. (812) 312-49-23, e-mail: officeneva@mail.ru).

Почтовую рассылку отдельных номеров журнала и книг издательства журнала «Нева» на территории РФ осуществляет редакция.

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-83135 от 26 апреля 2022 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО «Журнал «Нева»

Сдано в набор 18.06.2025. Подписано в печать 13.07.2026.
Выход в свет 11.08.2026. Гарнитура «Октава».
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Объем 16 печ. л. Печать офсетная.
Тираж 650 экз. Свободная цена. Заказ № 34

Адрес издателя ООО «Журнал «Нева»: Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 18

Отпечатано в типографии ООО «ИПК „БИОНТ“»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр., 86
Тел. (812) 207-58-43

Дорогие друзья и читатели! К нашему большому сожалению, финансовое положение журнала остается сложным. Мы старались справиться своими силами, но рост стоимости печати и коммунальных расходов создал критическую ситуацию. Мы верим в наше общее дело и надеемся на ваше участие. От всей души благодарим за любую помощь!

Реквизиты для банковского перевода:
Наименование — название организации: ООО «Журнал «Нева»
ИНН: 7810328498
КПП: 784101001
Расчетный счет: 40702 810 6 5500 0029700
Банк получателя: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044030653
Корсчет: 30101 810 5 0000 0000653
В графе «Назначение платежа»
важно написать «финансовая помощь»

Еще проще помочь нам переводом по QR-коду

Благодарим вас, дорогие друзья!

Журнал «Нева» выходит с периодичностью
1 раз в месяц и распространяется по подписке

Подписку на журнал «Нева» на территории РФ
осуществляет **АО «Почта России»,** индекс П1743

Объединенный каталог «Пресса России», индекс 73276

Агентство подписки «Урал-Пресс», индекс 73276

Интернет — neva-journal.ru

ISSN 0130-741X
14006
9 770130 741005 >